

6

ISSN 0206-8680

# КИНОСЦЕНАРИИ

1991

# КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

## Сценарии

- 3 *Р. Ибрагимбеков*  
**УБИЙСТВО СТОЛЫПИНА**
- 17 *Д. Джавахишвили, Н. Манагадзе, Э. Ахвледзиани*  
**НОЙ**
- 37 *П. Попогребский*  
**ЮБИЛЕЙ ЧИНОВНИКА**
- 63 *Е. Райская*  
**БАБОЧКИ**
- 80 *Р. Хуснутдинова*  
**ЖЕНЩИНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ**
- 99 *А. Усов*  
**НАСИЛИЕ**
- 140 *Е. Полторак*  
**ЛЮБОВЬ К АРМИИ**
- Точка зрения**
- 161 *М. Бок (Столыпина)*  
**Взрыв в нашем доме**
- 167 *П. Флоренский*  
**ВОПЛЬ КРОВИ**
- 169 *Р. П.*  
**Хулиганские поучения в церкви,  
или Иудина мораль**
- 173 *М. Рыклин*  
**Бюрократия вне закона**
- 181 *В. Шмыров*  
**Прощание с партийным эпосом**
- 192 **Наши авторы**

**6**

**1991**

**В ПЕРВОМ НОМЕРЕ 1992 ГОДА  
ЧИТАЙТЕ СЦЕНАРИИ:**

**О. Никич «Жванд-у-Жвак, или кое-какие личные дела»**

**Г. Николаев «Звездный час по местному времени»  
(«Облако-рай»)**

**Р. В. Фассбиндер «Любовь холоднее смерти»,  
«Торговец четырьмя временами года»**

**М. Антониони «Блоу-ап»**

**Ю. Дамскер «Маленькие человечки Большевистского переулка»  
Воспоминания В. Фрида. «Не пайкой единой...»**

**Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ**

**Редакционная коллегия:**

**О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,  
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, В. МАШУКОВ (зам. главного редактора),  
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ**

**Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА**

**Технический редактор Л. МАРКОВА**

**Корректор Е. ПЫЛАЕВА**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются. По всем вопросам подписки и доставки журнала обращаться в местные отделения «Союзпечати». О типографском браке сообщать в Чеховский полиграфический комбинат.**

---

Сдано в набор 22.08.91. Подписано к печати 23.09.91.  
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,2.  
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».  
Гарн. таймс. Тираж 20480 экз. Заказ № 1378. Цена 2 р. 00 к.  
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр».  
123376, Москва, Дружинниковская, ул., 15.  
Тел. 205-30-01.  
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер. д. 12.  
Телефон 299-47-74.

---

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат  
Государственной ассоциации предприятий, объединения и организаций  
полиграфической промышленности «АСПОЛ»  
142300, г. Чехов Московской области.



**Рустам  
ИБРАГИМБЕКОВ**

## **УБИЙСТВО СТОЛЫПИНА**

**Документальная драма  
в одном действии**

Театральная ложа, несколько ресторанных столиков, стол и кресло из служебного кабинета, кровать с балдахином и другие предметы быта начала века, сочетаясь с виселицей в глубине сцены, складываются в условный коллажный образ «Взорванная Россия».

В этих обломках канувшего в небытие мира застыли в потрясении люди: **СТОЛЫПИН**, его убийца **БОГРОВ**, **ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II**, **ГАЗЕТЧИК**, **ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОФИЦЕР**, **РЕВОЛЮЦИОНЕР**, **БАРЫШНЯ**, **ОТЕЦ**, **МАТЬ**, **ПОЛИЦЕЙСКИЕ** и другие... В глубине, за ресторанными столиками, разместились посетители, есть среди них и женщины. Время от времени, отрываясь от веселой ресторанной жизни, посетители выражают свое отношение к происходящему на сцене. Но ненадолго.

**Газетчик** (*выходит вперед, в зал*). Правительственный вестник. Срочная. Киев, 1 сентября, 11 часов 52 минуты. В киевском городском театре во 2-м антракте оперы «Царь Салтан» Председатель Совета Министров Столыпин ранен выстрелами из револьвера. Одна пуля попала в ногу скрипачу Берглеру. Задержанный на месте преступления назвался помощником присяжного поверенного Богровым. Председатель Совета Министров стоял у рам-

пы, повернувшись лицом к публике, и беседовал с подходившими к нему людьми.

Столыпин медленно приближается к рампе, вглядывается в зал, в лица обступивших его на сцене людей, провожает взглядом Богрова, который направляется в зрительный зал, чтобы занять место среди посетителей в последнем ряду партера.

Отец, Мать и Барышня бросаются к Богрову, пытаются его остановить; он их успокаивает, идет в зал.

**Столыпин**. Нас упрекают в том, что Правительство желает в настоящее время обратить всю свою деятельность исключительно на репрессии, что оно не желает заняться работой созидательной, что оно не желает подложить фундамент права — то правовое основание, в котором, несомненно, нуждается в моменты созидания каждое государство и тем более в настоящую историческую минуту Россия. Мне кажется, что мысль Правительства иная. Правительство наряду с подавлением революции задалось задачей поднять население до возможности на деле, в действительности воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он нахо-



дится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы. Для того чтобы воспользоваться этими благами, нужна известная, хотя бы самая малая доля самостоятельности. Мне, господа, вспомнились слова нашего писателя Достоевского, что «деньги — это чеканенная свобода». Поэтому Правительство не могло не идти навстречу, не могло не дать удовлетворения тому врожденному у каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина — чувству личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека. Вот почему раньше всего и прежде всего Правительство облегчает крестьянам переустройство их хозяйственного быта и улучшение его путем наделения личной земельной собственностью. Мелкий земельный собственник, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот тогда только писанная свобода превратится в настоящую!

Богров, двадцатидвухлетний молодой человек во фраке, уже поднялся со своего места и идет к Столыпину; метрах в трех от сцены он выхватывает из кармана браунинг и стреляет два раза. Раздается пронзительный женский крик.

Мать теряет сознание, валится на руки Отцу. К ним подбегает Барышня.

Столыпин хватается рукой за правую сторону груди, медленным движением снимает с себя китель, отдает одному из окружающих его людей: на белом жилете немного выше правого кармана красное пятно величиной с медный пятак. Он поворачивает лицо к ложе, в которой стоит Император, и левой рукой делает жест — успокаивающий, или, скорее, предостерегающий.

Богров застыл некоторое время на месте, не опуская руку с пистолетом, затем, повернувшись, быстро идет по проходу, но тут на него набрасываются спрыгнувшие со сцены люди, они валят его на пол, бьют. Кто-то обнажает шпагу, раздаются крики: «Убить его! Убить!» Слышны возражения: «Что вы! Что вы! Зачем убивать? На суд! Оставьте его!»

Богрова тащат на сцену. Ставят на колени, удерживая в этом положении.

Отец и Мать пытаются приблизиться к нему, но их отстраняют.

Звучит гимн. Затем кто-то в верхах запекает: «Спаси, Господи». Молитву подхватывают все стоящие на сцене.

**Полицейский офицер (в зал).** За послед-

ние два года революционное движение проявляется с чрезвычайным напряжением. С весны этого года оно особенно усилилось. Почти не проходит дня без какого-либо злодеяния. Военные мятежи в Севастополе, в Свеаборге, в Ревельском порте и в Кронштадте, убийства должностных лиц и грабежи следуют один за другим. Преступления эти ясно доказывают, что революционные организации напрягли все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать спокойной работе Правительства, расстроить его ряды и применением грубого насилия прекратить всякую работу мысли и всякую возможность созидательной жизни государства.

**Газетчик.** Правительственный вестник. 2 сентября 1911 года. По доставлении в лечебницу Председатель Совета Министров просил передать Государю Императору, что он готов умереть за него, просил успокоить жену и пригласить священника. Констатированы две огнестрельные раны — одна в правой стороне груди, другая — в кисти правой руки. Первая половина ночи проведена тревожно. К утру наступило улучшение. Температура 37°, пульс 92. Академик Рейн, профессор Волкова, профессор Яновский, доктор Афанасьев, приват-доцент Дитерикс.

Столыпин к этому моменту уже лежит на кровати, окружающие его люди оказывают ему помощь.

Богров, все еще насильно удерживаемый на коленях, наблюдает за состоянием Столыпина.

**Газетчик.** «Новое время», 3 сентября 1911 года. Киев.

В лечебнице, где помещается раненый Председатель Совета Министров, находится следователь по особо важным делам Фоненко. С 1 сентября начались допросы Богрова.

**Богров (поднявшись с колен, схваченный с двух сторон за руки Полицейскими, выходит на авансцену).** Зовут меня Дмитрий Григорьевич Богров, от роду 22 года, звание помощника присяжного поверенного. Проживаю в Киеве. На предложенные вопросы отвечаю: решив еще задолго до наступления августовских торжеств совершить покушение на жизнь Премьер-министра Столыпина, я искал способ осуществить это намерение. Покушение на жизнь Столыпина произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступления от установившегося в 1905 году порядка: роспуск Государственной думы, изменение избирательного закона, притеснение печати ино-

родцев, игнорирование мнений Государственной думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа.

**Полицейский офицер.** За одно нынешнее лето из числа высших должностных лиц убиты революционерами разных направлений: командир Черноморского флота Чухнин, самарский губернатор Блок, генерал от кавалерии Волярский, помощник варшавского генерал-губернатора генерал Мархграфский и командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майор Мин.

Независимо от всего произведен ряд возмутительных, сопровождавшихся многочисленными жертвами покушений на должностных лиц, наконец, полиция каждодневно терпит громадный урон убитыми и ранеными. Еще до роспуска Государственной думы революционные круги деятельно готовили, с одной стороны, вооруженное восстание, с другой же — всеобщее аграрное движение, обещавшее объять всю страну.

В чем при таких обстоятельствах должна заключаться обязанность Правительства и что оно должно предпринять?

**Революционер.** Ввиду появившихся во всех почти русских газетах известий о причастности партии социал-революционеров к делу Дмитрия Богрова центральный комитет партии эсеров заявляет: ни центральный комитет, ни какие-либо местные партийные организации не принимали никакого участия в деле Дмитрия Богрова. Мы не знаем, кто такой Богров. По одной версии, он — раскаявшийся охранник, по другой — анархист, поступивший в охранку с революционными целями. Быть может, есть какая-либо третья, пока еще не обнаруженная, но соответствующая действительности? Неизвестно.

**Богров.** Еще в 1907 году у меня зародилась мысль о совершении террористического акта в форме убийства кого-либо из высших представителей правительства, каковая мысль являлась прямым последствием моих анархических убеждений...

Вырос я в семье отца моего и матери, которые проживают в Киеве. Дом отца моего находится на Бибикивском бульваре № 4 и стоит приблизительно 400 тысяч рублей. После окончания 1-й гимназии в 1905 году я поступил в Киевский университет на юридический факультет. В сентябре того же года я уехал в Мюнхен для продолжения учения, так как Киевский университет был закрыт. Вернулся я из Мюнхена осенью 1906 года. В то время я уже был настроен революционно, хотя ни в каких конкретных поступках это мое настроение не выражалось. Вернувшись в Киев, я в декабре 1906 года примкнул через студенческий кружок к группе анархистов-

коммунистов, с которыми я познакомился через студента Татиева под кличкой Ираклий. В настоящее время (1911 год) он куда-то выслан, куда — не знаю. Примкнул к группе анархистов вследствие того, что считал правильной их теорию и желал подробнее познакомиться с их деятельностью. Однако вскоре, в середине 1907 года, я разочаровался в деятельности этих лиц, ибо пришел к заключению, что все они преследуют, главным образом, чисто разбойничьи цели. Именно поэтому я решил действовать самостоятельно.

**Барышня** (*подходит к Богрову, ласково проводит рукой по его лицу. В зал*). Однажды мы обсуждали с Димой дело Марии Гарновской и психологию двух его участников, Прилукова и Наумова, совершенно порабощенных сильной личностью этой женщины и погубивших из-за нее карьеру и жизнь.

**Богров** (*Барышне*). Денег бы я на эту женщину не пожалел, но хотел бы посмотреть, как бы она заставила меня убить человека. Нет, я органически не понимаю такого сильного чувства к женщине.

**Барышня** (*скрывая внутреннее волнение, с нежным упреком*). А вообще, Митя, ты понимаешь какое бы то ни было сильное чувство, такое, которое может выбить из привычной колеи, перевернуть вверх дном всю жизнь?

**Богров** (*со спокойным вызовом*). Да, представь, дорогая, я способен на сильное чувство, но не любовь — на ненависть! Я ненавижу одного человека, которого никогда не видел.

**Барышня.** Кого?

**Богров.** Столыпина.

**Газетчик.** «Правда». Еврейская газета, издаваемая в Нью-Йорке на идише. Мы надемся, что пуля, угодившая в Столыпина, верно попала в цель, что она выполнила свое назначение, что мудрая пуля освободила Россию от ея несчастья, мир — от гнусного создания, человечество — от великого позора.

**Столыпин** (*через силу приподнявшись на кровати*). Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время неурядиц всех законодательных государственных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности... Когда начали царить ужас и террор, Правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целостности русского народа, или действовать и отстаивать то, что было ей вверено.

**Газетчик.** «Аванти». Орган итальянской со-

диалистической партии. Русская революция предложила Столыпину 5 лет перемирия, чтобы ввести реформы. Столыпин принял его для того, чтобы убивать, вешать, ссылая, организовывать погромы, разогнать Думу, закрывать школы, университеты, уничтожать газеты. Столыпин в течение 5 лет был бичом Святой Руси. И вот один встал и говорит: этому должно положить конец.

**Революционер.** Был теплый, солнечный день. Мы только что пообедали в два часа. Вдруг мне сообщают, что какой-то господин пришел и спрашивает, можно ли меня видеть. Я просил пригласить пришедшего в мой кабинет.

Направляется к письменному столу, садится в кресло.

Вскоре дверь открылась, и в комнату вошел довольно высокий, стройный и изящно одетый молодой человек.

Богров освобождается из рук Полицейских, приближается к Революционеру. Полицейские, отстав на шаг-другой, следуют за ним.

**Богров.** Простите... Вы будете Егор Егорович Лазарев?

**Революционер.** Я самый. Чем могу служить?

**Богров.** Я имею к вам экстренное поручение: передать вам вот эти письма, которые привезла из Парижа одна дама.

Революционер жестом приглашает его сесть и разбирает письма.

**Богров.** Мне нужно переговорить с вами и о другом очень важном деле.

**Революционер (в зал).** Письмо действительно было ценное. Между прочим требовалось предупредить скрывающегося товарища о том, что его место пребывания открыто и чтобы он немедленно исчез оттуда... (Богрову.) К вашим услугам. Позвольте узнать, с кем имею дело?

**Богров.** Новоиспеченный помощник присяжного поверенного Дмитрий Григорьевич Богров. Вам мое имя ничего не скажет. Я чувствую себя в очень неловком положении, приступая к делу, которое меня интересует. Неловкость заключается в том, что вы меня совсем не знаете, а я вас знаю давно. Между тем дело, по которому я обращаюсь к вам, требует полного и с вашей стороны ко мне доверия. Но я прошу вас облегчить мне эту задачу...

**Революционер (в зал).** Я чувствовал по тону, что он как будто бы стесняется сказать про свои какие-нибудь любовные похождения, и смеясь поощрил его... (Богро-

ву.) Ваше предисловие захватывает любопытство слушателя, как в хорошем французском романе, который начинается картиной: «На башне святой Мадлены пробило 12 часов ночи, когда фигура, закутанная в черный плащ...» и так далее. Говорите прямо: перестали учиться, хотите жениться или губернаторское место получить? Будьте покойны, с моей стороны препятствий не будет.

**Богров.** Я хотел бы побеседовать с вами абсолютно конфиденциально. Нам никто здесь не помешает?

**Революционер (в зал).** Я встал, отворил дверь, выглянул. Там никого не было. (Богрову.) Я живу у своих хороших знакомых. Мы совершенно одни. Можете говорить.

**Богров (прошелся по комнате, потом, приблизившись к Революционеру, вдруг выпалил).** Я решил убить Столыпина.

**Революционер.** Чем он вас огорчил?

**Богров.** Вам кажется это шуткой или сумасшествием с моей стороны, но то, что я сказал, обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить.

**Революционер.** Тогда за чем же дело стало? Вы хотите пригласить меня в компанию или в секунданты?

**Богров.** Вам, по-видимому, смешно, а мне очень тяжело. У меня нет подходящих товарищей, с которыми я мог бы посоветоваться. Я рассчитывал, что вы серьезно отнесетесь к моему сообщению.

**Революционер (улыбаясь).** Предоставим свободу каждому быть самим собой. Вы человек серьезный, я человек шуточный. Итак, почему вы рассерчали на Столыпина и почему обратились ко мне?

**Богров.** Я думаю, что Столыпин является теперь самой зловерной фигурой и вождем правительственной реакции. Укажите другое, более зловерное лицо, и я буду вам очень благодарен.

**Революционер.** Итак, ваши разногласия со Столыпиным чисто идеологического свойства. Почему же вы обращаетесь к моему посредничеству? Чем я могу быть полезным?

**Богров.** Я не новичок в идейном движении. С гимназической скамьи я прошел всю гамму прогрессивных воззрений, от либерализма до анархизма включительно. Дальше анархизма идти было некуда. И я искренне увлекался. Но выкинуть Столыпина с политической арены от имени анархистов я не могу, потому что у анархистов нет партии, нет правил, обязательных для всех членов. Совершив удачно намеченный акт, я должен буду заявить, что действовал от своего имени. Какое политическое значение будет иметь при таких условиях смерть или удаление Столыпина? Не более чем нормальная, естественная

смерть, то есть никакого политического значения. Другое дело, если бы хорошо организованная партия вроде партии социалистов-революционеров согласилась использовать мой акт и в случае его удачи санкционировать его как совершенный по постановлению или просто с согласия партии.

**Революционер.** Я начинаю понимать. Продолжайте.

**Богров.** Продолжать, в сущности, нечего. Когда у меня окончательно созрело решение покончить со Столыпиным, я стал искать пути к вашей партии, чтобы получить от нее санкции моего выступления. Это все, чего я добиваюсь. Что вы скажете?

**Революционер.** Этот вопрос не так прост, как вы его себе представляете. Такие вещи экспромтом не делаются. Боевые выступления партии после тщательного обсуждения производятся по определенному плану, определенными лицами, которые, в сущности, идут на смерть,— вы не забывайте этого,— идут, конечно, совершенно добровольно, как и вы, но поведение которых приходится под контролем. Участники должны быть люди партийные, надежные, преданные. Вы же предполагаете экспромт. Я вас не знаю, но лично я вам верю. Однако одного этого недостаточно. В этом деле, больше чем в каком-либо другом, все зависит от настроения, темперамента и силы воли. Настроение людей бывает переменчиво.

**Богров.** О моем настроении не беспокойтесь. Я пришел к вам не случайно. Я знаю, на что иду, и знаю все последствия.

**Революционер.** Я смотрю на вас и люблю: какой блестящий молодой человек, что называется — из молодых, да ранний; вся жизнь у него впереди, сколько добра и пользы мог бы людям принести. И вдруг — разочарование... Что вас побуждает, человека молодого, цветущего здоровьем, брать на себя столь радикальную инициативу и ответственную роль? И второй вопрос: почему вы облюбовали Столыпина, а не другое лицо — если вы признаете центральный террор?

**Богров.** Потому что, по-моему, важнее Столыпина только царь. А до царя мне добратся, одному, почти невозможно. Но если бы партия взялась мне помочь, я отдался бы охотно в ее распоряжение.

**Революционер.** Вы еврей?

**Богров.** Еврей.

**Революционер.** Тогда вы человек неподходящий.

**Богров.** Как так? Почему?

**Революционер** (*усмехнувшись*). Потому что партия не позволяет нашего батюшку

царя евреям убивать.

**Богров.** Вы думаете, из боязни еврейских погромов?

**Революционер.** Главным образом поэтому... Отчетливо ли вы сознаете, что, делая это предложение, вы осуждаете себя на смерть?

**Богров.** Если бы я этого не сознавал, я не обратился бы к вам. Я хочу обеспечить за собой уверенность, что после моей смерти останутся люди и целая партия, которые правильно истолкуют мое поведение, объяснив его общественными, а не личными мотивами. Столыпин должен заплатить жизнью за содеянное им. Вы лучше меня знаете, во что обошелся манифест 17 октября: карательные экспедиции залили рабочей и крестьянской кровью всю страну. Где первая и вторая Думы? Все-му свету известно, как и при каких условиях они были разогнаны и какими последствиями сопровождались. И властным руководителем всей этой дикой реакции является Столыпин...

**Столыпин** (*с грудом поднявшись с кровати, выходит вперед*). Меня обвиняют в репрессиях... Но посудите сами, 12 августа 1906 года на мою жизнь произвели покушение взрывом дачи на Аптекарском острове, убито 27, ранено 33 лица, и в их числе тяжело пострадала дочь и ранен был мой малолетний сын. Сила страшного взрыва была такова, что частями разрушенных стен и выброшенных из домов предметов мебели, а также мелкими осколками стекла, раздробленными почти в крупу, была осыпана вся набережная перед дачей. Трупы убитых, вырытые работавшими пожарными и солдатами, оказались большей частью с оборванными частями тела, многие имели вид бесформенного мяса, без головы, рук и ног... Меня обвиняют в разгоне первой Государственной думы. Но как быстро забыт буйный ее состав, полное нежелание перейти от хлестких и революционных речей к тому практическому делу, ради которого было призвано народное представительство и которого так страстно ожидала застоявшаяся в нужных ей поступательных реформах Россия. С первого же заседания нашего молодого парламента можно было достаточно ясно убедиться, что он не пригоден к той роли, которая ему была предназначена, и через несколько месяцев непрерывных столкновений с представителями власти его вынуждены были распустить. Следующий состав Государственной думы пытался занять ту же позицию, что и Дума первого призыва, и стране угрожала опасность, что вся деятельность господ депутатов сведется к систематической оппозиции правительству, исключительной критике и резким выступлениям, при каковой политике действий совершенно парализовалась та про-



грамма, которая достаточно определенно была высказана в высочайшем манифесте по случаю роспуска первой Думы. И тогда я, облеченный к тому времени властью Председателя Совета Министров, выступил со своей декларацией в заседании 6 марта 1907 года, которая очертила мою наступательную на революцию позицию и создала из меня тот оплот силы, власти и законности, которые до того отсутствовали и которые возвращали правительству его авторитет в населении... Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление: эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты могло ответить только двумя словами: «Не запугаете».

Революционер встает, выходит из-за стола, давая понять Богрову, что аудиенция окончена.

Полицейские хватают Богрова.

Газетчик. Газета «Знамя труда» № 38. Заявление Центрального комитета партии социал-революционеров. Мы не знаем, кто такой Богров. Допуская даже, что он анархист, решивший поступить на службу в охранку с революционными целями, мы все же не имеем никаких данных для сведения о том, что привело его к такому решению. Легкомыслие? Недостаток моральной чуткости? Наклонность к авантюризму? Или, может быть, безрассудная уверенность, что при наличии царской кругом апатии и разлухи человеку с революционным темпераментом остается лишь одно: действовать на свой личный страх и риск?

Барышня (*возмущенно*). Никто не знал Митю Богрова, как знала его я. Впервые я увидела его в доме моего кузена Володи, где собиралось тогда много молодежи. Я только что окончила 8-й, педагогический класс гимназии. Время было бурное, предреволюционное, 1905—1906 годы, дух захватывало от всяких течений и веяний, повсюду возникали кружки и партии, и необходимо было немедленно решить — кем быть, к какому примкнуть, в какую партию записаться!.. И вот тогда-то брат сказал мне: хочешь, покажу тебе настоящего, живого анархиста! Он был тогда еще очень

молод, Митя, в черной гимназической куртке, краснеющий чуть ли не при каждом слове. Из того, что сказал мне о нем брат, я заключила, что Митя примыкал к анархистам-коммунистам, так, по крайней мере, это движение тогда называлось, в противоположность анархистам-индивидуалистам. Я сразу в него влюбилась и вечером того же дня об этом ему сказала... Я разузнала адрес и явилась к нему домой. Он жил с родителями, но комната его с отдельным входом... Добрый вечер.

Богров (*удивленно*). Здравствуйте. Мы, кажется, виделись где-то?

Барышня. Я пришла сказать, что люблю вас.

Богров (*смугившись*). Я очень признателен, но...

Барышня (*перебивает*). Может быть, вы предложите мне сесть?

Богров. Да, конечно. Пожалуйста.

Барышня. Можете предложить мне и чаю.

Богров. С этим сложнее. За чаем надо сходить к родителям. Я живу с родителями.

Барышня. Я знаю. Я все о вас знаю.

Богров. Так уж и все. Вы сестра Володи?

Барышня. Да.

Богров (*решившись*). Вы действительно очень красивая. Мне говорили, что у Володи красивая сестра.

Барышня. Можете меня поцеловать.

Подходит к Богрову, кладет руки ему на плечи.

Богров (*смущенно*). Вы не обидитесь?

Барышня. Я хочу этого.

Богров нерешительно обнимает ее, целует в губы. Она страстно прижимается к нему. Затем так же порывисто отстраняется.

Барышня. Все. На сегодня хватит. (*Отходит.*) Что вы обо мне думаете?

Богров. Все так неожиданно.

Барышня. Не смейте думать обо мне плохо — вы мой первый возлюбленный.

Богров. Я не думаю.

Барышня. Вы уже убили кого-нибудь?

Богров (*смешавшись*). Нет. А почему вы спросили?

Барышня. Но вы же анархист.

Богров. Да. А кто вам сказал?

Барышня. Володя. Я прочитала сегодня трактат «Единственный и его собственность», чтобы понять вас, вашу философию.

Богров. Поедемте куда-нибудь, в ресторан.

Барышня. Зачем?

Богров. Повеселимся...

Вступает лихая ресторанный музыка. Посетители окружают Богрова и Барышню. Все танцуют.

**Барышня** (*в зал*). Я встречалась с ним почти каждый день. Это продолжалось до его ареста летом 1908 года... Я думаю, он разделял мои чувства...

Обнимает Богрова, осыпает поцелуями его лицо, шею, грудь. Он сжимает ее в объятиях.

**Барышня** (*сжмнув веки, обессиленным шепотом*). Милый, родной... Сильный... Я хочу быть твоей... Навсегда...

Богров еще некоторое время страстно ласкает Барышню. Затем отпускает ее, нервно отходит в сторону.

**Богров**. Это невозможно, и ты это прекрасно знаешь.

Барышня обнимает его, целует.

**Барышня**. Ничего я не знаю. Ты все придумал. Тебе кажется. Ты внушил себе. **Богров** (*отвечая на поцелуи*). Может быть, но...

**Барышня** (*перебивает*). Со мной этого не случится, поверь...

Ласкает его все смелее и смелее.

**Богров** (*задышающимся голосом*). Еще немного... Да, да, вот так...

**Барышня** (*повторяет, как в забыты*). Все получится... Поверь... Они тебя не любили. Никто тебя не любил. А это важно... Ты можешь делать со мной все что хочешь... Все, все... Я не боюсь боли... Мне даже нравится...

Богров вдруг резко отстраняется, отходит в сторону.

**Богров**. Это невозможно.

Барышня, приближаясь к нему, обнимает.

**Барышня**. Я узнавала. Это бывает. Ты должен преодолеть...

**Богров**. У кого ты спрашивала?

**Барышня**. У врача. Это от нервов. У тебя слишком нервная натура.

**Богров**. Что ты ему сказала?

**Барышня** (*лаская его*). Я не назвала ни своего, ни твоего имени. Только описала то, что ты мне рассказывал о снах.

**Богров**. И что он сказал?

**Барышня**. Ты не хочешь пойти к нему?

**Богров**. Нет. Что он сказал?

**Барышня**. У тебя все в порядке.

**Богров**. Я это знаю.

**Барышня** (*продолжает его ласкать, прерывающимся голосом*). Но ты не свободен... Ты должен освободиться. Как во сне...

Он спрашивал, какие сновидения тебя преследуют.

**Богров** (*возбуждаясь*). Они не преследуют. Я сам их вызываю. Я вижу их каждую ночь.

**Барышня**. И все происходит?

**Богров**. Да.

**Барышня** (*стонет*). О-о-о! Как я хочу, чтобы у нас получилось. Расскажи мне, что ты видишь...

**Богров**. Я же просил.

**Барышня**. Умоляю.

**Богров**. Не могу.

**Барышня**. Но почему?

**Богров**. Это страшно.

**Барышня** (*восхищенная ужасом*). Страшно?!

**Богров**. Да, очень.

**Барышня** (*задыхаясь*). Я согласна на все.

**Богров**. Это только кажется.

**Барышня**. Сделай, умоляю, сделай со мной все что тебе хочется.

**Богров** (*не сразу*). Ты не понимаешь, что говоришь... (*Отгаликивает ее, отходит в сторону*.) Я не смогу жить потом.

**Барышня**. Но во сне же ты это делаешь.

**Богров**. Во сне — это не я.

**Барышня** (*идет к нему, обнимает*). Ты, ты. И я люблю тебя такого. Неужели ты не понимаешь?! Я создана для тебя... Или я, или никто.

**Богров** (*смотрит на нее странно, тихо*). Или все.

**Барышня** (*ей кажется, что она ослышалась*). Что?

**Богров**. Или все.

**Барышня**. Их что, много... в твоих сновидениях?

**Богров**. Да... Но не сразу. По одной.

**Барышня**. И что? Что ты с ними делаешь?

**Богров**. Оставь меня. Прошу. Это так страшно. Я не могу сказать...

Вырывается из ее объятий. Начинает рыдать, закрыв лицо руками.

**Барышня**. Я не теряла надежды, что смогу спасти его. Многие в нем было связано той страшной несвободой, она лишала его возможности нормальных человеческих радостей... Летом 1908 года Митю арестовали. Заключение было кратковременным и не отразилось на Мите нисколько — он ничего не рассказывал, ни на что не жаловался, все, казалось бы, пошло на сторону... В этот период — с весны 1908 года — он работал усиленно; переутомившись, он хватался за голову, жалуясь на рассеянность, на слабую работу памяти. Все убеждали его делать передышки, но тщетно. С видом загнанного волка он продолжал работать, со дня на день откладывая отъезд на поправку. И тогда-то

случилась беда: освобождение его вызвало против него со стороны некоторых товарищей, находившихся в тюрьме, усиленные подозрения в провокаторстве. Как сказал мне брат, по правилам конспирации, освобожденный должен был исчезнуть из мест, где был арестован. Но Митя откладывал свой отъезд до времени, пока товарищи не снимут с него подозрения, которые могли рассеяться лишь после взаимных объяснений. Он очень страдал, но в конце концов в тюрьме состоялся товарищеский суд, который одновременно оправдал Митю от всяких подозрений и признал слухи о нем вздорными.

**Революционер** (как бы возражает Барышине). Впервые о роли Богрова как агента царской охраны мне пришлось услышать в сентябре 1907 года, когда я вернулся назад в Киев после месячного пребывания в предварилке. Во второй раз этот вопрос вновь возник в киевской тюрьме, «Лукияновке», когда я находился там под следствием. В одной камере со мной находился мой сопроцессник Наум Тыш. Он как-то раз, получив письмо от жены, понятно, что оно шло нелегальным путем, сообщил мне, что Богров — провокатор. И привел доводы, основанные на известных ему данных. Я отнесся к этому крайне осторожно и предложил тому не поднимать шума, а просить товарищей, находящихся на воле, возможно детально все расследовать. Однако в одной из камер нашего коридора все же состоялось совещание всех, кто работал с Богровым еще на воле. Всего собралось человек 10—12. После бурного обмена мнениями была вынесена туманная резолюция, которая и была переслана на волю. Наконец, в третий и последний раз о провокаторской роли Богрова пришлось мне услышать от другого моего сопроцессника Шмельте-Хроры. Он в категорической форме сказал мне, что сомнений нет в провокаторстве Богрова. Это уже было после нашего суда в 1909 году, когда была арестована товарищ Роза с некоторыми другими товарищами, которые, будучи на воле, постоянно сталкивались с Богровым. Товарищ Роза в своей тюремной переписке выставляла ряд доказательств. Таким образом, лично для меня ко дню моего выхода из «Лукияновки» 19 февраля 1911 года было ясно, что Богров имеет запятнанную политическую репутацию: его честь как политического работника под большим вопросом... Тогда же я был послан к нему на переговоры. В первых числах марта 1911 года я позвонил в квартиру Богрова на Бибикивском бульваре дом № 4. Что мне бросилось сразу в глаза и крайне поразило в его наружности — так это то, что он не по летам поседел. «Нервы, волнения», — мелькнуло у меня тогда в голове. Вначале разговор не клеился, был сух, односложен, отрывист. (Подходит к Богрову).

Он интересовался моей жизнью в тюрьме, вспомнил ряд имен и фамилий, спрашивал, где они в настоящее время. Я, конечно, знал местожительство многих, так как переписывался с ними, но тем не менее, по вполне понятным соображениям, отвечал полным незнанием. Постепенно мы перешли к нашему провалу и суду, и как-то незаметно он сам первый заговорил о том, что его обвиняют в целом ряде предательств и, обвиняя, указывают на сотрудничество в охранке. И еще он сказал, как о факте, что товарищи, не разобравшись в его провокаторстве, следили за ним и что кто-то из них, по-видимому, собирався его убить, и только благодаря счастливой случайности он избег смерти...

**Богров.** Смотрите, как я поседел... Я сознательно ушел от политической работы. Но я не могу заняться и общественной работой: мое имя опорочено... Что бы вы сделали на моем месте?

**Революционер.** Реабилитируйте себя.

**Богров.** А что думают остальные товарищи?

**Революционер** (уклончиво). Вероятно, они будут солидарны со мной.

**Богров.** Итак, вы все требуете от меня реабилитации, значит, для вас нет сомнений в моей провокации?

**Революционер** (в зал). Я его перебил, указав, что ни я, ни мои товарищи не требуют от него реабилитации, а что на его личный вопрос я ему указываю путь реабилитации для того, чтобы вернуть ему душевное равновесие, которое он, по его же словам, совершенно потерял. Но он, видимо, не поверил.

**Богров** (принужденно смеется). Так что же, так вот выйти и сейчас на перекрестке убить первого попавшегося городского? Это ли реабилитация?

**Революционер.** Я ничего не отвечал.

**Богров.** Скажите мне, какой мотив мог бы побудить меня служить в охранке? Что говорят по этому поводу?.. Деньги? В них я не нуждаюсь. Известность? Но никто из генералов от революции по моей вине не пострадал. Женщины?..

**Революционер.** И он, пожав плечами, умолк. Разговор уже стал близиться к концу. Чувствовалась неловкость. Я подошел к книгам, расставленным на этажерке.

**Богров.** Вы говорите — реабилитировать себя?.. Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя.

**Революционер.** Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая!

**Богров.** Нет. Николай — ерунда. Николай — игрушка в руках Столыпина. Я еврей и убийством Николая могу вызвать небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина.

**Революционер.** На это я ему заметил, что нельзя быть таким наивным, чтобы не знать, как трудно будет добраться сквозь толщу всякой охраны и до Николая, и до Столыпина, что это не под силу одному человеку, а потому необходимо противопоставить этой охране свою организацию боевиков, и я лично готов принять участие в этой организации, а также подыскать для этой цели стойких, решительных товарищей.

**Богров.** Чтобы случайный провал, от которого никто не застрахован, послужил новым доказательством моей провокации?! Нет уж, я реабилитирую себя безо всякой организации, а как добраться до Столыпина — я знаю. Вы и товарищи еще услышите обо мне!

Полицейские хватают Богрова за руки, оттаскивают от Революционера.

**Барышня.** Эту фразу: «Вы еще услышите обо мне» — Митя сказал и моему брату... Я бросилась к Мите, умоляла его ничего не предпринимать, клялась, что верю безоговорочно в его благородство и честность. Он успокоил меня, заверив, что и думать не думает ни о чем рискованном. Я ему поверила. 12 августа родители уезжали за границу, и только материнское чувство учуяло в Диме что-то смутно беспокойное, неопределенно-гнетущее.

**Мать** (*подходит к Богрову*). Митя, дорогой мой, скажи мне правду. Ничего не случится? Могу я ехать спокойно?

**Богров.** Да что это тебе, мама, все кажется? Конечно, можешь.

Вырывается из рук полицейских, обнимается с Отцом, Матерью.

**Мать** (*осторожно*). Ты женишься на ней?

**Отец** (*сердито*). Что такое? Почему ты спрашиваешь его о таких вещах?

**Мать.** А почему я не могу спросить сына?

**Отец.** Потому что сейчас не время.

**Мать.** Потом будет поздно.

**Отец.** Что ты против нее имеешь?

**Мать.** Ничего. Она хорошая девушка.

**Отец.** Тогда в чем дело?

**Мать.** А ты не знаешь?

**Отец** (*Богрову*). Не слушай ее. Поступай, как подсказывает тебе сердце.

**Богров.** Спасибо, отец.

**Мать.** Что я могу сказать, Митя. Отец твой умный человек, но есть вещи, которых он не понимает.

**Отец** (*морщась*). Я все понимаю. Но я считаю, что мы не должны навязывать детям свои взгляды...

**Мать.** Если мы не навяжем, то другие это сделают.

**Богров.** Не волнуйся, мама.

**Мать.** Как же мне не волноваться, сынок? Разве я не вижу, что вокруг творится?

**Отец.** А что творится? Люди борются за свои идеалы. Так всегда было. И будет. Мой отец говорил: «Человек без идеалов — это как роженица без грудного молока».

**Мать.** Твой отец был писатель, он любил говорить красиво. А мой говорил: «Не суйте нос не в свои дела. Сами разберутся».

**Отец.** Что значит — не в свои? Что это значит? Мы живем на этой земле. Мы здесь рождаемся и умираем. Это наша жизнь, наша единственная жизнь. Почему мы не должны стараться сделать ее лучше?

**Мать.** Потому что во всем мы будем виноваты. Так всегда было и будет. Поэтому мне страшно.

**Богров.** Не волнуйся, мама.

**Отец** (*в зал*). Мы уехали. 18 августа я получил от него длинное, деловое письмо, детали которого укрепили нас в уверенности, что дома все благополучно. «Дорогой папа,— писал он,— с вашим отъездом дом опустел. Впрочем, последние дни я так забегался, что почти удается заглушить чувство одиночества. Через близкого знакомого газетного сотрудника М. я познакомился с некоторыми инженерами Городской думы. Один из них берется устроить большой заказ на водомеры на 12.500 рублей, но при этом, конечно, требуют куртаж в размере 400 рублей. При этих условиях на долю мою и моего компаньона остается по 800 рублей заработка». Так он писал 18 августа. А на самом деле работал над своим замыслом, и, как выяснилось позже, к 25 августа последний уже созрел... Если бы я знал, если бы знал...

Полицейские оттаскивают Богрова от Родителей.

**Мать** (*кричит*). Нет... Нет... Убейте лучше меня. Сыночек!.. Зачем ты не уехал?! Я так хотела, чтобы ты уехал отсюда.

**Полицейский офицер.** В декабре 1907 года Богров по агентурным указаниям Начальника Киевского губернского жандармского управления доставил мещанину Фридману тюк с нелегальными изданиями, прося распространить их среди крестьян. О Фридмане было возбуждено дознание. В 1908 году, принадлежа к группе киевских анархистов-коммунистов, Богров при ликвидации, то есть при аресте группы, дал ценные показания... Далее, в 1909 году...

**Барышня** (*перебивает*). Те, кто обвиняет Митю, не хотят понять, что вступление его в число сотрудников Киевского охранного отделения имеет лишь одно объяснение, данное им самим же: решение использовать охранное отделение для достижения своих революционных целей и, в частности, для совершения террористического акта, заду-



манного еще в 1907 году. Это подтверждается хотя бы тем, что по официальной справке Департамента полиции ни одно из лиц, названных им в так называемых агентурных сведениях, не пострадало по его вине, так как лица эти либо вообще не подвергались аресту, обыску или привлечению к дознанию, следствию и суду, либо уже были привлечены к ответственности перед тем, как о них упомянул Митя. Нелепо подозревать Митю в неблагодарных побуждениях. Все, кто когда-либо имел с ним дело, все без исключения, признавали неотъемлемую черту — его душевное благородство. Благородство, состоящее в том, что он до глубины души ненавидел насилие и допускал его только в отношении насильников, которых признавал только среди патентованных врагов: имущих власть...

**Богров** (*прерывает ее*). С середины 1907 года я решил давать сведения охранному отделению относительно группы анархистов, с которой имел связи, оставаясь для видимости в партии. Решимость эта была вызвана тем обстоятельством, что я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне был нужен этот излишек — я объяснить не желаю. Когда я впервые явился в середине 1907 года в охранное отделение, то начальник его, Кулябко, расспросил меня об имеющихся у меня сведениях, и, убедившись, по-видимому, что такие совпадают с его сведениями, Кулябко принял меня в число своих сотрудников. В охранном отделении я состоял до октября 1910 года, последние месяцы никаких сведений не давал. В охранном отделении я шел под фамилией Аленский, получал 100—150 рублей в месяц...

**Полицейский офицер** (*Богрову*). Почему после службы в Киевском охранном отделении через такой короткий срок вы снова сделали революционером?

**Богров**. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Может быть, по-вашему это нелогично, но у меня своя логика. Могу только добавить, что в Киевском охранном отделении я действовал исключительно в интересах сего последнего. А в нынешнем году я снова вернулся к давней своей идее. Но так как мне трудно было проникнуть в те места, где должен был иметь пребывание Столыпин, то я придумал ввести в заблуждение начальника Киевского охранного отделения Кулябко и при его помощи получить доступ в означенные места.

**Газетчик**. «Современное слово». Киев. 4 сентября. В состоянии здоровья Премьер-министра Столыпина наступило ухудшение. Явления воспаления брюшины продолжают. Положение очень серьезное.

**Богров** (*в зал*). 26 или 27 августа я отправился к Кулябко на квартиру, предварительно уведомив его по телефону о том, что имею сообщить ему некоторые сведения.

Кулябко принял меня у себя дома.

Полицейский офицер направляется к письменному столу, садится в кресло. Богров, освободившись из рук Полицейских, приближается к нему.

**Богров** (*Полицейскому офицеру*). В бытность мою в Санкт-Петербурге я сообщил фон Коттену о моем знакомстве с молодым террористом Николаем Ивановичем. Вчера утром я получил известие о том, что он вместе с женщиной, некоей Ниной Александровной, собираются прибыть в Киев во время торжеств для совершения убийства одного из видных министров. Они просили меня дать им возможность прибыть в Киев не по железной дороге и не на пароходе.

**Полицейский офицер** (*встает взволновано*). По какой причине?

**Богров**. Чтобы избегнуть полицейского наблюдения.

**Полицейский офицер** (*выходит из-за стола, подходит к Богрову*). Где они собираются останавливаться?

**Богров**. У меня на квартире. У них с собой бомба. Николай Иванович ночевал у меня и собирается встретиться с Ниной Александровной в 9 часов вечера где-то в окрестностях Владимирского собора.

**Полицейский офицер**. Где остановилась она?

**Богров**. Этого я не знаю. Что мне делать, если они дадут мне какое-либо поручение?

**Полицейский офицер**. Боже упаси! Никаких поручений. Ваша задача следить за каждым их шагом. Я установлю наблюдение за вашим домом.

**Богров**. В таком случае я должен быть изолирован от них, чтобы не возбуждать подозрения. Можете вы дать мне билет в театр?

**Полицейский офицер**. Зачем вам билет?

**Богров**. Я покажу его им и возьму на себя наблюдение за Столыпиным. Я смогу неправильно данным сигналом испортить их предприятие. Хорошо бы, если мое место было поближе к креслу Столыпина.

**Полицейский офицер**. В первых рядах будут сидеть только генералы и министры. Вам там находиться неудобно. Постараемся для вас что-либо сделать, но не убежден, что смогу.

**Богров** (*в зал*). Билет я получил в 8 вечера через филера Самсона Ивановича на углу Бибиковского бульвара и Пушкинской улицы, куда я вышел встревоженный долгим неполучением билета. План покушения мною разработан не был. Я был уверен, что, находясь в театре, смогу улучшить момент для того, чтобы приблизиться к Премьер-министру.

**Газетчик**. Журнал «Исторический вест-

ник», том 126. Впечатление очевидца убийства Петра Аркадьевича Столыпина. «Нет более неудобного места для террористического акта, чем театр. Особенно если на спектакле присутствует Государь Император с августейшими дочерьми. Билеты были расписаны между видными и всеми известными людьми. Контроль был очень строгий. В коридорах толпились мундиры и кители. Мы, фрачники, были в заметном меньшинстве. Минут за десять до приезда Государя в зале появились министры. Наконец прошел к своему креслу Председатель Совета Министров.

Столыпин с трудом поднимается с кровати, подходит к рампе.

Взоры всех были устремлены на него. Он стоял лицом к публике. Его румяное лицо было ясно и, по-видимому, спокойно. Около 9 часов приехал Государь с двумя августейшими дочерьми: Ольгой и Татьяной. Государь сел в выступ генерал-губернаторской ложи и был весь открыт театру. После троекратного гимна начался первый акт «Сказки о царе Салтане». Постановка была прекрасной, голоса тоже недурны. Я видел, как Столыпин во время первого действия раза два взглянул на Государя. Лицо его по-прежнему оставалось внешне спокойно. Так же прошел и второй акт, после которого все присутствовавшие в царской ложе ушли в свое фойе».

Николай II. Мы только что вышли с Ольгой и Татьяной из ложи, так как в театре было очень жарко. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета; я подумал, что сверху кому-нибудь на голову свалился бинокль, и вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые таскали кого-то, несколько дам кричали, а прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он поbledнел и что у него на кители и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Фредерикс и профессор Рейн помогали ему. Ольга и Татьяна вошли со мной в ложу и увидели все, что произошло. Пока Столыпину помогали выйти из зала, в коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум, там хотели покончить с убийцей, по-моему — к сожалению, полиция отбила его от публики и увела его в отдельное помещение для первого допроса. Все-таки он сильно помят и с двумя выбитыми зубами. Потом театр опять наполнился, был гимн, и я уехал с дочками в 11 часов. Можете представить, с какими чувствами!

**Полицейский офицер.** Когда избитого

убийцу выволокли из зала, я перевел взгляд на Столыпина. Он сидел, склонившись на бок, закрыв глаза. Его поддерживали. В газетах писали, что после выстрелов находившиеся вблизи премьеры лица побежали от него прочь. Это неверно. Все остались здесь и окружили раненого. Его подняли человек восемь и насколько можно осторожно вынесли из зала. Этот перенос, видимо, усилил боль — гримасы бледного лица выдавали мучительные страдания. Министр сжал зубы, чтобы не стонать и не кричать. Процессия с раненым еще не вышла из зала, как в ложе появился Государь. Открыли занавес. Вся труппа в костюмах во главе с антрепренером Брыкиным и режиссером Гецевичем стояла на сцене. Запели гимн. Вместе с артистками запел весь театр. Подъем был необычный. Некоторые артистки стояли на сцене на коленях и протягивали руки к Государю. Государь кланялся. Театр кричал «ура». Гимн был повторен три раза. Когда Государь ушел, кто-то на верхах запел «Спаси, Господи». Его поддерживали артисты и весь театр. Молитву пропели три раза.

**Газетчик.** «Новое время», 6 сентября 1911 года. Киев. В 10 часов 12 минут Петр Аркадьевич Столыпин тихо скончался. В истории России начинается новая глава.

**Полицейский офицер.** Государем Императором при отъезде из Киева дан на имя Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора Высочайший рескрипт.

**Николай II.** Федор Федорович! Оказанный нам в дни Нашего пребывания в древнем стольном городе Киеве и других посещенных Нами местностях Юго-Западного края радушный прием всех слоев населения глубоко тронул Меня и Государыню Императрицу. Наше светлое настроение омрачено злодейским покушением в Моем присутствии на верного слугу Моего, доблестного исполнителя своего долга, Председателя Совета Министров. Но доходящее до Нас со всех сторон выражение искреннего возмущения по поводу совершенного злодеяния убеждает Нас в том, что все благомыслящее население Киева, как и прочих посещенных Нами местностей, преисполненное одного желанья торжественно встретить своего Монарха, испытывает вместе с Нами чувство скорбного негодования. В памяти Нашей неизгладимо сохранится навсегда выраженная Нам любовь к Родине и Престолу населения Киева и представителей края: дворянства, земства и крестьянства. Поручаю Вам объявить всему населению Юго-Западного края и города Киева Мою и Государыни Императрицы искреннюю благодарность за оказанный Нам горячий прием.

**Газетчик.** От Петербургского телеграфного

агентства. Киев. 9 сентября. Сегодня в день погребения Председателя Совета Министров статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина повсеместно в Империи были совершены заупокойные литургии и отслужены панихиды в присутствии местных административных властей, гражданских и военных чинов, представителей общественных учреждений, учащихся и при громадном стечении народа.

**Революционер.** Убийство Столыпина вызвало настоящий взрыв холопских чувств. И в самом театре, где оно произошло, и в разных обществах целый поток негодующих и возмущенных чувств по адресу Богрова и патриотических и верноподданических чувств по адресу властей держащих. «Где же тот народ, за который борются революционеры и во имя которого они совершают свои террористические акты?» — ехидно вопрошает «Голос Москвы». Народ молчит! Но именно поэтому нужны террористические удары, чтобы вывести его из апатии и летаргии, чтобы ободрить и вдохновить его на борьбу за свои интересы, за свои свободу и права, чтобы призвать его к этой борьбе примером мужества и самопожертвования. И с точки зрения причинности, и с точки зрения целесообразности молчание народа, его подавленность — показатель в пользу террора, а не против него.

**Полицейский офицер.** Покушение на убийство П. А. Столыпина является актом безумия, стоящим за пределами здравого смысла. Нет надобности говорить о том, что убийство есть всегда убийство. Стрельяние из-за угла в беззащитного человека на всех языках заклеяно одним и тем же термином. Но не будем углубляться в обстановку безумного покушения, учиненного агентом сысковой полиции, не порвавшим своих связей с террористами. Моральное уродство людей выступает во всей своей наготы. Афишируя это уродство такими позорными актами, террористы выдают себе заслуженную аттестацию, против которой люди здравого смысла возражать не станут. Россия не нуждается в проявлениях дикого варварства. Наша родина стремится к мирному и безостановочному развитию своей внутренней жизни. Террористы являются закорнелыми врагами нашего прогресса. Они очень хорошо знают, что их дикие, безумные выступления открывают дорогу реакции. И эти люди говорят, что они геройски приносят себя в жертву высшим интересам родины!.. Пусть же они знают, что на их безумие Россия ответит гневным негодованием, которое выразится в общем осуждении кровной мести и варварской расправы.

**Газетчик.** Суд над Богровым состоялся в полутемной камере одного из бастионов

киевской крепости «Косой Капонир». Накануне суда Богров вручили обвинительный акт, который он принял спокойно. Богров попросил карандаш и бумагу, обещая дать важные показания. В этом ему было отказано. Заседание суда продолжалось 3 часа. В 8 часов 20 минут объявлен приговор, который Богров выслушал спокойно.

**Полицейский офицер.** Так как Богров отказался от принесения кассационной жалобы, то приговор был подтвержден через 24 часа по объявлению, а именно 10 сентября, в 10 часов вечера, и немедленно направлен к исполнению. Однако казнь была отложена на сутки ввиду того, что не принято казнить под воскресенье. Вчера, с вечера, начались приготовления к казни. Была сооружена на Лысой горе виселища; палач нашелся среди каторжан, содержащихся в Лукьяновской тюрьме. Палач поставил, однако, условием, чтобы его затем поместили в другую тюрьму, мотивируя свое требование тем, что боится расправы с ним других каторжан. Прилегающая к Лысой горе местность была тщательно осмотрена полицией и оцеплена сотней казаков и ротой пехоты. В начале второго часа все выехали на почтовых лошадях к месту казни. Присутствовали при совершении казни полицеймейстер, оба его помощника, пять участковых приставов, много околоточных и городских, товарищ прокурора и помощник секретаря окружного суда, городской врач и общественный равнин.

**Газетчик.** Тут же стояла группа представителей киевских организаций, человек около 30, во главе с Савенко. Они добились разрешения присутствовать при казни для того, чтобы убедиться, что Богров действительно будет казнен. Двое городских вывели Богрова из тюремной кареты, держа его под руки. Богров был без кандалов. Товарищ прокурора, показывая пальцем на Богрова, обратился к представителям общественности: «Ну, господа, опознайте, это он?» В ответ раздалось: «Как же. Он самый! Он в том самом фраке, в котором был в театре». Помощник секретаря громким голосом прочитал приговор, который Богров выслушал спокойно:

Полицейские связывают руки Богрову.

**Богров.** Пожалуй, в другое время мои коллеги-адвокаты могли бы мне позавидовать, если бы узнали, что уже десятый день я не выхожу из фрака... Пожалуйста, покрепче завяжите брюки, а то задержка выйдет.

**Полицейский офицер.** Может быть, желаете что-нибудь сказать равнину?

**Богров.** Желая. Но в отсутствие полиции.

**Полицейский офицер.** Это невозможно.

**Богров.** Если так, то можете приступить...

Отец и Мать кидаются к нему, но их сдерживают Полицейские.

**Богров** (*обращаясь к родителям*). Дорогие мама и папа! Единственный момент, когда мне становится тяжело, это при мысли о вас, дорогие мои. Я знаю, что вас глубоко поразила неожиданность всего происшедшего, знаю, что вы должны были растеряться под внезапностью обнаружения действительных и мнимых тайн. Что обо мне пишут, что дошло до сведения вашего, я не знаю. Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, мои милые, осталось обо мне мнение, как о человеке, может быть, и несчастном, но честном. Простите меня еще раз, забудьте все дурное, что слышите, и примиритесь со своим горем, как я мирюсь со своей участью. В вас я теряю самых лучших, самых близких мне людей, и я рад, что вы переживаете меня, а не я вас. Целую вас много, много раз. Целую и всех дорогих близких и у всех, у всех прошу прощения.

Столыпин медленно приближается к Богрову.

**Столыпин.** Зачем вы это сделали?.. Зачем погубили себя?.. Неужели история не научила вас, что подобные акции ни к чему не ведут?.. Нам нужно было еще несколько лет, и Россия сделалась бы великой державой, процветающей и богатой... Правительство разрабатывало в настоящее время целый ряд вопросов первостепенного государственного значения; важнейшие из них следующие: 1. О свободе вероисповедания. 2. О неприкосновенности личности и гражданском равноправии, в смысле устранения ограничений и стеснений отдельных групп населения. 3. Об улучшении крестьянского землевладения. 4. Об улучшении быта рабочих и, в частности, о государственном их страховании. 5. О реформе средней и высшей школы... Правительство рассчитывало на сочувствие благоразумной части общества, жаждущей успокоения, а не разрушения и распада государства. Со своей стороны Правительство считало для себя обязательным не стеснять свободно высказываемого общественного мнения, будь то печатным словом или путем общественных собраний. Но если эти способы разумного проявления общественного сознания воспользовались для проведения идей революционных, то Правительство вынуждено было законными мерами оградить население от обращения орудия просвещения и прогресса в способ пропаганды разрушения и насилия... Что еще мог бы я сделать для родины,

не поступи вы так со мной?..

Столыпин медленно отходит, ложится на кровать, замерев.

**Газетчик.** Богрову на голову накинута саван.

**Богров** (*уже под саваном*). Голову поднять выше что ли?

**Газетчик.** Палач набросил на шею петлю. Богров сам поднялся на табурет, и в этот момент палач вытолкнул табурет из-под ног Богрова... Тело повисло. В таком положении, как этого требует закон, тело висело 15 минут. Царила глубокая тишина. Факелы по-прежнему горели.

**Первый голос.** Небось больше стрелять не будет.

**Второй голос.** Теперь не время разговаривать.

**Газетчик.** Палач снял тело. Подошел врач, он констатировал смерть. Все это в общем продолжалось около сорока пяти минут...

Столыпин и Богров с накинутой на шею петлей продолжают стоять рядом.

**Николай II.** 10 сентября 1911 года. Севастополь. Милая, дорогая мама. Наконец нахожу время написать тебе о нашем путешествии, которое было наполнено самыми разнообразными впечатлениями, и радостными, и грустными. Начну по порядку. Последние недели в Петергофе были переполнены: встречи, официальные приемы, две свадьбы и маневры — все это проходило, как кинематограф. Тебе, наверное, описали обе свадьбы — в Петергофе и в Павловске. Потом в Царском Селе я осматривал почти четыре часа подряд очень интересную выставку в память 200-летия Царского, устроенную в парке около Большого дворца и вокруг озера. Наконец, в самый день нашего отъезда я был в Петербурге на спуске «Петропавловска», который был чрезвычайно эффектный и привел меня в такое умиление, что я чуть-чуть не разрыдался, как дитя. В тот же вечер, 27 августа, мы поехали в Киев, куда прибыли 29 утром. Встреча там была трогательная, порядок отличный. Сейчас же начался у меня прием. Следующие три дня 31, 1, 2 сентября я проводил на маневрах и большим парадом, а эти вечера были заняты в городе. Я порядочно устал, но все шло так хорошо, так гладко, подъем духа поддерживал бодрость, как 1-го вечером в театре произошло пакостное покушение на Столыпина. На следующий день, 2 сентября, был великолепный парад войскам на месте окончания маневров — в 50 верстах от Киева, а вечером я уехал в г. Овруч,



на восстановление древнего собора Св. Василия XII века. Вернулся в Киев 3 сентября вечером, заехал в лечебницу, где лежал Столыпин, видел его жену, которая меня к нему не пустила. 4 сентября поехал в 1-ю Киевскую гимназию — она праздновала свой 100-летний юбилей. Осматривал с дочерьми военно-исторический и кустарный музеи, а вечером пошел на пароходе «Головачев» в Чернигов. В реке было мало воды, ночью сидели на мели минут 10 и вследствие всего этого пришли в Чернигов на полтора часа позже. Это небольшой город, но так же красиво расположенный, как Киев. В нем два очень древних собора. Сделал смотр пехотному полку и 2000 потешных, был в дворянском собрании, осмотрел музей и обошел крестьян всей губернии. Пospел на пароход к заходу солнца и поплыл вниз по течению. 6 сентября в 9 часов утра вернулся в Киев. Тут на пристани узнал от Коковцева о кончине Столыпина. Поехал прямо туда, при мне была отслужена панихида. Бедная вдова стояла как истукан и не могла плакать; братья ее и Веселкина находились при ней. В 11 часов мы вместе, то есть Аликс, дети и я, уехали из Киева с трогательными проводами и порядком на улицах до конца. В вагоне для меня был

полный отдых. Приехали сюда 7 сентября к дневному чаю. Стоял дивный, теплый день. Радость огромная попасть снова на яхту. Тут я отдыхаю хорошо и сплю много, потому что в Киеве сна не хватало: поздно ложился и рано вставал. Теперь пора кончать. Христос с тобой! Крепко обнимаю тебя, моя дорогая мама. Поклон всем. Сердечно тебя любящий твой Ники.

Часть ресторанных посетителей, вооруженная револьверами, уже переделалась в кожанки с алыми ленточками на фуражках. Потасив за собой соседей по столам, они сбивают их в одну кучу с основными действующими лицами. БОГРОВ, СТОЛЫПИН, РЕВОЛЮЦИОНЕР, ИМПЕРАТОР оказываются рядом.

Революционер начинает петь: «Вихри враждебные веют над нами...» Поет все громче. Вступает мощный хор, и революционный гимн заполняет зал.

Люди в кожанках начинают расстреливать сбившихся в кучу испуганных людей. Револьверный треск трагически сочетается с гимном...

1991 г.

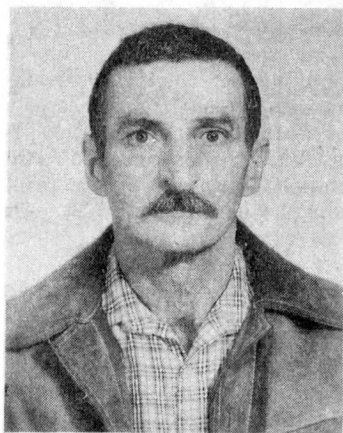


### Виктор Александрович СЫТИН

Умер Виктор Александрович Сытин — наш старший товарищ, первый редактор нашего издания, которое он возглавлял двенадцать лет. Он был человеком богатого и многообразного опыта: авиатор, ветеран ракетно-космической техники, журналист, издатель, литератор — автор 23 книг прозы, кинематографист. На войне он был солдатом. В молодые годы разыскивал с экспедицией следы тунгусского метеорита.

Он принадлежал своему времени, грозному, трагическому, сложному в переплетениях страстей, надежд и реакций земной жизни. Он прожил ее достойно и оставил о себе добрую память.

Редакция журнала  
«Киносценарий»



**Давид  
ДЖАВАХИШВИЛИ**

**Нодар  
МАНАГАДЗЕ**

**Эрлом  
АХВЛЕДИАНИ**

## НОЙ

**Ж**елезная дорога вьется вдоль скали-  
стого ущелья реки.

Доносится ритмический перестук колес.  
Ущелье постепенно расширяется, скалы  
уступают место голым холмам горчичного  
цвета, за которыми вдаль возвышаются  
синие горы.

На одном из холмов развалины старого  
монастыря.

В этом месте колея железной дороги  
постепенно поворачивается и полукругом  
обвивает холм.

Подвижная картина, увиденная из окна  
вагона, как бы застывает.

Это место из таких, которые навечно  
остаются в памяти человека, даже если он  
увидит его единственный раз...

Современное здание с широкими окнами.

Высокий смуглый мужчина с портфелем  
не спеша, уверенно движется по коридору;  
все, кто идет навстречу или обгоняет его,  
вежливо раскланиваются с ним.

Он входит в приемную.

За письменным столом сидит секретарша.  
У стен стоят стулья, на которых сидят  
люди в ожидании приема.

Смуглый человек направляется прямо к  
секретарше и шепчет ей что-то на ухо.

— Знаю, знаю, пожалуйста, заходите,—  
говорит она.

Все ожидающие направили ему в спину  
недовольные взгляды.

В приемную входят еще двое и безмолвно

салятся на свободные стулья.

Смуглый человек оглянулся на вошедших  
и зашел в кабинет.

Просторный, светлый кабинет.

Из открытых окон видны кроны чинар.

За большим столом сидит седой мужчина  
лет пятидесяти. Он пилкой полирует ногти,  
периодически сдувает с них пыль и с удо-  
вольствием рассматривает свои руки.

Смуглый человек с портфелем нерешитель-  
но остановился у двери.

Седой жестом приглашает его подойти.

Смуглый приближается к столу, пытается  
по пути открыть портфель. Видно, однако,  
что он волнуется и оттого не может спра-  
виться с замком.

Седой, иронически улыбаясь, продолжает  
полировать ногти.

Смуглый наконец открывает портфель и  
достает из него довольно большой сверток —  
понятно, что это солидная пачка денег,  
завернутая в газету и перевязанная шпагатом.  
Он кладет сверток на стол. Седой  
так же молча, жестом показывает, что тот  
свободен.

Смуглый прощается и не спеша направ-  
ляется к двери.

Как только он повернулся спиной, седой  
с удивительной ловкостью быстро хватает  
сверток и, не оборачиваясь, выбрасывает  
его в открытое окно. При этом он сопровож-  
дает уходящего все тем же насмешливым  
взглядом.

Человек в черных очках, который стоит на зеленом газоне под чинарой, ловко ловит сверток, падающий с третьего этажа, и бросает его в спортивную сумку. Перекинув сумку через плечо, он быстро уходит и вскоре теряется в толпе...

Смуглый открывает дверь и выходит в приемную...

В тот же миг двое, которые вошли в приемную позже него, вскакивают со своих мест и быстро скрываются в кабинете. Смуглый тоже поворачивается и входит вслед за ними.

Дверь плотно закрывается.

В кабинете смуглый остается неподвижно у двери, прижавшись к ней спиной.

Седой, как и был, сидит за столом, не трогаясь с места, и с подчеркнутым удивлением наблюдает за довольно странными действиями двух молодых людей. Очевидно, что они проводят обыск: бесцеремонно роются в ящиках стола, открывают книжный шкаф, заглядывают под стол и кресла, перебирают вещи на полках.

Седой пожимает плечами, он удивлен. В конце концов возмущенно спрашивает: — Все же, что происходит, можете объяснить?

Мужчина в черных очках со спортивной сумкой опускается на заднее сиденье автомобиля, стоящего у тротуара.

За рулем сидит рябой мужчина, на заднем сиденье еще один — небритый, с вьющимися волосами, с нервным тиком.

Мужчина в черных очках подмигнул рябому, кивнув при этом на спортивную сумку.

...На светофоре у начала большого широкого проспекта зажигается зеленый сигнал, машины с единодушным гулом срываются с места. Некоторое время из-за выхлопных газов ничего не различить, затем смог немного рассеивается и становится видно, как по проспекту на большой скорости едут в обе стороны плотные колонны машин. Слышен непрерывный вой двигателей, то и дело раздаются сигналы, водители нервничают, некоторые, высунув голову из окна, огрызаются, кроют матом.

На разделительной полосе проспекта остановилась красивая молодая женщина. Она с ужасом смотрит на это сумасшествие, прижимая к груди маленького ребенка.

Гора Святого Давида. С нее открывается панорама вечернего Тбилиси. Кое-где зажигаются фонари, начинают светиться окна

домов.

В пантеоне уже нет посетителей, кроме пожилой пары: женщины в очках и слепого мужчины с палкой. Женщина со слезами на глазах читает вслух надпись на памятнике Грибоедову, сделанную его женой Ниной Чавчавадзе: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но зачем пережила тебя любовь моя!»

Женщина вытирает платком слезы.

Хромой сторож приближается к ней и говорит с грузинским акцентом:

— Извините, но закрываемся, дорогой! Дома поплачете!

Женщина и слепой мужчина покорно покидают пантеон.

Ночь. Богато обставленная квартира.

За столом сидят трое: голый до пояса седой мужчина, очаровательная женщина лет тридцати пяти рядом с ним и высокий худой мужчина с желтым нервным лицом напротив них.

Седой и молодая женщина с помощью лупы тщательно рассматривают бриллиантовые кольца. Наконец седой отрывается от занятия и спокойно говорит высокому:

— Больше восьми не могу дать.

— Согласен.

Седой знаком просит женщину принести деньги. Она выходит.

— Тебе ведь известно, что десять процентов в месяц ты должен платить заранее, — обращается он к высокому. — Если опоздаешь с уплатой, можешь потерять кольцо.

Женщина возвращается в комнату со знакомым нам свертком с деньгами. Седой берет у нее сверток, разворачивает и быстро пересчитывает деньги. Часть денег он возвращает женщине.

— Здесь семь тысяч двести, — седой протягивает деньги высокому. — Проценты за первый месяц я взял заранее, какое сегодня число? Да, пятое. Пятого числа будущего месяца принесешь восемьсот рублей.

Высокий медленно пересчитывает деньги.

Седой продолжает:

— Если бы деньги были мои, я бы одолжил их тебе без процентов.

Высокий иронически улыбается. Он пересчитал деньги, положил их в карман пиджака и ушел.

По узкой, извивающейся улице Мтацминды с напряженным воем поднимается машина. Фары освещают крутой подъем. Пройдя несколько витков, она останавливается у ворот, ведущих в пантеон.

Вокруг пусто. Тишина.

Некоторое время из машины никто не выходит. Наконец дверь открывается и выле-

зает курчавый с тиком. За ним следуют еще двое: высокий, худой и еще один, коренастый в шляпе.

Ворота пантеона открывает хромой старик.

Мужчина в шляпе молча сует ему две бутылки водки и хлопает по плечу. Затем они поднимаются по лестнице в пантеон, сворачивают налево и подходят к круглому надгробию. Недалеко на столбе горит фонарь.

— Оказывается, здесь действительно хорошо! — говорит тот, что в шляпе.

— Что я тебе говорю! — отвечает ему курчавый.

— А воздух какой, настоящий курорт!

Все трое опускаются на корточки. Тот, что в шляпе, достает из кармана игральные кости и бросает их на могильную плиту.

Небо над пантеоном усыпано звездами.

Начинается игра в кости. Высокий и курчавый бросают кости. При этом оба сильно бьют рукой по голени.

А город спит. Видно, уже полночь, свет виден лишь в немногих окнах.

Окна тбилисских домов.

В одной комнате кто-то читает книгу.

В другой супруги, а может, влюбленные, ласкают друг друга.

Где-то у окна стоит женщина, уставившаяся в темноту.

В ярко освещенной комнате лежит покойник, вокруг него бесшумно суетятся близкие...

Наш взгляд скользит от одного окна к другому под звуки катящихся костей, хлопков о голень, под голоса игроков.

Рассветает.

По узким улицам идет высокий худой мужчина. Видно, что он очень расстроен. Останавливается у перекрестка, на одном углу которого — церковь, на другом — гастроном.

На остановке трамвая перед гастрономом толпится народ: трамвай опаздывает.

Откуда-то появляется кривобокий человек с большой головой, глазами навывкате, с отвисающим тяжелым подбородком. Он озабоченно рассматривает рельсы, почесывая голову. На левой руке выше локтя у него повязана красная тряпка. В вывернутых губах застрял милицейский свисток. Он тяжело сопит. Это Каро.

— Все в порядке, а этот сукин сын все же опаздывает. Вот пусть только придет, посмотрите, что я с ним сделаю, — грозитя он.

Он говорит неразборчиво, не вынимая свистка изо рта.

Высокий мужчина закуривает, внимательно рассматривая Каро.

Наконец из-за поворота показался трамвай.

При виде трамвая Каро забеспокоился, поправляет повязку на рукаве, идет припрыгивая навстречу трамваю. Затем возвращается, занимает свой «пост», вытягивает вперед руку и свистит.

Будто подчиняясь его приказу, трамвай останавливается как раз там, где он указывает рукой.

Каро явно доволен, но снова строго обводит взглядом ожидающих.

— Чтобы никто, кроме ветеранов и депутатов, не смел подняться с передней двери, — обращается он к народу. Затем он кричит на водителя трамвая, высунувшего голову в дверь. — Где ты запропастился? Что, папин дом, у тебя нет графика?! Совесть тоже потерял? Разве людей не жалко?

Водитель беззлобно улыбается.

Каро «отправляет» трамвай и принимается «регулировать» движение машин. Затем он спешит на помощь слепому, переходящему улицу.

Большая светлая комната с высоким потолком. На потолке трещины, в углах паутина, оборванные обои.

Комната просторная и незаставленная: вся нехитрая обстановка сдвинута в один угол: стол, стулья, кровать. На одной стене — полки с книгами, на другой нарисована странная незаконченная картина: горы, реки, деревья, звери, птицы и железная дорога среди гор, огибающая холм горчичного цвета. Пейзаж напоминает тот, что был вначале.

В центре комнаты на стуле сидит мужчина интеллигентного вида, рассматривает нарисованное на стене.

Через раскрытое окно в комнату влетает маленькая птичка и, совершив круг, вылетает.

Мужчина сопровождает ее взглядом.

В дальнем углу ресторана весело смеются три молодые женщины. Вид у них вызывающий: глубокое декольте, обтягивающие джинсы, дешевые блестящие украшения...

Недалеко от них сидят игроки в кости. Они лениво посасывают коньяк, курят и улыбаясь поглядывают на женщин.

Официантка подкатывает к столику женщин тележку, на которой бутылка шампанского, фрукты и цветы в вазе.

«Удивленные» женщины не без удовольствия принимают подношение, молча благодарят игроков.

Эти последние приподнимают бокалы с коньяком и без слов пьют за их здоровье...

Седой мужчина идет по широкому свет-



лому коридору какого-то высшего учебного заведения. Все с уважением приветствуют его.

Он входит в аудиторию.

Молодые люди, сидящие за столами, встают.

Большая комната в полуподвальном этаже. Из окон видны ноги прохожих.

В комнате царит страшный беспорядок. Прямо на полу в углу стоит магнитофон. Слышна ритмическая музыка.

За столом, на котором еще сохранились остатки пиршества, сидят знакомые нам игроки и женщины из ресторана: они продолжают что-то жевать, пьют, хохочут, обнимаются.

Ясно, что игроки уже изрядно пьяны.

Одна из женщин, на вид самая старшая, разливает вино в кубки. В три из них она подсыпает какой-то порошок и подает их мужчинам.

Мужчины пьют с женщинами на брудершафт...

У маленькой базилики останавливается такси. Знакомые нам женщины выходят из машины и скрываются в базилике.

Интерьер древнего собора выглядит странно: длинный коридор, по обе стороны которого расположились двери; в конце коридора выдвигается кухня. Ясно, что базилика давным давно используется под жилье.

Женщины стучат в одну из дверей, входят.

Темная, грязная комната.

Покосившийся стол устелен газетами. Гора грязной посуды свалена в угол. Настольная лампа испускает тусклый свет. В початой бутылке с вином плавают мухи.

За столом сидит согбенный старик в грязной непонятной одежде; из-под густых бровей он вглядывается в темноту.

— Доставай, доставай, Капрон, показывай все, что у тебя есть! — слышен из темноты женский голос.

Старик шарит рукой под столом и выстраивает на столе флаконы французских духов.

...Глаза постепенно привыкают к темноте.

Вокруг стола сидят женщины. Напялив на пальцы кольца, они рассматривают их при тусклом свете лампы, вертят руки друг перед другом.

— Доставай, Капрон, еще, еще! Ты не смотри на нас так, мы при деньгах, мы покупатели, — подбадривают они старика.

Старик сначала замешкался в сомнениях, как бы не доверяя им, но затем снова нагибается и достает из-под стола небольшие прозрачные целлофановые кулечки, застращенные с одной стороны.

— О-о-ох! — хором стонут женщины и

хватаятся за кулечки, однако старик молча отдергивает руку, делая пальцами известный жест: выкладывайте деньги.

На столе, в тускло освещенном круге, растет гора купюр.

Резко видны лишь руки женщины и старика, быстро пересчитывающие деньги.

Пачки пересчитанных денег переходят из рук в руки...

Белая «Волга» сворачивает с трассы и, переваливаясь, спускается прямо по полю к красивому озеру, окруженному горами. С той стороны, куда подъехала машина, берег густо зарос высоким тростником.

«Волга» остановилась, и мы видим за рулем знакомого нам седого мужчину. Рядом с ним девушка примерно двадцати лет.

Приблизившись к тростнику, «Волга» медленно въезжает в заросли, останавливается у самой воды.

Седой и девушка некоторое время смотрят друг на друга с ироничными улыбками, затем мужчина привычными движениями откидывает спинку сиденья девушки.

Подул ветерок, высокие, качающиеся стебли тростника скрывают машину.

Поезд покидает город.

В одном из купе — знакомые нам женщины. Двери закрыты: они рассматривают приобретенные вещи и от души хохочут. Одна из них насыпала себе под язык наркотик и, прикрыв глаза, прилегла на полку.

Слышен ритмический стук колес поезда. Из окна вагона виден однообразный непрерывный ряд холмов горчичного цвета. На одном из дальних холмов развалины монастыря, окруженные старинной оградой. Это такая картина, которая навсегда запечатлевается в памяти человека.

Картина на стене напоминает пейзаж с холмами горчичного цвета.

Мужчина интеллигентного вида стоит у стены и продолжает рисовать эту нескончаемую картину. Он заканчивает рисовать поезд на пролегающих среди холмов рельсах: паровоз и несколько вагонов...

Слышны звуки рояля. Мужчина оглядывается.

В окне дома напротив молодая девушка играет на рояле.

В другом окне видна женщина, которая кормит грудью ребенка...

Ночь.

Кто-то тенью проскальзывает в базилику. В тишине слышен слабый стук в дверь. — Кто там? — раздается голос Капрона за дверью.

— Это я, Корова, открой. Я хочу вернуть тебе долг,— шепчет тень, прильнувшая к двери.

— Нашли тоже время возвращать долги. Иди, иди, спи,— говорит Капрон. Он не хочет открывать.

— Завтра я иду на дело, Капрон. Знай, если я погорю, эти деньги ты потеряешь. Тогда пеняй на себя! — продолжает шептать Корова, прислушиваясь к тишине за дверью.

Вскоре слышен звук открываемого замка, дверь приоткрывается, оставаясь закрытой на цепочку.

В щели появляется вытянутая рука Капрона.

Корове как раз это и нужно: левой рукой он притянул старика к себе с такой силой, что тот ударился головой о дверь, правой он взмахивает засунутой внутрь автомобильной рессорой как саблей и ударяет старика по голове...

Старик безмолвно падает.

Той же рессорой Корова разрубает дверную цепочку и, переступив через Капрона, входит в его комнату. Молниеносно перерыв всю комнату, он вскоре находит под кроватью основной тайник под полом, покрытый сверху грязным тряпьем. Два старинных саквояжа, вытащенные оттуда, полны пачками денег...

Тень Коровы с двумя саквояжами в руках, переступив еще раз через тело Капрона, тает в ночи.

Оперный театр.

В ложе седой с женой. Оба прекрасно одеты.

На сцене дуэт кончает петь.

Седой и его жена аплодируют актерам.

Ювелир протягивает рябому и мужчине с тиком два одинаковых золотых кольца. Забрав кольца, они внимательно рассматривают их, затем переглядываются.

— Какое из них настоящее? — спрашивает рябой.

Ювелир гордо улыбается и, забрав у них кольца, взвешивает их на руках. Сначала он возвращает одно кольцо:

— Вот это.

Затем возвращает и другое.

Рябой кладет первое кольцо в футляр и опускает футляр в карман на груди, второе же кольцо он кладет в карман пиджака.

Оба они выходят из мастерской.

В конце улицы, у входа в парк, компания молодых людей. Они о чем-то ожесточенно спорят. Неожиданно один юноша со всей силы бьет другого. Между ними драка.

Вдруг все разбегаются в разные стороны.

На месте драки остается лежать один из парней. Видно, что он ранен.

По кривым улицам едет белая «Волга». Через переднее стекло машины видим, что за рулем сидит знакомый нам седой мужчина. Он в ярости что-то кричит высокому, худому мужчине, сидящему рядом, и вертит перед его носом рукой, в которой держит кольцо.

Побледневший высокий сидит не шелохнувшись.

Седой резко нажимает на тормоз.

— Убирайся вон и знай, что если через два дня не вернешь мне весь долг, пеняй на себя,— цедит сквозь зубы седой, бросив кольцо в лицо высокому.

Тот вылезает из машины.

— Я тебе даю два дня... Если не вернешь, увидишь, что следует за аферой... Эх ты, подонок! — кричит седой вслед уходящему и трогает машину с места.

Высокий скрывается в облаке пыли.

По длинному коридору больницы идет молодой человек в накинутом на плечи белом халате с целлофановой сумкой в руке. По пути он смотрит на номера палат. На мгновение задерживается у одной палаты и смотрит в нее через открытую дверь.

На кровати лежит парень, раненный в парке. Рядом с ним — капельница, в вену на руке воткнута игла. У его ног сидит мужчина со скорбным лицом, видимо, отец. У изголовья — женщина в слезах, наверное, его мать. Здесь же находится врач.

Юноша собирается идти дальше, однако его окликает чей-то голос:

— Эй, парень, иди сюда! Кого ты ищешь? Это Корова.

— Здесь лежит наша соседка, пожилая женщина... меня прислала мама.

Корова оживляется, многозначительно переглядывается с сидящим рядом мужчиной с усами, затем снова обращается к юноше:

— Как твоя фамилия?

— Иоселиани.

— Где работает твой отец?

— Отца у меня нет...

Корова снова переглядывается с усатым и продолжает допрос:

— Значит, ты ищешь соседку? В какой она палате?

— Я точно не знаю, кажется, в шестнад-

цатой или семнадцатой. Ее фамилия Дорофеева, — отвечает растерянный юноша.

— Так значит, ты точно не знаешь? — улыбается Корова и берет юношу под руку. — Идем со мной, идем! Я помогу тебе найти ее!

Удивленный юноша покорно следует за Коровой. Следом за ними идет усатый.

— Куда ты меня ведешь, отпусти руку.

Корова не останавливается, наоборот, прибавляет шаг, крепче сжимает руку, ведет юношу почти бегом, при этом кричит:

— Я покажу тебе, как размахивать ножом, подонок!

— О каком ноже ты говоришь, отпусти меня сейчас же, — пытается вырваться юноша, однако подоспевший усатый хватает его за шиворот. Вдвоем они волокут его.

— В отделении запоешь, воробышек!

— О каком отделении ты говоришь, отстань от меня, — уже активно сопротивляется юноша, однако не в силах освободиться от них. Белый халат падает с его плеч.

В это время усатый что-то сует юноше в карман пиджака.

Юноша ничего не замечает.

Мужчины выволакивают его из больницы и впикивают в ожидающую у входа милицмейскую машину.

Машина трогается с места. Зеваки с ленивым интересом смотрят ей вслед.

Комната следователя. За столом — майор милиции, высокий крепкий мужчина. В углу на стуле сидит задержанный юноша. Корова и усатый стоят рядом.

— Гражданин Иоселиани, для вас будет лучше, если сами признаете вину и скажете, зачем ранили сегодня ножом в Александровском парке гражданина Нугзара Микеладзе.

— Я никого не ранил! Вы возводите напраслину... — вскочил возмущенный юноша.

— Сиди, твою... — треснул его по лицу усатый и отбросил снова на стул.

От боли на глаза юноши наворачиваются слезы. Разъяренный, он кричит:

— Я не ранил никого! Что вы от меня хотите? Думаете, на вас нет управы!

Майор с довольной улыбкой обращается к усатому:

— Мурман, скажи дежурному, пусть позывает Ясона!

Затем он снова обращается к юноше:

— Сейчас мы тебе покажем, есть ли на нас управа!

Мурман выходит из комнаты и вскоре возвращается.

— Мурман! Посмотри, пожалуйста, у него карманы, может, у него там нож, — с иронией говорит майор.

Мурман поднимает юношу со стула и

начинает его обыскивать. Из правого кармана пиджака он достает небольшой сверток. Улыбаясь, разворачивает бумагу. В бумаге — белый порошок.

— Оказывается, этот ублюдок наркоман! — кричит Мурман голосом победителя и показывает майору гашиш.

У юноши от страха расширились глаза.

— Собаки вы, вашу душу!.. — кричит он разъяренно.

— Сиди, ты, ублюдок! — говорит Мурман и со всей силы бьет его по лицу.

У юноши из носа течет кровь.

В комнату вместе с дежурным входит Ясон — пожилой мужчина, небритый, с опухшими глазами, одетый в мятый костюм. Он то и дело почесывается. Коротко взглянув на юношу и выставив на него изуродованный палец, говорит пропитым голосом:

— Это он ранил того парня в саду! Я видел своими глазами!

Юноша не может молвить и слова. В отчаянии обводит взглядом присутствующих.

— Мурман! — обращается майор к усатому. — Бумагу и ручку.

Мурман берет с полки несколько листов бумаги и кладет перед Ясоном.

Ясон начинает писать...

Смуглый мужчина, тот, что давал взятку седому, с ружьем в руке шагает по полю. Рядом с ним следуют еще несколько человек. Впереди бежит собака.

Перед охотниками взлетела перепелка. Смуглый опережает всех, выстреливает первым.

Перепелка падает в жнивье. Туда бежит собака. За нею идет радостный смуглый мужчина.

Вновь раздается выстрел, и смуглый хватается за лицо. Видимо, в лицо ему попала дробь.

Небольшой дом из красного кирпича на тихой улице.

Ставни на окнах закрыты, и это придает дому нежилой вид.

У входной двери стоит видный мужчина и звонит в дверной звонок.

Он в белом костюме, в белой соломенной шляпе. Усы у него поседели не по возрасту рано.

В левой руке он держит маленький черный портфель. Дверь открывается, и на пороге появляется одетая во все черное худая женщина с высоким морщинистым лбом и глазами, полными горя.

Мужчина приветствует ее, снимая шляпу.

— Пожалуйста, — говорит она, пытаюсь улыбнуться.

Мужчина входит и оказывается в узкой галерее, где стоят очень узкий стол и два стула.

— Сядем здесь, комнаты я уже закрыла,— как бы оправдываясь говорит женщина и как гостя садится на один из стульев.

Мужчина тоже садится. Портфель он аккуратно кладет себе на колени.

Осторожно открыв портфель, он говорит:

— Юридически и нотариально все уже улажено — оформление, переоформление, завешание и так далее. Осталось только это! Прошу, посчитайте.— Он достает из портфеля пачки денег и так же осторожно выкладывает на стол.— Деньги любят счет.

— Из-за всего вы беспокоились, избавьте, пожалуйста, меня и от этого дела! — в голосе женщины слышна мольба.

— С удовольствием,— бодро соглашается мужчина и с удивительной ловкостью начинает пересчитывать деньги, произнося вслух:

— Один, два, три...

Кончив считать, он подвигает деньги к женщине:

— Тратьте на радость!

— Эх! — говорит женщина со слезами на глазах.— Какая радость. Нет, я его вызволю, чего бы мне это ни стоило... Я чувствую, он не виноват...

— Действительно, вы правы! — соглашается мужчина и старается показать ей свое участие и сочувствие, однако это у него получается фальшиво.

Он встает и переходит к делу:

— Госпожа Анета, извините меня, но вы не можете сказать, когда освободите дом?

— Завтра же можете въезжать, только подарите мне сегодняшний день.

— Ради Бога, это не так спешно. Значит, завтра утром мы можем въехать? Да, вот и документы, точнее, копии документов!

Он достает из портфеля какие-то бумаги и кладет на стол.

— Итак, до свидания, желаю всего наилучшего! Утром мы приедем. У нас будут грузовики, поможем и вам.

Он быстро покидает дом.

Женщина начинает суетиться. Она делит деньги на две части — меньшую прячет, большую же заворачивает в газету и кладет в портмоне.

Типовое безликое здание районного суда. Пол в зале шершавый, стены грязные, потолок в трещинах. Старая развалившаяся грязная мебель.

За столом на возвышении на стульях с высокими заостренными спинками сидят судья и народные заседатели. Судья — знакомый нам седой мужчина.

Судья лениво встает и обводит зал взглядом, говорящим, что ему все надоело.

На скамье подсудимых — молодой человек, Иоселиани, напряженно всматривается в судью. В зале находится Анета. Глаза ее заплаканы, но она с надеждой смотрит то на судью, то на сына.

— Суд удаляется для вынесения приговора! — объявляет судья, собирая со стола бумаги.

Он направляется к маленькой двери, находящейся за его спиной. Заседатели следуют за ним подобно овцам.

Прокурор и адвокат выходят из зала через общую дверь.

Комната для совещаний так же невзрачна, как и зал заседаний суда. Она так же скупо обставлена старой поломанной мебелью: длинный стол и стулья.

Входит судья, небрежно бросает бумаги на стол, расстегивает ворот рубашки и устало садится. Заседатели тоже присаживаются. На столе бутылка «боржоми».

Один из заседателей вскакивает и, явно заискивая перед судьей, открыв бутылку зубами, наливает в стакан и подает судье.

Судья жадно пьет. Заседатель смотрит ему в глаза.

Судья берет чистый лист бумаги и указывает заседателям место для подписей. Заседатели подписываются; судья, вздохнув, приступает писать приговор.

Высокий мужчина переходит улицу. Он бледен, чувствуется, что он ничего не слышит, весь погружен в свои мысли.

У стоящего на своем «посту» Каро от ужаса расширяются глаза, он что-то невнятно кричит, затем начинает размахивать руками.

Высокий ничего не слышит и не видит... Трамвай резко тормозит, слышен ужасный скрежет. Но уже поздно.

Каро хватается руками за голову...

По асфальту катится кольцо.

Люди бегут к трамваю.

...Судья с портфелем в руке оглядывается по сторонам, затем деловым, быстрым шагом направляется через улицу к автостоянке, на ходу доставая из кармана ключи от машины.

Среди людей, стоящих у суда,— госпожа Анета. На глазах у нее слезы. Она смотрит вслед судье. Все поворачиваются и провожают его молчаливыми взглядами. Останавливается какой-то прохожий, тоже смотрит на судью, затем второй, третий, четвертый... Теперь уже вся улица смотрит на него. Даже какая-то бездомная кошка устремила на него неподвижный взгляд.

Он, как-то вдруг съжившись, будто чувствуя за собой вину, уже садится в машину.

Машина трогается с места.

Вся улица провожает его единым взглядом...

Большая светлая комната с высоким потолком. Картина на стене почти закончена: по путям мчится поезд, на другом конце уже нарисован и тоннель.

На поломанном стуле, прислоненном к стене, — масляные краски, пепельница, полная окурков.

В комнате несколько человек. Один из них стоит у окна и неотрывно смотрит на улицу, другие в разных позах сидят вокруг стола и молча курят. У всех озабоченные тревожные лица.

— Я уж не знаю, что мы еще можем предпринять, — нарушает молчание один из них.

— Ничего! Нам ничего не остается, кроме как ждать! — откликается другой.

Они замолкают, и все сидят так еще некоторое время, до тех пор пока вдруг не открывается дверь, не появляется новое лицо. Это судья.

Тут все оживляются, раздаются вздохи облегчения, кто-то даже встает, все смотрят на него с надеждой.

— Что происходит? — спрашивает судья, здороваясь с каждым за руку. Видно, что он взволнован, но старается скрыть волнение.

— Ношрван исчез... — говорит один из присутствующих.

— Знаю! Ну и что? — прерывает его судья.

— Уже четвертый день, как он исчез... — говорит другой.

— Знаю! Ну и что? — прерывает судья и его.

— Ты, оказывается, все знаешь, тогда зачем спрашиваешь? Что «ну и что»? Пропал человек, что еще может случиться? — несколько насмешливо поддевает его худой длинноволосый мужчина.

— Милиции сообщили? — спрашивает судья, странно поводя глазами.

— Да! — отвечает все хором.

— Мы искали его и в больницах, нигде нет! — добавляет кто-то из компании.

— Вы связались с дежурным по республике или хотя бы по городу?

Все поводят плечами, смотрят друг на друга как провинившиеся, качают головой.

— Почему не сообщили мне раньше? — упрекает их судья.

— Ты же, оказывается, все знал, что же мы еще должны были сообщить? — слышен чей-то голос.

— Здесь есть телефон? — после некоторой паузы спрашивает судья.

— Есть у соседа, — отвечает ему длинноносый мужчина.

Судья выходит. Перед дверью оборачи-

вается и еще раз обводит взглядом присутствующих.

В комнату входят двое мужчин с сумками в руках. Подходят к столу, выкладывают из сумок бутылки с пивом, хлеб, колбасу. Один из них достает из кармана коробки с консервами. Быстро накрывает стол.

Все присутствующие садятся за стол и начинают есть. Пиво пьют прямо из горла. Откуда-то появляется бутылка с водкой. Наливают в единственный стакан. Все пьют водку, передавая стакан друг другу.

Возвращается судья. Он бледен.

Атмосфера в комнате сгущается.

— Что-нибудь узнал? — наконец спрашивает кто-то.

Судья приходит в себя, обводит присутствующих взглядом и говорит:

— Редчайший случай! Во всей республике за это время зарегистрирован лишь один несчастный случай.

В комнате воцаряется тишина. Все с ожиданием смотрят на судью...

— Но это был кто-то другой, какой-то высокий худой мужчина, — тихо говорит судья.

— Ведь это очень хорошо! — воскликнул кто-то.

— Не-ет, — с сожалением качает судья головой. — Это хуже! Это гораздо хуже! Упаси нас Боже, но вдруг его убили и спрятали или выкинули куда-нибудь, иди ищи его после этого!

Все с удивлением и ужасом смотрят на него. Постепенно он приходит в себя и уже начинает по-деловому допрашивать.

— А теперь скажите мне, не имел ли он крупный долг? — И как бы оправдываясь, добавляет: — В последнее время я с Ношрваном не встречался. Я уже ничего не знаю о нем.

— Нет, нет, долга он не имел! Знаю наверняка! — твердо отвечает ему один из присутствующих.

Судья взад-вперед не спеша ходит по комнате, пристально, как и полагается судье, всматриваясь в их лица, продолжает задавать вопросы:

— Не играл ли он?

— Кто? Ношрван?! — с удивлением восклицает один из них.

— А что, что ты удивляешься? Не таких ангелов видел я погоревшими на этом поприще.

Все молчат.

— Не имел ли он любовницы, замужнюю женщину, например?

— Если даже имел, мы бы этого все равно не знали! — с обидой за друга отвечает ему длинноносый.

— Это верно! В этом я с вами согласен! Однако в такой ситуации этот вопрос обязательно должен быть поставлен. Так что

простите меня! И вообще сегодня не обижайтесь на меня.— И спрашивает как бы самого себя: — Что же еще может быть?

Судья продолжает ходить по комнате.

— Он не пил, не играл... не болел, был как железный... Хотя почему «был»? — он сам улавливает свою бестактность.

Судья вдруг обращает внимание на свободный стул, где лежит раскрытая книга с очками на ней, подходит, берет очки, надевает их, затем берет книгу. На раскрытой странице один абзац подчеркнут карандашом. Он почти механически читает это место про себя, задумывается, снова читает, но уже вслух:

— «Однажды я вошел внутрь моей картины, поднялся в маленький вагон, и поезд вдруг тронулся с места. Вагон въехал в черный тоннель. Некоторое время из круглого зева тоннеля клубами валил дым, затем дым отлетел и улетучился, вместе с ним — вся картина. А вместе с ней улетучился и я».

Судья, взглянув на обложку книги, как бы остался один, ушел в себя. Все смотрят на него, никто не нарушает тишины.

Судья кладет книгу и очки на место и подходит к расписанной стене. Долго и пристально рассматривает картину, затем, ощутив какое-то волнение, бросает взгляд на книгу, затем снова на картину. Постепенно все собираются у стены.

— Что это за место? — со сдержанным волнением спрашивает судья.

— Я, кажется, видел! — говорит кто-то.— Эти развалины мы где-то видели наверняка, может быть, в детстве, однако никто из нас не мог вспомнить точно.

— Удивительно,— говорит судья как бы про себя.

Все молчат.

— Что мы будем делать? Нельзя же столько бездействовать! — нарушает молчание длинноносый мужчина.

— Давайте разойдемся. Однако не будем терять надежду! — спокойно говорит судья.

— Я останусь... Буду бодрствовать всю ночь,— говорит длинноносый.

Все с удивлением смотрят на него.

— Не лишай нас надежды, кто же бодрствует ради живого человека?! — говорит ему один из присутствующих.

Пристыженный длинноносый понурился. Все выходят. Комната пуста. На столе — остатки еды.

Красивая двухэтажная дача.

На просторной веранде второго этажа накрыт длинный стол: белые конусы салфеток в хрустальных бокалах, богатая сервировка, редкие яства. Нарядные женщины «колдуют» над столом, добавляя все новые и новые блюда, хотя и без этого стол — «многоэтаж-

ный», уже не хватает места. Не счесть разнообразных бутылок.

Мальчишка лет двенадцати с красной мухобойкой гоняется за единственной мухой, в планы которой смерть никак не входит...

Во двор въезжают машины, из которых выходят мужчины и женщины, одетые весьма экстравагантно.

Хозяева приветливо встречают гостей, следуют объятия, взаимные комплименты.

Кто-то прикладывается к руке хозяйки.

Хозяин целует ручки гостям...

Кто-то по старому обычаю прикладывает к плечу хозяина.

Перед раскрытыми воротами останавливается черная машина. Из нее выходит знакомый нам судья. Его встречают с особым почтением, но он как-то отстранен, взгляд блуждающий.

Хозяева приглашают гостей к столу. Слышны «взрывы» бутылок шампанского, визги женщин. Пир начинает разгораться.

Пьют из больших бокалов, затем появляются и рога в серебряной оправе. Приносят все новые и новые блюда.

Постепенно все пьянеют. Поют, острят, смеются.

Иногда мы видим крупным планом лицо судьи. Он ведет себя подобно остальным, однако можно заметить, что он не в себе, его обуревают какие-то мысли, от которых он не может освободиться.

Мужчина в пестром шарфе, с небрежным вкусом намотанном вокруг шеи, стоя с бокалом в руке, с большим пафосом читает стихи, видимо, свои. Нельзя сказать, что присутствующие сплошное внимание, однако все аплодируют. Поэт кончает читать очередной стих, осушает бокал и в экстазе бросает его через плечо. Стакан со звоном разбивается.

Это совсем не понравилось его соседу, в которого, видимо, попали брызги. Разъяренный, он тянет поэта за шарф.

Поэт оскорблен, он лезет драться, его удерживают.

Женщины вопят...

В ссору втягиваются и другие. Мужчины лезут друг на друга, женщины стараются их удержать, однако это им не удается. Бьется посуда...

В эту кутерьму не вмешивается лишь судья. Он сидит на своем месте и молча наблюдает за происходящим каким-то отстраненным взглядом.

Вдруг гаснет свет. На мгновение воцаряется тишина. Затем глаза постепенно привыкают к темноте и присутствующие вновь обретают способность двигаться.

Кто-то приносит свечу, затем появляется и другая.

Веранда освещена тусклым светом.

На стенах появляются тени.

Ветерок колышет пламя свечей, и тени начинают причудливо двигаться.

Настроение за столом меняется. Все успокаиваются, понижают голос, переходят почти на шепот.

На небе появляется большая, полная луна, поливая все холодным светом.

Во двор входит странно одетая женщина, которая почему-то привлекает всеобщее внимание.

Женщина останавливается на середине двора и внимательно рассматривает все вокруг.

— Кто вам нужен? — спрашивает ее хозяин.

Женщина не реагирует на его слова и продолжает спокойно осматривать окружающее, затем смотрит на пирующих, переводя взгляд с одного на другого, будто оценивает каждого из них.

— Вам кто-то нужен? — спрашивает уже хозяйка.

Женщина молчит.

— Кто вам нужен? — спрашивает уже кто-то из гостей.

Женщина продолжает с интересом молча рассматривать компанию.

— Кто вам нужен? Кто вам нужен? — спрашивают ее со всех сторон.

Женщина спокойно улыбается. Обедя все взглядом еще раз, она неторопливо поворачивается и исчезает, полная таинственности.

Все удивлены, пожимают плечами. Кто-то начинает смеяться. За ним последовали и другие, и вскоре хохочет весь стол.

На стенах, в свете свечей, причудливо двигаются человеческие тени.

Судья сидит задумавшись, наблюдая за игрой теней на стене, затем смотрит на луну. Допив коньяк, он встает, спускается к машине, садится в нее и уезжает.

Машина выезжает на трассу.

У въезда в город проводится рейд: шоссе наполовину перекрыто желто-синими автомобилями автоинспекции. Преисполненные боевого пыла инспектора расхаживают в ожидании очередной жертвы, останавливают редкие машины, проверяют документы водителей...

Одна из машин, остановленных ими, — машина судьи. Он покорно протягивает документы, инспектор изучает их и с подозрением смотрит на вышедшего из машины судью. Затем приближается к нему почти вплотную и, видимо, чувствуя запах алкоголя, говорит:

— Вы выпили?

— Да!

Инспектор удивленно смотрит на него и жестом предлагает отойти в сторону. Судья как будто не замечает этого жеста и громко

продолжает:

— Да, я выпил, к тому же сильно.

Инспектор не может скрыть удивления. На всякий случай он спрашивает:

— Где вы работаете?

— Какое это имеет значение! — отвечает судья.

— Как вы думаете, как можно помочь вашему делу? — заговорщицки спрашивает инспектор.

— Никак, мой дорогой! — отвечает судья и подает ему ключи от машины. — Вот ключи, а вот и машина! Я уйду. Выпив, хорошо пройтись пешком!

Он поворачивается и медленно уходит по шоссе...

Судья вступает в город, медленно идет по улице. Фонари не горят — видимо, ток отключили везде.

Неожиданно перед ним вырастают двое молодых людей. Они тоже навеселе.

— Есть у тебя сигареты? — нагло спрашивает один из них.

— Нет! Я не курю!

— Почему? — продолжает тот грубо. — Хочешь умереть здоровым?

Он замахивается, однако второй ловит его руку на лету.

— Кончай! — говорит он строго.

— Пустяк, прошу тебя! Не выношу подобных типов! — первый вырывает руку и снова замахивается. На сей раз удар достигает цели.

Судья покорно принимает удар, вытирает платком разбитый нос и заинтересованно смотрит на ударившего.

Второй хватает приятеля в охапку и волочит его в сторону.

— Что ты от него хочешь? Отстань от него! Мужчины ты или нет в конце концов?! — говорит он первому.

— Что он шляется ночью без сигарет?! — ворчит первый и старается освободиться из рук второго.

Ему удается вырваться, он подбегает к судье и несколько раз бьет того по лицу. Второй наконец справляется с ним и волочит в переулок.

Избитый судья безмолвно продолжает путь.

Он выходит на главную улицу.

Здесь проводится репетиция военного парада.

Солдаты строем шагают посередине улицы. В тишине раздаются удары их подкованных сапог об асфальт. Земля дрожит. За энергичным строем солдат наблюдают несколько запоздавших прохожих.

Судья проходит мимо, даже не взглянув на них.

Слышатся равномерные удары металла о



металл: где-то собирают трибуну.

Бегают какой-то руководитель, отдает приказы.

Судья равнодушно проходит мимо собранной наполовину трибуны и поворачивает на узкую улицу.

Он медленно поднимается в гору, задумался.

Вдруг без явной причины заволновался, почувствовал что-то недоброе. Он прибавил шагу.

Вошел в один из подъездов, почти бегом поднялся по лестнице. От волнения он долго не может попасть в замочную скважину, рука у него дрожит.

Дверь открывается изнутри. На пороге его жена — приятная женщина средних лет. Она в богатом экзотическом халате, на лице у нее удивление.

— Как дела, все в порядке? — испуганно спрашивает судья.

Жена не отвечает, сторонится, уступая ему дорогу.

— Почему ты не спишь? — с беспокойством спрашивает он и быстро входит в холл. — Не беспокоит ли тебя что-нибудь?

Жена снова с удивлением смотрит на него.

Он бросает портфель на стул и входит в комнату. Жена следует за ним.

— Как дети? Не заболели? — спрашивает он и, подойдя к одной из дверей, прислушивается.

— Оба здоровы, спят давно, — вновь с удивлением отвечает жена. — В чем дело, что тебя так напугало?

Судья глубоко вдыхает, напряжение падает, и он снимает: проводит рукой по лбу, затем ласково гладит жену по голове и нежно говорит ей:

— Ничего, ничего, ложись, спи. Я должен еще немного поработать.

Жена хочет что-то сказать, однако воздерживается и идет к спальне. Перед тем как войти туда, она еще раз взглянула на комнату детей и идущего по коридору мужа.

В одной из комнат спят дети: девочка и мальчик семи и восьми лет.

В комнату на цыпочках входит судья; сдерживая дыхание, он смотрит на детей. Ненадолго садится между их кроватями, проводит рукой по их головкам. Приласкав, встает и направляется в свой кабинет. Подходит к столу, выворачивает карманы, достает деньги, ключи, документы, не оставляет даже платка... Затем открывает ключом ящики письменного стола, наполовину выдвигает все пять: в каждом из них вместе с бумагами — сберегательные книжки. Просунув руку в глубину одного из ящиков, он достает револьвер и кладет себе в карман.

Он подходит к одной из стен, отцепляет с

гвоздя угол ковра и вставляет ключ в незаметную скважину в центре цветка на обоях — открывает сейф-тайник, в котором полки забиты пачками денег.

Оставив сейф и ящики стола открытыми, он направляется к выходу. По пути он на мгновение снова задерживается у детской, прислушивается к спокойному дыханию детей. Затем уверенно выходит из квартиры.

Судья медленно идет по улице. На улице пусто и тихо.

Он входит в квартиру потерявшегося друга.

На стене картина, нарисованная другом, освещенная лунной.

Судья внимательно ее рассматривает.

Его взор останавливается на поезде.

Слышна сирена поезда.

Утро.

Поезд постепенно набирает скорость. Колеса по пути сливаются друг с другом, их число становится все меньше. Наконец остается единственная колея, она сужается...

Слышно ритмическое постукивание колес. Ритм убыстряется.

Скалистое ущелье скоро сменяется голыми холмами горчичного цвета...

Поезд на мгновение останавливается на обширной равнине, выжженной солнцем, затем едет дальше.

Проносится последний вагон, и мы видим единственного пассажира, сошедшего с поезда. Это судья. Некоторое время он стоит неподвижно и смотрит на раскинувшуюся за рекой гряды голых холмов горчичного цвета.

На одном холме виднеются развалины старинного монастыря.

Глубоко вдохнув чистый воздух, судья направляется к развалинам.

Он подходит к реке и, найдя брод, входит в воду не раздеваясь. На середине реки вода ему по колено, течение быстрое, чуть не сносит его, однако он крепко стоит на ногах и сопротивляется течению. Он вошел в азарт, ему доставляет радость борьба со стремительной рекой.

Он уже почти пересек реку, но вдруг ненадолго остановился, как будто что-то забыл и только что вспомнил. Из мокрого кармана он достает револьвер, смотрит на него, как будто прощается с ним. Затем, размахнувшись, бросает его в воду.

Он выходит на берег. На камнях за ним остаются мокрые следы.

Пройдя овраг и редкую рошу, он начинает взбираться к развалинам по пыльной дороге. Пройдя первую террасу, он идет по голой равнине.

Жарко.

Солнце поднимается к зениту. Тень, сопровождающая судью, становится короче и в конце концов окончательно исчезает.

Небо бороздят военные самолеты.

Дорога поднимается все выше и выше. Наконец выходит на плато.

Появляется кустарник, далеко виднеются лесистые склоны гор...

День клонится к вечеру...

Красное солнце медленно закатывается за холмы.

Судья, обливаясь потом, прибавляет шаг...

Развалины уже близко.

Вот он достиг их. То, что издали он принял за развалины монастыря, оказалось разрушенным жильем...

Опускается ночь.

Судья бродит в развалинах в поисках места для ночлега.

В конце концов он находит под полуобвалившимся сводом укромный уголок. В темноте он неловко наступает на камень. Камень поворачивается, он падает и ударяется головой о стену. Некоторое время сидит оглушенный, затем проводит рукой по голове. Взглянув на руку, он видит кровь. С трудом встает. Надергав рядом из-под камней сухой травы, он устраивает себе ложе. Сняв пиджак, ложится и зарывается в траву. Руки он подложил под голову и слушает тишину.

Ночь полна таинственными звуками.

Свистит ветер в треснувших стенах, где-то неподалеку кричит сыч, камень обрывается со стены и с шумом падает на землю... Из-под свода доносятся звуки, напоминающие плеск воды, — там обитают летучие мыши...

Судья не может заснуть. Сощутив глаза, он устался в темноту, мечется, ворочается с боку на бок, снова проводит рукой по разбитой голове и подносит руку к глазам.

Темно, он ничего не видит. Затем глаза постепенно привыкают к темноте...

Над его головой кружат летучие мыши. Иногда они сталкиваются и с писком падают вниз.

Одна из них падает ему на голову.

Испуганно присев, он с отвращением скидывает ее с лица. Он уже не ложится, сидит, прислонившись спиной к стене, обняв руками колени, готовый провести ночь без сна.

Он задремал, однако откуда-то снова доносятся леденящий крик ночной птицы. Он вздрагивает, открывает глаза, поджимает ноги, опускает на колени голову...

Рядом проползает змея...

Под камень заполз скорпион...

Светает. Небо на востоке начинает алеть.

Летучие мыши уgomонились, готовятся к

дневному сну: под разрушенным сводом в огромном количестве они висят вниз головой, пищат, беспокойно устраиваются. Длинноухие, с выступающими зубами, маленькими глазками, они похожи на злых духов.

Судья встает, размахивает руками, пытается согреться. Надел пиджак. Он массирует ноги, сгибается, стараясь этими движениями вернуть упругость мышцам. На лбу у него застыла кровь, волосы растрепались.

Хромая, обходит окрестности, осматривает развалины. Оказалось, что ночной выбор его был верен — лучшего места для ночлега он не увидел: везде голые стены, камни, обломки развалившегося здания, покрытые мхом и крапивой, полусгнившие доски, сухие ветки.

Судья собирает их, несет к своей «постели» и готовится разжечь костер. Однако, не найдя в карманах спичек, отказывается от своей затеи и продолжает осматривать развалины.

Он обнаруживает дверцу, ведущую под землю. Нагнувшись, пролезает на четвереньках и оказывается в зале с обвалившимся потолком, ограниченном с четырех сторон высокими стенами. Видимо, когда-то здесь был погреб — марани, в одном углу в земле видны несколько кувшинов — куври, заполненных водой. В нише стены стоят два кувшина, у одного отломана ручка, у другого — часть горлышка. Однако оба они как сосуды годны.

Судья берет их в руки, переворачивает, продувает, заглядывает внутрь, затем ставит на место. Вдруг он спотыкается, чуть не падает, еле удерживается на ногах. Морщится от боли. Когда боль проходит, он нагибается, поднимает предмет, о который споткнулся, и внимательно его рассматривает: это лемех старинного плуга, точнее, обломок лемеха, острый, заржавевший обломок. Размышляет, на что он может пригодиться: сначала держит его как саблю, будто защищается от врага. Это ему нравится, на лице у него появляется улыбка надежды. Затем пробует копать им землю, увлекается. Он выкапывает странные, позабытые вещи: веретено, шерсточес, какие-то предметы обихода. Каждую вещь он крутит в руках, долго рассматривает, пытается понять ее назначение. Пошел дальше, споткнулся о колокол, лишь только взглянул на него, прошел мимо.

Заметно темнеет. Судья с удивлением смотрит вверх.

Небо покрылось тучами, оттого и потемнело.

Начал накрапывать дождь, затем обрушил ливень.

Судья спешит в свое укрытие, однако оно плохо предохраняет от дождя. Вскоре он весь промок, сел, прижавшись к стене, дрожит. На окровавленный лоб спадают мокрые волосы. Сжавшись в комок, он прячется в

углу: голова ушла в плечи, колени придвинуты к самому подбородку, руки спрятаны под мышками.

Ночь.

Судья сжавшись спит на своем ложе. Постепенно он распрямляется, будто вовсе и не промок до нитки, будто развалился в чистой, теплой постели. Он уже не дрожит, улыбается во сне и шепчет что-то невнятное. Открыл глаза и бессмысленно смотрит куда-то в одну точку. Он чем-то обеспокоен, стонет, видимо, ему жарко. Лоб покрывается потом, глаза блесят. Он без конца что-то шепчет, иногда внятно слышна одна и та же фраза:

— Стою в воде, объят огнем...

В темноте появляется какой-то человек и приближается к судье:

— Э-э, он, оказывается, и правда объят огнем! — говорит старик сам себе.

Он в крестьянской одежде с сумкой через плечо и с палкой в руке стоит над головой судьи и щупает его лоб.

Старик обут в лапти — каламаны, на голове странная шляпа.

— Как ты здесь оказался, горожанин?! — спрашивает он судью и после маленькой паузы сам же отвечает себе: — Он ничего не понимает.

Судья бессмысленно улыбается, бредит.

Старик тщетно пытается понять его бред, внимательно прислушиваясь к нему, затем озабоченно качает головой и начинает действовать. Опустившись на колени, разжигает костер, затем снова принимается за больного: промокает вспотевший лоб, натирает чем-то грудь, виски, ноздри смазывает долькой чеснока.

Чеснок щиплет нос, судья морщится, начинает метаться, пытаясь вырваться.

— Подожди, парень, вскоре будет тебе приятно! Я хочу тебе помочь, — старик продолжает его лечить, не отстает от него.

Судья постепенно приходит в себя, уже вполне осознанно смотрит на лекаря, посланного ему небом, улыбается ему с благодарностью, перестает сопротивляться, подчиняется ему.

— Вот так! — хвалит его старик и продолжает колдовать над ним.

Костер разгорается. От одежды судьи идет пар, она высыхает. Ему приятно, тепло, он окончательно оживает.

— Видимо, я простудился, — как бы извиняясь, говорит он, кашлянув.

— На тебе нитки не было сухой, дорогой ты мой. Конечно, ты простудился! — говорит ему старик. — И огня не развел...

— У меня не было спичек, — как бы оправдывается судья.

Старик заканчивает процедуры, встает и наставляет его:

— Сейчас ты уже в безопасности, только смотри, чтобы огонь у тебя не погас! Если соберешься уйти, засыпь горящие угли золой и накрой камнями. Дождь уже кончился. Ну, крепись!

Старика поглотила темнота.

Удивленный судья приподнимается на локтях и кричит вслед старику:

— Кто ты, добрый человек?! Хотя имя свое скажи!

— Зачем тебе имя? Путник я! Спи, спи, скоро поправишься! — раздалось из темноты.

Высохший, согретый судья садится и подбавляет в костер хворосту. Затем кладет в огонь толстые поленья и с наслаждением греется. Он сидит и, как первобытный человек, зачарованно смотрит на огонь. На его лице играют светотени.

Наступает солнечное утро.

Судья встает бодро, как будто не болел вообще. Он нагибается к лемеху и обнаруживает рядом с ним кусок хлеба, видимо, оставленный стариком. С радостью берет хлеб. В растерянности оглядывается, как бы ища, кого поблагодарить, потом смотрит вверх, на небо... Он с удовольствием ест. Быстро закончив есть, берет лемех, собирается уйти, однако возвращается, засыпает тлеющие угли золой и закрывает костер камнями. Затем покидает свое убежище.

Судья идет по полю, осматривает окрестности. С помощью лемеха он выкапывает клубень какой-то травы — клубень сладкий, кто не ел его в деревне в детстве?! Он кладет его в рот, жует, но морщится — клубень оказывается на вкус кисло-горьким — и выплевывает.

Он входит в лес. Собирает кизил, груши, шишки, грибы — все, что съедобно. Навивает карманы. Затем собирает хворост. Судья перевязывает большую охапку ремнем и взваливает на спину. Вдруг в кустах раздается треск, мычание, он вздрагивает, хватается обломок лемеха как саблю и замирает. Осторожно смотрит туда, откуда слышны звуки.

Из кустов торчит голова какого-то громадного черного существа, страшно вращающего белками глаз...

Он догадался, что это буйвол, и успокоился. Попробовал приблизиться к нему, однако тот пугается и убегает, ломая на своем пути ветви кустов и деревьев. Судья идет по следу буйвола и неожиданно оказывается на вершине холма. Остонавливается как вкопанный...

Далеко виднеется большое село...

На склоне горы расположилось кладбище... Огороженный плетнем огород. В огороде стоит смешное пугало с нелепо растопыренными руками-палками...

Судья долго оглядывает все это грустным

взглядом.

Издали доносится ритмический перестук колес поезда.

Судья прислушивается к этому звуку и начинает непроизвольно, подобно дирижеру, размахивать в такт рукой.

Шум поезда постепенно ослабевает и вскоре вообще прекращается.

Судья машет рукой, как будто прощается с кем-то.

Лес уже начал желтеть.

Теплые дни сменяются пасмурными, ветренными.

Судья выходит из леса, тащит за собой большую связку длинных веток. Помятый пиджак оборван, кое-где видна подкладка...

У него отросла борода... Волосы спадают чуть ли не до плеч. Он стал походить на бродягу. По пути он рвет высокую траву, связывает в пучки и кладет на ветки. Карманы у него набиты.

Возвращается «домой», ветки с травой оставляет перед «берлогой», входит в нее и, уставший, ложится на «кровать»: трава спрессовалась, и «кровать» стала походить на настоящую. Он смотрит на свод, где висят летучие мыши. Усмехнувшись, он заговаривает с ними.

— Значит, вы не захотели быть обыкновенными мышами?

В ответ летучие мыши начинают пищать.

— Ну и висите вниз головой! — с укоризной говорит судья, затем снова смеется и продолжает примиренческим тоном: — Хотя этот мир, видимо, вверх ногами интереснее смотрится.

Он свешивает голову с «кровати» и старается посмотреть на мир с «точки зрения» летучей мыши, затем выпрямляется и философски заключает:

— Впрочем одному богу известно что к чему.

Летучие мыши весело пищат, как будто от души смеются.

Дует холодный ветер, кружат тучи желтых листьев.

Свежившийся от холода судья стоит на высоком холме и с грустью смотрит на деревню вдаль. Борода и волосы у него еще больше отросли, он стал походить на лесовика. Одежда у него окончательно порвалась. Судья видит: на кладбище многолюдно, видимо, кого-то хоронят.

Деревня далеко, однако отсюда хорошо видно красиво извивающийся голубой дым, поднимающийся из труб. Он поднимается вверх к облачному небу... Ветер принес запах свежеиспеченного хлеба, судья, задрал голову, как зверь, вдыхает этот запах...

Увлеченный, он некоторое время не чувствует, что начался дождь, затем, когда дождь усиливается, он срывается с места и бежит к себе «домой». Он промокает еще больше, однако это его совершенно не беспокоит.

Задыхаясь, он вбегает в берлогу, сдвигает с очага камни. Вода проникла в очаг, угли подозрительно шипят, но еще тлеют. Надо поддержать его!

Судья опускается на колени, разгребает мокрую золу и со всей силой долго дует на угли... Тщетно! Нет ни искры! Удрученный, он откидывается, затем собирает последние силы, продолжает дуть, и наконец угли постепенно начинают разгораться, дымит очаг, сначала слабо, но вскоре пламя охватывает хворост.

Судья вздохнул с облегчением, молча наблюдает огонь, затем придвигает камни и выходит.

Непрерывно моросит, на дорогах и тропинках грязь, сырой холод пронизывает до костей. Судья часто подносит руки ко рту, греет их. На ноги налипают комья грязи, он время от времени очищает их и продолжает путь. Он тяжело дышит, изо рта у него валят белые клубы пара. От трудной ходьбы он постепенно согревается, расстегивает пиджак и рубашку.

Пока он дошел до кладбища, процессия уже разошлась, у новой могилы осталось несколько человек, пьют за упокой души.

Скрывшись за кустами, судья наблюдает за ними, как дикарь.

Вскоре уходят и близкие усопшего, и могильщики. Судья ходит по кладбищу, рассматривает могилы.

Старые могилы с одинаковыми надгробными камнями перемежаются с современными, отделанными дорогим камнем, украшенными скульптурами.

Судья медленно ходит среди могил, читает эпитафии на надгробиях. «Прости меня, господи, ибо я никому не подал милостыню», — высечено на старом надгробии.

Судья сел на него и глубоко задумался. Потом ему стало холодно, подняв воротник пиджака, он встал, подошел к кусту с опавшими листьями и сломал несколько веток. Обвязав их ивовыми прутьями, он начал подметать вокруг могилы. Затем, спрятав веник в кустах, подошел к свежей могиле.

На могиле — цветы. Рядом на бумаге остатки богатой поминальной трапезы: рыба, сыр, хлеб, куриное мясо, огурцы, помидоры, вино. Он взял только хлеб, собрался было уйти, однако не устоял, соблазнился, взял бутылку с вином и, пробурчав что-то, выпил пол-

бутылки. Остаток вылил на могилу.

Он возвращается к себе. По пути он связывает поясом заготовленный заранее хворост и взваливает на плечо. Он идет пошатываясь: груз у него нелегкий, да и вино, видимо, подействовало. Идет и на ходу выводит какую-то грустную траурную мелодию.

Проходит мимо огороженного плетнем огорода. Останавливается, снимает с плеча вязанку, отдыхает. Урожай уже убран, и он с горечью смотрит на опустошенный огород: обезглавленные подсолнухи выглядят жалко, на земле — рассыпанные остатки сена, скобоченное пугало почти падает, у черепа лошади, насаженного на столб плетня, зубы сведены, как от боли...

Огород выглядит, как после битвы или грабежа.

Судья подходит к пугалу и говорит ему:

— Бедный, ты остался без дела? Ну и что? Зачем горюешь? Пройдет зима, снова наступит весна! Что, не веришь? Вот увидишь, так и будет!

Он собирается уйти, однако у него промелькнула какая-то мысль, и он возвращается.

— А до этого, давай, одолжи твой фрак мне, он тебе все равно не нужен, а я мерзну! Ну что, идет? — Он прислушивается.

Пугало безмолвствует.

— Молчание — знак согласия! — говорит довольный судья, снимает с пугала порванную, грязную куртку, надевает ее и гордо выпячивает грудь. Затем, взвалив на плечо дрова, пошатываясь, продолжает путь.

Утро.

Судья, закутанный в теплую куртку, сладко спит у костра.

Он соорудил стенку из ветвей, обмазанных смешанной с грязью соломой, и его берлога стала больше походить на жилище.

Снаружи до него доносятся странные звуки. Он просыпается, прислушивается, как будто кто-то зовет: «Ной! Ной!» Он встает, выходит наружу.

Вокруг все побелело. Идет снег.

К развалинам подошел буйвол. Вытянув шею, он красиво поводит глазами и время от времени мычит: «Ной!»

— Кто это пожаловал? — с улыбкой встречает его судья.

Буйвол уже не боится его. Судья подходит к нему, ласкает, ему приятно тепло живого существа.

— Есть тебе захотелось, несчастный, — достав из кармана хлеб, он кормит его с руки.

Буйвол жует с явным удовольствием.

Судья приносит ему сено, вырванное из своей «постели», затем по-деловому начинает рассматривать его: нагибается, смотрит на него снизу. Видит вымя.

— Ах, да вы, оказывается, госпожа? — он

щупает вымя, оно полно. — Вас, наверное, беспокоит молоко?

Буйвол в ответ жалобно мычит.

— Сейчас! Этому делу можно помочь! — он потирает руки, начинает весело суетиться, выносит из берлоги обломок глиняного кувшина. Подкатив большой камень к буйволу, он садится и пытается доить одной рукой в кувшин, который держит в другой руке. В конце концов у него начинается что-то получаться, в глиняном обломке собралось немного молока. Он выпивает его и снова начинает доить. Выпив, снова доит, и так — несколько раз. При этом он очень доволен, приговаривает: — Ох, как вкусно, как вкусно!

Буйвол явно чувствует облегчение.

Судья, запрокинув голову, пьет молоко и видит в небе стаю уток. Он провожает их взглядом...

Судья сидит в своем жилище у огня. В глиняный обломок он собрал остатки свечи и плавит на огне. Выдернув нитку из одежды, он делает свечи, зажигает их, лепит к стене. Он замороженно наблюдает игру пламени... Затем он что-то вспоминает, идет в угол и поднимает с земли колокол. Вычистив, он внимательно осматривает его. Колокол цел, только без язычка, на месте даже ушко, за которое можно его подвесить. На грязной поверхности его отлиты какие-то слова. Судья выносит колокол на улику и чистит его. Колокол начинает блестеть. Судья вешает его с помощью ремня на балке перекрытия. Некоторое время он наслаждается его видом, затем поднимает камень и бросает в колокол.

Раздается приятный мелодичный звук. Судья еще сильнее ударяет камнем о колокол. Звук уходит далеко и держится долго.

Где-то за селом и кладбищем маленький пастушок прислушивается, встает и замирает, вытянув шею, пытается определить, с какой стороны идет звук колокола...

Весеннее половодье.

К противоположному берегу воровским бегом приближается какой-то юноша: он остро рожничает, смотрит по сторонам, как будто скрывается от кого-то — видимо, он чего-то боится.

Поток реки кое-где выбросил на берег отполированные блестящие чурбаны. Они имеют странный вид: некоторые похожи на сказочных драконов, некоторые возделали «руки» к небу подобно отчаявшемуся человеку.

Юноша находит брод. Остановившись на миг, он оглядывается, видит, что лучшего места ему не найти... Смело входит в воду. Он еще не дошел до середины, а вода ему уже по

пояс, и вскоре из воды выступает лишь его голова. Он преодолевает глубину вплавь, но вскоре снова становится на дно. Выйдя на берег, он опять бежит. Скоро он скрывается среди холмов.

Судья с веником в руке ходит среди могил, подметает, убирает, обламывает у деревьев сухие ветки.

Вдруг он замечает, что за могилой кто-то прячется, наблюдает за ним. Он делает вид, что не заметил, спокойно продолжает свое дело, старается не смотреть в ту сторону.

Согнувшись, юноша перебегает на другое место и снова прячется за надгробием.

Судья умышленно отводит взгляд, будто не видит его, и невозмутимо продолжает убирать с могил опавшие листья...

Юноша несколько раз меняет укрытие, однако все же не показывается судье.

Судья направляется к своему жилищу.

Юноша следует за ним как тень.

По пути судья снимает куртку, подходит к пугалу и надевает на него.

Смеркается.

Судья снимает с очага камни, разгребает золу и дует на угли.

Они начинают тлеть.

Судья укладывает сверху сухие дрова. Вскоре костер весело трещит.

Он сидит у очага и терпеливо ждет появления юноши. Однако тот не появляется.

Судья готовится ко сну: подбрасывает в огонь дрова, ложится и смотрит на висящих вверх тормахками летучих мышей. Летучие мыши пищат, беспокойно шуршат крыльями, готовясь вылететь.

У судьи, уставшего за день, закрываются глаза. Вскоре он спит сладким сном.

Юноша приник снаружи к стене берлоги и через щель наблюдает. Убедившись, что судья спит, он подходит к чурбачку, на котором судья рубит дрова, снимает висящий рядом обломок лемеха, пробует его лезвие, рассматривает его со всех сторон и вешает на место... Затем осторожно, на цыпочках, возвращается и некоторое время стоит в сомнении, войти или нет, однако тепло очага манит его, он не в силах долго удерживаться от соблазна, входит и, опустившись у очага, протягивает к нему руки, при этом не сводит глаз со спящего. Он весь в напряжении, чувствует, что в любой момент он готов молниеносно выскочить из берлоги...

Однако судья спокойно спит, на лице у него играет блаженная улыбка, видимо, ему снятся приятные сны.

Юноша смелеет, садится у огня поудобнее

и подкладывает в костер дрова... Берет оставленный на камне хлеб и с удовольствием его уплетает...

Занимается утро.

Проснувшийся судья видит, что костер погас, хлеб с камня исчез.

Рядом с костром, скорчившись, спит незнакомый ему юноша.

Он внимательно разглядывает юношу.

Юноша небрит, бледен, одежда помялась, волосы растрепаны. Сон его беспокоен, лицо озабоченно и напряжено.

Судья встает и осторожно направляется к выходу. Он неловко наступает на камень. Камень переворачивается, издавая шум.

Юноша вмиг вскочил, схватил в обе руки по камню, будто взвешивая их, смотрит на судью в упор, готовый к защите.

Судья примиренчески улыбается и говорит ему:

— Не бойся меня...

Юноша некоторое время стоит не двигаясь. Он сомневается, довериться или нет. Затем отбрасывает камни, проводит рукой по лбу. Опускается на корточки и испытующе смотрит на судью снизу вверх.

Тот выходит из берлоги.

Вечер.

В очаге горит костер.

Юноша и судья кончили ужинать. Они выпивают вино, принесенное с кладбища. Стоят две начатые бутылки. Продолжают беседовать.

— Я все же не понимаю, как вы переносите одиночество? — спрашивает юноша.

— Сам не знаю, — поводит плечами судья, — живу как-то.

Юноша горько улыбается, берет бутылку.

Судья берет свою.

— Ты... от кого ты скрываешься? — спрашивает судья юношу.

Тот вздрогнул, однако быстро овладел собой и коротко ответил:

— От правосудия.

Судья улыбается.

— Чему вы улыбаетесь? — раздражается юноша.

— Так, просто я вспомнил свое имя, — с горечью говорит судья.

— Как вас зовут?

— Теперь это уже не имеет значения... А так... Здесь буйвол меня назвал Ноем, — судья улыбается. — Ной хорошо, не правда ли? Оба замолкают.

Издали доносится шум автомобиля.

Судья и юноша смотрят в ту сторону, откуда слышится шум.

Внизу за рекой свет фар рассекает темноту.

Машина останавливается у реки.

Судья и юноша следят с напряженным вниманием...

Через некоторое время снизу раздается едва достигающий их крик человека.

Судья и юноша обеспокоены, встают.

Крик постепенно теряет силу, потом совсем замирает. Машина с горящими фарами трогается в темноте.

Вокруг снова воцаряется тишина...

Утро.

Юноша стоит над головой человека, выброшенного ночью из машины.

Неизвестному лет тридцать — тридцать пять. Одежда на нем разорвана. На белом лице и груди кровавые подтеки.

Юноша с нетерпением смотрит на противоположный берег.

По тропинке, спускающейся с холма к реке, появляется судья и буйвол.

Юноша и судья осторожно поднимают незнакомца и перекладывают на спину буйвола. Затем, придерживая незнакомца с двух сторон, они вброд переходят реку.

Неизвестный лежит в постели судьи и удивленно поводит глазами вокруг. Видит летучих мышей, висящих вверх тормашками под куполом. Он удивлен, не может понять, где находится. Увидев юношу, он пытается встать, однако не способен на это.

— Кто ты?.. Где я нахожусь?.. Как я оказался здесь? — спрашивает он хриплым голосом.

Юноша не отвечает.

— Где я? — снова спрашивает неизвестный.

— Главное, ты на этом свете! — отвечает ему юноша.

Незнакомцу, видно, не нравится ответ юноши. Он морщится.

— Оставь иносказания, парень. Где я, спрашиваю, как я здесь оказался?

— Мы тебя нашли у реки, — отвечает юноша.

Неизвестный задумался, собирается с мыслями, старается что-то вспомнить, но не может.

— Где я сейчас? — повторяет вопрос незнакомцу.

— Этого не знаю и я. Я здесь тоже гость, — отвечает юноша.

Входит судья с кувшином в руке, смотрит на больного.

Тот внимательно рассматривает его, затем вздрагивает и приглядывается к нему.

Опустившись на корточки, судья осторожно поит больного молоком.

Чувствуется, что больному молоко не очень нравится, однако он слаб и не может сопротивляться, поэтому пьет. Иногда он отрывает-

ся от кувшина, внимательно смотрит на судью.

— Значит, вы нашли меня у реки? — спрашивает он судью.

Судья кивает.

— Не буду мужчиной, если я прошу им! Большой ударяет себя кулаком в грудь, страшно поводит глазами.

Юноша искоса наблюдает за ним.

— Нет, что-то недобро этот смотрит на меня, — говорит больной.

— Если бы он не нашел тебя, ты сам знаешь, где бы сейчас находился! — примиренчески говорит судья.

— Именно поэтому я и терплю, — процедил больной сквозь зубы и снова обратился к судье: — Мне твое лицо знакомо, кажется, я тебя где-то видел.

— Возможно, — тихо отвечает судья.

Незнакомец с растущим подозрением смотрит на судью.

Идет дождь.

Судья ходит по лесу, собирает травы и кладет в сумку, висящую у него на плече.

Затем он собирает грибы, рассовывает по карманам.

Юноша сидит у входа. Держит в руках продолговатую трубочку, делает в ней отверстия. Затем, поднеся ее к губам, дует в нее. Раздается нежный музыкальный звук. Он снова дует — звучит какая-то старинная мелодия.

К выходу из берлоги подходит неизвестный, оправившийся от болезни.

Со стороны леса появляется судья. Он волочит связку ветвей.

— Парень, как его зовут? — спрашивает незнакомец юношу.

— Ной, — отвечает тот.

— Ной, как раз Ной! — раздраженно говорит незнакомец. — Нет, он не может быть хорошим человеком!

Юноша молчит, продолжает играть на свирели.

— Да и ты, видимо, не ангел, — не отстает незнакомец от юноши.

Тот продолжает играть.

Незнакомец вырывает у него свирель, ломает и закидывает обломки.

Юноша вскочил, однако удержался, не ударил его.

— Парень, полегче, слышишь? — зло говорит незнакомец.

Приближается судья. Конфликт прерывается.

Вечер.

Все трое находятся на кладбище.

Судья занят привычным делом. Он подмывает могилы. Юноша стоит поодаль и с неприязнью смотрит на незнакомца. Тот сидит на



каком-то надгробии. Разложив на камне снесь, он «пирует» один: жадно ест, пьет вино. Он уже немного пьян. Иногда он зло смотрит в сторону деревни, виднеющейся вдали.

— Иди сюда, я что-то должен тебе сказать! — зовет он судью.

Тот безмолвно подчиняется.

На лице юноши появляется гримаса отворачивания, он поворачивается к ним спиной.

Неизвестный тихо говорит что-то судье, затем обращается к юноше:

— Ты уходи, жди нас дома! Понятно?

Чувствуется, что парень злится, однако сдерживает себя. Неизвестный встает и направляется к деревне.

Судья покорно следует за ним.

Юноша плетет в их сторону и быстрым шагом направляется домой.

Ночь.

Деревня спит. Доносится лай собак.

Судья покорно стоит в кустах на окраине деревни. Подняв голову, он смотрит на небо не отрываясь.

Небо чистое, усеяно звездами. Из края в край тянется Млечный Путь.

Судья смотрит зачарованно и шепчет про себя подобно молитве:

— «...который вынес плевки, избиение, заключение, крест и смертью смерть пограл...»

Вдруг он вздрагивает. Со стороны деревни показались неизвестный. Он бежит к судье пригнувшись.

— Пошли! Быстрее! — говорит он судье и исчезает в темноте.

Судья быстро следует за ним.

Рассветает.

Неизвестный сидит в углу на корточках. Видно, что он устал, но доволен.

Судья подбрасывает в огонь поленья.

Костер вспыхивает. В жилище становится светло.

Неизвестный садится на камень, усталый судья идет к постели и ложится.

Неизвестный достает из кармана толстую пачку денег, довольный, подкидывает ее и бросает судье:

— Посчитай!

Судья не успевает поймать. Деньги рассыпаются. Быстро собрав их, он начинает считать. Сначала делает это неловко. Затем считает быстрее и в конце концов с бешеной скоростью. Видимо, сказались привычки прошлой жизни.

Неизвестный с удивлением наблюдает за ним. Затем начинает хохотать.

Его хохот будит юношу. Он наблюдает за происходящим сонным взглядом. Сначала не может понять, что происходит, затем

догадывается. Лицо его искажает все то же брезгливое выражение.

Судья кончил считать и, возвращая деньги неизвестному, говорит:

— Пять с половиной!

Тот делит их на три неравные части. Одну он кидает судье:

— Это тебе!

На этот раз судья ловко ловит деньги. Вторую, самую толстую пачку, неизвестный оставляет себе.

— Это мне! — говорит он.

Третью, меньшую, он кидает юноше.

— А это тебе!

Юноша закрывается руками, деньги рассыпаются по земле.

Неизвестный зло улыбается, однако сдерживает себя, переключает внимание на судью. Тот напряженно наблюдает происходящее. Неизвестный в упор уставился на судью, вдруг в глазах у него мелькает радость, смешанная со страхом:

— Я узнал тебя! Ты тот, кто посылает на «вышку»?!

Судья молчит. Взглянув исподлобья на юношу, встает и выходит.

Судья несет воду в кувшине.

Неизвестный догоняет его и идет рядом. Друг он подставляет подножку, судья падает. Кувшин разбивается.

Судья спокойно встает и отряхивает одежду. Неизвестный смеется.

Юноша взбешен, но не знает что предпринять.

Судья берет второй кувшин и спокойно направляется к реке.

Идет дождь.

В жилище горит костер. Все трое сидят у костра.

— Наруби дрова! — говорит неизвестный судье.

Взяв лемех, судья выходит.

Юноша возмущен.

— Успокойся, парень! Он достоин худшего — столько людей он сделал несчастными!

Юноша растерян.

Судья под проливным дождем колет дрова. Юноша встает, выходит к нему и, выхватив у него лемех, начинает рубить дрова.

Судья отходит в сторону.

Зло улыбаясь, неизвестный тоже выходит. Подойдя к судье, он сильно бьет его. Поскользнувшись, судья падает в грязь.

Юноша уже не может сдержаться. Он бросается к неизвестному с поднятым лемехом.

Тот насмешливо смотрит на юношу.

Судья поднимается, встает между ними,

уводит юношу.

— Не играй с огнем, парень! — сквозь зубы процедил неизвестный.

Судья выбивает лемех из руки юноши. — Что происходит! Я ничего не понимаю! — возмущается юноша.

— Поймешь когда-нибудь! — тихо отвечает ему судья и добавляет: — «...который вынес плевки, избиение, заключение, крест и смерть смерть поправ...!» Понятно?

— Я не могу больше выносить это! — повышает юноша голос.

— Не можешь? Если не можешь, уходи, кто тебя держит? — спокойно говорит ему судья.

Юноша не ждал такого ответа, он смотрит на судью расширенными глазами, затем растерянно вбегает в жилище, что-то ищет, однако вспоминает, что ему нечего искать, — все, что у него есть, на нем, — и, выскочив наружу, пробегает мимо судьи, даже не взглянув в его сторону. Он устремляется вниз к реке.

Судья с грустью смотрит ему вслед.

— Пусть считает, что спасся от меня! — злобно ухмыляется неизвестный и возвращается в жилище.

Юноша скрывается за холмом.

Судья поворачивается и идет к холму. Поднявшись довольно высоко, смотрит в сторону дороги, ведущей к реке. Он видит юношу. Тот спускается к реке, то и дело скрываясь в кустарнике.

Судья поднимается еще выше. Опять видит юношу.

...Вот он уже у реки, входит в воду. С трудом перебравшись на другой берег, вскоре скрывается в роще. Судья долго стоит неподвижно, затем, глубоко вдохнув, направляется к развалинам.

Его трудно узнать. Это совершенно другой человек — жестокий, сильный, со взором орла, вдруг преисполнившийся каким-то решением... Он не спеша идет к развалинам, постепенно распрямляясь в плечах...

Входит в жилище.

Неизвестный сидит у костра, дымит сигаретой.

Увидев судью, выстреливает сигарету в огонь, ложится на постель.

Судья смотрит на него с ненавистью, однако молчит, ждет повода. Неизвестный не представляет долго ждать.

— Что-то выпить захотелось!

Судья молча берет сумку и, перекинув ее через плечо, выходит.

— Прихвати и табаку! — кричит неизвестный следом и с улыбкой смотрит на висящих вверх тормашками летучих мышей...

Судья, промокший до нитки, собирает на кладбище остатки снеди. У одной могилы он находит три бутылки вина, у другой — еще четыре. Положив все в сумку, судья направляется к дому. Он останавливается у одного дерева. Видно, что это место ему очень нравится. Он убирает, чистит вокруг дерева и продолжает путь.

Ночь.

Неизвестный и судья сидят у очага. Между ними разложена еда. Чокнувшись бутылками, они выпивают.

Неизвестный жадно пьет и постепенно веселеет.

— Смотри, что я тебе покажу! — говорит он вдруг судье и показывает ему игральные кости. — Я их сделал из хлеба! Ну, хороши они?

Судья рассматривает их, подкидывает профессионально в руке и бросает на землю.

Выпадает «ду шаш» — две шестерки.

— Вах, ты, оказывается, не шутишь! — похвалил его неизвестный. — Может, сыграем?

Судья молча соглашается.

Неизвестный засуетился, с азартом подготовил место для игры и опустил на одно колено.

Судья тоже устраивается поудобнее.

Начинается игра.

Скоро перед ними появляются деньги.

Они по очереди выставляют «фосты», азартно кидают кости. Не прерывая игры, потягивают из бутылок вино.

Судья все время выигрывает. Неизвестный злится, затевает ссору, лезет на судью, однако тот хватается за рубашку и с силой сажает на место. Удивленный неизвестный, почувствовав силу, подчиняется.

Он обьят азартом, глаза у него горят, он все чаще прикладывает к бутылке. Скоро он еле ворочает языком.

Еще немного — и он банкрот. Тщетно роется в карманах. Затем, вспомнив что-то, собирает с земли деньги, разбросанные юношей, и пускает их в игру. И тоже проигрывает. Он предлагает играть на свою оборванную одежду...

Судья согласен, ведь здесь важен принцип, а не выигрыш.

Вот и одежда проиграна.

Неизвестный остался в нижнем белье. Он дрожит, неизвестно, от холода или злости.

Судья протягивает ему полную бутылку вина и говорит:

— Пей, согреешься!

Неизвестный берет у него бутылку, чувствует, что он растерян. Он подносит бутылку ко рту, но выпить не может.

— Пей! — насмешливо настаивает судья и сам не отрываясь опорожняет бутылку.

Неизвестный старается не отстать, прикладывает к бутылке, однако больше разливает на себя, чем пьет. Вино попадает ему в дыхательное горло. Он закашлялся, задыхается, еле приходит в себя и, обессилевший, голый ложится на постель.

Судья смотрит на него с отвращением, затем забрасывает его выигранными деньгами, одеждой. И тоже ложится.

Некоторое время он наблюдает за летучими мышами. Они отравляются от свода и улетают за ночной добычей.

Судья засыпает.

Продрогший, расстроенный неизвестный еле встает, кое-как натягивает на себя одежду. Жилище освещает костер. Неизвестный подходит к спящему судье, зло смотрит на него. Затем начинает что-то искать, действует осторожно. Выходит наружу. Лемех застрял в дереве.

Судья спит спокойно. На его лице играет странная улыбка...

...Открывается дверь. В комнату входит кто-то со свечой в руке. Из тумана проступает женщина, ее лицо.

Она приближается к судье, лепит свечку к стене. Молодая, красивая женщина стоит над его головой, кладет ему руку на лоб, приглаживает волосы, вытирает прохладной сухой тканью мокрое лицо, подносит пить из глиняного кубка. Затем она накрывает его одеждой как одеялом, заботливо поправляет одеяло за его спиной.

Судье приятна забота женщины, он блаженно улыбается и в знак благодарности целует ей руки.

Женщина не отнимает своих рук. Она тоже целует его — сначала в лоб, затем в губы. Ложится рядом с ним, кладет голову ему на руку, прикладывает щекой к его щеке...

Огонь в очаге погас.

Все поглощается тьмой.

Наступило солнечное утро.

Воцарилась тишина, предвещающая недоброе.

К развалинам подходит буйвол.

— Но-о-о-ой!

В ответ — молчание.

Буйвол стоит, поводит грустными глазами.

Камера «заглядывает» в жилище, обводит его «взглядом». Постель неизвестного пуста — нет ни его самого, ни его одежды, ни денег.

Судья лежит на своей постели, как и лежал: лицом вверх, раскинув руки, как будто рядом лежит женщина. Но женщины нет — видимо, ее и не было. У виска судьи видно небольшое темное пятно, к которому прилипли волосы.

На земле валяется окровавленный лемех, рядом с ним — маленькая кровавая лужа...

— Но-о-ой! — раздается мычание буйвола.

Комната исчезнувшего человека со странной картиной на стене. На картине — холмы горчичного цвета. Между ними — железная дорога и поезд. Виден и вход в тоннель, ниже блестит река, а на горе — развалины старинного монастыря. Среди развалин стоит буйвол с большими печальными глазами...

В комнате сидят слепые. Слышен чей-то голос:

— Представьте себе реки, горы, крепости, животных, птиц и железную дорогу между горчичными горами... Это такое место, которое, раз увидев, никогда не забудешь... Однако...

Голос перекрывается шумом, проникающим снаружи...

Город.

Многоэтажные дома.

Улицы переполнены машинами.

Слышен непрерывный гул моторов, сидящие за рулем бессмысленно сигналият, нервничают, высунув голову из окон, ругаются, кроют матом...

Объектив постепенно поднимается в небо, оставляя далеко внизу городские улицы, наполненные людьми и машинами. Люди начинают походить на копошащихся муравьев, постепенно превращаются в точки, исчезают...

1989 г.



**Петр  
ПОПОГРЕБСКИЙ**

## **ЮБИЛЕЙ ЧИНОВНИКА**

**В** зал международного аэропорта «Шереметьево» ворвался сквозь самооткрывающиеся двери молодой человек с кейсом. Метнулся к справочной — все девушки, сидящие перед дисплеями, заняты с иностранцами. При взгляде на огромное информационное табло в глазах зарябило от множества названий городов и номеров. Но в одной из строчек мелькнуло нужное и до того необходимое, что показалось родным, — Калькутта! Да, рейс Москва — Калькутта, уже идет регистрация...

Вадим Поморцев, статный мужчина средних лет, получил свои документы, которые произвели на таможенника впечатление достаточное, чтобы его чемодан досмотру подвергнут не был, пропустил перед собой двух милых индийских женщин в песцовых шубках поверх лиловых сари и двинулся было в посадочную галерею, как до его слуха донеслось:

— Вадим Андреевич! Вадим Андреевич!

Чей-то надсаженный голос прозвучал диссонансом в приподнятой атмосфере таможенных служб. Поморцев обернулся и с неудовольствием опознал в молодом человеке, который дергался и мотался за стеклянной загородкой зоны, конструктора Улыбышева.

— Вадим Андреевич! Лист утверждений!! — надрывался тот, размахивая листком кальки, — подпишите, мол, умоляю!

Таможенники ждали, как устранит Поморцев досадную помеху. Он нашел самое

простое и надежное решение:

— Вернусь — подпишу! — и, просияв международной улыбкой, прошествовал на посадку в свой серебристый лайнер...

В буфете второго яруса два негра в ширпотребовских ушанках, приобретенных только на время недолгого пребывания в зимней Москве, пили кофе. Подошел русский молодой человек. Сел.

На свободном стуле раскрыл, как этюдник художника, свой кейс, достал флакончик с тушью, перо, бумаги. Все его действия были отмечены мрачной решимостью. На лицах негров отразилось уважение.

Улыбышев, а это был он, взял машинописную копию титульного листа, на нем имелась карандашная виза Поморцева, и, потренировавшись на бумажке, подделал тушью под грифом «Согласовано» на кальке его факсимиле.

— Эти русские, они работают везде! — сказал один негр другому.

Когда сквозь те же электронные двери Улыбышев вышел на скрипучий декабрьский мороз, над зданием аэропорта вознесся рев, и в воздух взмыл «боинг», унося В. А. Поморцева к жемчужным берегам моря у Калькутты. Улыбышев даже не повернул головы — сел в автобус.

В начале лета Бондарин приобрел наконец новый телевизор. Таксист помог втащить тя-

желую коробку в подъезд:

— Теперь в цвете футбол смотреть будем? Пора!

— Пора, пора, сказал писатель Пришвин! — отвечал Бондарин.

И вот новый аппарат водружен на вращающийся столик в углу комнаты. Бондарин стал прилаживать антенну.

— Хорошенький! — радовалась дочь Ольга.

— Сережа! Но, говорят, новый телевизор должен подключать мастер из телеателье? — жена Нина волновалась слегка.

— Мама! Папа инженер как-никак! — в предвкушении Ольга устроилась на диване, поджав под себя свои девятнадцатилетние ноги.

— Были, были когда-то и мы жеребцами! — Бондарин нажал кнопку.

Томительная пауза, шорох, и под женский восхищенный вздох экран расцветился чистыми яркими красками. Более того, передача случилась самая что ни есть подходящая: с первых же кадров — великолепие тропической природы и диковинные звери, вернее, зверьки с полосатыми хвостами пошли шествовать среди лавров и орхидей.

— Ой, кто это?! — ахнула Ольга.

— Какие коты! — восхитилась Нина.

— Лемуры, — Бондарин устроился между дочерью и женой.

— Хочу такого, хочу! — заявила Ольга.

— Говорят, вонючки еще те, — заметил Бондарин.

— Ты всё норовишь испортить! — возмутилась Нина.

— А вот сейчас Сенкевич скажет!

На экране появилось знакомое лицо популярного ведущего.

— Эти симпатичные зверьки, которыми мы сейчас любовались, — начал он, — своего рода символ, талисман острова, на котором мы сейчас побываем, — кошачьи лемуры Мадагаскара...

— Кошачьи! Я тоже права! — Нина засмеялась.

Хорошо, уютно им было втроем на диване.

— Но прежде хочу познакомить вас, — продолжал Сенкевич, — с человеком, который любезно предоставил нам увлекательные эти кадры...

На экране возник джентльмен, именно так запечатлелся его облик, особенно улыбка и тронутые алюминием виски. Бондарин подскочил даже:

— Да это же Вадька! Вадька Поморцев!

Сенкевич тут же подтвердил:

— Доктор технических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института тепловых процессов Вадим Андреевич...

— Поморцев! — восторжествовал Бондарин. — Мы же работали вместе!

— Плейбой какой-то! — Ольге Поморцев

не понравился.

— Нет, Оля, это мужчина! — возразила ей Нина.

— Да ну! Лемуры опять давайте!

— Тихо! — остановил их Бондарин. — Дайте послушать!

— В декабре прошлого года в составе международной комиссии по науке, — вещал Поморцев, — она была создана под эгидой ЮНЕСКО для помощи развивающимся странам, это так называемый кочующий семинар, мне довелось побывать в ряде стран Индийско-Тихоокеанского региона. Мы посетили Минданао, остров Калимантан, Сейшельские острова...

— Господи! — простонал Бондарин.

А Сенкевич кивнул — неплохой, весьма недурной выбор!

— И конечно, Мадагаскар! Воистину, это жемчужина Индийского океана! — пел Вадька. — И повсюду со мной была верная спутница, вот эта телекамера, — он выложил перед Сенкевичем аппаратуру. — Такое, как видите, маленькое у меня хобби...

— Простите, Вадим Андреевич, — перебил тут Сенкевич с тонкой улыбкой. — Хобби, положим, не такое уж маленькое — океаны и страны, а вот камера действительно миниатюрная.

— Да, помещается в кармане брюк.

— И никакой возни, как с кинопленкой, заряжать, проявлять?

— Все, что отснял за день, вечером можно просмотреть в отеле.

Бондарин шумно вздохнул, теряя терпение.

— А это видеокассетка? — Сенкевич взял плоскую коробочку. — Ваша?

— Вот бы такую! — охнула Ольга.

— К сожалению, отечественная промышленность подобную аппаратуру пока не освоила, — ответил ей Поморцев с экрана.

— Будем надеяться, что среди членов нашего клуба есть и деятели микроэлектроники, — поддержал Сенкевич. — Выпуск подобного снаряжения стал бы большим подспорьем в дальнейшем развитии такого полезного вида отдыха, как путешествия и туризм...

— По Мадагаскарам и Сейшельским островам! — Бондарин поднялся.

— Папка, ты куда? — удивилась Ольга.

— Покурить, — был ответ.

— Стой, сейчас опять лемуры дадут!

Сенкевич, поблагодарив, попрощался с Поморцевым, и снова пошли шествовать на экране пушистые лукошки-полуобезьянки, вздев полосатые хвосты, как плюмажи.

— Вот же они, папка, вот!

— Не трогай его, — сказала Нина тихо.

— А что с ним?

— Не поняла? Когда-то они работали вместе, а теперь... Отец на Мадагаскаре вряд ли когда-нибудь побывает...

Бондарин курил на кухне, глядя в окно. Внизу лежал двор — тополя, песочница и клумба с пионером без горна. Девочка вывела погулять песика породы Дружок, и тот сразу поволок ее к пионеру.

В кухню вошла жена Нина.

— Не знаю, что вам на первое готовить. Щи или суп гороховый?

— Что тебе проще, то и съем,— Бондарин задавил окурочек.

— Ну так не мешайся тут!

Он пошел в гостиную. Оттуда уходила Ольга.

— Ну вот! Такой аппарат им добыл, а все разбежалось!

— Сессия! Так что мне не до красот природы, папа! — и Ольга ушла в свою комнату.

Конечно, это тоже была поддержка. Бондарин глянул на новый телевизор. Да, хороший экземпляр достался! Среди радужных брызг летели на своих катамаранах жилистые сингалезцы. Или мальгаши?

Служба Государственного инженерного надзора, где работал Бондарин, помещалась в одной из галерей бывших торговых рядов в самом центре Москвы. В двадцатых годах галерея была перегорожена внутри вдоль и поперек и превратилась в соты.

Кабинетик Бондарина находился под самым коньком, поэтому окно имело стрельчатую верхушку, а стены сходились сводами — светелка.

Старый эксперт Чалый в сатиновых нарукавниках внес, сгибаясь, переплетенные в ледерин тома и сгрузил на стол Бондарина.

— Высоконапорный нагнетатель,— объяснил он, отдуваясь.

— Что нагнетать? — спросил Бондарин.

— В нефтедобыче я не силен, но... В общем, для комплексной разработки, переработки трам-та-ра-рам месторождений Западной Сибири, короче, полный атак!

— Актуально! — кивнул Бондарин.— Был бы проект хороший!

— Гляньте! — Чалый раскрыл самый толстый том и, вытащив синьку, сложенную гармошкой, стал раскладывать чертеж.

Бондарин тем временем засучил рукава сорочки.

— А в нарукавничках-то сподручней,— заметил Чалый.

— Дочь узнает, засмеет.

— А вы заставьте ее стирать, враз перестанет.

— Самому приходится, Иван Никитович? — Бондарин с сочувствием глянул на мешковатую фигуру Чалого. Но сорочка на нем была свежа.

— Так в прачечной порвут. А я сорочки китайским способом: накопится их, в ванну,

пускаю воду, сыплю порошок и сам туда, босой. Хожу и жамкаю, жамкаю! И получается: и стираю, и ноги мою, а удовольствие тройное, потому как вроде вино даваю!

Рассмеялись. Расстеленный чертеж протянулся через всю светелку. Бондарин привычно взобрался на стул, чтобы сверху охватить взглядом продольный разрез механизма.

— Изящно...

— Вот и я говорю,— кивнул Чалый.

— Входной патрубок, пожалуй, чуть зажат...

— И мне показалось. Но это их дела. С точки зрения Норм и Правил инжнадзора все чин чинарем. Вот заключеньице,— Чалый положил перед Бондариным лист с кратким текстом.— Стало быть, без замечаний. Если вы в расчетной части чего-нибудь у них не найдете.

— Кто согласовывал проект по науке? — поинтересовался Бондарин.

— Где тут лист утверждений?... Вот!

— Ба! Вадька Поморцев! — воскликнул Бондарин, глянув.— Этот Вадька, он везде! На днях — по телевизору, сегодня тут! Нет, этого я проверю, по островам много шастает.

— Учились вместе?

— Работали... Стоп! — Бондарин подчеркнул ногтем факсимиле Поморцева и дату визы.— Подписал двадцать первого декабря?

— Канун Рождества Христова — конец планового года,— откликнулся Чалый.— Уложились ребята, молодцы!

— В декабре в составе международного семинара довелось увидеть лемулов Мадагаскара! — вспомнил Бондарин.— Кто авторы проекта?

Чалый извлек из недр своих брюк лупу.

— Ведущий конструктор Улыбышев,— вычитал он в углу чертежа.

Бондарин тревожно застучал карандашом по столу.

— Подольское ОКБ «Ротор», — продолжал Чалый.— Имел с ними дело и не раз, но этого конструктора... Видно, из новых: что ни решение — свежатинка. Или молодой. Хотя... — он посомневался.— Тут глубина проработки такая, хоть сейчас чертежи технологом отдавай, готовь оснастку и запуская нагнетатель этот в серию!

— Улыбкин? — переспросил Бондарин.

— Улыбышев. Интересно, кто таков?

— Может быть, придется познакомиться,— Бондарин задумался.

В одной из комнат конструкторского бюро Вика, молодая женщина в белом халатике, наблюдала за работой графопостроителя. Умная машина не нуждалась в присмотре, и пора бы привыкнуть, но непредсказуемое витание пишущей каретки над поверхностью

ватмана завораживало — как бы из ничего, сам по себе рождался чертеж — магия!

Зазвонил телефон. Вика сняла трубку.

— ОКБ «Ротор»! — такая здесь принята была четкость.— Федя! Тебя!

Один из конструкторов, собравшихся возле дисплея, на экране которого смещались зеленые линии, меняя очертания некоего узла, встал из-за пульта, бросив товарищам: «Так держать!»

— Конструктор Улыбышев слушает! — сказал он в трубку.

Да, это был тот самый молодой человек, который декабрьским днем прошлого года преследовал доктора наук Поморцева в аэропорту.

— А что за вопрос? — насторожился он, выслушав.

— Может быть, пустяк,— ответил Бондарин на другом конце провода.

— Приеду! Но сегодня поздно — электричка. Завтра с утра.

Тут те, кто сидел у дисплея, разом глянули на него и строго.

— Если вам удобно! — поспешно добавил Улыбышев в трубку.— Госинжнадзор! — объяснил он, закончив разговор.— Какой-то вопросик, может быть, пустяк. Слушайте, неужели последнее заключение у нас в кармане, а?!

Товарищи вздохнули облегченно. Их было трое, все старше: маленький Киселев, усатый Корин, грузный Родин с лысиной Сократа выглядел старше всех, впрочем, так оно и было.

— И завтра же из инжнадзора — в Пром-проект с этим заключением по ушам! Теперь им от нашего нагнетателя не отвертеться! А в понедельник — на «Уралспецмаш»! Вика, выписывай командировки!

Так шумел и распоряжался Улыбышев. Но загадочно перемещались, меняя пространственную структуру, линии на экране дисплея...

Утренняя электричка летела над нежно-зелеными скатертями подмосковных полей. Солнце пронизывало вагон, и, чувствуя его тепло щекой, Улыбышев улыбался, держа на коленях свой верный кейс.

Эту свежесть утренних полей он внес в келью Госинжнадзора.

— Мне нужен старший эксперт Бондарин! — сказал он одной из женщин, в отделе их работало около десяти.

Старик Чалый встал, чутьем опознав в молодом человеке того, кто так заинтересовал его своей работой.

Женщина показала на дверь в торце комнаты, несколько ступенек вели к ней. Улыбышев преодолел их махом. Чалый остался стоять.

Готовый к приятному, Улыбышев сидел

напротив Бондарина. Но первый же вопрос чиновника озадачил:

— Федор Геннадиевич, вы не смотрели случайно последний выпуск «Клуба путешественников» на днях?

— На телевизор у меня времени нет! — ответил Улыбышев гордо.

— Там были любопытные кадры с лемурами.

— Лемуры?! Это кто такие?

— Кошачьи лемуры Мадагаскара.

— При чем тут Мадагаскар?!

— На этом острове побывал доктор технических наук Поморцев В. А. Тот, кто согласовывал ваш проект по научной части.

— Ну и что? — Улыбышев успокоился, решив, что перед ним не совсем здоровый человек.

— Это было в декабре прошлого года,— продолжал чиновник.— Но, судя по его визе на вашем проекте, в то же самое время он находился в Москве. Вот — двадцать первое декабря. Мистика?

Краска поднялась по молодой шее Улыбышева и залила щеки.

— Может, он успел подписать, а потом улетел? — сжалился Бондарин.

— Я не понимаю...— начал Улыбышев и осекся — почему не сказал «да!» и дело бы с концом? — Не понимаю! — повторил он, досада уже туманила голову.— Какое значение это имеет для вас вообще?! Все эти визы и как мы их получили, с каким трудом?! — от одной ошибки к другой и покатилось.— Каждый сует палку! Наш проект поступил к вам на предмет соблюдения Норм и Правил вашего инжнадзора, вот и проверяйте!

— О проекте потом! — перебил Бондарин.

— А для нас это главное! — шумел молодой гений.— Мы ночей не спали, чтоб успеть заменить старое барахло, которое проектанты взяли для нового комплекса!

— И поэтому подделали подпись?

— Какое это для вас имеет значение, какое?! — сорвался Улыбышев.

— Вы заставляете меня позвонить Поморцеву,— сказал Бондарин.

— Звоните! Хоть в прокуратуру!

— Если вы не поменяете тон, разговор у нас не получится!

— Ничего у нас не получится! На словах все «за»! Дашь научно-техническую революцию! Дорогу научно-техническому прогрессу! Не будет у нас революции!

— И не надо,— Бондарин усмехнулся.— В семнадцатом была.

— И прогресса не будет, ни научного, ни какого! Из-за таких, как вы! — выпалил Улыбышев и выскочил из кельи.

Сбежав по ступенькам, он рванулся меж столов к выходу. Но у двери стоял, ожидая, старик в сатиновых нарукавниках.



— Разрешите представиться! — он улыбнулся кротко. — Эксперт Чалый, Иван Никитович! Я работал с вашим проектом...

Улыбышеву пришлось пожать его лапку.

— Давайте отойдем к окну, здесь я вас плохо вижу, — предложил Чалый. — Съел свои глаза на чужих проектах.

— Как же вы чертежи читаете?! — вскинулся Улыбышев.

— А у меня лупа! — старик извлек ее из штанов.

— Так это в нее вы двадцать первое декабря разглядели?!

— Я только хотел сказать... — Чалый растерялся.

— Лемуры, Мадагаскары! — Улыбышев рванул дверь. — Паноптикум какой-то! Кунсткамера!

— Мне понравился ваш проект! — крикнул вслед Чалый.

— Плюньте, Иван Никитович! — сказали старику женщины. — Эти физики все с приветом.

Улыбышев выскочил из Госинжнадзора кипя. Как все сопоставил, подвел и расколочил чиновник! Но пару хватило на десяток шагов — столкновения с прохожими отрезвили. Да, чиновник его расколочил, значит, за этим что-то последует. Гнев смирился тревогой...

Водитель троллейбуса и пассажиры — сквозь ветровое стекло, прохожие — с тротуара, оцепенев, наблюдали неправдоподобное: на одной из центральных улиц Москвы в каких-то сантиметрах от озадаченной морды троллейбуса, вставшего, как вкопанный, от чего сорвался, мотаясь, бугель, немо жестикулировал человек...

Улыбышев очнулся и в испуге вскочил на тротуар. Троллейбус тронулся, прохожие разошлись. А тревога перешла в панику.

— Бондарин — чернильный штемпель, бумажная душа! — говорил в телефонную трубку один из конструкторов ОКБ маленький Киселев. — Чего еще ждать от него, конечно, заложит! Беги к Поморцеву, сегодня же беги, Поморцев ученый, то есть творческий человек, он нас поймет!

Усатый Корин и Вика частыми кивками подтвердили убежденность в этом, Родин, потеряв лысину пятнерней, выразил сомнение.

— Нет, не на работу, не в институт, на квартиру к нему беги!

Улыбышев крутанулся в будке таксофона — на той стороне площади алюминиевый киоск «Мосгорсправки» и очередь к нему.

— И помни, Федя! Слышишь меня? Мы с тобой! — закончил Киселев.

Держа перед собой бланк «Мосгорсправки», Улыбышев вышел из метро в одном из новых микрорайонов, подвергнутом комплексной застройке: прямо перед станцией колыхался пруд в бетонных берегах свободных очертаний и в нем отражался уступчато огромный дом, Дом-город. От метро к нему вел виадук, все будто в двадцать первом веке.

Сквозь стеклянный тамбур Улыбышев вошел в просторнейший холл нужного подъезда и тут же был остановлен строгим взглядом поверх обложки журнала — вахтерша читала «Курьер ЮНЕСКО».

— К Поморцеву Вадиму Андреевичу, — Улыбышев оробел, — доктору технических наук...

— Назначено? — вахтерша оглядела его — вид у гостя был пыльный.

— Да! — соврал Улыбышев с отчаяния и поступил верно.

— Шестнадцатый этаж, — последовал ответ.

На звонок Улыбышеву открыла дверь молодая, очень крупная, но пока стройная женщина.

— Я к Вадиму Андреевичу! — сказал тот, волнуясь. — Конструктор Улыбышев, доложите, пожалуйста!

— Чего, чего? Доложить? — женщина рассмеелась. — Входите!

Он вошел, принялся шаркать о половики, а в конце коридора просторной квартиры возник ее хозяин, в очках и с «Вечеркой».

— Вадим Андреевич, добрый вечер! — начал кланяться Улыбышев.

— А-а! — Поморцев узнал его. — Высоконапорный нагнетатель!

— Извините, что без звонка, но дело в том... В Госинжнадзоре старший эксперт Бондарин... В прошлом году, когда вы улетали в Калькутту, я... — Улыбышев запутался. — Я пришел к вам потому, что...

— Жизнь заставила! — закончил Поморцев. — Проходите, юный друг! Марианночка, кофейку нам!

Марианна прошла на кухню и повязалась фартучком.

Кабинет доктора наук и путешественника, конечно, был украшен зулусским боевым копьем, ритуальной маской людоеда, сушеным вараном и прочими заморскими раритетами.

— Пока работали, радовались, — говорил Улыбышев. — Какая машина получается, ведь наш нагнетатель эффективней, значит, экономичней, так?

— Все так! — подтвердил Поморцев весомо.

— И вот проект готов. И оказывается, что он вроде никому не нужен! Завод использует любой повод, чтобы оттянуть изготовление

опытного образца, деятели из Промпроекта выжидают, чем кончится, а сами пальцем не шевельнут, чтобы прекратить бесконечные согласования!

— Инерция! — Поморцев вздохнул. — Инерция покоя!

— У нас не было выхода, поймите! — Улыбывшись смолк.

— Чем могу быть полезен? — спросил Поморцев. — Нужно что-то подписать? — он щелкнул авторучкой системы «Пилот».

Марианна вкатила в кабинет серверовочный столик.

— Спасибо, Марианночка! — Поморцев с удовольствием оглядел дымящийся кофейник и вазочки с вкусняшками.

Выйдя, Марианна прошла к себе и, севши, включила дистанционным пультиком телевизор. На экране пошла любовная сцена, непривычно смелая для отечественных телепрограмм, — телевизор работал от видеосистемы. Но вдруг за дверь что-то грохнуло, послышался голос.

Марианна выглянула в коридор — вслед Улыбышеву из кабинета выкатился десертный столик, роняя вкусняшки.

— Фальсификатор! Авантюрист! — кричал взвешенный Поморцев.

Улыбышев выскочил на лестничную площадку. Поморцев намеревался преследовать его и там...

— Ты выгнал человека! — крикнула Марианна.

— Он подделал мою подпись!

— На векселе? — Марианна усмехнулась скептически.

— На документе государственной важности!

— А! Скромный парень, о половик ногами шаркал, как конькобежец...

— В тихом омуте... Мошенник! — Поморцев не мог успокоиться.

Марианна ушла к себе. Много было пропущено на телеэкране, пришлось прокрутить пленку назад. Наконец вот она, та сценка. Но опять помеха — на самом интересном в комнату вошел Поморцев.

— Ты не помнишь, какую фамилию он назвал? Как этого эксперта?

— Какого эксперта?

— Из инжнадзора.

— Не хочу знать никакого надзора!

— Бондарев... Бондаренко? — попытался вспомнить Поморцев. — Да выруби ты эту порнографию в конце концов!

— Это не порнография.

— Ну секс, пере-секс, как его там?!

— И не секс. Это эротика, в чем ничего плохого нет, возьми словарь. И вообще, — Марианна повернулась к нему, — не надо ханжить в воспитательных целях. Мне двадцать пять с гаком, пора привыкнуть, папа!

Изгнанный мошенник опустошенно стоял на бетонном берегу пруда. За спиной возвышался Дом-город.

— Не надо, не надо! — донесся с противоположного берега истошный крик. — Тут мелко, все равно не утопишься!

Послышался девичий смех — там гуляла веселая компания.

Утром следующего дня в кабинет замдиректора НИИтеплопроцесс вошел невысокий человек с ласковыми манерами и наглым взглядом — приближенный Поморцева Аскольд Шамрай.

— Вадим Андреевич! В Госинжнадзоре нет Бондарева. Есть Бондаренко, но она женщина, потому что Алла. Однако есть Бондарин. Сергей Иванович, — он положил перед Поморцевым листок с номером телефона.

— Сергей Иванович? Бондарин? Серж! — обрадовался Поморцев.

— Знакомы?

— Это меняет дело! — но, тут же вспомнив нечто из прошлого, Поморцев повторил, но уже по нисходящей: — Это меняет дело...

— Произвести зондаж? — Шамрай уловил в шефе неуверенность.

Поморцев поднял на него взгляд.

— Я это к тому, что после обеда меня не будет, — объяснил Шамрай небрежно.

— Так можно и без ужина остаться...

Шамрай тут же спрятал глаза мелкого хищника и вышел.

Проект нагнетателя отодвинут на край стола. Бондарин работал с другими чертежами. Зазвонил телефон.

— Слушаю!

— Добрый день! — прозвучал мужской голос, причем игриво.

— Добрый...

— Серый?! — позвал Поморцев. — Серж! Не узнаешь?

— Узнаю, — ответил Бондарин спокойно. — Ты, Вадька.

— Ну и память! — Поморцев засмеялся деланно. — Как сохранил? Здоровье бережешь, физкультурой занимаешься?

— Да, по утрам гирькой балуюсь, а поднять не могу.

Ну и ответ — шутка или издевка, Поморцев не разобрал.

— Ну а вообще, как живешь? — вынужденно сошел на расхожее.

— Приходи, увидишь.

Н-да, твердый орех, как расколоть?

— Дети есть? — Поморцев пошел вслепую.

— Дочь студентка.

— А у меня аспирантка! — брякнул Поморцев и вышло хвастливо.

— И тут обошел! — последовал ответ. Удача! Завидует Серж, конечно! Оттого и пыжится.

— А если в самом деле увидеться? — пошел на предмет Поморцев.

Возника пауза. Поморцев напрягся.

— Возражений нет, — ответил Бондарин.

— Так что, заехать за тобой после работы?

— Валяй.

И все же Поморцев, хоть и добился своего, остался недоволен. В разговоре прозвучало нечто и вместе с тем не хватило того, что можно было бы объяснить только ревнивой завистью Сержа.

Буйным цветением королевских бегоний, пышными кронами лип встретили бывших друзей Лужники. Чаша главной арены отдыхала.

— Это ты хорошо сделал, что привез сюда, — сказал Бондарин.

— Знаю я одно прелестное местечко... — пропел Поморцев.

— Как разрослось все! Сто лет не был.

— Оазис! Представь, что тебе вдруг вот так захотелось увидеться с милой женщиной, куда идти? Сюда! Вздохи на скамейке, прогулки при луне, а? Аромат ушедшей молодости!

— Постой! — Бондарин остановился. — Ты ходишь сюда с милыми женщинами, а я пришел с тобой. Что обо мне подумают?

— Узнаю! — Поморцев захохотал. — Вот теперь узнаю старину Сержа! Полная безопасность, старик! Люди нашего ареала сюда не ходят!

— О секретах потом, — ответил Бондарин. — Идем, что-то покажу.

Вошли в одну из аллей. Кроны лип образовали свод над нею.

— Вот эти деревья наш курс сажал, — сказал Бондарин. — На субботнике. В пятьдесят шестом. К Спартакиаде народов СССР.

— Уже не зря жил на свете!

— Рядом Ромка Басин копал, Гена Пузилов, Ваня Малеев... Или он дальше стоял? Теперь не спросишь: Ваня первым из наших в лучший мир отошел... За ним Люся Костюченко...

— Кончай серьезничать! Кончай! — Поморцев отмахнулся суеверно.

— Виталька Федоров. И Вадька Тавровский тоже, — Бондарин повернулся к Поморцеву. — Ну! Говори, зачем сюда привел.

Тот помрачнел, игривость слетела, так подействовал мартиролог.

— Сам знаешь! Мою подпись подделали экстремисты.

— Ты сам довел их до этого.

— А меня кто?! В день отлета я должен был успеть на две комиссии, которых я член,

потом верстку подписать в журнале...

— Ребята не виноваты, что ты такой работоспособный.

— Я им сказал: вернись — подпишу!

— То есть с точки зрения науки, по которой ты согласовывал нагнетатель, машина хорошая? Так какая разница, сам ты или они за тебя подписали? Не понимаю, чего ты пере... вздрогнул!

— Тебе хорошо рассуждать! Пришел на работу — снял пиджак, после работы — надел и вышел. А на меня навесили... Речь даже идет о том, чтобы в Бюро по машиностроению при Совмине привлечь!

— К ответственности, что ли?

— К работе, понял! — выпалил Поморцев.

— Так бюро и создано, чтоб машиностроение вперед толкать! Вот и толкай новый нагнетатель, иначе на кой хрен ты там?!

— Узнаю Сержа Бондарина! Все тот же — что думаю, то говорю!

— Нет, укатали. А то б сказал тебе!

— Да пойми ты, подделана моя подпись! Как в том анекдоте — то ли он украл миллион, то ли у него украли. Буря в пузырьке чернил, а заляпает, никакая химчистка не поможет.

— Вот и не мути чернила.

— Не я, это ты мутишь!

— Я подписал экстремистам заключение. Пусть придут и возьмут.

— Как?! — вырвалось у Поморцева.

— Нагнетатель ведь хороший.

— Что же ты молчишь?

— А ты меня спрашивал?

— Хе-хе! Хе-хе! Ну ты даешь! Ну ты даешь! — повторил Поморцев, надо было как-то вывернуться из растерянности. — Ну что, пойдем куда-нибудь выпьем?

— Ты за рулем.

— Ну так давай домой тебя подброшу! Но Бондарин и от этого отказался:

— Поброжу тут...

— Что ж... — Поморцев пожал плечами. — Тогда — привет семье!

— Поливай фикус! — был ответ.

И Поморцев пошел по аллее, она вела к запасным воротам.

— Знаю я одно прелестное местечко! — напевал он, пританцовывая, что должно было продемонстрировать его неуязвленность. — Под горой лесок... — он подошел к воротам, — и маленькая речка! — толкнул, но створки не поддались. Поморцев рванул их, сотряс — ворота заперты.

Он оглянулся стыдливо — к счастью, Бондарин смотрел в другую сторону. И Поморцев пошел вдоль ограды, срывая злость на головках одуванчиков:

— Чиновник!

Форсажный рев автомобильного двигателя заставил Бондарина оглянуться — за оградой стадиона промчала «Волга».

— Ты еще ко мне придешь! — шипел в ней Морозов. — Приползешь!

Бондарин вольно сидел под липами, посаженными им вместе с другими студиями треть века тому назад...

В ОКБ «Ротор» старший по возрасту бородач Родин считал деньги в ящике письменного стола. Товарищи стояли рядом.

— Сто пятьдесят... Двести пятьдесят... Четыреста!

— Тихо! Вика! — предупредил Корин.

— Полкуса! — Родин задвинул ящик.

Подошла Вика. Молча положила на стол стопочку червонцев.

— Тут ровно сто.

— Не понял?! Что такое?! — изобразил Родин.

— Неужели думаете, я ничего не понимаю? — ответила Вика. — А если не доверяете, то это очень обидно!

— Ты-то где деньги взяла? — спросил Корин.

— Бабушка дала. Из своих похоронных. Откладывает... Пока, говорит, не вернешь, не помру. Так что лучше не возвращай.

— Радость ты наша! — Корин зашевелил усами, расчувствовавшись.

Родин вопросительно посмотрел на маленького Киселева. Тот подумал и кивнул — бери.

— Сумма только получается неровная, — сказал он.

— Шестьсот? Клево! — Родин сложил деньги в конверт. — Намек: сделаешь, наварим до полного куска.

— Обещанное нужно выполнять, а где возьмем? — спросил Корин.

— Толкнем нагнетатель в серию — премия, мэй би...

— Толкнем — тоже мэй би.

— Так для чего мы это затеваем?!

— Ладно! Проигрываем вариант: чиновник не берет, — сказал Киселев.

— Что?! — Родин шмякнул конвертом по столу. — Если подделка подписи расколос, но нас пока не заложил, значит, ждет! И возьмет!

— Тогда бросаем жребий: кто? — сказал Киселев. — Уголовный кодекс.

— Я тоже участвую! — заявила Вика.

— Нет, родная, тут уж о женском равноправии ты забудь! — сказал ей Корин.

Улыбышев взял конверт, бросил в свой кейс и защелкнул.

— Подделка подписи на госдокументе — раз, попытка дачи взятки — два! — Киселев загнул пальцы. — Это даже не пять лет, ты понимаешь?!

— Мне все равно, сколько сидеть, пять лет или десять, — ответил Улыбышев, — если наш проект пойдет в корзину!

Бондарин работал в своем кабинете. Вошел Улыбышев, поздоровался кивками, но не робко, а как-то зажато. Предложив ему сесть, Бондарин стал рыться в ящике стола. Улыбышев не следил за его манипуляциями, как тот не видел, что делает гость: раскрыв кейс, Улыбышев достал конверт. Бондарин извлек из стола заключение...

Перечитал, держа на весу. Улыбышев выложил конверт на стол и стал двигать к Бондарину. Тот протянул ему бумагу и тут увидел конверт. Задумался.

— Понятых звать? — спросил он буднично.

Улыбышев рванул конверт назад, но Бондарин перехватил его запястьем. Улыбышев оцепенел, как кролик, и покрылся влагой. Подойдя к нему, Бондарин открыл кейс и швырнул туда деньги и заключение.

— Теперь вали отсюда к маме! Лемур Мадагаскаров!

Сгорая от стыда, Улыбышев выскочил из кабинета.

Бондарин снял со стола стопу томов с проектом и снес в отдел.

— Хотел поговорить, так этот гений молодой пронесся на второй космической! — пожаловался на Улыбышева старик Чалый.

— Значит, мы его больше не увидим. А это... — Бондарин глянул на проект, — в архив! — больше ничего не оставалось...

Но после работы, выйдя из Госинжнадзора, Бондарин испытал спиной некое неудобство. Несколько раз оглядывался, но никого не увидел в толпе. Наконец он развернулся круто, шагнул назад. И лицом к лицу столкнулся с Улыбышевым, тот не ожидал подобного маневра.

— Чего, чего тебе еще?! — сказал Бондарин с досадой.

— Сергей Иванович, ну должен же я хоть как-то отблагодарить? — взмолился тот. — Тут рестораны хорошие кругом, пойдемте?! — Жрать хочешь? — ошеломил его Бондарин. — Поехали ко мне!

На Покровском бульваре сошли с трамвая.

— Все хочу спросить, — говорил Бондарин, — у вас там глубина проработки такая, по сути это рабочая стадия проектирования уже?

— Так в основе мой дипломный проект лежит, — ответил Улыбышев. — С ним я и был распределен в ОКБ «Ротор».

— Так ты зеленый совсем-совсем?

— Ну и ребята увлеклись. Выходные прихватывали, чтобы заводу-изготовителю быстрее освоить опытный образец.

— Тогда все понятно! — кивнул Бондарин.

— Жаль, не везде все понимают...

Они вошли в родной двор Бондарина.

Чай пили уже при электрическом свете, то есть засиделся гость, угревшись у семейного очага.

— Иногда сидишь над расчетом и вдруг...— говорил Улыбышев.— Или за чертежной доской, когда видишь — получается что-то стоящее, и возникает такое! Все отдам, ничего мне не надо, потому что на свете невозможного нет, сейчас все по плечу. Не знаю, как это назвать...

— Счастье,— сказала Ольга.— Что же еще?!

— Может быть. Только оно кончается, как только закончен проект. А дальше — обивание порогов: посмотрите, разрешите, подпишите! И этот унизиительный процесс называется до обидного безобидно — согласование. Перед кем только шапки не ломали — МПС, ВЦСПС, даже Госавтоинспекция!

— Отец? — Ольга глянула на Бондарина — неужели возможно?

И Бондарин кивнул в ответ — все так.

— А приедешь на завод, ты — помеха производству. Нет, Сергей Иванович, если б нас, конструкторов, всех вдруг...

— Перестреляты! — подкасал Бондарин.

— Нет, ну повывелись бы мы все вдруг, то что, все бы остановилось? Заводы продолжали б ковать что-то железное.

— Послушайте, Федя! — Нина огорчилась за него.— Но ведь читаем же в газетах: этого конструктора наградили, другому дали лауреата, имя третьего присвоили самолету, например...

— Мне пока не за что, не знаю. Но опытные, зубры, говорят: чтобы получить премию за новую технику, деньги то есть, надо собрать целый гроссбух справок, печатей и виз, здоровья не хватит. Да я готов и за так, дайте прожиточный минимум и все! Только бы то, что я придумал и рассчитал, было сделано и работало с пользой, а не...— в сердцах он изорвал воображаемые листки с расчетами, сбросил будто бы в мусорную корзину, а остальное развеял по воздуху.

— Так недолго и устать, на минимуме,— заметил Бондарин.

— Вот, значит, как! — Ольга задумалась.— А мы себе живем, едим печенье...

— Может, я преувеличиваю? — спохватился Улыбышев.

Бондарин украдкой глянул на часы. Улыбышев заметил.

— Сгущаю краски. Конечно! — он встал.— Большое спасибо! Мне пора.

— Куда вы, Федя? Сидите! — в голосе Нины прозвучало материнское.

— Нужно успеть на последнюю электричку.

— Ни за что бы не поехала последней электричкой! — сказала Ольга.

— Что у нас места не хватит? — под-

хватила Нина.— Или мы изверги какие, в ночь человека гнать. Всё, Федя, остаётся у нас!

— Нет, нет! — захлопотал Улыбышев.— Я не могу, извините!

— Да если с вами что-то случится, век себе не прощу!

Оставив женщин уговаривать конструктора, Бондарин вышел в прихожую и вернулся с раскладушкой.

— Диспозиция такая: наш диван — ни пяди! — сказал он Нине.— Ни одного вершка никому не отдадим. А молодежь, стало быть, в маленькой комнате! — он брякнул раскладушкой об пол.

Ольга свирепо глянула на отца, Улыбышев побледнел от испуга, Нина возмутилась, и, глянув на них, Бондарин захохотал.

— Тебе же завтра все равно с утра наше заключение в Промпроект везти,— сказал он Улыбышеву.— Так и быть, оставайся!

Бондарин на диване дочитывал газету, Улыбышев вешал брюки на спинку стула рядом с застеленной раскладушкой. Приоткрылась дверь, и рука Ольги бросила на пол мужские шлепанцы для него.

— О-о! Какой жест! — Бондарин сам удивился.— Поздравляю с успехом! — но, глянув на тощую фигуру конструктора в трусах и майке, сжался:— Все, гашу свет! — и погасил бра над диваном.

Но не спалось. Ворочались оба.

— Да, все забываю! — сказал Бондарин в темноте.— У вас в нагнетателе входной патрубок, кажется, зажат.

— Извините, Сергей Иванович, мы считали! — отстранил Улыбышев.

— Проверьте при случае,— и Бондарин решил спать.

Но через минуту Улыбышев подал голос:

— Можно включить свет?

Вздохнув, Бондарин зажег бра, но этого оказалось мало — Улыбышев включил люстру, достал бумагу из кейса, из пиджака — ручку и, как был в трусах, сел считать.

Бондарин смотрел, как он работает.

— Кажется, вы правы! — Улыбышев отшвырнул ручку.— Совсем чуть-чуть, но скорости на входе вроде бы выше расчетных...

Бондарин был удовлетворен.

— Вика считала! Милая девушка, вот и насчитала...— Улыбышев погасил свет, но в темноте и с досады промахнулся мимо раскладушки, подняв грохот.

— А я, получается, милую девушку заложил? — сказал Бондарин.

— Ерунда! Тут другое... Сергей Иванович, у вас же конструкторский дар, чутье физика,— заговорил Улыбышев горячо,— почему же вы оказались в этой чиновничьей конторе?!

— Долгая история...  
— Расскажите! Все равно не спим.  
— Тогда придется курить.  
— У нас балконная дверь открыта.  
— Что такое прямой генератор, знаешь? — спросил Бондарин, подумав.  
— Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую?

— Он самый, — Бондарин нашарил спичечный коробок, сигареты, присел на угол подоконника у балконной двери.

— Автором первой установки был старик Григорович. Да какой он старик, это нам он казался стариком, а тогда он был... ну как я сейчас! Прозорливый старик был. Тогда ведь, двадцать с лишним лет назад, вопрос сбережения ресурсов у нас еще не стоял, а он даже для опытной установки выбрал схему с закрытым циклом. С миру по нитке собрали установочку, что было не просто, потому что требовались экзотические материалы: хоть низкотемпературная, но плазма...

Зажженная спичка высветила лицо Бондарина.

— Стали налаживать. Но тут объявился среди нас червячок, так, личинка, но фамилия была угрожающая — Саранчук, обратить бы внимание, нет, веселились над ним, особенно когда он вдруг изобрел формулировочку — «Максимум эффективности при минимуме затрат». Поэтому, мол, даешь открытый цикл — проще, а даст больше и, главное, хоть завтра! А тут в обществе как раз случилась такая перемена, что страстно захотели верить в чудеса и это при том, что такое уже было и не так давно...

— Когда, когда случилась такая перемена? — переспросил Улыбышев. — Двадцать лет назад?

— Чуть больше. НЛО, гуманоиды, врачеватели, прорицатели, все это еще отсюда. И лозунг «Максимум из минимума» кое-кому пришелся ко двору. Саранчук рванул по кабинетам, но не научным, а другим, и получил свою лабораторию. Кто-то, правда, пытался задуматься, вникнуть: что значит максимум эффективности, только то, что открытую установку склепать проще? Но ведь закрытый цикл имеет КПД выше, то есть экономичнее! Но полным ходом шло освоение западносибирских месторождений, думали, нефти и газа и внукам и правнукам! Нет, не хватило. Вот теперь последствия того хищничества исправляем, к чему среди прочего и ваш нагнетатель предназначен...

— Он не только для этого годится! — заявил Улыбышев.

— А тогда под это нефтяное море разливанное Саранчук сумел убедить кого надо — при чем тут КПД, какие-то жалкие проценты, хватит блох считать! Работать надо! И пошел крепчать, а наша лаборато-

рия хиреть, и объявились перебежчики. Григорович пошел в контратаку, но неумело, горяча наговорил не то и не там, заспотыкался да и помер с клеймом сектанта. Даже до полтинника не дотянул...

Сигарета погасла, Бондарин снова раскурил ее.

— Закрытый цикл оправдал свое название, то есть был закрыт. Несколько оставшихся при нем из числа несгибаемых разбредлись кто куда. У меня семья образовалась, надо было кормить, а на мне клеймо. Тут мне и предложили место в Госинжнадзоре. И это не самая ненужная из контор, скажу тебе...

— А Саранчук? — спросил Улыбышев, сочувствуя.

— Непотопляемый. Вскоре случился энергетический кризис мировой, а затея максимум из минимума лопнула, подтвердив прозорливость Григоровича. Его не вернешь, и кому нужно? Зато идею реанимировали споро, Саранчук чутко нос на ветер держал: хотите максимум эффективности? Гоните максимум затрат, чудес на свете не бывает! Короче, крутой поворот на закрытый цикл, создан целый институт, и пошли ковать по новой диссертации и должности. Саранчук долго упивался благополучием. Но вот случился ветер перемен, поднялись глубинные воды: о Григоровиче вспомнили, а Саранчуку припомнили. Его же клеветы, причем из тех самых перебежчиков. С таким огорчением он не справился и тоже помер. А кое-кто из тех остался процветать. Только с промышленным образцом генератора все не получается — нет генератора идей. А на месте той первой нашей установки — автобаза Облплодоовоща... — Бондарин смолк.

Молчал и Улыбышев. Переживал услышанное?

— Федя?! — окликнул Бондарин. — Ты спишь?

В ответ — ровное дыхание молодого организма.

— Ты прав! Надо спать, Федя, надо! — в последний раз вспыхнула сигарета, и Бондарин задавил окурок.

Солнце разбудило Улыбышева, проникнув в угол, где стояла раскладушка. С балкона доносилось неаполитанское:

— Аврора луч солнца встречала! — пел Бондарин, выжимая гирю.

И, перебирая события вчерашнего счастливого дня, Улыбышев, как и положено носителю такой фамилии, разулыбался.

Поморцев вызвал своего приближенного Шамрая.

— Аскольд! Хочу предложить вам поду-

мать вот над чем... Не найдется ли у нас в штате места для одного содержательного человека?

— Доктор наук?

— Нет.

— Кандидат?

— Я же сказал — содержательный человек!

— Тогда только в младшие научные сотрудники.

— Аскольд, вы сами что, уже остепенились? А я это событие упустил? — съязвил Поморцев.

— Вадим Андреевич, вы же видите, какая ситуация в связи с перестройкой работы института? — отвечал Шамрай смиренно, хоть внутри вскипело.— После преаттестации Тамара Танина, доктор наук, а как рыдала? И все равно согласилась в простые научные перейти.

— Что подтверждает — не звания и степени, решающее значение в кадровом вопросе приобрел человеческий фактор. Моя креатура обладает таковым в полной мужской мере. Идите и подумайте!

Он пододвинул телефон, снял трубку... Шамрай, изобразив, что тут же запяг мысли в работу, пошел к двери, но замедленно — хотел услышать, с кем будет говорить шеф. Но и тот был не лыком шит: Поморцев крутил диск в такт шагам Шамрая. На каждый шаг — цифра набираемого номера, только! И Шамрай вышел ни с чем.

— Старик, я, конечно, благодарен, что ты думаешь обо мне,— говорил Бондарин в трубку.— Но прости, с чего вдруг?!

— Чувствую себя виноватым,— ответил Поморцев.

Сильный ход. Бондарин задумался.

— И потом, что значит ты подберешь для меня местечко? — продолжил он, но уже без прежней силы.— Сейчас в НИИ повсюду сокращения, то есть ты не подберешь, а кого-то уберешь?!

— Может быть.

— Значит, мне через чей-то труп перешагивать?!

Именно это и хотел услышать Поморцев. Ответ был готов:

— Не сгущай! Вопрос сейчас ставится так: у нас каждый будет обеспечен работой. Только не обязательно именно этой.

Бондарин молчал.

— Старик, ты же по призванию ученый! — надавил Поморцев.— Хватит киснуть тебе в инжнадзоре! Хочу вытащить тебя. В общем, думай! Жму лапу, звони! — и он с удовлетворением положил трубку.

Дверь открыла Ольга.

— Папа, тебе Федя звонил! Ну этот, конструктор твой.

— Улыбкин.

— Улыбышев,— поправила Ольга.— Завод не дал им гарантии, что освоит опытный образец в первом квартале будущего года.

— Стоп, стоп! — Бондарин очень удивился.— Что такое?

— А что?

— Ты заговорила, как программа «Время».

— А что я? Что просил, то и передала, ему нужно с тобой посоветоваться! — Но все же Ольга смутилась и, чтобы скрыть, велела:— Садись! У мамы дежурство в поликлинике, кормлю я!

— Твой-то как дела? — спросил Бондарин за едой.

— Палеографию свалила.

— Молодец! Хоть не представляю, что это такое.

— «Палео» — древний, «графо» — пишу. Древние рукописи.

— Прочла все до одной?

Ольга оставила шутку без внимания.

— Папа, а этот нагнетатель их, это в самом деле весомо, зримо?

— Смотря чем мерить. Если историческими мерками твоими — точки на шкале не разглядишь. В масштабе пятилетки так, запятая. Для соответствующей отрасли промышленности — строка.

— И он ее впишет?

— Машина нужная. Но если завод не дал гарантий — ей крышка...

— И потому Улыбкину пришлось подделывать подпись?

— Улыбышеву. Да он за свой нагнетатель и на каторгу готов,— Бондарин задумался.

В рабочем кабинете Поморцева зазвонил телефон.

— Алло!

— Вадим, мне нужно поговорить с тобой,— сказал Бондарин.

— Всегда готов!

— Так что, встретимся в Лужниках?

— Нет, старик, на аллею памяти твоих однокашников мы не пойдём!

— Тогда где? — Бондарин стерпел.

— Ты приедешь ко мне в институт.

— Так, значит?

— Старик, ты же должен посмотреть наши лаборатории!

— Добро, выезжаю!

— О нет, нет! Сегодня ученый совет у меня. Завтра тоже никак...— Поморцев пролистнул настольный календарь, но сделал это, чтобы Бондарин услышал шелест.— Только в понедельник, старик, извини!

— Приду с утра. Закажи пропуск!

Задумчивый возвращался Бондарин домой.



— Но предварительно позвони! — перехватил финал Поморцев.

Положив трубку, Бондарин едва не выругался. Но напротив сидел Улыбышев, смотрел на него с надеждой...

— Доживешь до понедельника? — сказал ему Бондарин.

Прямой, как прут, луч лазера коснулся стальной плиты, зажатой вертикально, в месте контакта возникло свечение, и металл потек. Особенно впечатлило, что плита была рассечена беззвучно. Поморцев с Бондариным сняли черные очки-консервы.

Чисто, прибрано было на институтском хоздворе.

— Это лазер, — сказал Бондарин, когда вышли из лабораторного корпуса. — А с прямым генератором что?

— Опытно-промышленная установка работает. Но больше стоит. Температура! Не держит даже металлокерамика. Ждем, когда техника сделает качественный скачок. Или когда ты придешь и выведешь из тупика, — Поморцев порадовался, как удачно вышел на тему.

— Наверное, нужно было мне предупредить, — сказал Бондарин. — Но я пришел просить не за себя.

— Как?! — Поморцев остановился. — Зачем же ты пришел?

— Нагнетатель Улыбышева помнишь? Так вот, ребята попали с ним в вилку: заказчик боится заказывать, потому что изготовитель не хочет изготавливать. Для завода их нагнетатель чужой, приبلудный, потому как возник вне всяких программ и планов. Вот давай подумаем вместе, как им помочь.

Но, оказалось, Поморцев думал совсем о другом.

— Улыбышев — перспективный малый? — спросил он.

— Конструктор от бога!

— Взят бы в зятки, а?

— Что? Вот ты как понял! — Бондарин не обиделся даже, удивившись. — Дорогой, тебе ли не знать, что талант вовсе не решающее качество, чтобы человек непременно далеко пошел!

Поморцев промолчал, оставшись недоволен.

— Вадка, ведь машина хорошая! — принялся уговаривать Бондарин. — Производителней, экономичней, так пусть работает на пользу!

— Энтузиаст!

— Валяй, стерплю, я от тебя зависимый.

— А что я такого сказал? — взвился Поморцев.

— Что я чудак с известной буквы.

— Чего ты от меня хочешь? — Поморцев

начал свирепеть.

— У тебя такие связи, контакты... Надо дать заводу импульс!

— Почему это должен делать я?

— А почему бы тебе это не сделать?

— Завод теперь работает по-новому, от прибыли! Если он отказывается от их нагнетателя, значит, ему это невыгодно!

— Но народному хозяйству, то есть обществу, будет выгода, если на новом комплексе поставят новые нагнетатели, а не старье?

— Понял, вот теперь я тебя понял, — кивнул Поморцев. — Ты лампочку гасишь!

— Лишнюю — всегда.

— К твоему сведению, расход электроэнергии на бытовое освещение — жалкий процент. Электромоторы, которые вхолостую, останавливать надо, вот экономия!

— У меня мотор только в электробритве. Ну пылесос...

— Так что твоя лампочка... Да это все равно что спичкой отапливать улицу в декабре! — зашелся Поморцев.

— А я и спички экономлю.

— А соль?

— Ты мне вот что скажи, — перебил Бондарин. — У тебя дача есть?

— Тебе-то что! — огрызнулся Поморцев.

— То есть ты получил от общества все, что оно может дать, машину я видел. Что дальше? Озолотиться у нас никто не может, если кодекс соблюдать, и все равно — остров себе не купишь, самолет не наймешь. Вот я и думаю, какие же стимулы тебя заставляют все новые должности хватать, всюду членом быть? Известность, слава? У тебя контакты с прессой есть?

— Отстань! — Поморцев пошел к административному корпусу.

— Пробежь нагнетатель, пришли ко мне корреспондента! — не унимался Бондарин. — Я о тебе столько хорошего наговорю, увидишь себя в газете под рубрикой «Живущие по совести»!

— Кончай ерундить! — рявкнул Поморцев.

— Ерундю! — согласился Бондарин. — На кой газета, когда тебя по ящику показывают!

— Завидуешь?

— Слушай, друг, что тебе скажу. Этот вот завод «Уралспецмаш», который только о прибыли своей печется, все равно лучше, чем ты!

— Ха-ха! Сравнил! Что с чем, сказать?

— Потому что прибыль эта частью все же идет на премии рабочим, жилье и детские сады, — гнул свое Бондарин. — А ты... С трибуны вещаешь-призываешь? Так сойди и...

— Займись благотворительностью, — съязвил Поморцев.

— А что в том плохого? Помогай другим, тебе говорят. Все возможности имеешь для этого.

— Да кончай ты руки мне выкручивать, — не выдержал Поморцев. — Я тебя для чего сюда позвал? Хочешь у нас работать?

— Теперь — никакого желания.

— Дай пропуск. — Поморцев подписал бумажку прямо на ладони и пошел к себе, в административный корпус.

Бондарин постоял и направился к проходной. Дорогу пересек пожилой рабочий, несший на плече длинную трубу. Она проползла перед самым лицом Бондарина. Отметив характерный голубовато-серый цвет металла, он не удержался, чтобы не щелкнуть на пробку ногтем...

— Чего цепляешь? — буркнул рабочий. — Помог бы.

— Она легкая.

— Тебе откуда знать?

— Потому что — титан.

— Титан. Ну и что?

— Двадцать лет назад мы о таких трубах только мечтали.

Рабочий заинтересовался.

— А на кой? Что делать?

— Как что? Самогонный аппарат!

Рабочий шутку понял. Бондарин вошел в проходную, вернул вахтеру пропуск. Она за чем-то вчиталась в него.

— Бондарин? Возьмите трубку. Вас!

— Меня? — он очень удивился, но телефонная трубка действительно ждала на столе. — Алло!

— Серж! — сказал Поморцев мрачно и сурово. — Пусть этот твой Улыбышев придет ко мне!

Потускнела листва тополей и стала кожистой. Сверху, с балкона, где курил Бондарин, можно было заметить желтые пряди в их кронах — разгар лета...

Внизу во двор вошла Нина. Бондарин оживился, обрадовался.

— Виолетта Баркас замуж вышла! — сообщила Нина, войдя.

— Вот это да! — Бондарин освободил ее от сумки с провизией.

— Чего реагируешь? Ты ее не знаешь.

— Теперь, конечно, знакомиться незачем.

— Ей сорок четыре года и все же дождалась, представляешь?

— А я дождался тебя!

— Есть хочешь, так и скажи!

— Жду, жду, никого нет, — вслед за женой Бондарин прошел на кухню. — И Ольки нет. Где она?

— Так вот, это событие — медовый месяц Виолетты Баркас, — продолжала Нина, разбирая сумку, — и на нас с тобой сказало: кроме меня заменить ее в кабинете физиотерапии некому. Так что в отпуск мы пойдём только в октябре. Почему не возмущаешься?

— Потому что ты спокойна.

— Сережа! А может, к лучшему? Подмосковная осень, скромненький дом отдыха по соцстраховским путевочкам? Жаль, конечно, на юг не поедём, зато создадим на будущий год фонд.

— А что неурожай-засуха ожидается?

— Думай-думай! Думай-думай! Думай, думай! — пропела Нина.

— Ольга только через два года университет заканчивает...

— Думай-думай, думай, думай!

Бондарин понял наконец, о чем речь.

— Об этом — не хочу! — он закурил с досады.

— А я подумаю. Как с полсотни гостей принять!

— Из расчета на каждый мой год — по голове? — Бондарин усмехнулся невесело.

Вечерняя электричка влетела на станцию, из нее густо высыпал народ, двинулся вверх по лестницам путевого перехода. С него была видна территория большого предприятия с могучими цехами, пакугазами, козловыми кранами на складских площадках.

— Все верно! — сказала Ольга, оглядывая индустриальный этот пейзаж. — Именно здесь ты должен жить и работать. Ну показывай свой город, знакомый до слез!

— Во-он там наше общежитие, — Улыбышев показал на другую сторону путей, где лежал собственно город Подольск.

Нина подала мужу ужин.

— Что, Ольку ждать не будем? — спросил Бондарин.

— Хороший салатик, бери!.. Ну мало ли, свидание! — не выдержала Нина пристального взгляда.

— Но ведь ты знаешь и с кем.

— Они встречаются с Федей Улыбышевым...

— Что?! Вот так номер!

— Ты недоволен? — спросила Нина осторожно.

— А почему от меня скрывать?

— Тут какая-то этика... Ты помог ему по работе и...

— В знак благодарности он решил жениться на моей дочери? Ну в этом помощи ему не будет!

— Ты же хвалил его!

— Конструктор — да! Но против Ольки нашей — лемур! — Бондарин расстроился.

Улыбышев отпер дверь и ввел Ольгу в свое обиталище. Скупое было в нем — две казенные тахты, два письменных стола, то

есть он делил комнату с напарником, и шкаф. Из украшений — две кинозвезды с обложек и портрет Эйнштейна над тахтой Улыбышева. Стереoaппаратура, правда, стояла хорошая.

— Вот, значит, как живут физики, — сказала Ольга. — А где же ваши синхрофазотроны?

Улыбышев тут же включил стереосистему, он волновался.

Ольга подошла к окну. Шумели внизу редкими, как везде в промышленных городах, кронами тополя.

— Ветер... — сказала она.

Улыбышев достал бутылку марочного вина, винтил штопор...

— Что верно, то верно! Нельзя же силком девочку тащить на кровати! — прочла Ольга, глядя, как он мучается с пробкой.

Улыбышев оцепенел, услышав такое.

— Ей нужно сначала стихи почитать, потом угостить вином. Это Ходасевич, не пугайся... Да проткни ты ее! — сказала Ольга о пробке. — Или лучше оставь! У меня все равно дромомания.

Улыбышев опять замер.

— Да! Когда ветер, у меня приступ дромомании. «Дромос» — путь-дорога, «мания» — сам знаешь, — объяснила Ольга. — Страсть к бродяжничеству. Пойдем!

— Оля... — Улыбышев приблизился к ней.

— Пойдем, пойдем! — приказала Ольга.

Они шли через рельсы маневровых путей, так было ближе на станцию. Какой-то особенно длинный товарняк попался, пришлось обходить. Хвостовой вагон был из старых, с тормозной площадкой.

— В какой стороне Москва? — спросила Ольга.

Улыбышев махнул рукой в сторону головы состава.

— Годится! — Ольга вскарабкалась на площадку последнего вагона.

Улыбышев беспомощно глянул по сторонам, она измотала его.

— Оля, пойдем на станцию! Сейчас электричка, доведу...

— Махни машинисту, что может трогать!

— Ладно, виноват, не создал атмосферы, но... Ведь трудно же с тобой! — Улыбышев обиделся.

От головы состава послышался нарастающий перезвон — заговорили сцепы, и вагон тронулся.

— Оля, слезай! — завопил Улыбышев.

— Ни за что!

Состав набирал ход. Улыбышев загалопировал, держась за подножку вагона, заспотькался. Опасно, надо бросить, остановиться или... И Улыбышев вскочил на подножку.

Неслись из-под вагона шпалы и замира-

ли, отлетев.

А ведь хорошо! Оказывается, можно!

С балкона — в комнату, глянуть на часы и снова на балкон — Бондарин нервничал, потому что стемнело.

— Привыкай, привыкай! — Нина смотрела вечернюю развлекательную телепрограмму. — Вспомни себя, легче станет.

Состав грохотал по промышленной окраине Москвы, но главный ее ориентир — огни Останкинской телебашни почему-то не приближались, оставаясь в стороне, чуть позади даже...

— Оля! Мы огибаем Москву! — понял Улыбышев. — Поезд пройдет мимо!

— Полный вперед!

— Мне же на работу! Завтра с утра технологи с «Уралспецмаша»!

— Следующая остановка — Копенгаген! — объявила Ольга.

Тревога сменилась веселеньким безразличием — теперь Бондарин смотрел телевизор, на балкон бегала Нина.

— Куда звонить? — не справилась она с отчаянием.

— В роддом!

Рискованная шутка в данный момент, но резкая трель междугородной спасла Бондарина.

— Алло?.. Ольга, ты? Ты где?!

— Город Талдом, Дмитровский район. Но область Московская, папа!

— Да что вы там нашли, дьяволы?!

— Изучаем историю! — Ольга говорила из телефонной кабины в провинциальном вокзальчике. — Это крайний русский город, дальше которого на север татаро-монголы не прошли, местные жители говорят...

— Вот вы их и послушайте!

Улыбышев тревожился возле кабины.

— Что отец сказал? — бросился он к ней, когда она вышла.

— Это же отец! — Ольга смеялась.

Бондарин ходил по комнате, одновременно сокрушаясь и веселясь.

— Да как их занесло туда! — возмущалась Нина.

— По пути в Копенгаген.

— Это все он, он, физик проклятый!

— Вспомни себя, легче станет! — Бондарин завидовал молодым.

Бондарин и Чалый работали над очередным проектом.

— Хорошо знаю эту проектную организацию, — говорил Чалый. — Стреляные воробы, но смотрите, что делать стали! Мон-

тажные проемы зажаты до предела, — он показал в чертеже. — Сварщик кое-как еще втиснется, а вот аппаратуру для контроля сварных швов не втащишь. И это при том, что трубопроводы тут ответственные. Не понимаю!

— Как же подрядчик согласовал проект?

— Они, подрядчик и проектант, как бы едины в двух лицах, — достав лупу, Чалый сверился со штампом на чертеже. — Министерство одно...

— Сговорились? Ну проектант — понятно, ужимая установку, надеется на премиальный куш за уменьшение металлоемкости, но как согласились монтажники, им же в такой тесноте работать! — Бондарин задумался над чертежом. Но помешал телефон.

— Слушаю! — рявкнул он в трубку. — А-а, Вадька. Привет!.. Конечно, хочу. Через час? Идет. Нет, постой минутку.

— Иван Никитович, — сказал он Чалому. — На Красной Пресне выставка японских роботов, хотите пойти? Хаммеровский центр.

— Интересно...

— Стоп, старик, стоп, — запротестовал Поморцев, услышав в трубку их переговоры. — Лишний билет у меня один!

— Сейчас решим, кому он нужнее, — ответил Бондарин.

— Да ты пойми, эта выставка не для всех.

— С каких это пор я стал лучше всех? Но Чалый уже замахал руками — не могу, не пойду!

— Приеду. — Бондарин положил трубку.

— Куда мне, там иностранцы, а на мне портки винтом, — объяснил Чалый, чтобы Бондарин не огорчался за него.

— Сошли бы за миллиардера, они вроде не придают значения одежде.

— Миллиардеры, может, и примут за своего, швейцар опознает! — отшутился Чалый и, вооружившись лупой, снова погрузился в чертеж.

— Да, какая-то корысть тут есть... — проговорил Бондарин задумчиво. — Ну а коли что-то скрывают, то это брак!

Чалый с облегчением стал складывать синьки.

Элегантный робот двумя пальчиками манипулятора брал плату с микроэлектронной схемой и вставлял в особую щель. На табло вспыхивало «Хорошо!». Манипулятор осторожно перемещал плату к прошедшим контроль деталькам. Но иногда табло вопило «Нехорошо!», и тогда небрежно, почти безразлично манипулятор сбрасывал детальку в бачок.

Заметив улыбку на лице Бондарина, к нему подошел гид.

— Па-ра-стите! — он поклонился. — Пажалуста?

— Понимаете, слово «нехорошо» у нас больше применяется для оценки морального качества, — сказал Бондарин. — Нехороший поступок. Или физическое состояние — мне нехорошо, тошнит, например...

— А как надо? Как надо? — японец сделал знак, и двое коллег тут же подошли.

Но в стороне возник Поморцев, поманив, скорей, мол, ко мне!

— Годный микропроцессор — хорошо, негодный — плохо! — объяснил Бондарин, заторопившись.

— Сапасибо! Сапасибо! — закивали японцы.

— Целую пресс-конференцию собрал! — ворчал Поморцев, ведя Бондарина за собой. — Тут Головин, я тебя представляю.

— Головин?

— Академика Головина не знаешь!

Седой, но не старый академик стоял в окружении небольшой свиты.

— Бондарин Сергей Иванович! — отрекомендовал Поморцев.

Исучающий взгляд академика Бондарин выдержал независимо.

— Вы работали с Григоровичем? — спросил Головин.

— Не я один.

Последовала пауза.

— Но вы были с ним до конца... — не спросил, а констатировал академик, то есть показал, что знает этот факт и одобряет.

Бондарин никак не ответил, сковывало присутствие свиты да и Вадька рядом, а он в свое время преданности учителю не проявил.

— Я рад познакомиться с вами! — Головин протянул руку.

— Всѐ! Теперь обедать, — сказал Поморцев, когда отошли. — Тут у них ресторан мировой!

«Годный»... «Годный»... «Годный»... — вспыхивало на табло робота, когда проходили мимо.

— Что за автомат? — спросил Поморцев.

— Микропроцессоры выбраковывает. Хорошая машина!

«Негодный» — вспыхнуло на табло — робот обнаружил брак.

Когда в ресторане уселись за столик, Поморцев сказал:

— Головину ты понравился.

— С чего ты взял?

— «Я рад познакомиться с вами!» — повторил Вадька слова академика. — Неужели не понял? То есть ты можешь позвонить, прийти и сказать, чем хочешь заниматься в науке... Если не хочешь работать у нас.

Официант принес карточку меню. Поморцев глянул на часы.

— Выбери! А я сейчас...— Он ушел.

Бондарин оставил меню без внимания, а зал оглядел. Все выдержано в деловом стиле, внешне скромно, но так, чтобы высокое качество материалов и отделки ощущалось всюду. Поморцев вернулся скоро и не один — с ним была высокая, очень интересная женщина.

— Вот — Маргарита Алексеевна. Прошу понравиться.

— Рита, — назвала себя женщина просто.

— Сергей.

— Может, выпьем что-нибудь по поводу? — предложил Поморцев.

— А здесь можно? — усомнилась Рита.

— В меню есть всё. Зарубежные гости...— Поморцев глянул по сторонам, — хлещут! — он волновался отчего-то и поэтому заслонился небрежно-лихой маской. — А мы рыжие что ли!

— За очаровательных женщин пьют шампанское, — сказал Бондарин не без игривости, Рита понравилась ему.

Но безобидная, казалось бы, реплика вызвала быстрый обмен взглядами между Ритой и Поморцевым. Она поднялась.

— Я пока позвоню, — и ушла в вестибюль.

— Я что-то не то сказал? — спросил Бондарин.

— Сам виноват, — сказал Поморцев о себе. — Рита предупреждала, что ты можешь понять не так, я должен был подготовить, что она не та женщина... — он запутался. — Ладно, я с другого начну! Старик, два года назад от меня ушла жена...

— Как?! У вас уже дочь аспирантка.

— Любви, друг мой, все возрасты, знаешь...

— К кому ушла, не спрашивать?

— Будешь смеяться: к мастеру ушла, мастеру легкого жанра — куплетист, ты его видишь по ящику...

— Но тебя тоже! — брякнул Бондарин и спохватился — почти насмешка.

— Я хочу жениться на Рите, — признался Поморцев.

— Я — за! — проголосовал Бондарин.

— То есть она понравилась тебе? — Поморцев обрадовался. Но тут же помрачнел. — Все дело в том, что жена ушла, а на развод не подала — к чему условности в нашем возрасте! А я... О том, что меня прочат в Бюро по машиностроению, я говорил, есть и другие обстоятельства, которые мне подать на развод не позволяют, короче... Да я не боюсь, я не хочу, чтобы... Поймут не так, и начнется, потому что...

Он опять запутался. Но Бондарин ему не помог.

— Осуждаешь! — кивнул Поморцев. —

Нахвтал должностей, а свободы лишился? Это не зависит от человека. Ты можешь удовлетворяться только необходимым, но разве это твоя заслуга, что ты уродился такой? Для тебя главное — позиция, для меня деятельность, без поля деятельности я не существую. Да я бы подохо в твоём инжнадзоре!

— Если я заставляю тебя оправдываться, извини, я этого не хотел, — ответил Бондарин сухо.

— Но ты же молчишь!

— Думаю, зачем позвал меня сюда.

Теперь задумался Поморцев.

— Среди моих, так сказать, друзей нет никого, кто бы от меня ничего не ждал, подо что-то клинья не подбивал... — нелегко далось это признание, поэтому в искренности усомниться было нельзя.

В зал вернулась Рита, как точно почувствовала женщина, что главное сказано! И они разом встали, чтобы усадить ее.

Главный эксперт Госинжнадзора Мамаев, не крупный, внешне вялый, несмотря на громкую фамилию человек, вызвал Бондарина к себе.

— Речь пойдет о проекте, — начал он, — который вы забраковали.

— Тот, где монтажные проемы были зажаты?

— Вы оказались правы, — кивнул Мамаев. — Сговор был: проектировщик хотел получить навар за уменьшение металлоемкости, а братцы-монтажники, естественно, — чем проще, тем быстрее, тем наваристей...

— А качество работ в такой тесноте?

— Я только что из Госстроя. Подрядчик опротестовал наше решение. Мол, условия ведения работ — не ваша компетенция. Мы краснознаменный трест, жизнь идет вперед, квалификация растёт, у нас сварщики сплошь со средним образованием теперь, а ваши Нормы устарели...

Бондарин вскинулся возразить, но Мамаев не дал.

— Они лелеяли надежду, я понял, что на определенном этапе строительства, когда они выступят с инициативой сдать комплекс досрочно, а какой от этого навар при самфинансировании, вы представляете, мы будем вынуждены снизить им объем контроля сварных швов до пятидесяти процентов. Чтобы не сорвать благородный почин.

— А через полгода, год всплывут скрытые дефекты и...

— Такое вот решили устроить самфинансирование! — закончил Мамаев.

— Да я бы этому тресту краснознамен-

ному стопроцентный контроль воткнул! — взорвался Бондарин, так умело накалил его Мамаев.

— А нет ли тут противоречия, Сергей Иванович? Говорим о совершенствовании хозяйственного механизма, о развитии демократии, доверия, то есть о совершенствовании общества в целом, а сами? — Мамаев проверял на нем что-то свое. — К каждому работнику контролера приставить норовим?

— Контролер во всех сидит, — ответил Бондарин. — Только не в каждом шевелится.

— Совесть, — кивнул Мамаев. — И экономических стимулов одних тут маловато, чтоб шевелилась почасе. Вот этот аргумент и будем держать к совещанию, которым нам угрожают, готовьтесь! Хотя вы готовы. Я для чего вас позвал, Сергей Иванович? Мой уважаемый первый зам уходит на давно заслуженный отдых. Хочу, чтобы это место заняли вы.

Бондарин молчал. Мамаев зашевелился в кресле.

— Не хотите?!

— Будущим летом мне — пятьдесят... — начал Бондарин.

— Вот и пора!

— Полвека. А я почти ничего не сделал...

— Вот поле вашей деятельности и расширяется!

— Нехорошо получится, Анатолий Ильич! — решил Бондарин. — Вы меня повысите, а я от вас уйду.

— Как это уйдете?! — сонные веки Мамаева поднялись.

— Я хочу вернуться в науку.

— Я вас не слышал, вы мне не говорили! — Мамаев даже руками замахал, потеряв железную свою выдержку. — Ступайте, Сергей Иванович!

— Это серьезно, Анатолий Ильич.

— Потом, потом. В будущем году поговорим. Летом!

И Бондарин вышел ни с чем.

Бахрома сосулук украсила оконце светелки, за ним сеял редкий снежок. Сняв очки, Чалый смотрел на белые крыши строений внутри бывшего торгового двора. Выцветшие его глазки, подсвеченные исходящим от туда светом, стали совсем прозрачными и беззащитными.

— Хороший отчет! — Бондарин дочитал последнюю страничку с таблицей, заполненной педантично четким чертежным письмом.

— Все хочу спросить, — ответил Чалый. — А что с тем нагнетателем? Подделку в подписях вы обнаружили, помните?

— Подделка закончилась делом. Улыбавшись сейчас на «Уралспецмаше», любитесь опытным образцом на стенде госприемки.

— Вон какое ускорение! — старик обрадовался. — А может, сноску дать — запущен в производство? Сам себя не похвалишь, известно, никто не похвалит. Не без вашего ведь участия!

— Статус инжнадзора такого рода деятельность не предусматривает, — Бондарин усмехнулся. — Форма годового отчета тоже.

— Бюрократ ты стал, Сергей Иванович!

— Да, пора завязывать.

— Ты о чем? — Чалый насторожился.

— Очень хороший отчет. На машинку и — Мамаеву.

В дверь постучали, и вошедшая женщина внесла, улыбаясь, и повесила на гвоздик настенного календаря еловую лапу в серебряной канители. В открытую дверь было видно, как сотрудники вешают бумажные гирлянды, клеют резные снежинки на окна, прибирают отдел.

— Спасибо, Галя, — сказал Бондарин.

— С наступающим! — она вышла.

Бондарин посмотрел на Чалого.

— Иван Никитович, как Новый год встречать будете?

— При свечах!

— Так вот, берите свечи и — к нам! Никаких разговоров! — напал Бондарин. — Что?! Приказ начальника — закон для подчиненного, точка!

— Умеешь! — Чалый разулыбался. — Приду, Сергей Иванович, куда я денусь, конечно, приду. Только знаешь, когда приду? На юбилей твой приду, вот так. Лето будет, и подарок уже приготовлен...

Бондарин потускнел, вспомнив предстоящее и неизбежное.

— Заскучал, затосковал! Твой век — золотой! — но тут старик спохватился. — А с чего это я вдруг на «ты» перешел? Распоясался!

За дверью застонали ступени под чьими-то шагами, и в светелку, заполнив ее, вошел в распахнутой дубленке, почти дохе, румяный с мороза Поморцев, снежный бисер искрился в его мехах.

— С наступающим Новым, бояре!

Столько шума и силы внес он, что Чалый оробел и, прихватив годовой отчет, тихонько ретировался.

— В общем так, — заговорщицки начал Поморцев, усевшись. — Предновогодняя ночь. Уютно светит окошко сельского дома. Из трубы вьется дымок — топится русская печь. Гостей встречают дочь-красавица и одинокий хозяин дома с седеющими висками...

— Поэт!

— А среди гостей, это дружная маленькая семья, привлекательная женщина, подруга жены друга, тоже одинокая причем. Понял?

— Ничего не понял, — признался Бондарин.

— Друг — это ты! — Поморцев огорчился такой недогадливостью. — Если нет возражений, зову на дачу встречать Новый год!

— Постой, а подруга? Жены друга? Где ее тебе Нина, возьмет? Она сама привлекательная, а у привлекательной женщины не может быть привлекательных подруг, особенно одиноких.

— Будет! Ее зовут Рита. Правда, недолго ей осталось в одиноких ходить: кажется, я получаю развод. Старик, мне пора познакомиться Риту с Марианной. Но нужно сделать это каким-то естественным путем.

— Подруга жены друга? Проще не придумает!

— Ты шутишь, потому что не знаешь Марианну. Пока я брошен и одинок, она жалеет меня и осуждает мать, поэтому осталась со мной. А если узнает, что у меня есть Рита, вдруг возьмет и бросит меня к чертовой матери!

— Почему? — взмолился Бондарин.

— Она может подумать, что Рита была у меня еще при живой жене. То есть нет! — спохватился он. — До того, как меня оставила жена.

— Но ведь этого не было?

— А если она мне не поверит?

— Если не верит дочь, даешь основания. И вообще, веди себя естественно, если хочешь, чтобы все получалось естественным путем!

— Ты! — крикнул Поморцев, войдя в раж. — Ты умеешь вести себя естественно, и что, у тебя всё получается?!

Это Бондарина задело.

— Ты заставляешь меня усомниться в том, что у тебя не было Риты при живой... Тыфу! До того, как тебя оставила жена.

— А если так, что это меняет?

— Почему я должен верить, что она сбегала с комиком? А вдруг ушла от тебя в монастырь?

— Я люблю Риту. И Марьянку свою люблю! — произнес Поморцев скорбно. — А ты... Я какому-то Улыбышеву твоему нагнетатель сделал, а ты не можешь поднести мне маленький новогодний подарок? — и, уловив слабину, пустился соблазнять: — Уютно светит окошко, топится печь...

— Интриган! — Бондарин капитулировал. — Но имей в виду: нас будет больше. Улыбышев, — ответил он на поскучевший взгляд Поморцева.

— Что? Зятек?! — вскричал тот, обрадовавшись. — Я ж говорил!

— Да нет, пока нет...

— А у моей Марьянки все не получается... Красивая девка, но уж больно здорова. Увидишь... Все! — зашумел Поморцев, стряхнув разом заботы. — Ждем! И встретим, и проводим!

Летела в предновогодней ночи электричка. Вагон был наполовину пуст. Бондарин напевал негромко, глядя в проталинку на окне:

— По старинной по привычке мы садимся в электрички. Вихри падают с откоса, та-да-да-да, та-ра-ра...

Иногда налетала станция, на освещенной платформе кого-то ждали, и опять перелески, темные поля, и в них огонек...

— Про метель поют колеса, только песня не про это, не про зиму, не про осень, про тебя и про меня...

— Что ты поешь хорошее, папа? — спросила Ольга.

— Из времен моей молодости...

— Нашей молодости! — поправила Нина.

— Ты школьницей была, а это не молодость.

— Юрий Визбор, — назвала Рита.

«Подруги» сидели рядом, тут же примостился Улыбышев.

— Федя, ты бы тоже спел что-нибудь, — пристала к нему Ольга. — Из своих времен. Или у тебя не было молодости?

Улыбышев встал.

— Федя, вы куда? — всполошилась Нина.

— Покурить...

— Ты же не курил? — удивился Бондарин.

Улыбышев ушел в тамбур.

— С такой закуришь! — сказала Нина о дочери.

— А чего он молчит?

Рита показала Ольге глазами — пойдти за ним!

Улыбышев курил в тамбуре. Вошла Ольга.

— Федя, извини. Но я же для тебя стараюсь. Носишь фамилию жизнелюба — Улыбышев! А радуешься только за чертежной доской, загораешься лишь когда речь пойдет о нагнетателе, возмущаешься исключительно бюрократами на его пути. Но ведь это только кусочек жизни...

— Я обыкновенный человек, не надо придумывать меня!

— Подделать подпись? Ничего себе обыкновенный!

Улыбышев повернулся к ней и, схватив за отвороты шубки, тряхнул так, что шапочка чуть не слетела.

— С тобой я мыльным пузырем, ничтожеством себя чувствую!

— Вот! Вот! — заверещала Ольга. — Ведь можешь, можешь!

Поезд стал тормозить, вагон наполнился гулом.

— Ваши билетки, граждане пассажиры! — в тамбур ввалился контролер. — Штраф платить будем? Или Новый год в милиции встречать будем?

— Папка, ты?! — только тут Ольга узна-

ла, кто прячется в поднятом воротнике, под шапкой с опущенными ушами.

Поезд остановился, высадились на платформу, хохоча.

— Оля! — шепнул Улыбышев. — Извини!

— Опять? — простонала Ольга.

Душа ждала веселья. И оно началось тут же, на платформе: у кассового павильона стояла Марианна, держа над головой шипящую звезду бенгальского огня, а когда подошли, из-за доски с расписанием поездов выскочил Поморцев и шаркнул из хлопушки, осыпав всех конфетти.

— Моя жена Нина! — представил Бондарин.

— Моя подруга Рита! — Нина едва сдержалась, чтобы не рассмеяться.

— И Федя, мой брат! — закончила Ольга. — А что? — ответила она на толчок в бок. — Папа его усыновил!

— А мы знакомы, — улыбнулась Марианна. — Это вы подделали папино факсимиле, мошенник?

— Так вы дочь? — Улыбышев опять проявил свое простодушие.

— Кругом семейственность, кругом! — подтвердил Бондарин.

Поморцев был доволен, как легко все началось.

Когда-то деревушка, теперь дачный поселок светил оконцами с откоса, всё так, как было обещано, — ели, из печных труб отвесные дымы и еще плыла луна. В желтый свет окошек подмешивалось голубое мерцание — везде работали телевизоры. Знакомый перезвон покатился от дома к дому, сойдясь в единое «ура-а!». Над лесом взошла синяя звезда — кто-то пальнул из ракетницы, и разом взлаяли дворняги, почуяв ночное веселье...

Гулянье началось на горе. Молодежь приволокла старые дровни, с шумом, визгом набилась в них. Туда же затесалась и Марианна.

— Марианна, не надо! — Рита испугалась за нее.

— Бесполезно! — сказал ей Поморцев. — Вся в мать.

Ольга шевельнулась тоже, но благоразумие одержало верх на этот раз. И вдруг выделился Улыбышев — подростки уже тронули сани к откосу, он догнал и вспрыгнул на ходу.

— Держись за воздух! — крикнул Бондарин.

— Сейчас одним физиком станет меньше, — проворчала Ольга.

— Сама довела! — сказала ей Нина.

Перегруженные дровни раскатились до свиста, вынеслись к реке, подпрыгнули еще раз и исторгли содержимое в сугробы.

Снег залепил глаза, Улыбышев не сразу понял, кого вмял в сугроб, кто шевелится под ним. Марианна. Шуба распахнулась на ней — отлетели пуговицы и шапка тоже. Остальное все цело, на месте...

— Извините! — он освободил ее.

— За что? — она засмеялась. — С Новым годом!

А наверху, на горе, Поморцев, намотав тряпку на сук и облив горячим из припасенного флакона, зажег факел и, крутя и гудя им, язычески свистал в два пальца...

В дом вернулись облепленные снегом, румяные и очень усталые.

— Сли-ип! Шля-айф! — потянулся Поморцев. — Спа-ать! Смотрите, на разных языках, а похоже.

— Всем народам одинаково спать хочется, — отвечал Бондарин. — Ну кто где, кто с кем, кто на чем?

Получив поддержку, Поморцев принялся плести интригу:

— Большой семье — большую комнату. И маленькую впридачу. Маргарита Алексеевна, тут, за печью — боковушка, уютненько, тепло, но... Как вы относитесь к посторонним жителям? Там мыши...

— Ой! Боюсь! — Рита изобразила испуг очень убедительно.

— А я их люблю! — ответила Марианна беспечно и попалась.

— Так, может, уступишь Маргарите Алексеевне свою светелку наверху?

— Я буду на чердаке одна? — подыграла Рита.

— Там еще папина комната, — Марианна повела Риту наверх.

— Я буду охранять ваш сон! — пообещал Поморцев.

В большой комнате распорядился Бондарин:

— Мы — тут, заслужили! А молодежь, стало быть, в маленькой...

— Старые шутки не годятся в новом году, папа! — не зная пока из-за чего, но Ольга была всем недовольна.

— Спокойной ночи! — и Нина с дочерью ушли в маленькую комнату.

— Доброй ночи! — пожелала мужчинам из боковушки Марианна.

Поморцев подбросил поленцев в печь и тихонько пошел наверх. Там давилась беззвучным смехом Рита.

— Ты интриган! — шепнула она. — Но я в самом деле боюсь мышей.

Бондарин крепко спал на диване, а Улыбышев все ворочался. Стоило закрыть глаза, и возникала Марианна на снегу, ее смеющееся лицо, раздетые волосы... Он переворачивался на другой бок — снега нет, но Ма-



рианна, ее глаза, а в них луна, опять не дает покоя.

Он нашарил сигареты и вышел, прикрыв за собой дверь. Тускло светилась щель в печной дверце, поленья догорали. Присев, Улыбышев прикурил от уголька. Скрипнула половица под чьей-то ногой... Он поднял голову — над ним стояла Марианна.

— С Новым годом! — шепнула она.

Швырнув сигарету в печь, Улыбышев встал. Из печной дверцы поднималось тепло, обволакивая, сближая. Да нет, не тепло, жар, от него зардели лица, или это лег отсвет от углей?

— С Новым годом... — шепнул Улыбышев.

Им не пришлось сделать и шага, чтобы припасть друг к другу и обняться со всей молодой силой, так близко стояли они...

И снова взошла над темным лесом и долго на гасла колдовская синяя звезда — кто-то в последний раз пальнул из ракетницы, возвестив, что праздник кончился...

Утром пили чай в большой комнате. Улыбышева и Марианны не было за столом. Поморцев в очередной раз перечитывал записку:

— Уехала к подругам... Поди пойми!

— А Федя где? — Нина была очень озадачена.

— За чертежной доской! — зла была Ольга.

— Пора, сказал писатель Пришвин! — Бондарин поднялся.

— Сережа, что вы?! Оставайтесь! — попросила Рита искренне.

— Жизнь — сплошной праздник — невозможна. Лесная быль кончилась.

— Мне выпало дежурство на сегодня, — сказала Нина, вздохнув.

— Не умеем жить! — подвел черту Бондарин. — И ты тоже! — это относилось к Ольге.

Утром второго января Бондарин с портфелем выбежал из дому. Что-то просвистело сверху и воткнулось в сугроб — первая выброшенная елка, вернее, ее скелетик в остатках канители...

По источенным ступеням Госинжнадзора он вбежал в знакомый до мелочей подъезд... Несколько сотрудинок стояли в вестибюле, и поверх их голов виднелся алый бант с траурной каймой, приколотый к углу ватмана с фотопортретом. Кто-то умер... Бондарин подошел.

С портрета мимо него смотрел вдаль Иван Никитович Чалый...

Зам по АХО Новиков рассказывал в кабинете Мамаева:

— В первом часу ночи соседи пошли поздравлять. Пироги понесли. Звонили и в дверь, и по телефону, на улицу выскочили — в кухне свет горит, а он не открывает! Вызвали милицию, как водится. Он стирку тридцать первого затеял...

— Китайским способом? — вспомнил Бондарин вдруг.

Его не поняли.

— Способ стирки у Ивана Никитовича был такой...

— Чтоб в Новый год по чистому, как говорится, — продолжал Новиков. — И прямо в ванной... так сказать.

— Где хороним? — спросил Мамаев.

— На Введенском. Госпитальный вал.

Мамаев одобрил кивком. Но подумав, переспросил:

— Введенское? В Лефортове?

— Там у него сын лежит. Офицер.

— Но это кладбище для старшего командного?! А сын, если по возрасту Ивана Никитовича, от силы...

— Герой Советского Союза. Одним из первых... — сказал Бондарин.

— Погиб?..

— Выполняя интернациональный долг. Мать не пережила. Тоже там.

Замолчали скорбно.

— Как на венках писать, Анатолий Ильич? — спросил Новиков.

— Конструктор Чалый, — сказал Бондарин.

— Он же эксперт был.

— Пулемет системы Чалого, самолет Чалого... Конструктор.

— Да! — одобрил Мамаев. — Я, как узнал, в Даля полез: столько проработали вместе, а значения фамилии Ивана Никитовича не знаю. И нашел: «Чалый конь всякому ко двору», поверье — надежен, — он поднял веки, открыв желтый свой твердый взгляд. — Он мог быть конструктором, создать пулемет или самолет, мост поставить, но свою жизнь отдал чужим проектам, чтобы конструкции работали, несли, служили: верно — стране, людям — на пользу! — и еще раз проиграв предстоящую речь на кладбище, Мамаев утвердился: — Так и надо сказать!

— Он хорошо сказал? — спросила Ольга, когда панихида кончилась.

— Иван Никитович его не слышал, — ответил Бондарин.

«Конструктор Чалый И. Н.» — временная табличка стояла в изголовье могильного холмика, укрытого венками.

Вынув мундштуки из труб, удалился похоронный оркестр, разошлись работники инжнадзора. Бондарин с дочерью остались.

Скромная плита лежала на могиле жены Чалого, и рядом стоял воинский обелиск:

звезда Героя, выбитая в граните, на фаянсовом овале портрет. Лицо офицера казалось совсем юным для двухпросветных погон.

— Двадцать восемь лет! — ахнула Ольга, высчитав по датам.

— Иван Никитович, Дарья Петровна, Никита Иванович, — прочел Бондарин имена членов семьи. — Вся фамилия тут. Род Чалых кончился...

Служебная «Волга» стояла у кладбищенских ворот. Возле нее, руки за спину, ходил Мамаев. Из-под арки вышли Бондарин с дочерью.

— Садитесь. — Мамаев ждал его.

— Спасибо, — отказался Бондарин. — Тут родные места: институт, где учился, общежитие, в котором жил. Синичкин пруд...

— Всего доброго, — но, пожав, Мамаев придержал руку Бондарина цепкой ладошкой. — Сергей Иванович, надеюсь, вы понимаете, что сейчас, когда ваш отдел понес такую утрату... Наука подождет, справится. А мы две потери сразу — и такие — безболезненно не перенесем. Это просьба: подождите, пока не восполним!

— Если вообще возможно восполнить... — договорил Мамаев, уже сев в машину.

Полсотни шагов вниз по улочке, и отец с дочерью вышли на край котловины правильной формы, на ее дне угадывался под снегом цветник.

— Синичкин пруд, — сказал Бондарин.

— Почему Синичкин?

— Речка Синичка когда-то текла...

— Синичка... Синичка, ситец, ситечко... — проговорила Ольга, рифмуя что-то про себя.

— А туда, — Бондарин показал на кирпичный куб на противоположном краю котлована, — мы девушек в кино водили. Потом целовались на кладбище.

— Как?! — Ольга не поверила. — Мне двадцати нет, а ты тридцать лет назад уже целовался?

— Кинотеатр «Спутник». Построен в честь запуска первого спутника.

— Пятьдесят седьмой год! — Ольга ужаснулась давности. — Какими историческими отрезками оперируешь...

В заснеженном цветнике возились детишки: лопатка, ведро — вечная игра...

Новый сотрудник, пришедший на место Чалого, прибирал в столе ящики. На молодом лице читалось — мое пребывание здесь вынужденное, но и временное тоже, имейте в виду! В нижнем ящике обнаружили какие-то тряпки сатиновые. Брезгливо взяв кончиками пальцев, он откинул их на край стола — нарукавники...

Мостовая парила на мартовском солнце,

просыхая. Женщина в оранжевом жилете удаляла скребком остатки зимней наледи перед входом в Госинжнадзор. Тут же маялся, почему-то не решаясь войти, Улыбышев.

Подкатил «рафик», и двое технарей потащили в инжнадзор стопы томов своего проекта. Улыбышев пристроился к ним для смелости.

Но, войдя в знакомый отдел, оробел опять: на его «здрасьте!» последовали два-три кивка, его не вспомнили. За столом симпатичного старикана сидел другой человек. Улыбышев поднялся в светелку.

Бондарин работал без пиджака, и на белых рукавах сорочки чернели сатиновые чехлы. Улыбышев устался на них.

— Слушаю! — не получив ответа, Бондарин поднял голову, обрадовался. — А-а! Сколько лет! Вот уж действительно: прошла зима, я понял! Где пропал-то, на Урале? Ну что там?

— Опытный образец принят. Подписан приказ о запуске в серию.

— Поздравляю! Но... Хотя раз позвонить с Урала мог бы, а?

В ответ — тягостный вздох, беспрекословное признание вины.

— Что, очередной этап? — Бондарин сжалился. — Теперь комплектация? Минпромы, главснабы и всё до последнего болта на хилые плечи конструктора? Садись, лемур!

— Сергей Иванович! — начал Улыбышев. — Я пришел к вам, чтобы...

— Сообщить пренеприятное известие! Так у Гоголя. Что у тебя?

— Я женюсь на Марианне! — выпалил Улыбышев.

— На ком, на ком?!

— На дочери Поморцева Вадима Андреевича...

Бондарин зачем-то стащил нарукавники.

— Извините... — прошептал Улыбышев.

— Сорвала я цветок голубой... — Бондарин полез в пиджак, висящий за спиной, на стуле. — Приколола на кофточку белую... — и, не найдя сигарет, вспомнил: — Да я ж с Нового года бросил! С целью экономии спичек. Дай твои, честный лемур!

— Я тоже бросил, — ответил Улыбышев виновато.

— Недолго она танцевала! А я подумал, ты помощи пришел просить в согласовании комплектующих изделий...

— Спасибо! — Улыбышеву полегчало, он почувствовал, что упреков, которых так страшился, не будет. — Вадим Андреевич очень помогает.

— Теперь ему сам бог велел! — Бондарин протянул руку, прощаясь. — Поливать фикус буду я! — и стал надевать нарукавники.

Но Улыбышев не уходил, пригвожденный загадочной фразой.

— Привет семье! — велел ему Бондарин.

Надо было заканчивать очередное заключение.

Нина стирала в ванной. Кто-то вошел. Она покосилась, не прерывая стирки, — на коврик башмаки — муж вернулся с работы.

— Кончу, тогда поужинаем. — Чувствовалось, что она не в духе.

— Ты будешь очень смеяться, но Улыбышев вышел замуж!

Нина остановилась, повторила про себя услышанное.

— Да, за Марианну! — Бондарин хохотнул. — Угадала.

Нина выпрямилась, держа на весу бельевой ком, другой рукой убрала с лица намокшую прядку.

— Женился? На ком, на ком?!

— На дочери Вадьки Поморцева, — признался Бондарин мужественно.

Нина так шмякнула белье в ванну, что и себя и настенное зеркало забрызгала. Бондарин попытался отвлечь ее очередной шуткой:

— Марианне нужней, она старше Ольки и толще!

— Всё у вас не как у всех, — произнесла Нина горько.

— А Федька этот, да ну его, лемур!

— Он дело делает. А вы... Эта все чего-то требует, журавля ищет, — этот неизвестно что, а вообще ничего! Мы не сеем и не пашем! — пропела Нина, сметя Бондарина, чтоб не мешал уйти. — А валяем дурака, — она так шаракнула за собой дверь, что отозвались все стекла.

В своей комнате вздрогнула Ольга, отложила книгу, которую читала, лежа на диванчике. Нет, опять все тихо. Она нашла нужное место, но только вчиталась, а текст был непостоян, судя по обложке, — «Земельные реформы России», как откуда-то донеслись непонятные звуки: Чук-чук, чак-чак! Чук-чук, чак-чак! — какой-то современный ритм напрашивался даже...

Ольга вышла, заглянула в ванную — раздевшись до трусов, Бондарин топтал, месил в ванне белье ногами.

— Пап, ты чего? — изумилась Ольга. — Мама, иди сюда, смотри, что делает! — она решила, что это очередная шутка отца. — Пап, ты совсем как Челентано! Давай, давай, наяривай! Сейчас музыку принесу.

Бондарин продолжал топтать, пена взбилась до колен, он месил и топтал откровенно, струйка пота стекла на переносицу...

Ольга тихо закрыла дверь, пошла искать мать. Нина стояла на балконе. Ольга подошла, но спрашивать ничего не стала...

— Ты любила Федьку Улыбышева? — Нина отвернулась, чтобы дочь не заметила следы слез.

— Я папу нашего люблю! — ответила Ольга.

Бетонный побитый забор, зеленые железные ворота и очень замусорено везде — складская окраина. К тому же снег сошел недавно.

Бондарин постучал в проходную автобазы. В окошке возникло лицо, и вахтер замахал — уходи, никого нет, закрыто! Служебное удостоверение, которое показал Бондарин, лишь приоткрыло дверь.

— Чего надо? Выходной! Вот люди!

— Госинжнадзор! — Бондарин сунул в щель удостоверение.

Слово в целом не было понято осоловевшим от сна человеком, действовало окончание — надзор! Дверь открылась.

Низкое кирпичное строение с выбитыми стеклами теснилось в дальнем углу автодвора. На ржавых петлях амбарный замок.

— Ключа нету! — заявил вахтер. — У начальства.

Бондарин тронул, и дужка сама отскочила, замок не был заперт. Вошли внутрь. Вид разоренной установки, вытянутой по длинной оси помещения, был не столько печален, сколько неприятен: обрывки шлангов и кабелей свисали повсюду, как щупальца какого-то чудища, погибшего вместе с удушенной жертвой. Чудом сохранился лишь небольшой бункер с коническим днищем, приподнятый над фундаментом.

Бондарин потянул за рукоять шибера, стукнул по днищу кулаком — из оборванного шланга сыпнула серая пыльца...

— Это что? — вахтер насторожился, непонятное угнетало.

— Ионизирующая присадка. В плазму подавать...

— Радиация?! — вахтер округлил глаза.

— Нужен был цезий, мы его не достали. Пришлось — поташ, в нем калий. Обыкновенный поташ, раньше на огородах сыпали, как удобрение: лук прет, капуста, не сообразили? Зато остальное до последней гайки подмели! А ведь жила бы установка. До сих пор жить хочет! — Бондарин хватил кулаком, и бункер с готовностью испустил серебристую струйку.

— Лук, капуста. А чего ж тогда? — услышав понятное, то есть про огорода, вахтер осмелел. — Кому хлам этот нужен? Я сколько тут, никто не пришел. Стоит, только место занимает.

— Ну поставите сюда «Волгу» зава или «Ладу» зама, что дальше?

— Тут и другим места хватит, — ответил вахтер простодушно.

— У вас договор на аренду есть? Участок захвачен самовольно!

Услыжав такое, вахтер приотстал, а потом и вовсе исчез, во всяком случае, когда Бондарин вышел на свет, вокруг никого не было. Он сам затворил ворота и навесил замок.

Сквозь пролом в заборе он вышел за пределы автобазы. Пустые ящики, лохмы полиэтилена и множество бумаг — бланки нарядов и накладных, почему-то они повсюду, где бесхозная земля, а земля неизбежно превращается в свалку.

Но дальше, в низинке, возникло живое — зеленатовато-дымчатые клубы лозняка, готового опуститься по берегу пруда или болотца, а на песчаном мыску два мальчика лет по десяти мастерили плот и верный Дружок помогал своим присутствием...

— Ну что, пираты! — сказал им Бондарин. — Сколотим плот, какого не бывает?

Вахтер, нервничая, накручивал в проходной диск телефона.

— Алё?! Эльмар Степанович! Алё! Фабрикантов вас беспокоит! — В ответ, видимо, его обругали. — Да знаю я, что воскресенье, потому и звоню! — тут он опять получил заряд и обиделся. — Нехорошо получается, Эльмар Степанович. Я службу нес, в рот не брал, где же ее теперь взять? Потому он и пришел, что воскресенье. Как кто? Этот... экскп... инскп... — и, поднатужившись, вахтер Фабрикантов произвел от эксперта с инспектором убудка: — Энспектерт! Из Надзора!

Бондарин руководил работами. В дело шли ящики и полиэтиленовые мешки из-под химикатов: расправленный мешок с завязанной горловиной превращался в пузырь. Два таких пузыря — в ящик, зашить планками, и получался поплавок, уже был готов четвертый. И тут пес Дружок под хохот детей приволок со свалки здоровенный кусок полиэтилена — тоже соображал что-то и хотел участвовать.

Поплавки расставили в углах будущего дощатого прямоугольника. Осталось связать тугами и приколотить настил...

С пакетом-сумкой, в которой просвечивало что-то заманчивое, зававтобазой Эльмар, плотный человек в надувной куртке, и вахтер Фабрикантов с ним выскочили на бугор. Внизу немолодой человек — с суши, а дети, войдя в воду, оба были в резиновых сапожках, стаскивали в водоем большой плот.

— Где? Кто инспектор, этот? — Эльмар всмотрелся.

Бондарин вспрыгнул на плот, чтобы испытать.

— Да ты что! — испуг Эльмара сменился

разочарованием. — Станет тебе инспектор кораблики...

— Он! — упорствовал Фабрикантов. — Только не инспектор. Удостоверение предъявлял. Там хуже написано!

Эльмар снова глянул — легкая, но прочная конструкция держалась на воде превосходно. Ветерком ее потащило от берега. Эльмар увлекся. Стоя за плечом начальника, Фабрикантов осторожно заглянул в его пакет-сумку. Так и есть: бутылка коньяку, шампанское и сверток вроде как с балычком — полный джентльменский набор хозяйственника.

Эльмар очнулся, рванул сумку к себе.

— Массовик-затейник с приветом! — вынес он приговор Бондарину и пошел к родной автобазе, бросив вахтеру: — Ужинать меньше надо!

Бондарин расправил кусок полиэтилена, ветер уперся в него, и плот ходко пошел по воде. По берегу бежали мальчики — ура! — и захлебывался счастливым лаем Дружок...

— Ты пришел как нельзя вовремя! — говорил Поморцев в своем кабинете. — Впервые, я должен сказать спасибо! Моя бескорыстная деятельность, к которой принудил меня ты, не прошла незамеченной. Да, нагнетатель Улыбкина!

— Улыбышева, — поправил Бондарин машинально.

— Мы все его Улыбкиным зовем. Положим, я и сам кое-что сделал, особенно сейчас, на стадии комплектации изделий, ладно! О межведомственном совете по внедрению новой техники слышал? Так вот, я введен в него. Более того, вроде как ученый секретарь. Понял?

— Прими и прочее.

— Ничего ты не понял. Госстандарт в совете представлен, а инжнадзор — нет. Что дальше? Ну, — Поморцев рассердился. — Слушай, Серж, какой же ты зануда, ну хоть фиброй пошевели, о тебе же речь! От инжнадзора мы введем в совет тебя, понял?

— Спасибо, — ответил Бондарин.

Поморцев не обратил внимания, как сдержанно он поблагодарил.

— И тогда с учетом такого членства, — продолжал он азартно, — а также того, что тебя знает академик Головин, а он помнит тебя, хоть ты ему до сих пор позвонить не удосужился, а я представил тебя в прошлом году, прости, Серж, все-таки ты гад!

— Извини...

— Хотя, может, и правильно, что не позволил... Теперь Головину будет проще помочь тебе. Ты уже не с улицы, а член совета!

— Пока — нет.

— Будешь! — отрезал Поморцев. — Это

переход на качественно иной уровень! То есть всё, что ни происходит, к лучшему. Хотя могло произойти намного раньше,— тут он задумался.— Старик, я не могу не уважать твою несгибаемую позицию. Да, Саранчук был фрукт. Но скажи, только по большому счету, чего ты достиг, отказавшись работать с ним? Пусть бы стриг с тебя шерстку, но и науке досталось бы от твоего руна кое-что! И не пришлось бы сейчас начинать с нуля...

— И обращаться к тебе с просьбой тоже,— закончил Бондарин.

— Ты что? Думаешь, я грехи замаливаю? — Поморцев искренне огорчился.— Да я теперь... я просто люблю тебя, не обижай!

— Не обижайся заранее. Ведь ты еще не знаешь, о чем я попрошу. В июле мне пятьдесят,— начал Бондарин.— И я решил...

— Стоп, старик, стоп! — перебил Поморцев.— Это очень хорошо, что ты об этом сказал! Сорок девять даже с большим гаком — это одно, а полтинник и — хоть с тютелькой — уже другое. Надо форсировать события, чтобы втащить тебя в совет до твоего юбилея.— Он сделал пометку на календаре.— Да, заколосилась нива золотая! В будущем году — я. Поделишься опытом, как праздновать.

— Очень просто: с семьей на пароход — и пошел! — но, увидев, что Поморцев не принял всерьез, Бондарин сказал: — Помоги с билетами.

— Слушай, Серж! — Поморцев отшвырнул ручку.— Кончай удивлять!

— Это и есть моя просьба. Так как я не член совета пока.

— Да это же бегство! — взорвался Поморцев.— И как же... цветы, подарки? Родные, близкие, друзья?!

— Вам придется говорить слова, которых я не заслужил,— ответил Бондарин.— Прожил полвека, а сижу на нуле. Тихо! — не дал возразить он Поморцеву.— Я знаю. Но если я не вру себе, зачем других заставлять? Помоги достать билеты на теплоход «Екатерина Еланская». Конец июня, начало июля — круиз.

— А почему так заранее? На Черном море ожидается наплыв?

— Билеты есть. Но опять же не для всех. Нужна какая-то заявка от кого-то или чего-то. Потом разрешение оформлять. То есть пора!

— Загранка, что ли?

— Да нет, наши воды: Баренцево море, Северный Ледовитый...

— Юбилей в Ледовитом океане?! — Поморцев возмущился.

— Зато в океане! — был ответ.

— Погранзона,— понял Поморцев, подумав.— Вот почему заявка. Сделаем, нет

проблем. Разрешение ты получишь. Но... Старик, там же ничего нет, пустыня!

— Почему? Северный полюс. Там и свершится.

Поморцев долго смотрел на него.

— То есть твердо?

Бондарин кивнул — да, решил.

Поморцев снял трубку местного телефона, набрал номер.

— Алло! Зайди ко мне, Аскольд.

Низкие тучи, под ними свинцовая бездонная вода и вдаль — скалистый берег с мажками снега в складках. Нахлобучив капюшон, Бондарин стоял на носу корабля. Шипели валы под форштевнем, льдистый ветер высек слезинку. Выстояв, сколько сам себе определил по епитимье, Бондарин ушел.

В крытой части палубы Ольга беседовала со вторым помощником капитана. Он был молод.

— А до того служил в подводном флоте,— рассказывал он.— Выработал свой ресурс и сюда. Чтобы встретить вас!

— То есть как выработал? Вы там пострадали?

— Самочувствие отличное. Все системы функционируют...

— Эту информацию придержите,— оставила Ольга.— Не тот случай.

— Вас понял! Вижу! — пошел на пятую моряк.— В каждой профессии свой ресурс. Балерины когда на гособеспечение переходят?

— Плисецкая танцует по сей день. Иногда.

— Вот и я перед вами пританцовываю. Но вижу: придется списаться на берег. И на днях, буквально! — и, наклонившись к Ольге, он объяснил: — Чтобы преследовать вас своей любовью!

Ольга хотела отбрить, но тут возник Бондарин. Он изобразил, что они даже не знакомы, но привалился к ней, будто бы из-за качки, шепнув: «Не проходите мимо своего счастья».

Второй помощник глянул ему вслед.

— Что еще за трепанг такой!

— Этот трепанг — мой отец,— Ольга приготовилась обидеться.

— Отец?! Виноват,— тут же извинился моряк, но не суетливо.— Объект не опознал, так как... Лет сорок бы ему дал, буквально! Он ведь еще парикмахеров работой снабжает.

— Не знаю, при чем тут парикмахеры, но завтра...— Ольга глянула на часы,— буквально через несколько часов, да! Отцу исполнится ровно пятьдесят. Буквально. Сможете поздравить.

— О-о, шан зализе! — пропел моряк.— О-о, шан зализе! — он снял свою роскошную

форменную фуражку, обнажив совершенно голый законченный купол лба.

Ольга растерялась. Невнятное чувство вины обострилось тем, что, не удержавшись от соблазна, она только что намеренно задела моряка, педалируя подмеченное словечко.

— Бывает, что же... У вас голова редкой правильной формы... И потом... Ведь все системы... буквально! — нашлась Ольга.

Второй помощник рассмеялся:

— Спишусь на берег. Теперь точно спишусь!

Тут ожила корабельная трансляция:

— Внимание! Пассажира Бондарина просят подняться в радиорубку!

В трехместной каюте, открыв чемодан, Нина достала продолговатый тяжелый сверток, хотела развернуть пергамент... Но опять, прервав музыку, заговорила трансляция: — Внимание! Пассажира Бондарина вторично просят подняться в радиорубку! Повторяю...

Нина испугалась почему-то, сбросила сверток в чемодан. И вовремя: в каюту вошел Бондарин.

— Тебя вызывали! — Нине нужно было отвлечь его от чемодана. — Вторично!

— Поток приветствий нарастает. Вот первая депеша. Только от кого, не пойму.

— Поздравляю... Желаю... — прочла Нина. — Лемуры Мадагаскаров?

— Кто-то из Баку, — Бондарин пожал плечами. — Или из Махачкалы?

— Да это же Федька-лемур! — догадалась Нина. — Федька Ульбышев.

— С поморским приветом! — Ольга принесла вторую радиограмму.

Нина перехватила ее.

— Поздравляю... Желаю... Всё еще впереди! Вадька Поморцев.

— Сговорились лемуры с поморами, — проворчал Бондарин.

И снова ожила трансляция.

— Внимание! Пассажира Бондарина, — начал радист приподнять, — просят... — Тут возникли шорохи, отдаленные голоса, будто в рубке возник спор, и радист свернул вещание: — Отставить! Извините!

— Поток приветствий иссяк! — Бондарин встал за чемодан, чтобы убрать с койки. — Чего вы туда натолкали? Говорил, лишних тряпок не брать! Для кого наряжаться тут? Для белых медведей?

— Для тебя! — ответили ему.

Вежливый стук в дверь — вошел второй помощник капитана.

— Ужин. Убедительная просьба не опаздывать! — и вышел.

— С чего он вдруг? — Нина удивилась.

Была озадачена и Ольга.

— Флирт на корабле карается судовым

трибуналом! — сказал ей Бондарин. — Имей в виду.

На закуску к ужину была подана селедка ломтиками с гарниром.

— Селедочка исландская! — одобрил Бондарин, отведав. — Сказывается близость Атлантики... А вы чего? Налетай!

Нина и Ольга следили за тем, что происходит за его спиной, а Бондарин сидел лицом к иллюминатору. Пришлось обернуться.

При входе в судовой ресторан, где была эстрада, поставили столик под кумачом и собрался комсостав корабля.

— Товарищи! Минутку внимания, — объявил старпом.

— Краткий доклад, минут на сорок. Для поднятия аппетита, — и Бондарин вернулся к селедке.

— Сегодня у одного из наших пассажиров знаменательный день!

Бондарин замер с ломтиком у рта.

— Старшему эксперту Госинжнадзора товарищу Бондарину исполняется пятьдесят лет! — и старпом заплодировал.

— Кто заложил? — Бондарин отшвырнул вилку.

— Радиограммы пришли, папа! — ответила Ольга.

Аплодисменты нарастали. Публика искала глазами — кто? Где?

— Придется встать, — шепотом сказала Нина.

— Тихо! — прошипел Бондарин. — Меня никто не знает.

— Сергей Иванович, представьтесь, пожалуйста, — позвал старпом.

Бурные аплодисменты. Бондарин встал, поклонился деревянно.

— Сергей Иванович, личные поздравления вы получили лично, — продолжил старпом. — Но в ваш адрес поступило столько приветствий от такого количества организаций, что у нас не было возможности принять полные тексты, радиовахта не справилась бы, хоть SOS посылай. Мы зачитаем только названия, если не возражаете, конечно...

— Всё ясно! — процедил Бондарин своим.

— Успехов в работе, счастья в личной жизни желают вам институты: НИИтеплопроцесс, ВТИ, МоЦКТИ, ИВТАН... — стал читать старпом.

— Вадька, его рука! — шипел Бондарин.

— Ну да, сам придумал, сам послал! — возразила Нина.

— Адрес дал, гад! Координаты...

— ...заводы «Гидропресс», «Стройдормаш», «Транспрогресс», фабрика «Красная роза» имени Розы Люксембург!

— Это мы, мы! — за дальним столиком вскочила девушка, замахала Бондарину рукой, сияя. — Я оттуда! С «Розы»!..

Что тут поделаешь? На лице эксперта проросла улыбка.

— И многие другие предприятия и учреждения, с которыми Сергей Иванович был связан по работе,— заканчивал старпом.— Среди них хочется выделить НИИбумпром и ОРГбумдрев!

Молодец старпом, какую веселую разблюдку состряпал!

— Последнюю телеграмму прочтет капитан! — старпом подал текст.

— Правительственная! — объявил капитан.

Аплодисменты, смех, все стихло. А Бондарин ничего не мог поделать с лицом, как растянуло его в улыбке, когда объявилась милая девушка с «Красной розы», так и осталось оно неуместно сиять.

— Указом Президиума Верховного Совета СССР,— читал капитан,— за безупречную работу и плодотворную деятельность в развитии научно-технического прогресса старший эксперт Госинжнадзора Бондарин Сергей Иванович награжден орденом Трудового Красного Знамени!

Шквал аплодисментов. Нина, сияя, глянула на мужа. Бондарин наконец совладал с лицевыми мышцами, уничтожил улыбку, поклонился, благодаря всех, шепнув при этом своим:

— Мамаев устроил. Чтобы я не ушел из инжнадзора.

— Папа, что ты хочешь нам доказать? — не выдержала Ольга.— Что ордена даются по знакомству?

И Бондарин прикусил язык. Светя крахмальным колпаком, судовой кок внес юбилейный торт о пятидесяти свечах.

В вечерних платьях и куртках поверх них сидели в каюте Нина и Ольга, чего-то ждали. Постучав, вошел второй помощник капитана.

— Полночь!

Нина глянула в иллюминатор — там едва наметились сумерки.

— Полярный день,— объяснил моряк.— Объект находится на корме.

Да, нахлобучив капюшон, Бондарин стоял на кормовой палубе, один среди швартовых механизмов. Винты выбрасывали из-под судна две мощные бурливые струи. Раскручиваясь, они раздвигали волны и, уходя назад, сливались в широкую ровную полосу.

Пришла семья и второй помощник с ними. Он нес тяжелый сверток, тот, что прятали в чемодане.

— Дорогой папа! — сказала Ольга.— Свершилось то, о чем было столько разговоров: ровно пятьдесят лет назад родился ты! Прими от нас этот маленький подарок.

В руках у Бондарина оказалась здоровенная подзорная труба.

— А-а! Намек понял. Мартышка к старости слаба глазами стала? — шуткой он попытался скрыть, как расчувствовался.— Выбрали б чего-нибудь полегче! Лупу...— тут он споткнулся, вспомнив Чалого. Но добавил: — Чемодан все руки оттянул!

— Сорокакратная,— одобрил подзорную трубу второй помощник.

— К столетию жди телескоп! — пообещала Нина.

Бондарин навел трубу на горизонт.

— Что видишь? — спросили его.

— Вас! — передав трубу моряку, Бондарин одной рукой обнял жену, другой прижал к себе дочь.

— В такой прибор с капитанского мостика только смотреть! — усмехнулся моряк.

— Всё еще впереди! — сказал ему Бондарин.

— Какой след! — полоса за кормой потрясла Ольгу силой.

— Зависит от корабля,— отозвался моряк.— Если стоящий, долго не исчезает. Даже под водой. След крейсерской подводной лодки можно обнаружить... много спустя,— оставил он подробности.— Правда, для этого нужны особо чуткие приборы...

И долго смотрели вчетвером, как из водяных вихрей и пены образуется полоса, широкая, как дорога, и ровный чистый след идет до самого горизонта...



Елена  
РАЙСКАЯ

## БАБОЧКИ

Переулочек был невелик и в медленно сгущавшихся сумерках казался мертвым. Здесь случались прохожие, но редко. Здесь горели фонари, но в полнакала. Главным событием переулочка, прямого и короткого, как тире на пишущей машинке, был огромный каменный дом — из породы тех, что мы называем «сталинский», — приземистый, несмотря на шесть своих этажей, и мрачно-ватый, несмотря на причудливость каменных деталей. Все окна были слепы, лишь одно угловое на втором этаже светило, и чем гуще становились сумерки, тем больше дом напоминал умирающее одноглазое чудовище. Его еще пытались спасти — дальше крыло, углом выходящее на улицу, было укутано строительными лесами, как тело больного бинтами, как сломанная нога гипсом, — слышались лязг и скрежет операционной работы, сновали люди, выкрикивая отрывистые, малопонятные для местных обитателей (а дело происходило в Москве) слова: но мало-мальски проницательный прохожий, остановившись в скудном свете фонаря и взглядевшись в одинокий глаз дома, без труда понял бы, что больной, может быть, простоят еще долгие годы, но жить уже не будет никогда...

Такой прохожий возник в переулочке. Непонятно было, откуда взялась эта фигура, с какой стороны появилась; только что не было никого и вдруг — молодая женщина с тяжелой сумкой через плечо возле строительных лесов. Огромный художественно

исполненный щит сообщал всем, что реставрационно-строительные работы ведут в этом доме специалисты из Турции, к ним присоединилось какое-то наше СМУ, но скромно, мелким шрифтом, в самом низу щита. Женщина поправила ремень сумки и зашагала по переулочку вдоль мертвого дома.

Свернув в арку, она оказалась в темном колодезного вида дворе. Возле подъезда, освещенного простенькой лампой под жестяным колпаком, стоял просевший почти до земли «Запорожец» со спущенными шинами.

Неподалеку на чугунной оградке сидел какой-то человек.

Она покосилась в его сторону и поспешно скрылась в подъезде.

Коробочку с фотокассетой он забинтовал, обвязал длинным черным шнурком и, опустив в вентиляционное отверстие, привязал свободный конец к краю решетки. Все это происходило в ванной.

Он спрыгнул на пол, посмотрел издали — кажется, решетка не выдавала своей тайны.

Он отнес табурет на кухню, выглянул в окно — переулочек был пуст.

Осторожно касаясь перил, она поднималась по разбитым ступеням в полутьме подъезда.

Вдруг что-то шевельнулось на лестничной площадке.

Она взвизгнула. Замерла, вцепившись в перила.



По лестнице навстречу ей спускался какой-то человек.

— Ничего, ничего...— пробормотал он. Она бросилась к двери. Позвонила.

Услышав звонок, он тихо, почти на цыпочках прошел в комнату, посмотрел в окно. Разглядел в зыбком свете раскачивающегося фонаря фигуру человека, сидевшего возле подъезда на чугунной оградке.

Звонки повторились. Еще раз. Еще.

Он подошел к двери, заглянул в глазок. В полутьме виден был женский силуэт.

— Кто? — спросил он тихо.

— Из жэка,— ответил женский голос.— Талон вам принесла. На повидло.

Он молчал.

— Это я...— сказал голос.— Я...

Он помедлил и вмиг задрожавшими руками принялся отпирать дверь, закрытую самыми разными способами, начиная с банального замка и кончая гладильной доской, которая выполняла роль распорки между дверью и стеной. Отпер. Втащил женщину в квартиру. Захлопнул дверь, привалился к косяку и молча посмотрел на гостью.

— Не прогонишь? — спросила она и улыбнулась.

Он не отвечал.

— А я тут была неподалеку,— оживленно и весело говорила она.— Иду, смотрю — наш дом, весь темный, только твое окно горит... Вас выселяют что ли? Да? На реставрацию? Там написано, турки реставрируют. Почему турки?

Он пожал плечами.

— Ну чего ты молчишь? — спросила она.— Сказал бы что-нибудь.

— Картина Репина «Не ждали»,— сказал он.

— Но дождались,— прибавила она.

Он кивнул:

— Так и бывает...— и принялся закрывать дверь.

Она с интересом наблюдала, как он поворачивает замки, навешивает цепочку, пристраивает гладильную доску.

— Это у тебя баррикады? — спросила она.

— Типа того.

— Кто по ту сторону?

— Враги.

— Чего хотят?

— Убить.

— Уби-ить?! — с восхищением протянула она.— Есть за что?

— Зря, что ли, живу на свете? — отозвался он.

Она засмеялась:

— Горжусь тобой.

Сделав несколько шагов по коридору — безликому и чистому коридору маленькой

коммуналки,— она оглянулась, спросила шепотом:

— А...— и показала глазами на обшарпанную дверь,— Эмма Марковна дома?

— Нет,— ответил он.

Тогда она согнулась и поволокалась по коридору шаркающей походкой, выговаривая на ходу с весьма характерным акцентом и грассируя:

— Если вы опять явились попирать моральные ценности, за которые мой брат Левушка сражался с фашистским захватчиком, то сразу же убирайтесь вон! Вон! По месту прописки!..

С этой угрозой она вошла в его комнату, остановилась на пороге, огляделась и, забыв разогнуться, на секунду зажмурилась.

— С ума сойти...— пробормотала она.— Все по-прежнему... совершенно по-прежнему.

Комната была похожа на жилище полунищенской студенческой пары: тахта, потерятое кресло, книжные полки, телевизор на письменном столе. Единственное, что отличало комнату от множества похожих,— стена, сплошь увешанная фотографиями.

— Квартира-музей,— сказал он, входя следом.— Не смею ничего менять. Потом повесят мемориальную доску: «Здесь она жила и мучилась с одним придурком». Твой профиль и букетик гвоздик.

— Роз,— поправила она.

— А, ну да.

Когда-то у них была весьма скромная свадьба с немногочисленными родственниками, но большим количеством розовых букетов на столе.

Мать невесты — похожая на завуча, с нечеловечески гладкой прической и очками на высохшем нервном лице — сидела по правую руку от невесты, время от времени плакала и умудрялась промокать глаза, не снимая очков.

Жених перегнулся к ней и сказал:

— Не убивайтесь, мама. Я ее не съем. Женюсь с другой целью.

— Ваши шутки неуместны,— заметила мать.

— Не надо...— прошептала невеста.

Мать выпрямилась и объявила зычным учительским голосом:

— У меня гост!

Все, как нашкодившие школьники — за учебники, схватились за бокалы.

— Красота спасет мир,— отчетливо выговорила мать невесты и, помолчав, оглянулась на молодых: — Вы меня слышите?

— Да, да,— отозвался жених.— Красота спасет мир!..— и шепнул невесте: — Скоро это кончится?.. Я тебя хочу до посинения...

Она еле заметно пожала плечами.

— А я скажу так,— заявила мать,—

красота не обязана!.. Пусть мир спасает красоту!.. Жених, я к вам обращаюсь!

Он вытянулся, отдал честь по-военному и рывкнул:

— Есть!

...Розовый букет стоял в вазе на телевизоре, телевизор работал: некий старец из теперь уже почти забытых оглушительно докладывал о преимуществах социализма. Под это звучание он и она занимались любовью на скрипучей тахте.

В дверь постучали, визгливый голос крикнул:

— Уберите громкость!.. Громкость уберите немедленно!

Он и она замерли.

Старец на экране тоже сбился, потянулся за стаканом с водой.

Она вздохнула, проговорила тихо:

— Ненавижу коммуналки...

— Не реагируй,— прошептал он, целуя ее.— Наплюй...— Но сбитое соседскими воплями состояние возвращалось с трудом.

Он искоса глянул на телеэкран — старец мелкими глотками пил воду, сиюсья отыскать потерянную фразу.

— Ну-ну, старик, не позорься,— сказал он докладчику.— Давай соберись...

Старец, приободрившись, нашел нужное место в докладе и приступил к своим обязанностям. Он — тоже.

Она улыбнулась, кинула пальто на тахту, села — та отчаянно закричала.

— Включи телевизор,— попросила она и засмеялась.

Он щелкнул выключателем.

Улыбаясь, они смотрели друг на друга. Общее воспоминание, только что промелькнувшее, объединило их на секунду, но только на секунду. Вдруг возникло напряжение, еле уловимое пока...

— Угостишь меня чаем? — спросила она.

Он подхватил чайник, стоявший под журнальным столиком на полу.

— К чаю ничего нет,— предупредил он,— даже сахара, одни талоны остались.

— Какая нищета,— сказала она ему вслед.

— А я невыходной! — отозвался он откуда-то из глубины квартиры.— Знаешь, бывают невыездные, а я — невыходной, не могу выйти из квартиры!

— До такой степени хотят убить? — повысив голос, поинтересовалась она.

— До степени трупа!

На журнальном столике лежал целлофановый пакет с домашними сухарями. Она достала сухарик, повертела его, понюхала и, сморщившись, положила обратно.

Раскрыв сумку, достала из нее бутылку коньяку, банку ветчины, импортное печенье в яркой праздничной упаковке.

Услышав его шаги, спросила:

— Зачем им твой труп, а? Гадость-то какая...

— Гадость они бросят туркам,— отозвался он, входя в комнату.— А себе возьмут одну маленькую штучку.

Она прыснула:

— Какую штучку, господи?

— Фотокассету. Что еще возьмешь с бедного фотографа?..

Он замолчал, изумленно глядя на неожиданное продуктовое изобилие.

— У меня с собой было...— сказала она.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Ну что смотришь? — улыбнулась она.— Мама подарила мне талон на продуктовый заказ. Выдавали в вашем гастрономе, напротив. Я получила, вышла, смотрю — твой дом, весь темный, с того края — лес.

— В лесу — турки,— перебил он.— Ты уже говорила.

— Ну и вот...

Он помолчал и вдруг спросил резко:

— Ты зачем пришла?

Она вздрогнула:

— Я?..— пожалала плечами, улыбнулась.— Неужели до сих пор не понял?.. Убийцы прислали.

— А!..— он кивнул.— Дальше что?

— Как что? — она развела руками.— Буду убивать.

— Каким способом?

— Любым. На выбор... Хочешь, поцелую?

— До состояния трупа? — спросил он.

Она, привстав на цыпочки, сжала ладонями его голову и поцеловала. Это был долгий и умелый поцелуй. Наконец она открыла глаза, посмотрела на него.

— Жив,— сказал он хриловато.

— Пока,— уточнила она поплывшим голосом.— Это будет мучительная смерть... Нагнись, мне неудобно...

И поцелуй повторился.

— Старушка,— проговорил он и откашлялся,— кто-то научил тебя целоваться. Поздравляю.

Она отстранилась. Ответила, сдерживаясь:

— Нашелся один умелец...

Он протянул руку, провел ладонью по ее бедру.

— Держишь линию бедра,— заметил он.— Молодец. Так держать,— и хлопнул ее ниже спины.

Она отступила назад. Помолчал, сказала:

— Открой мне дверь... Я, пожалуй, пойду...

Подхватила пальто с тахты, сумку, шагнула в коридор.

Он вышел следом, придерживая ее за плечо:

— Подожди.

Она сбросила с плеча его руку.

— Подожди, я сказал,— повторил он.— Система такая: войти сюда можно, выйти нельзя.

Она поморщилась, хотела было возразить, но он рявкнул:

— Молча слушай!

— Не ори...— удивилась она и умолкла.

— Если черт тебя дернул,— спокойно сказал он,— и ты пришла действительно просто так, то совету не соваться на лестницу. Они решат, что кассета у тебя... Это серьезно, мать.

— Как все, что ты обычно говоришь? — с иронией спросила она.

Он кивнул:

— Я мен крутой и серьезный... Чайник, наверное, кипит,— вспомнил он и ушел на кухню.

Она осталась в полутемном коридоре... Поколебавшись, вернулась в комнату, бросила вещи на тахту.

Подошла к стене, ходила вдоль нее, разглядывала фотографии, на которых были бабочки... только бабочки... ничего, кроме бабочек.

Он принес дымящийся чайник.

— Завари,— сказал ей.— А я банку открою.— И прибавил: — Поем перед смертью...

Пока он вскрывал банку, она заварила чай.

— Какая идиллия,— заметил он.

— Ага,— она кивнула.— Только Эммы Марковны не хватает.— И тут же изобразила соседкин голос: — «Сегодня ваша очередь по уборке общих мест!» Ее переселили? — спросила она.

— Переселилась,— ответил он.— В мирной.

— Ой! Умерла?..

Он покачал головой:

— Убили.

Она замерла, изумленно глядя на него.

— Убили?... наконец выговорила она.— Эмму Марковну?..

Эмма Марковна была сухонькая карманная старушка, всегда одетая во что-то бесцветное, но чистенькое. Печать выбеленной нищеты стояла на ней.

Склонившись над плитой, она варила супец в металлической консервной банке из-под зеленого горошка.

Соседская пара тоже была занята приготовлением обеда у своего стола.

Эмма Марковна ухватила консервную банку тряпочками и, семена, понесла ее к своему столу.

— Эмма Марковна,— вдруг сказал он,— хотите, я подарю вам кастрюлю к Восьмому марта?

Эмма Марковна покосилась на него и, отведя ото лба все еще вьющуюся прядь, ответила:

— Мой брат Левушка говорил так: «Ни-

когда никого ни о чем не просите. Все равно придут и все предложат».

— Вот я пришел,— заметил он, взглянув на свою жену,— и предлагаю.

— Но потом он говорил так,— возразила Эмма Марковна,— «Никогда ничего ни у кого не берите. Все равно придут и все отнимут».

Она, с трудом сдерживая смех, помчалась с тарелками в комнату.

Он, подхватив доску с нарезанным хлебом, сказал на ходу:

— Не могу спорить с вашим братом.

— Конечно, не можете,— отозвалась ему вслед Эмма Марковна.— Он погиб, сражаясь с фашистским захватчиком.

...Когда он вошел в комнату, она воскликнула, смеясь:

— Не отнимай мою кастрюлю!

Он тоже засмеялся, сел на тахту, которая страшно закричала по своему обыкновению.

— Не скрипи! — тут же сказала она.— Что подумает Эмма Марковна? — И тут же изобразила, что именно подумает Эмма Марковна: — Скрипят и скрипят! Днем и ночью! Как будто в стране больше нечем заняться!.. А это что такое?! — Она, не выходя из образа, ткнула скрюченным пальцем в фотографии на стене: там были нищие в подземном переходе, алкоголики в арке, расплывшиеся рыла теток в громадной очереди.— Азохенвей! — вскричала она.— Какое грязное очернительство нашей прекрасной страны!

— Ты гениальная актриса! — восхитился он и, поймав ее руку, потянул к себе на тахту.

— Ну пусти,— попросила она, отбиваясь.— Мы же собирались обедать...

— А, потом обедать,— сказал он.

— Пусти... так было весело, обязательно все испортить...

— Почему испортить? — помолчав, спросил он.

— Ну... потому что день... она услышит...

— Могу включить телевизор,— предложил он.

— Нет! — шепотом крикнула она.— Телевизор, Эмма Марковна — не хочу! Не могу так!

Они лежали рядом на тахте и сосредоточенно смотрели в потолок.

— Убили?...— повторила она.— Как?..

— Автомобилем,— пояснил он.

— В смысле — наехали?

— Да.

— То есть — сбили?

— Примерно так.

— При чем здесь — убили? — спросила

она и потрясла головой.— Господи, я даже испугалась...

— Я сам испугался в свое время. Поскольку сбили моим автомобилем.

Она кивнула в сторону окна:

— «Запорожцем»?

— До «мерседеса» пока не дотянул.

Он открыл бутылку, достал две рюмки — почему-то с книжной полки.

— А ты где был? — спросила она.

— Правильный вопрос, товарищ следователь, — похвалил он.— На свое счастье, был в ресторане, где и нализался при большом скоплении свидетелей.

— Алиби, да?

— А то, — отозвался он.— Стопроцентное!.. — И улыбнулся ей, но улыбка получилась мрачноватая.— Но они меня таскали, менты... Вопросы-допросы... До тебя не добрались?

— Нет...

— Интересовались... — Он, взяв рюмку, опустился в кресло с потертой обивкой.— Мол, давно ли мы развелись? Нет ли у тебя запасных ключей от машины? Поскольку ее не взломали, а открыли аккуратненько...

— Кошмар какой-то, — проговорила она, растерянно улыбаясь.— Они, между прочим, до сих пор у меня, эти ключи... Жаль почему-то выбрасывать. Вообще, жаль выбрасывать ключи, любые. Но зачем мне было ее убивать? Сам подумай.

— Я подумал, — кивнул он.— Незачем.

— Я ее, конечно, не любила... — она пожалала плечами.— Но не до такой же степени... — Она взяла рюмку, прошла по комнате, присела на край подоконника.— Ладно, — сказала она.— Царство ей небесное... — И выпила.

— Ты стала набойной? — заметил он.— Как мило! — проглотив кусок ветчины, поднялся, подошел к ней.— Отправляешь старушку в царство небесное — а оно есть? Точно знаешь?

— Не надо, — попросила она.— Я боюсь, когда об этом так говорят...

— Почему?

— Потому что Бог есть, — шепотом ответила она.

— Тогда чего же бояться?

Она закрыла ладонью его рот. Потом пригнула его к себе.

За ее спиной он увидел темный двор, качающийся на ветру фонарь, в его нервном вздрагивающем свете — человека, сидящего на чугунной оградке. Человек этот, подняв голову, смотрел на их окно.

Он резко дернул ее с подоконника — так, что рюмка, которую она держала в руке, взлетела и, грохнувшись об пол, разрешилась стеклянными брызгами.

— С ума сошел? — испуганно спросила она.

Он улыбнулся напряженно и пропел при-

дурковатым голосом:

— Выстрел гря-янет, ворон кру-ужит...

— Ненормальный... — Она покачала головой.— Ну тебя на фиг... Я хочу домой...

Он развел руками, что означало: «Ничем не могу помочь».

— Все ты врешь... — сказала она не очень уверенно.— Окопался здесь, чтобы не выезжать, и рассказываешь мне сказки...

— Выгляни в окно. Только быстро.

Она пригнула к стеклу и тут же отпрянула. Внимательно посмотрела на него:

— Кто это?

— Часовой.

— Не будет же он сидеть до утра...

— Придет другой. Они работают посменно.

— Кто — они? — спросила она.— Ты можешь нормально объяснить? Чего они хотят? Выселить тебя?

— Они хотят фотокассету.

— А что в ней?

— Кадрики, — ответил он, улыбаясь.— Маленькие такие кадрики. Вернисаж. И все. Ничего интересного.

— Зачем же она им нужна?

Он пожал плечами:

— Откуда я знаю... Может, они питаются фотокассетами. В стране голод, заказы не всем дают...

Он подошел к столу, налил коньяк в рюмку. Она стояла за его спиной, молчала.

— Будем выпивать по очереди, — сказал он, поворачиваясь к ней.— Посуда тоже кончилась.

— Послушай, — проговорила она.— Давай вызовем милицию.

— Телефон вырублен.

— Что же делать?.. — пробормотала она.

— Выпить, — ответил он.— Это лучше всего, поверь.

Она механически взяла рюмку, пригубила.

— Но ведь так нельзя жить вечно, — сказала она.

— Вечно жить вообще нельзя. Поэтому — плевать... Пей скорее — рюмка нужна.

Она выпила залпом, вернула рюмку. Спросила:

— Ты шутишь, да?.. Скажи честно.

Он покачал головой.

Она замолчала. Села на тахту. Сосредоточенно смотрела на экран телевизора.

— Эй, — позвал он.

Она молчала.

— Ку-ку, — снова позвал он.— У меня вопрос.

Она взглянула на него исподлобья:

— Ну?

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Она ответила шекспировским текстом, но не ему, а Отелло.

Он сам сидел в зрительном зале — маленьком зале маленького учебного театрала. Народу было немного — видимо, шел прогон, и он беспрепятственно засыпал, просыпаясь иногда от звуков ее голоса. В последний раз он проснулся как раз в тот момент, когда мавр грубо приканчивал Дездемону, — и очумелыми глазами уставился на сцену.

...Потом он ждал ее у какой-то непрезентабельной двери с надписью «Служебный вход». Она вышла, хмуро посмотрела на него и сказала твердо:

— Это было ужасно.

— Почему? Нормально, — возразил он, ведя ее к «Запорожцу», припаркованному к кирпичной стене театра. — Это же только прогон. На спектакле соберешься и получишь пять баллов. Железно.

— Я не могу собраться, когда тошнит, — ответила она.

Он отпер дверцу, усадил ее в машину. Она уткнулась в намотанный вокруг шеи шарф, мрачно смотрела в одну точку.

...Затормозив у очередного светофора, он покосился на нее и увидел, что она плачет.

— Эй... — растерянно сказал он. — Перестань... Это же пройдет...

— Когда?! Когда пройдет?! — крикнула она. — Дальше будет только хуже!

Сзади взвыли автомобили, подгоняя замерший «Запорожец». Он рванул вперед.

Пока на плите закипал чайник, она стояла, прижавшись спиной к зеленой стене, и, прикрыв глаза, проговаривала текст Дездемоны.

К стону закипающей воды постепенно присоединился другой звук — какой-то шорох, легкий стук. Она открыла глаза, увидела Эмму Марковну, склонившуюся над своим столом.

Эмма Марковна перебирала лежавшие на блюде хлебные сухарики и лучшие из них бросала в целлофановый пакет. Почувствовав на себе взгляд, Эмма Марковна оглянулась, улыбнулась ей, протянула пакет:

— Не хотите попробовать? Это вкусно.

С ужасом глядя на пакет в скрюченных пальцах старухи, она покачала головой. Оттолкнулась от стены. Бросилась из кухни вон.

Схватила пальто.

Помчалась по лестнице, на ходу застегиваясь, нахлобучивая шапку.

Выбежав из подъезда, услышала, как где-то наверху кричат пронзительно:

— Чайник кипит!!!

И, втянув голову в плечи, как заяц метнулась в арку.

стройки.

— А турки все работают, — сказал он. — Еще две ударные смены — и они доберутся до нас... Тогда мы спасены.

Она молчала, прикрыв глаза.

— Эй, — позвал он и протянул ей чашку с дымящимся чаем. — Попей, иначе вырубись.

Она взяла чашку, покорно выпила чай. Улыбнулась ему — краешком губ, невнятно, словно еще не до конца вернулась. И сказала:

— Знаешь, чего я больше всего боялась потом? Что ты женишься. На нормальной женщине. У вас родится ребенок. Мальчик. Ты пойдешь с ним гулять. И я вас встречу. Смешно?..

Он молчал.

Она выпрямилась и сказала другим тоном, преувеличенно бодро:

— А не выпить ли нам, дорогие товарищи?

Он взял бутылку, налил ей рюмку, подал.

— Ну а ты? — спросила она с таким легким, светским интересом. — Чего-нибудь боялся?

— Я-то? — в тон ей отозвался он. — Боялся. Что женюсь на нормальной женщине. Родится мальчик. Вырастет. Пойдем в театр, а там ты. Играешь Дездемону.

Она, прищурившись, посмотрела на него.

— Не бойся, — сказала она, — не играю... ни Дездемону, ни... ничего.

Выпила. Посидела, зажмурилась.

Встала. Прошлась вдоль стены, увешанной фотографиями бабочек.

Он наполнил рюмку.

— Со свиданьем, — объявил он и выпил. Она не двигалась. Со стороны казалось, что пристально изучает бабочек.

— Нравятся? — спросил он, с беспокойством глядя на ее спину. — Живут один день. Но как живут! При любой режиме — при царе, при депутатах. С цветка на цветок, с лужайки на полянку. Пока не придет костлявая с сачком.

Он увидел, как у нее задрожали плечи.

— Тихо, — сказал он и вынул из кармана платок. — Не плакать. — Шагнул к ней, развернул к себе. Она, зажмурившись, упиралась, но он ловко вытер ее лицо, зажал платком нос: — Сморкайся.

Она, протестуя, замотала головой.

— Кому сказал — сморкайся! — скомандовал он. — Будешь потом носом хлюпать, знаю я тебя... Вот так... Все?

— Все, — ответила она жалобно.

Он сжал ладонями ее голову, поцеловал в волосы, прошептал:

— Прости. Ладно?

— И ты... Да?

— Да.

В тишине были слышны отдаленные звуки

Они стояли и слушали, как скрипит фонарь, раскачиваясь на проволоке возле подъезда, как включаются и выключаются механизмы на ближней стройке.

Она покосилась мокрыми еще глазами на фотографии.

— Почему бабочки?..— спросила она.

— Потому что красиво.

— А те фотографии где? Помнишь, здесь висели? Алкаши, нищие... На них же спрос сейчас.

— Убрал. Надоели.

— Я каждый день ищу в газете что-нибудь твое...

— А я там больше не работаю.

Он подошел к столу, наполнил рюмку.

— Кто-то так старательно искал кассету,— объяснил он,— что смел из фотолаборатории все материалы, абсолютно все, для верности. И — промахнулся! — Он захотел. — Но мне пришлось уйти...

— Где же ты теперь? — спросила она.

— Детей фотографирую по садам. В свободное время — бабочек.

— Зачем тебе бабочки?

— Я же сказал...— Он протянул ей рюмку.— Твоя очередь. Выпей за красоту.

— Которая спасет мир? — спросила она.

— Фиг она спасет мир,— ответил он.

— А нас?

— Тем более. Спасти нас могут только турки.

Она пригубила коньяк, оглянулась на окно:

— Давай откроем окно и позовем на помощь.

— По-турецки? — уточнил он.

— Да! — засмеялась она.— Откроем окно и закричим... Аллах! Аллах!

— Можно добавить «Янычар». Для ясности. Часовой внизу сразу нас поймет. — О, Аллах...— вздохнула она.— Господи...

Он посмотрел на часы и сказал:

— Пленка созрела, пойду к станку.

Она подняла на него изумленные глаза:

— Что?!

Он — прежний, из их прошлого — снова посмотрел на часы и сказал:

— Ну ладно, крошка. Пленка созрела, пойду к станку.

Она укладывала вещи в чемодан. Оглянулась. Смотрела на него вопросительно. Ждала, что он все-таки что-нибудь скажет. И он сказал:

— Смотри ничего не забудь. Трусики, лифчики, носочки... В общем, не оставляя следов. О'кей? — и шагнул к двери.

— Подожди,— позвала она.— Мне нужно кое-что тебе...

Но он перебил:

— Самое гнусное, что есть на свете,—

это передержанная пленка.

— Ну так иди! — крикнула она и, отвернувшись, принялась швырять вещи в чемодан.

Она услышала, как за ее спиной захлопнулась дверь комнаты, потом — ванной, щелкнула задвижка.

— Кретин...— прошептала она и, закусив губу, треснула кулаком по чемоданной крышке, надавила коленом, закрыла замки.

Огляделась. Взгляд был беспомощный, бесильный, потому, видимо, что все силы уходили на то, чтобы не заплакать. Села на тахту. Та отозвалась скрипом. Она вскочила.

Пошла на кухню. Постояла, бесцельно передвигая банки, стаканы на столе. Посмотрела на стол Эммы Марковны — там лежали ровные ряды пакетиков. Она выудила из верхнего сухарь, засунула в рот, разжевала, проборматала невнятно:

— Вот гадость...— и побрела по коридору.

Остановилась возле двери ванной. Из щели пробивался красный свет. Она пнула дверь ногой и сказала громко:

— Кретин!

— Что ты сказала? — спросил он из-за двери.

— Кретин!

— Не слышу. Скажи по буквам.

— Константин, Роман, Елена! — крикнула она.— Тарас, Ирина, Николай!

— Никого из них не знаю,— ответил он.

Она усмехнулась. Сказала ровно:

— Я собралась. И ухожу,— и направилась в комнату.

Взяла чемодан, подхватила зачем-то вазу с цветами.

Выйдя в коридор, поставила чемодан на пол, воткнула по одной розе в его ботинки, стоявшие под вешалкой. В каждый ботинок налила немного воды из вазы — чтобы розы не завяли, видимо... Надела пальто. Собралась уходить, но тут взгляд ее зацепился за связку ключей в соседской двери.

— Надо же...— пробормотала она и, поколебавшись, повернула ключ.

Дверь открылась. Она просунула голову в комнату и, тихо ахнув, вошла.

Жилище нищей старушки напоминало склад художественного салона. Картины в тяжелых старинных рамах висели на стенах, лежали, завернутые в холщовые тряпки, штабелями на полу. У стен стояли какие-то фигурки, прикрытые такими же холщовыми тряпками. Она приподняла одну и увидела бронзового человека, нелепо изогнувшегося, с часами в животе.

— Вот это да!..— прошептала она.— Нищая старушка... с консервной банкой...

Она прикрыла бронзового человека. Выпрямилась. Огляделась. Перед ней на стене висела увеличенная фотография в витой позолоченной рамке: девица, отдаленно напоминавшая Эмму Марковну, и рядом с нею —

лысоватый, но еще молодой мужчина в очках.

— Ага,— сказала она.— Брат Левушка. Здрассте...

И тут посыпались истошные звонки в дверь.

Она вздрогнула. Вылетела из комнаты, повернула ключ. Схватила чемодан.

Звонки слились в сплошной крик.

Она открыла дверь. На пороге стояла Эмма Марковна, трясущаяся, с перекошенным от ужаса лицом.

— Ключи...— силно выговорила она.— Забыла ключи...

Она пожала плечами, прошла мимо Эммы Марковны со своим чемоданом, захлопнула за собой дверь.

Эмма Марковна была образцом нелепости. Сначала она выхватила из замочной скважины всю связку, сжала ее в трясущихся руках, словно хотела убедиться в том, что ключи нашлись и целы. После чего, хрипло дыша, попыталась вставить ключ обратно, но, конечно, это ей никак не удавалось.

Он вышел из ванной, спросил:

— Вам помочь?

— Нет! — тонким голосом вскрикнула Эмма Марковна и задышала еще тяжелей.

Он стоял и разглядывал свои ботинки, из которых торчали розы. Аккомпанемент старушечьего дыхания был как нельзя более кстати.

— Пойдем,— сказал он ей,— я покажу тебе свою мастерскую.

Она вышла за ним в коридор, с интересом смотрела, как он отпирает дверь Эммы Марковны.

Комната была неузнаваема, почти пуста, если не считать стеллажей со всевозможными фотопринадлешностями и огромного стола, заваленного фотографиями, пачками фотобумаги.

Прихватив мокрые пленки прищепками, он повесил их сушить. Взглянул на нее, неподвижно стоявшую на пороге. Она странно улыбалась и внимательно смотрела на него.

— А куда делись картины? — спросила она.— И все эти мужики с часами?

Он замер. Помолчав, проговорил изумленно:

— Откуда ты знаешь?.. Она никого сюда не пускала...

— Значит, и ты знаешь? Да?

— Да.

Они напряженно смотрели друг на друга. Неожиданно он улыбнулся и сказал:

— Отвечаю на следующий вопрос... Когда явилась милиция, здесь уже ничего не было.

— Все вынесли, да? — спросила она.

— Наверно.

— Но ведь невозможно было вынести все незаметно... Если только...— Она помедлила и закончила: — Если только не в соседнюю

комнату выносили.

— Понятно...— протянул он и засмеялся. В пустой комнате смех прозвучал гулко и жутковато.— Но у меня алиби, не забывай! Я весь вечер надирался в ресторане.

— Ты — да,— кивнула она.— А здесь был кто-то другой.

— Кто же?

— Не знаю. Кто-то, кому ты дал ключи — от машины, от квартиры...

— В конце концов, логично,— заметил он и усмехнулся.

— От него ты прячешься, да? — спросила она. Глаза ее горели, как у начинающего детектива, который ухватил конец запутанной нити и упоенно распутывает ее.— Потому что вы чего-то не поделили! Или ты его надул!.. Нет,— возразила она сама себе,— фотокассета... Я поняла! Это он тебя надул — забрал все себе, да? Но у тебя осталась фотокассета, ты сфотографировал коллекцию Эммы Марковны, и теперь он от тебя зависит! Я права?

— Какая пронциательность,— ответил он.

Взял пачку бумаги, вскрыл ее с треском — так неожиданно, что она вздрогнула.

— Подожди,— попросила она.— Еще вопрос. Ты ведь не сказал ментам о коллекции? Так?

— Так.

— Ну вот... Получилось, что ее и не было никогда... Ведь никто не знал, подумать не мог, что у нищей старушки с консервной банкой...— Она замолчала. Напряженно думала о чем-то. Наконец проговорила: — Кто он?

Он молчал.

— Я не побегу тебя закладывать,— пообещала она.— Пожалуйста, скажи мне...

Он подошел к ней почти вплотную.

— Что сказать? — мрачно спросил он.— Что это я ее прикончил? — Стоял перед ней, покачиваясь с носков на пятки.

Она выжидающе и настороженно смотрела на него. Ждала.

— Ну говори же,— не выдержала она.— Не бойся.

— О'кей,— сказал он.— Если ты так настаиваешь... Да, я.

Она чуть качнулась назад, почти незаметно — отступила на четверть шага. Но он уловил это движение и улыбнулся насмешливо.

— Страшно?

Она молча помотала головой.

— Вот как? — удивился он.— А бабушки кровавые в глазах? — И наклонился к ней: — Посмотри внимательно... только внимательно... Видишь?

Она произнесла еле слышно:

— Вижу...

— Глазастенькая...— с нежностью садиста проговорил он.— Уменьская... Все поняла...

Она уперлась руками в его грудь и отступала... все дальше и дальше... в коридор. Пятилась спиной, спотыкалась.

— Ну не падай... — он стиснул ее плечи. — Не бойся, я хочу тебя поцеловать...

— Нет...

— Почему нет?... Хочу поцеловать... хочу... тебя...

— Отпусти! — она спиной наткнулась на дверь.

Дверь, скрипнув, отворилась, и он втолкнул ее в свою комнату.

— Все поняла... — бормотал он. — Что же мне теперь делать с тобой?... Когда ты знаешь так много... Придется и тебя прикончить... Да?..

Ее ноги наткнулись на тахту, она упала плашмя, и тахта закрипела по обыкновению... Он обхватил ее руками так, что она не могла шевельнуться.

— Не надо!.. — севшим от страха голосом прошипела она.

— Молилась на ночь?.. — спросил он, целуя ее. — Дездемона...

Слабеющими руками она все пыталась оторвать его от себя, отпихнуть его лицо, ударить.

— Я буду кричать... — выдохнула она.

— Кричи... — бормотал он. — Никто не услышит, не бойся... Я знал, что это будет... я тебя ждал... любимая... моя девочка... без тебя пустыня... смерть...

Последнее слово вселило в нее бешеную, отчаянную силу. Она изогнулась, вцепилась в его плечи — и оба рухнули на пол. В ту же секунду с ловкостью кошки она отпрыгнула от него к двери, замерла на пороге, готовая к новому нападению.

Но он сидел на полу, потирая ушибленное плечо и глядя на нее ошалелыми глазами. Глубоко вдохнул, выдохнул. И спросил растерянно:

— Ну ты что? Рехнулась совсем?

Она молчала, не позволяя себе расслабиться, внимательно следя за его движениями.

Он потряс головой. Поднялся. Вздохнув, взял бутылку, налил себе коньяку, выпил. Взглянул на нее:

— Я похож на убийцу?

Она молчала, сжав губы.

— Ты жила здесь со мной. Спала, говорила, гуляла, молчала. И теперь — можешь себе представить, что я убил старушку? Ты серьезно что ли?

Он шагнул к ней.

Она тут же оказалась в коридоре.

Он хмыкнул изумленно, некоторое время разглядывал ее через порог, а потом взял и захлопнул дверь.

Эмма Марковна сидела на полу, прива-

лившись к дверному косяку.

— Этого мне только... — оглянувшись на нее, пробормотал он и позвал: — Эмма Марковна, что с вами?

Она чуть шевельнулась.

— Мне хорошо, — хрипло сказала Эмма Марковна.

— Я вижу, — отозвался он. — Может, врача?

— Ни в коем... — на одно слово не хватило дыхания.

Он нагнулся, вынул из ее руки связку ключей.

— Нет!.. — заволновалась Эмма Марковна. — Не открывайте... Туда нельзя...

— Я вам помогу. — Не обращая внимания на ее протесты, он отпер дверь, подхватил старушку под руки, почти внес в комнату и, как она была, прямо в пальто и сапогах уложил на кушетку.

Только после этого огляделся и увидел то, что скрывалось за обшарпанной дверью.

— Это не мое... — испуганно проговорила Эмма Марковна. — Это коллекция Левушки... Он был ценитель, но погиб, сража... — Опять ее подвело дыхание. — Погиб...

— Сражаясь с фашистским захватчиком, — подсказал он. — Я помню... Может, все-таки «скорую»?

— Нет... — Эмма Марковна подняла руку, ткнула в пространство скрюченным пальцем: — Там... на полочке... корвалол и стакан воды. Тридцать капель в воду...

Не слишком тщательно считая, он потряс пузырек над стаканом, помог Эмме Марковне выпить воду.

Она перевела дыхание и сказала:

— Вы первый, кто сюда... Сейчас такое время... опасное... Я рассчитываю на ваше... благородство...

— Ладно, — отозвался он.

И Эмма Марковна выдохнула:

— Спасибо...

Он разглядывал картины, медленно двигаясь вдоль стены. Их было много.

— Левушка всегда говорил, — подала голос Эмма Марковна. — Помогай ближнему своему... как самому себе... И воздастся...

— Да? — он покосился на Эмму Марковну и, не удержавшись, спросил: — А «пролетарии всех стран, соединяйтесь», случайно, он не сказал?

Эмма Марковна помолчала и ответила:

— Такого он никогда не говорил... Он сказал, чтобы я берегла... — Она глазами показала на картины. — Я берегла... Где-то есть его кровинки... Левушкины... где-то живут на свете... Я делала запросы... Они найдут...

Он с интересом посмотрел на Эмму Марковну:

— А если... не найдут?

— Кто ищет, тот найдет, — ответила Эмма Марковна. — Так говорил Левушка.



Ей стало лучше: глаза оживились и бледность исчезла. Она осторожно села.

— Идите,— сказала она ему.— Я буду снимать сапоги.

— Могу помочь,— неуверенно предложил он.

— Я все делаю сама,— возразила Эмма Марковна.

Он кивнул и вышел из комнаты. Прикрывая дверь, услышал, как она кричит ему вслед почти так же громко, как обычно:

— Свет в ванной!

Он открыл дверь — она по-прежнему стояла в коридоре.

— Бедолага,— сказал он.— Детка в клетке.

— Понимаешь,— словно извиняясь, проговорила она,— все так сходится... как нарочно... любой подумал бы, что это ты... понимаешь?

— Понимаю,— ответил он.— Ментам потому ничего не сказал. Но ведь ты — не любой.

Он шагнул в коридор.

Она тут же отступила на несколько шагов.

Он прошел мимо нее в мастерскую, оглянувшись:

— Ты там бойся, старушка. А я пока работаю...

Насвистывая что-то, он подошел к столу. Налил в провочный тазик воду из кувшина, насыпал какой-то порошок, размешал... Включил лампу — комната погрузилась в густой красный полумрак.

...И вдруг за его спиной раздался голос Эммы Марковны:

— Здравствуйте, милый друг.

Он вздрогнул. Стопка бумаги, разлетевшись, упала на пол.

— Не оборачивайтесь,— предупредил голос Эммы Марковны.— Так будет лучше.

Он, не поворачиваясь, как и просили, нагнулся, стал собирать упавшие листы.

— Обрадовались моей смерти? — спросила Эмма Марковна за его спиной.

— Честно? — усмехнулся он.— Мне было все равно.

— Ну что же...— прошелестела Эмма Марковна.— Чистосердечное признание, как говорил Левушка, лучше, чем ничего... Зато теперь у вас есть мастерская.

— Спасибо вам,— отозвался он и разогнулся, положил пачку листов на стол.

— Скажите спасибо ему... Ви знаете, кто он?

Скрестив руки на груди, он закрыл глаза, улыбуясь:

— Вам так интересно, Эмма Марковна?

— Очень! — призналась она.

Помолчав, он сказал:

— Левушкин внук.

— Левушкин внук? — повторила за ним

Эмма Марковна.— Ни хрена себе... Откуда он мог взяться?

— Ну-у! — он развел руками.— Левушка родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков нашел вас... Очень просто, Эмма Марковна.

— Так и что? — спросила Эмма Марковна.— Ви его видели? Внука?

— Один раз,— ответил он.— Мельком. На вернисаже.— И усмехнулся.

...— Пресса,— сказал он, показывая удостоверение милиционеру.

— Пресса,— повторил в следующих двух дежурному.

И снова у очередной двери:

— Пресса.

Он запечатлел взволнованную, ровно гудящую публику.

Улыбчивого господина, специально медленно, чтобы растянуть исторический момент, режущего ленточку.

Людей, разбредшихся по залу.

Одухотворенное лицо девушки, созерцающей произведение искусства.

Он щелкнул затвором и сказал:

— Девушка, еще одухотвореннее можете?

Она оглянулась, посмотрела на него презрительно, спросила:

— Чего?..— и снова повернулась к картине, темный фон которой совокупно со стеклом служил девушке зеркалом.

— Я говорю — прекрасный вернисаж,— сообщил он.

— Ну и?..— отозвалась девушка, поправляя прическу.

— Ну и вот,— сказал он печально и пошел по залу, глазами ища что-нибудь полезное для работы.

Тут-то он и увидел Эмму Марковну — она была в темно-синем платье с кружевным воротником, схваченным огненно-красной брошкой. Рядом с ней вполборота стоял импозантный мужчина, который поддерживал Эмму Марковну за локоть и, наклонившись, что-то говорил ей.

Эмма Марковна тоже увидела своего соседа по квартире. Приветственно помахала скрюченными пальцами, задвигала шарнирной челюстью.

Он вскинул фотоаппарат, прицелился. Глядя в объектив, заметил, как импозантный мужчина спросил о чем-то Эмму Марковну. И — затвор сработал.

...— Я вас тогда щелкнул,— сказал он, стоя в красном полумраке.— Просто так. Для хохмы. Вы уж извините — у вас был такой светский вид!..— Он засмеялся.

— Что ви хотите! — воскликнула Эмма Марковна так живо, что дала петуха.— Вернисаж!

— Театры, концерты, выставки,— добавил он.— Внучек вас побаловал напоследок.

— Он был нетерпелив... Не в Левушку уродился...

— Вся штука в том, Эмма Марковна,— грустно сказал он,— что вам не повезло с соседом... Если бы я засек эту историю вовремя! Но мне было не до вас...

Голос Эммы Марковны теперь звучал совсем близко.

— Понятно,— ответила она.— Ваша небоговерная доставила вам столько хлопот...

— Она редкая идиотка, Эмма Марковна,— сообщил он.— Добровольно отказалась от роли моей жены. От главной роли! Ни фиги себе актриса!.. Да?

— Ну ви тоже не подарок к Восьмому марта,— сварливо заметила Эмма Марковна.— Главную роль ей дали, а реквизит?.. А костюмы? А грим?.. Так что помолчите. Лучше вот,— из-под его локтя появилась рука с рюмкой.— Випейте за вашу жену.

Он засмеялся, взял рюмку.

— За нее я пил корвалол,— сказал он.— Чуть не спился.

— Так випейте за медикаменты,— нетерпеливо проговорила Эмма Марковна.— Только випейте уже!

Пока он пил, появилась вторая рука, и он оказался в кольце.

Она обнимала его, прижавшись лбом к его спине.

— Женись на мне обратно,— попросила она.— Мне так хорошо с тобой... Понятно и легко... Как ни с кем.

— Как ни с кем? — с интересом повторил он.— Это с кем же?

Она растерянно замолчала.

Она пыталась остановить машину на углу теперь уже бывшего своего дома. Чемодан стоял рядом — у бортика тротуара — и время от времени шмякался в весеннюю грязь. Автомобили пролетали мимо.

Безнадежно помахав рукой, она отпрыгнула в сторону, чтобы уберечься от веера брызг, ногой придерживала старый чемодан и снова выбегала на дорогу.

— Стой, дурак...— бормотала она, размахивая руками.— Ну пожалуйста!.. Жалко, что ли?.. Ну вот ты, ты... Можно вас на минуточку?

Наконец возле нее затормозила великолепная бежевая «восьмерка». Она распахнула дверцу, всунула голову в салон.

— До «Сокола!» — крикнула она водителю.— Пять рублей.

Автомобилист, сорокалетний спортивный мужчина, внимательно посмотрел на нее.

— Десять,— поправились она.

Он улыбнулся.

— Хорошо — пятнадцать! Вам мало?

— Много,— ответил автомобилист.— Садитесь.

— У меня чемодан,— сказала она.

Автомобилист вышел, поднял ее чемодан.

— Стоит ли плакать из-за этого? — за-

метил он.

— Я плачу?..— она тронула мокрое от слез лицо и объяснила: — Это так... случайно получилось.

«Восьмерка» легко снялась с места.

Автомобилист протянул ей раскрытую пачку сигарет:

— Вы курите?

— Иногда.— Она вынула сигарету.

— Сейчас как раз такой момент? — уточнил он и щелкнул зажигалкой.— Наверное, вы поссорились с мужем... Угадал?

— У меня нет мужа,— мрачно ответила она.

— А кольцо? — автомобилист кивнул на ее руку.

Она поморщилась:

— Не успела снять...

— Понял,— засмеялся автомобилист.

— Вот здесь,— скомандовала она.

«Восьмерка» притормозила возле подъезда.

— Сколько с меня?

Автомобилист выдернул из блокнота листок, что-то написал.

— Если вдруг опять случайно заплачете, станет грустно — позвоните. Хорошо?

Она пожала плечами, но листок взяла и сушила в карман брюк.

Дверь открыла мать. Лицо ее было стянуто, губы еле шевелились. Взглянув на дочь и отдельно — на чемодан в ее руке, мать сказала, почти не разжимая губ:

— Я предвидела эту развязку... Проходи.

— Что у тебя с лицом? — спросила она.

— Маска,— ответила мать.— Белок.

И с каменным лицом и неестественно прямой спиной, вытянув вперед руки, как слепая, удалилась в ванную.

Она вошла в комнату. Села на диван. Уставилась в одну точку, сжав губы,— так же, как мать...

Вбежала мать с полотенцем в руках. На ее мокром, ожившем лице были теперь все оттенки сострадания.

— Доченька! — воскликнула она.— Бедная моя!.. Ноготка твоего не стоит — полубормот!

Она легла на спину. Молчала.

— Давай-ка,— решительно сказала мать, беря пиалу с жидкой маской.— Чтобы продукт не пропал... — И быстро, ловко смазала остатками белка лицо дочери.— Вот так... красавица моя... ничего, ничего... у нас еще все впереди...

Она смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Лицо постепенно стягивалось, каменело под застывшим белком.

— Видит Бог,— говорила мать,— не для того я тебя рожала, чтобы ты мыкалась по коммуналкам, копейки считала!.. Не-ет! Ты еще встретишь настоящее счастье — это я тебе говорю!

Ее лицо окончательно окаменело. Она просушила пальцы в карман брюк, нащупала листок с телефоном автомобилиста.

По узкой тропинке, вытоптанной в почерневшем весеннем снегу, автомобилист вел ее к одноэтажному старинному домику — где-то на задворках шумной центральной улицы.

Вдруг он придержал ее за руку, заставил остановиться и посмотреть: напротив домика была церковь, над высоким крестом носились и вскрикивали вороны, наплывали тяжелые весенние облака.

— Видите?..

— Да,— ответила она.

Автомобилист сжал ее пальцы и повел дальше, к двери домика, которую отпер собственным ключом.

За дверь оказалось просторное помещение, бывшее одновременно и мастерской художника, и жилой комнатой, и кухней.

В уютном углу стоял диван, над его спинкой висело множество акварельных миниатюр, здесь же помещался старинный стол на одной ноге, прикрытый вышитой салфеткой.

Автомобилист помог ей снять пальто. После чего подошел к столу и ловким движением фокусника сорвал с него салфетку.

— Вауля! — сказал он. — Прошу!

Стол оказался сервирован на двоих. Посредине возвышался роскошный подсвечник.

— Здорово... — проговорила она. Почему-то привычная легкая интонация не давалась ей. — Клевый подсвечник...

— Стиль ампир, — пояснил он. — А это, — он указал на уставленный деликатесами стол, — закуска в стиле «застой».

Она слабо улыбнулась.

— Выпивка, — продолжал автомобилист, — периода репрессий — «Киндзмараули».

— Никогда не пробовала, — заметила она.

Теперь улыбнулся автомобилист:

— Девушка эпохи перестройки... Прошу, — и отодвинул для нее стул.

Она села. Заметив на столе пачку «Мальборо», тут же ухватила за сигарету.

— Курево развитого капитализма, — сказала она и, когда он чиркнул спичкой, прибавила: — Огонь реального социализма.

— Вы умница, — похвалил ее автомобилист, — схватываете на лету. Я позвоню, если позволите?

Она кивнула кивком головы.

— Алло, — сказал автомобилист в трубку. — Все в порядке?.. Прекрасно... У меня начинаются переговоры. Как долго продлятся — не знаю. Так что ужинай без меня. Хорошо?.. Целую. — И положил трубку.

Подошел к столу, улыбаясь ей.

— У вас переговоры? — спросила она.

— Да, — серьезно ответил автомобилист. — С тобой.

Он сел напротив нее. Откупорил бутылку, налил в высокие бокалы вино.

— Давай выпьем знаешь за что?.. За судьбу, — предложил он. — За судьбу, которая в один прекрасный момент сталкивает двух людей на перекрестке... Да?

— Да, — ответила она и, зажмурившись, выпила вино.

— Вкусно?

— Вкусно... Можно, я позвоню? — вдруг спросила она. — Маме...

— Конечно.

Пока она набирала номер, автомобилист зажег свечу на столе.

Она слушала гудки... Ей легко было представить, как он — может быть, столкнувшись с Эммой Марковной в коридоре, — мчитя к телефону. Вот он протянул руку, снял трубку... Но услышала она почему-то звонкий женский голос:

— Алло!.. Алло!.. — на том конце провода помолчали и сказали в сторону смущенно: — Ой, это, наверное, тебя...

И тогда к телефону подошел он:

— Да, я слушаю... Говорите!

Она осторожно положила трубку на рычаги. Вернулась к столу.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Знаешь... — проговорил наконец автомобилист, — мне бы очень хотелось поехать с тобой куда-нибудь.

— Куда?

Он пожал плечами:

— В какой-нибудь город... Бродить по улицам, смотреть... В какой-нибудь далекий, чужой город...

Она смотрела на него блестящими невидящими глазами.

— Можно в Ленинград, — глухо сказала она. — У меня там много знакомых.

Он, грустно улыбнувшись, возразил:

— Лучше в Париж. А еще лучше — в Рим... Или — в далекий город Сидней... Как ты думаешь?

— Не знаю... — отозвалась она. — А вы там были?

— Мы там будем. Если захотим. — Он поднялся, подошел к ней. — Неужели меня так много? Почему ты со мной на «вы»?

Она подняла голову. И он, нагнувшись, поцеловал ее.

— Ты, — улыбнулся он. — Договорились?

Она кивнула.

— Ты всегда такая грустная? — поинтересовался автомобилист. — Или не всегда?

Она покачала головой: «Не всегда». Ей было страшно заговорить — слезы стояли слишком близко.

— Ну тогда, — сказал автомобилист, — расскажи мне что-нибудь смешное.

На фотобумаге возникла бабочка, сидевшая на цветке. Спустя несколько секунд изображение исчезло, и он осторожно погрузил лист в проявочный раствор.

Склонившись над пластмассовым тазиком, она следила за тем, как постепенно под слоем воды на фотографии проступает очертание легких крылышек...

— Давай куда-нибудь уедем, — вдруг сказала она.

— Куда?

— Ну в Америку... в Австралию...

— В Израиль, — подхватил он.

— Почему в Израиль? — удивилась она. — Мы же не евреи.

— А в Австралию почему? — засмеялся он. — Мы австралийцы что ли?

Она улыбнулась.

— Можно еще махнуть в ЮАР, — продолжал он. — Обижать негров. Это мы запросто...

— Чего их обижать, — пожалла плечами она. — Они и так негры.

— Отлично сказано! — восхитился он. — Орден Дружбы народов тебе за это!

Она помолчала и сказала:

— Я серьезно...

— Если серьезно, — отозвался он, — то куда же нам ехать? Мы из квартиры выйти не можем...

Щелкнул увеличитель — на бумаге возникла новая бабочка с устало распушенными широкими крыльями.

Она вдруг решительно шагнула к нему, схватила за плечи, заставила повернуться к ней.

— Послушай, — сказала она с силой, — отдай ему эту кассету!

Он помотал головой.

— Нет! Подожди! Послушай! — настаивала она. — Пусть Левушкин внук подлец, убийца, сволочь — кто угодно! Но при чем здесь ты? Хочешь его исправить? Наказать? А толку?.. Эмму Марковну уже не вернешь, коллекцию тем более!.. И к тому же коллекция принадлежит ему! Внуку!

— Неизвестно, — заметил он.

— Дурак! — крикнула она с отчаянием. — Неизвестно другое: кто из вас сильнее! Думаешь — ты?.. Ты один, их, — она кивнула на окно, — много!

Он хмыкнул:

— И все — Левушкины внуки. А он у них — генеральный внук. Есть такая партия, батенька! — крикнул он, неумело картавя, и тут же чертыхнулся: — Вот, черт, запорол... Выключил увеличитель, бросил верхний лист фотобумаги в корзину.

Она бесцельно бродила по мастерской, не зная, куда себя деть, где приткнуться...

— А они-то думают, — пробормотала она, — что ты просто не хочешь выселяться... они ничего не знают...

— Кто — они? — не понял он.

— Ну люди в жэке... ждут, когда ты сам уедешь... — объяснила она и сказала с тоской: — Лучше бы уж пришли сюда с ментами и топором... как в старые добрые времена...

— Чертова демократия, — в тон ей прибавил он.

Она закурила. Клубы дыма медленно растеклись в красном свете.

— Ты собрался умереть за Эмму Марковну? — с иронией спросила она.

Он отрицательно покачал головой:

— Умирать не хочу... Но и жить — не горю особым желанием...

— Господи, — проговорила она. — Чего же ты хочешь?

— Отдохнуть перед смертью. Вот так я себе представляю жизнь.

Она взглянула на него исподлобья:

— А я?..

— Приятно отдохнуть с красивой женщиной...

Она, зажмурившись, потрясла головой.

— Не могу больше! — почти простонала она. — Не могу здесь больше! — и выбежала из мастерской.

Он пошел следом.

— Опять! Опять эта вонючая квартира! — Она металась по квартире, собирая вещи. — Духота! Тоска!

— Ну успокойся! — попросил он, останавливая ее.

— Я хочу на улицу! На воздух! Я задохнусь здесь!

Он схватил ее за плечи, встряхнул:

— Какого дьявола пришла?! Я тебя звал?..

Она судорожно вздохнула и бессильно опустила руки.

Он усадил ее на диван.

— Пришла, потому что... Потому что хотела тебя увидеть... хотела к тебе... Я же не знала, что ты тронулся умом из-за старушки...

У него вдруг отвисла челюсть, помутнели глаза.

— Мамочка, — просипел он голосом дебила, — я чайник! Я закипаю! Выключите газ! — и, поплевавшись немного — видимо, кипятком — засвистел.

— Сними свисток, — сказала она. — Кретин.

Он дернул себя за нос и замолчал. Опустился перед нею на корточки, улыбнулся:

— Константин, Роман, Елена, Тарас, Ирина, Николай.

— И сестра их Катя, — прибавила она. — Хорошая компания...

Он целовал ее руки, осторожно и торжественно прикасаясь к ним губами.

— У тебя такая кожа нежная... — проговорил он. — Твоею кожей дорогие объективы протирать...

Она обняла его и, помолчав, сказала:

— Мы можем быть вместе?.. Можем? Правда?

— Сколько угодно, — отозвался он.

— Я серьезно...

— И я серьезно. — Он поднял голову, взгляделся в ее лицо. — Я с тобой не разводился.

— Тогда, — сказала она, — отбросим все, что мешает, о'кей? — и, чтобы он не возразил, быстро поцеловала его. — Нам — наше, внуку — внуково...

— Аэропорт не отдам, — отозвался он. — Мало ему убиенной старушки?.. — Погладил ее по голове, поднялся. — К тому же он никакой не внук. Вот в чем штука.

Налил в единственную рюмку коньяку, выпил одним глотком.

— Ну не внук! — воскликнула она. — Какая разница? Брат, сват, ничей племянник — забудь о нем!

— Забыл. Давно забыл.

— Вот и все.

— Не все! — возразил он. — Полгода прошло — вдруг кто-то разгромил фотолабораторию! Все смел и пустую бутылку не поленился подбросить... скотина, — добавил он сквозь зубы. — Ладно. Меня поперли. Дальше...

Она перебила:

— Откуда ты знаешь, кто это сделал?

— Дальше, — повторил он. — Мне звонят по телефону и предлагают кончить дело полюбовно: отдать фотокассету. Бабки предлагают. Между прочим, неплохие. Я сказал, что кассета давно потеряна.

— Тебе поверили?

— Не сильно, — ответил он. — Продолжала звонить. Шины порезали. — Он рассмеялся, пожал плечами. — Я все не мог понять, с чего это вдруг они разволновались. Ну — фотография: старуха с каким-то хмырем на вернисаже. Ну и что? Я не знаю, кто он такой, где его искать...

— Ты же мог пойти в милицию, — сказала она. — С этой фотографией. Видимо, они боялись...

— И что бы я сказал в милиции? — поинтересовался он. — Что была коллекция картин, но я о ней молчал? Что была фотография убийцы, но я ее утаил? При том, что Эмму Марковну сбили на моей машине, открытой моими же ключами. Что бы подумал следователь, а?

Она кивнула:

— Да, ты прав... — И, помолчав, спросила: — Тогда чего же они боялись?

— Скандала, — ответил он.

Она удивленно смотрела на него:

— Какого скандала?

— Я сам случайно врубился... Работал ящик, — он кивнул на телевизор, — какая-то передача... фиг ее знает — «прямой микрофон», или там, «открытый эфир» — неваж-

но... Сидят за столом кандидаты в депутаты. А среди них — он.

Она выпрямилась, проговорила медленно:

— Нет... не может быть.

— Он, — повторил он. — Предлагалось звонить в студию, задавать вопросы... Я позвонил. Присил передать привет от бабушки, Эммы Марковны.

— Ему передали? — глухо спросила она.

— Видимо, — отозвался он. — Если вечером мне отключили телефон. И к дверям приставили часового...

Она подтянула колени, уткнулась в них лбом и — словно оцепенела.

— Вот тогда я все понял, — продолжал он. — Я могу ему помешать. Доказать ничего не докажу, но скандал будет. А это смерть для чувака, которому приспичило в депутатский корпус. Уж не знаю, что его там интересует: депутатская неприкосновенность или власть... И знать не хочу.

Он посмотрел на нее. Она сидела, сжавшись в комок, сцепленные на коленях пальцы подрагивали.

— Чем ты так потрясена? — мрачно спросил он. — Ты думала, в депутаты баллотируются ангелы? И потом летают над страной, хлопая мандатами?..

— Перестань, — попросила она.

— Это ты перестань! — приказал он. — Не смей дрожать. Какого черта?! Пусть он дрожит. Всю жизнь. Пусть ищет кассету, землю роет! Не найдет. Даже если меня прикончит, как Эмму Марковну... Ну! — прикрикнул он. — Слышишь меня?!

Она кивнула. Потом подняла голову, сказала умоляюще:

— Покажи мне его... Пожалуйста... Он же есть у тебя на кассете...

Помолчав, он сказал:

— О'кей. Сиди здесь. Я позову. — И вышел из комнаты.

Посидев с минуту неподвижно, она поднялась. И пошла следом за ним.

Он стоял в ванной на табурете, осторожно вынимал из вентиляционного отверстия забинтованную фотокассету.

Прежде чем прыгнуть на пол, вдруг обернулся. И увидел ее напротив двери в ванную.

— Я не подглядываю, — жалобно сказала она. — Мне просто страшно там одной...

Он молчал.

— Ты что? — спросила она.

— Ничего, — сказал он и прыгнул на пол. Вошел в мастерскую, на ходу разматывая бинт, в который была завернута кассета.

Пока она возилась с раствором, он вставил пленку в увеличитель. Включил его. Через несколько секунд выключил. Спросил:

— Готово?

— Да.

Уложил лист в пластмассовый тазик, и оба

склонились над столом. Ждали.

— Ну же... ну... — бормотал он. — Эмма Марковна... где вы там?.. Покажитесь!

На листе начало проступать изображение. Сначала одни силуэты, потом — яснее — Эмма Марковна и вполоборота рядом с нею — кто-то...

И тут, в эту самую секунду, в квартире погас свет. В крошечной тьме что-то скрипнуло. Она дико завизжала — так, словно увидела привидение.

— Не ори! — крикнул он.

Визг резко оборвался. Теперь была полная тишина. И полная темнота.

— Эй! — позвал он. — Не бойся, ради Бога. Это турки... Я забыл тебе сказать: в конце смены они вырубают электричество. Сейчас... У меня тут свеча и спички...

Раздался шорох, шуршание, чиркнула спичка.

— Сломалась, зараза. Сейчас... потерпи. Снова чиркнула спичка и загорелась, на сей раз дала жизнь язычку свечного пламени. Мастерская кое-как осветилась.

Он, держа подсвечник в руке, огляделся. Ее не было.

— Эй! — сказал он. — Где ты?.. В обморок что ли свалилась?

Но ее не было и на полу.

Он вышел в коридор — здесь тоже было пусто.

— Послушай, — обратился он к темноте, — ты лучше отзовись, не валяй дурака... прошу тебя...

Но темнота не отвечала.

На всякий случай он поднес свечку к входной двери — баррикады были на месте.

Прикрыв пламя ладонью, бросился назад в мастерскую... В увеличителе не было пленки, и тазик оказался пуст...

Он замер, прислушиваясь. Какие-то звуки доносились из комнаты. Он бросился туда.

Ее силуэт был четко виден на фоне окна, освещенного тусклым уличным фонарем. Она стояла на подоконнике и пыталась открыть форточку — с внутренней она справилась, но наружная никак не давалась ей.

— Не двигайся, — приказал он. — Убью.

Она застыла.

Он стащил ее с подоконника, усадил прямо на пол, прижав спиной к стене.

— Дура... — проговорил он, тяжело дыша. — Форточка старая, разохлась. Понимаешь, дура? Я и сам ее с трудом...

Она прижимала к груди смятую в комок пленку и расплзшуюся фотографию.

— Надо было... стекло разбить... — ответила она, тоже задыхаясь.

Он потянул из ее рук измятую пленку, принял ее сматывать. Она шевельнулась.

— Сидеть, — приказал он.

— Прости меня!..

— Молчи, актриса... — Он спрятал пленку

в карман и процедил сквозь зубы: — Де-демона...

Она закрыла глаза.

— Молись, пока не поздно. На ночь. Ну? — Он, прищурившись, с ненавистью смотрел на нее. — Читай «Отче наш». Умеешь?

Она молчала.

— Я не шучу! — почти прорычал он. — Читай!

Ее лицо было мокрым от слез. Она с трудом разлепила губы.

— Отче наш... — невнятно прошептала она. — Послушай...

— Читай!!!

Она перевела дыхание и выговорила мокрыми вспухшими губами:

— Это я... я... все сделала я... Этот человек — я его знаю... он мой... он мой лю...

— Понял, — оборвал он ее.

— Я рассказывала ему об Эмме Марковне... обо всем. И ключи... господи, теперь я понимаю...

Великолепная бежевая «восьмерка» мчалась по Загородному шоссе.

— А кто у нас Маша-растеряша? — спросил автомобилист.

— Я? — догадалась она.

Он достал из кармана связку ключей, позвенел ими, как колокольчиком.

— Ой, — обрадовалась она. — А я искала, искала... — и протянула руку.

Он опустил ключи на ее ладонь:

— Под сиденьем нашел... Из сумки выпали, наверное...

Она подкинула связку, поймала и, сжав ее в руке, запричитала голосом Эммы Марковны:

— О мои ключи! Мои ключи! На кого ви меня оставили?!

Автомобилист засмеялся, не отрывая глаз от дороги.

— Bravo, — сказал он и поднялся. — Сегодня ты была на высоте.

Подобрал подсвечник с пола, поставил его на журнальный столик.

— Миллион алых роз тебе за удачно сыгранную роль...

— Я не играла, — тихо возразила она.

Он хмыкнул:

— И пришла совершенно случайно!..

— Нет, — она покачала головой. — Пришла, потому что он попросил... Он сказал, что ты не хочешь выезжать, последний остался в доме, забаррикадировался и сидишь... Сказал, что надо по-человечески... без милиции и топора...

— Гуманист! — воскхитился он.

Она продолжала, стараясь не реагировать на его замечания:

— Он попросил меня помочь... раз уж так

все совпало. Прийти к тебе, как будто случайно...

— Накормить маминым заказом! — встал он. — Мило!

— ...как будто случайно, потому что ты упрям. А им надо спешить — дом уже выкуплен за валюту какой-то фирмой...

— А, так ты пришла из любви к валюте! — перебил он.

Она исподлобья, прищурившись, словно от боли, взглянула на него.

— Я пришла, — глухо сказала она, — потому что мне хотелось прийти. Все это время... но я... не могла решиться...

Он, кивнув насмешливо головой, сел на пол у противоположной стены под бачочками и, подперев щеки ладонями, стал слушать ее с преувеличенным интересом.

— А тут появился повод, и я подумала: вот судьба...

За окном поскрипывал фонарь. Они сидели в колеблющемся полумраке, смотрели друг на друга и молчали.

Она и автомобилист сидели в великолепной «восьмерке». Молчали, не глядя друг на друга.

За стеклом в сгущавшихся сумерках был виден дом с единственным освещенным окном.

— ...хочу обойтись без скандала, — проговорил автомобилист, продолжая разговор. — Обвинят потом в применении силы, — он улыбнулся, — в посягательстве на суверенитет квартиры, не дай Бог.

Она кивнула.

— Поэтому я прошу тебя помочь. Если, конечно, не трудно.

— Не трудно, — отозвалась она. — Но вдруг он меня прогонит?

— Не прогонит.

— Или, предположим, он там не один?

— Один, — ответил автомобилист и сжал ее руку. — Это я знаю точно.

Она взглянула на освещенное окно. Помолчала. И, легко вздохнув, сказала:

— Хорошо, я попробую...

Она открыла дверцу, вышла сначала сама, а потом потянула с сиденья тяжелую сумку.

Автомобилист оживился и даже засуетился, помогая ей.

— Тебе не тяжело? — спросил он, перегнувшись через сиденье и снизу, почти растерянно, заглядывая ей в лицо.

— Ничего, — ответила она. — Донесу.

— Послушай... Подожди, — он придержал ее за руку. — Я хотел спросить, мне интересно... Помнишь, в наш первый вечер, тогда в мастерской, ты кому-то звонила... Ему? Она сжала ремень сумки.

— Да, — выдохнула она.

Автомобилист отпустил ее руку.

— Обидно, — заметил он.

Он увидел, как сумка сползла с сиденья. Она перекинула ремень через плечо.

Прежде чем дверца захлопнулась, он сказал:

— Заранее спасибо тебе за помощь.

Она пошла по переулку вдоль дома. Остановилась возле огромного щита.

Все это автомобилист видел сквозь стекло своей «восьмерки».

Она шевельнулась, сжала ладонями голову, пробормотала:

— Я ничего не знала, ни-че-го... Я просто рассказывала ему...

— Зачем? — спросил он.

Она подняла голову.

— О чем еще могу я рассказывать?... — спросила она с усмешкой. — Что еще смешного, кроме Эммы Марковны?.. Что еще было в жизни?

Он молчал.

— Единственная роль, которая мне удалась. Эмма Марковна.

— Это триумф, — отозвался он.

Они сидели, как два усталых путника на привале. Закрыв глаза, она качала головой в такт тоскливому скрипу.

— Душно, — прошептала она. — Как душно...

— Эй! — вдруг позвал он.

Она открыла глаза.

— Лови! — и кинул ей что-то.

Она поймала, разжала ладонь и увидела кассету с пленкой. Вопросительно посмотрела на него.

— На сей раз он все правильно рассчитал, — сказал он. — Иди на воздух, — и помачал ей рукой.

Она медленно покачала головой.

— Иди, я сказал. Ну?!

Она поднялась, сжав пленку в ладони. Улыбнулась ему.

Легко взобралась на подоконник, потянула форточку.

— Помоги, — попросила она.

— Сама, — отозвался он и отвернулся.

— Ладно, — выговорила она решительно.

Подхватив валяющуюся на подоконнике пустую бутылку, неумело тюкнула ею по стеклу форточки. Еще раз. Еще — сильнее.

Стекло со звоном посыпалось на улицу. Она видела, как «часовой» отошел в сторону, внимательно глядя на окно.

— Ку-ку! — крикнула она «часовому» и щелчком выкинула пленку.

Тот подобрал кассету, сунул ее в карман.

Она прыгнула на пол. Прижавшись спиной к стене, осторожно заглядывала в окно. «Часовой» сделал несколько шагов и исчез из поля зрения. Спустя секунду хлопнула автомобильная дверца.

— Слышишь? — спросила она.

Он не ответил, хотя, конечно, слышал, как завелся автомобиль, хрипло заревел, трогаясь с места.

Она улыбалась в полутьме:

— Все. Уехали. Вставай,— и протянула ему руку.— Скорее.

Она заставила его подняться.

— Уходим! Ну же! — и показала ему ладонь, на которой лежала кассета.— Вот твоя... пленка... Я сбросила им бабочек!

Он молчал.

— Бабочек жалко, да? — улыбнулась она.— Их столько, господи... нашелкаешь еще...

Он сжал ладонями ее голову, внимательно глядя ей в глаза.

— Теперь ты мне веришь? — прошептала она.— Простишь? Не прогонишь меня?..

Он устало, почти обреченно прижался лбом к ее лбу. Они стояли в полутьме обнявшись.

— Бог есть? — тихо спросил он.

— Есть.

— Если есть,— сказал он,— то мы выйдем отсюда живыми и не расстанемся больше.

— Вот увидишь,— отозвалась она.— Пойдем быстрее. Пока они не поняли что к чему...

— Одевайся. Я открою дверь.

Он исчез в черном проеме двери.

Она оделась. Подхватила свечу, вышла за ним в коридор.

Он бесшумно и ловко разбросал баррикады. Прислушался. На лестнице было тихо.

Придерживая дверь, чтобы не скрипела, он рывком открыл ее. Выдохнул почти бесшумно:

— Задуй свечу.

Она сжала пальцами фитиль. И все — коридор и лестничная площадка — погрузилось в темноту. Впрочем, довольно быстро глаза привыкли к ней, и стали различимы перила, сетка лифта, ступени.

Он закрыл дверь. Взяв ее за руки, осторожно нащупал первую ступеньку.

Так, на ощупь, придерживая друг друга, они преодолели лестничный марш. Остановились перевести дыхание.

— Страшновато,— шепнула она.

Он сжал ее руку и повел дальше.

Когда они были уже на последней ступеньке, наверху вдруг что-то скрипнуло. Они замерли... Напряженно вслушивались в тишину...

Опять скрипнуло, раздался шорох, как-то тень мелькнула у их ног и, мякнув, шархнула в сторону.

Он обнял ее, заставив прижаться лицом к своей груди. Она с трудом удержала крик и теперь сбивчиво, почти истерически дышала.

— Тихо, тихо,— шептал он, поглаживая ее по голове.— Никого нет...

Он потянул ее вниз — к выходу из подъезда.

Взялся за ручку, пытаюсь и эту дверь открыть бесшумно, но ей, видимо, на роду было написано скрипеть — хрипло и натужно.

Оба сморщились, как будто от этого дверной скрип мог стать тише. Постояли секунду на пороге.

Перед ними была чугунная оградка, фонарь под жестяным колпаком — та самая часть двора, которая прежде выдвинулась им только через окно и казалась недостижимой. Здесь было совершенно пусто. И тихо, если не считать фонарного скрипа.

Они миновали двор.

Сквозь гулкую арку вышли в переулочек.

— Никого? — прошептала она.

— Кажется... — отозвался он.— Кажется, никого...

Постепенно ускоряя шаг, они шли вдоль мертвого дома — навстречу улице, которая, может быть, и не была оживленной в этот поздний час, но уж мертвой быть никак не могла...

Они почти достигли строительных лесов, как вдруг что-то грохнуло. Дважды.

Они замерли. Стояли, не двигаясь. Оцепенев.

Он медленно поднял голову и увидел... качающийся край доски на лесах.

— Доска упала,— сказал он.

— О господи... — простонала она.— Как я испугалась... Бежим!

Взявшись за руки, они помчались вперед — по переулку, который вдруг преобразился: повалил снег, и стало на удивление светло, словно где-то наверху, задрапированный ночным небом, зажегся ослепительный свет...

— Это не снег! — крикнула она.— Смотри! Бабочки!!!

И действительно — оживший, трепещущий переулочек был полон разноцветных бабочек.

Они бежали все дальше и дальше. И не видели — не могли видеть, — что позади, под строительными лесами, на том самом месте, где двойной грохот заставил их остановиться, там проступали, как на фотобумаге, очертания двоих упавших навзничь людей... Они лежали на асфальте, так и не разжав рук... Это были он и она.

Слава Богу, они не видели этого и продолжали бежать по переулку.

— Мы живы? — спросила она на бегу.

И он ответил, счастливо улыбаясь:

— В жизни не был таким живым!..

Бабочки присаживались на деревья, на асфальт и, помедлив секунду, взмахнув дрогнувшими крылышками, взмывали вверх и устремлялись за двумя фигурами, убегающими прочь от мертвого дома.





**Роза  
ХУСНУТДИНОВА**

## **ЖЕНЩИНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ**

Летний теплый вечер. Стая облаков проплывает над железнодорожным полотном, по которому движется поезд, над зеленым массивом леса, тянущегося по обе стороны от рельсов, над бревенчатыми домами деревень, над ручьями, лугами, пригорками, над серебристым туловищем трубопровода, то взбирающегося на холм, то спускающегося в ложину, и снова — леса, поля, рощи, поезд медленно приближается к красному кирпичному зданию вокзала, а облака плывут дальше, над черными трубами завода за вокзалом, над коробками зданий стандартной постройки, над главной улицей города с чахлыми деревьями вдоль тротуаров, над прямоугольными уютными дворами, со старушками у подъездов, с песочными ящиками и железными перекладинами для выбивания ковров, с женщинами, прогуливающимися с детскими колясками, с мужчинами, играющими в домино или чинящими мотоциклы. Вдруг два облачка отделяются от остальных, спускаются вниз и в дальнем, скрытом деревьями углу двора на пустой скамейке возникают мужчина и женщина. Слышится шорох, треск, похожие на звуки настраиваемого музыкального инструмента, затем — человеческие голоса.

— У тебя должно быть два глаза, — говорит мужчина. — И пять пальцев на руке. У женщины на лице светятся три глаза, и, поправляя волосы ладошкой из шести пальцев, она мгновенно меняется. Теперь у нее — два глаза и пять пальцев на руке.

— И платье не то, — говорит мужчина. Женщина, одетая в отливающее перламутром платье, оглядывается на сидящих неподалеку обитательниц двора и оказывается

одетой в ситцевый халат прямого покроя. Мужчина одет в клетчатую безрукавку и темные брюки. Не очень отличается от доминошников, играющих неподалеку. На вид ему лет тридцать, женщине — двадцать пять. Назовем ее Эл, а мужчину — Фил.

Возле ближайшего подъезда ругаются две женщины — дворничиха с метлой в руке и старуха, выбивающая палкой ветхую ковровую дорожку.

— Грымза ты старая!

— А ты сеledка копченая!

— Колбаса ливерная!

— А ты — дура!

— Почему они так ведут себя? — шепотом спрашивает Эл.

— Неудовлетворенность жизнью, недостаток питания, болезни, которые они не умеют лечить, — отвечает Фил.

Ссорящиеся, обругав друг друга напоследок еще более язвительно, расходятся по разным подъездам.

Внимание Эл привлекает мальчик лет четырех, строящий в песочном ящике крепость с башенками.

— Какое голубое сияние исходит от этого малыша! У него изумительные способности. Будущий гений! — говорит она.

К мальчику идет от подъезда женщина, одетая неряшливо, с угрюмым лицом. Дергает мальчика за плечо:

— Анвар, оглох, что ли? Зову, зову!

Ведет его к подъезду.

**Анвар (оглядываясь).** Мам, смотри, какой домик я выстроил!

**Женщина (раздраженно).** И брюки запачкал! Что я тебе — каждый месяц буду брюки

покупать! У меня что — лишние деньги есть?

**Фил** (глядя мальчику вслед). А может, и не станет гением!..

На балконе пятиэтажного дома стоит девушка лет 22. У нее коротко стриженные волосы, глаза с восточным разрезом, в лице что-то мечтательное. Она смотрит на небо, на розовые вечерние облака, тихонько напевает.

Из комнаты на балкон выходит мужчина, в майке, брюках.

— Что за мелодия, Дина? Ты ее раньше не пела...

— Это колыбельная. Ее пела моя бабушка.

— А почему ты вспомнила ее?

**Дина** (помедлив, шепотом). Кажется, у нас будет ребенок...

Мужчина целует ее, уводит в комнату.

**Эл.** Мне кажется, я на нее похожа...

**Фил.** Не забывай, у тебя может быть миллион обликов, а у нее только один.

— О чем она пела?

— Колыбельная... Женщины поют ее маленьким детям.

— Хочу еще раз взглянуть на нее!

Мужчина и женщина исчезают со скамейки, зато появляются две бабочки, которые летят к балкону и присаживаются на перила. Отсюда видна внутренность комнаты: тахта, книжные полки, круглый стол, кресло, золотистые занавеси на окнах.

Дина с задумчивым видом сидит на тахте.

— Бабушку Фатьму я помню... А вот прабабушку и тех, кто был до нее, не знаю совсем... А так бы хотелось представить, какие они были!

Одна из бабочек затрепетала крылышками, слышится тихий голос Эл:

— Я дам ей их увидеть!

— Ты не должна... — возражает Фил.

— Я покажу ей только ее прабабушку! — настаивает Эл.

Дина смотрит перед собой, видит всадницу в богатой шубе, в лисьей шапочке, едущую по зимнему снежному лесу...

Смуглую красавицу в ярком шелковом платье, в камзоле, обшитом серебряными монетами, вытягивающую из колодца ведро с водой. Позади женщины — зимний пейзаж, двор, просторный дом из бревен, у крыльца — лошадь, запряженная в сани...

Видит женщину в воинских доспехах, сбрасывающую со стен крепости камни на голову чужеземному воину...

Женщину возле юрты, сбивающую в кожаном мешке кумыс, напевающую степную протяжную песню...

Женщину в грубом платье с глиняными бусами, стоящую у могильного камня, шепчущую слова молитвы.

Дина в комнате оборачивается к мужу:

— А я только что прабабушек видела...

**Муж** (ласково). Ах ты выдумщица моя!

Снова склоняется над чертежами, продолжает работать...

Бабочки отлетают от балкона, летя дальше. Пролетают мимо задымленных улиц, пустырей, заводских свалок. Ни одного примечательного здания, всюду — однообразно унылые коробки домов и очень мало деревьев.

На перекрестке два шатающихся прохожих чуть не попадают под мчащийся грузовик. Водитель, высувшись из кабины, выкрикивает проклятия.

Прохожие отвечают тем же.

— Они чуть не погибли! — слышится голос Эл. — Почему они так неосторожны?

— Они приняли внутрь вещество, которое называется алкоголь. Парализует разум.

Возле одного из зданий бабочки задерживаются.

— Какой тяжелый сон у жителей этого дома! — восклицает Эл.

Стены дома на миг становятся прозрачными, видны спящие в квартирах люди, стонущие, вздыхающие, ворочающиеся из стороны в сторону.

— Материал, из которого сделан дом, не пропускает воздуха. Раньше строили жилье из глины, дерева — легче дышалось! — объясняет Фил.

— Значит, они стали менее разумными? — спрашивает Эл.

— Это мы и должны выяснить... Давай взглянем на другую сторону планеты!

Два облачка стремительно взлетают вверх, уносятся вдаль. Путь их лежит на Запад. Внизу — Земля, ночная, таинственная, провалы темноты, зарева красные, желтые, фиолетовые — над городами гирлянды огней, потом возникает океан: свежие порывы ветра, вздымающиеся волны, одинокие лодки, катера, гигантские современные корабли, рассекающие волны...

Вот облачко, что поменьше, — это Эл — подлетает к вахтенному матросу, стоящему на палубе пассажирского теплохода, струится, играет перед ним силуэтом светящейся женщины, исчезает за кормой. Матрос, перекрестившись, крепче сцепляется в поручни палубы.

Облачка летят дальше. Нагоняют пассажирский самолет. Эл заглядывает в иллюминатор, все пассажиры спят, лишь один мальчик играет. Внезапно видит в окне лицо женщины, с любопытством взирающей на него. Мальчик показывает язык. Женщина отвечает тем же. Мальчик смеется. Женщина за окном исчезает.

Два облачка летят дальше.

— Ты все время вступаешь с ними в контакт! — слышится голос Фила.

— Но ведь мы хотим их понять! — отвечает Эл. — Как же это сделать, не вступая в контакты?

Летят навстречу светлеющему небу.

— Смотри, здесь еще день! — восклицает Эл.

Эл и Фил летят над североамериканским континентом. Территория США. По пустынному шоссе мчится лимузин, то резко увеличивая скорость, то снижая ее.

Облачка летят рядом с машиной, в которой элегантно одетая молодая женщина с длинными светлыми волосами ссорится с ведущим автомобилем мужчиной в смокинге, с ровным пробором в лакированных волосах. Женщина то колошматит мужчину, то швыряет в него сумочкой, то вырывает руль.

Наконец мужчина, потеряв терпение, останавливает машину, вылезает из нее, и, еле сдерживаясь, говорит:

— Чего ты хочешь, Кэт?

Женщина (*выйдя из машины*). Я не хочу ехать на прием к мистеру Джексону!

— Хорошо, — кивает мужчина. — Что еще?

— Я не хочу ехать на уик-энд на Таити!

— К черту Таити! Что еще?

Женщина опускает голову и говорит шепотом:

— Я хочу, чтобы мы наконец завели детей и сидели дома!

Мужчина изумленно смотрит на нее, затем гибает машину, обнимает женщину:

— Дорогая, почему же ты раньше мне этого не говорила?

Два облачка летят над шоссе, оставляя за собой целующуюся пару.

— Кажется, здесь живут лучше! — констатирует Фил. — Но чувства примерно те же! Видимо, и у этой пары скоро будет ребенок!

— Хочу увидеть детенышей этих женщин! — говорит Эл.

— Они родятся лишь через несколько месяцев. Что мы будем здесь делать? — возражает Фил.

— Займемся музыкой! Ведь у нас ее нет! О какие божественные звуки!

В это время они пролетают над чистеньким и уютным городком, где на центральной площади перед слушателями выступает симфонический оркестр.

— Это восхитительно! — слышится голос Эл.

Через мгновение на одной из скамеек, поставленных для слушателей, возникают Эл и Фил.

— Не тот наряд! — шепчет Фил.

Эл, одетая в ситцевый халат, мгновенно меняет его на шелковую блузку и элегантную юбку. Внимание Эл привлекает девушка в оркестре, исполняющая партию первой скрипки.

— Как она играет! — шепчет Эл. — Я бы тоже так хотела!

Фил предостерегающе поднимает руку, но Эл уже нет рядом с ним. Она теперь на сцене. В руках у нее — скрипка, и она повторяет вслед за музыкантшей ее партию, на такт позже, на полтакта, теперь — синхронно. Скрипачка с изумлением оборачивается. Дирижер тоже с удивлением смотрит на новенькую в его оркестре, но прервать концерт не решается. Заключительные аккорды. Концерт окончен. Аплодисменты. Скрипачка с гневом оборачивается, чтобы обрушиться на самозванку, но той уже нет.

Два облачка летят в небе, оставляя позади маленький городок.

— Что за выходки! — выговаривает Фил. — Ты становишься легкомысленной!

— Оказывается, приятно быть несовершенной!.. — весело отвечает Эл. — Но ты видел, я все-таки научилась играть на скрипке!

Внезапный шквальный ветер налетает на них и несет обратно, в сторону океана. Вот они попадают в полосу тяжелых серых облаков, движущихся быстро на Восток.

— Эл, где ты? — встревоженно спрашивает Фил.

— Я здесь, меня уносит! — отвечает Эл.

Летят над океаном, рев и свист ветра усиливается, но сквозь этот шум прорывается мелодичный голос Эл, напевающей партию из скрипичного концерта.

Так же внезапно ветер оставляет их. Под ними — синяя сверкающая водная гладь, гористая местность, темные скалы. Виден маленький самолет, взлетевший с аэродрома в горах.

— У этого самолета груз, обладающий взрывной силой! — говорит Фил. — Куда он летит?

Следуют за самолетом.

Вот самолет долетает до городка, расположенного вдоль извилистой реки, внезапно начинает сбрасывать груз.

Бомбы одна за другой вылетают из самолета, падают вниз и разрываются прямо на улицах и площадях городах. Видны рушащиеся здания, искоренные машины, разбегающиеся люди, неподвижные тела убитых на мостовых.

С земли выстреливают ракетой, и самолет взрывается в воздухе. Горящие обломки его падают на город.

Два облачка неподвижно висят в воздухе.

— Почему они делают это? — слышится растерянный голос Эл.

— Это называется «война». Военные действия. На планете еще несколько таких точек! — отвечает Фил.

— Значит, они неразумны? Жаль! Планета так красива! Давай полетим туда, где людей нет!

Теплый оранжевый шар солнца спускается к краю песчаной пустыни. пейзаж кажется безжизненным. Лишь в одном месте Эл и Фил

замечают группу деревьев, возле которых, как гряда тяжелых камней, лежат неподвижно верблюды. И снуют маленькие стройные люди в юбочках и набедренных повязках из яркой ткани.

— Это туареги, кочующее племя,— поясняет Фил.

— Откуда ты знаешь?

— Я же приготовился к путешествию в отличие от тебя!

— У этих людей нет домов?

— Да, они спят прямо на земле.

Быстро темнеет, и на стоянке все затихает. Слабый свет луны скользит по выюкам, сваленным на песке, по лицам людей, уснувших рядом с животными, лишь один очень старый верблюд никак не может успокоиться, медленно поворачивает голову влево и право, прислушиваясь к ночной темноте...

Вдруг с краю стоянки поднимается гибкая стройная фигурка — молодая девушка, позвякивая браслетами, направляется к колодцу. С другого конца стоянки поднимается юноша и направляется к девушке. Вот они встретились, протянули друг другу руки, обнялись.

— Они прелестны! — шепчет Эл.

Легкий шорох чьих-то шагов заставляет Эл и Фила посмотреть в другую сторону.

Огромная львица с сумрачными светящимися глазами медленно приближается к колодцу. Вот остановилась, глядя на целующуюся парочку, повернулась и пошла прочь.

Под лапами львицы звякнул камешек, и юноша встрепенулся. Увидел львицу, выхватил копые, приготовился бросить, но помедлил и — вложил копые обратно. Снова повернулся к девушке.

Два легких облачка плывут над песками, погоняют львицу. Вот она подошла к зарослям кустарника, растущего у подножия холма, зашуршала сухими ветками, улеглась в углубление, рядом со своим львенком.

— Почему она не напала на людей? — спрашивает Эл. — И почему юноша не бросил копые?

— Здесь, видимо, существует равновесие между людьми и животными. Если опасность невелика, они не нападают друг на друга.

— Мне нравится здесь,— говорит Эл. — Останемся!

Одна из стоянок племени в более зеленой местности. Два облачка проплывают над старой туарегской женщиной, которая, перетирая на камнях травы и корни, рассказывает малышу, играющему рядом:

— Жила газель, быстрая как ветер... Были у нее рожки — из чистого золота!

Вдруг перед женщиной действительно появляется газель с блестящими золотыми рожками...

Малыш радостно смеется.

— Эл, что ты делаешь? — слышится голос Фила.

— Должен же малыш увидеть сказку! — отвечает Эл.

Туарегская женщина несколько секунд с изумлением смотрит на чудесное животное, затем вскрикивает и громко зовет соплеменников. Люди бегут к женщине. Газель исчезает.

Два облачка летят над песками, оставляя позади стоянку туарегов.

— Никаких контактов! Только наблюдение! — слышится голос Фила. — Ты все время забываешь об этом!

— Куда мы сейчас летим? — виновато спрашивает Эл.

— Туда, где людей нет. В Тропическую Африку. Там богатая флора, исследуем ее.

— Все же я думаю, самое интересное здесь — люди! Я бы хотела увидеть ту женщину, которая похожа на меня!

Фил несколько секунд молчит, потом говорит:

— Во-первых, ты на нее не похожа, а во-вторых...

— Хочу увидеть Дину! Ведь так ее звали? И она пела вот так!

Эл напевает колыбельную Дины.

Два облачка летят над Восточно-Европейской равниной. Приближаются к отрогам Уральского хребта. Двигутся над рельсами железной дороги, над лесом, лугом, холмами, вот знакомое кирпичное здание вокзала, за ним должен начинаться город, но его не видать. Тяжелое плотное облако накрыло город; дома, улицы, площади, дворы утонули в нем.

— Где ее дом? Как мы ее найдем? — тревожится Эл.

— Я помню ее координаты! — отвечает Фил.

Два светлых облачка врезаются в дымное, с оттенком желтизны пространство, движутся сквозь него. Вот перед ними перила знакомого балкона, дверь и форточка плотно закрыты.

Облачка подлетают к стене дома, «проходят» сквозь нее, повисают двумя бабочками на золотистых занавесях комнаты Дины.

Дина лежит на тахте, лицо у нее бледное и осунувшееся. Рядом с ней — врач в белом халате и муж с встревоженным лицом.

Муж (врачу). Ей все хуже!

Врач (вздыхнув). Вы же знаете, позавчера в городе опять был большой выброс какой-то гадости, очень много таких больных.

— Но она в положении! Сделайте что-нибудь! — говорит в отчаянии муж.

— Давайте ей это! — протягивает врач ре-

цепт.— А еще лучше: вывезите ее отсюда!  
Одевшись, уходит.

**Муж** (*садится рядом с Диной*). Дина, хочешь, поедem к маме?

Дина не отвечает, не открывает глаз.

— Нет, не могу на это смотреть,— слышится голос Эл.— Ей нечем дышать! Включаю систему очистки воздуха!

— Нет, ты не можешь этого сделать! Мы не можем применить того, чего не умеют делать сами люди! — возражает Фил.

— Хорошо, тогда я устрою ветер! Хотя это я могу?

В тот же миг сильный ветер распахивает балконную дверь. Мимо проносится сорванное с веревок белье, газеты, шляпы, мелкий мусор.

Дина поднимается, подходит к двери.

Внизу во дворе дворничиха бежит за метлой, улетающей от нее. На балкон выскакивает Анвар, радостно кричит, но выбежавшая за ним мать, шлепнув, уводит его обратно в квартиру.

**Муж Дины**. Ну что, Дина, лучше?

Дина (*кивает*). Да, сразу стало легче дышать! Но какой унылый двор! Оказаться бы сейчас в нашем городе!

Дина приподнимается над балконом, будто вот-вот взлетит, медленно опускается.

Стоит, глядя перед собой. Ей видится, что она действительно взлетела, и в своем желтом стеганом халате, в носках, в пуховом платке, накинутом на плечи, несется по воздуху, над задымленным городом, над осенними лесами, над черными опустевшими полями, над отливающими холодным блеском озерами. Вот перед Диной возникает деревянный мост через широкую реку, высокий обрывистый берег, парк на берегу, столетние липы, дубы, скамейка на обрыве...

Отсюда начинается старинная часть города с каменными и деревянными домами, с белой мечетью, с аллеями и скверами...

Дина садится на скамейку, смотрит перед собой на величественную панораму реки, открывающуюся отсюда. Мимо нее пролетает птица.

**Муж Дины** (*стоя на балконе, привлекает ее к себе*). Мне показалось, что ты вот-вот улетишь!

Обняв, уводит Дину в комнату.

Две бабочки остаются на перилах балкона.

Слышится голос Эл:

— Почему ты не дал мне перенести ее в другой город?

**Фил**. Потому что люди не умеют летать.

Эл. Но, может, раньше они летали? Ты же сам говорил, что раньше они были сильнее, крепче, лучше слышали, видели, могли увидеть прошлое и будущее!

**Фил**. Да, так написано в их книгах! Но сейчас мы этого не видим!.. Сейчас люди — слабые существа... Посмотри, какой город они

для себя построили! Разве здесь можно жить? Эл. Но есть и другие города!

**Панорама Сан-Франциско**. По сорокакилометровому мосту движется поток машин. Небоскребы в центре города напоминают груду драгоценных кристаллов, разбросанных по побережью.

— Видишь, какой мост! Это очень высокий технический уровень! — слышится голос Эл.— И дома по двадцать этажей! По-моему, красиво!

**Панорама Нью-Йорка**.

— И здесь прекрасная архитектура! — слышится голос Эл.

— Но много дыма! — отвечает Фил.— И слишком много машин!

Спускаются пониже, в слабо освещенные кварталы города. Это окраина. Разрушающиеся здания, полные мусорные баки, наркоманы.

В одном из мусорных баков сидит неряшливо одетый мужчина и декламирует: «Апокалипсис! Апокалипсис! Хаос и разрушение!..» Никак не может выбраться из бака.

Проезжающая мимо патрульная машина останавливается, полицейский выходит, помогает бедняге подняться, козыряет, отходит к машине. Бродяга, продолжая декламировать, уходит своей дорогой.

Два облачка проплывают над мрачной улицей.

— У этой цивилизации слишком много отбросов! — говорит Фил.— Они завалят скоро всю планету!

**Загородный дом и сад в окрестностях Нью-Йорка**. Здесь собрались на вечеринку гости, человек двадцать, среди них — Кэт и ее муж. Женщины — в вечерних туалетах, увешаны драгоценностями, мужчины — в смокингах, фраках. Пьют виски, играют в карты, танцуют.

Меж подстриженных деревьев, как клочья тумана, проплывают два облачка.

Кэт опять ссорится со своим мужем. Он пытается отнять у нее бокал со спиртным, она сопротивляется.

**Муж**. Кэт, довольно, ты достаточно выпила!  
**Кэт**. А если мне здесь мерзко?!

**Муж**. Кэт, дорогая, подумай о нашем беби!

— Ему лучше вообще не родиться! — взрывается Кэт.— Чем ходить в гости к таким людям! — С презрением смотрит на грузного мужчину с неподвижным лицом, сидящего в кресле.

— Тише, Кэт! — урезонивает муж.— Не забывай, он мой компаньон!

— Ненавижу его! — говорит Кэт.— Ненавижу его дом, его сад, его бассейн! Не хочу

купаться в его дурацком бассейне! Хочу купаться в океане!

Пошатываясь, идет к автомобилю у ворот, садится в него, уезжает.

Муж Кэт секунду стоит в растерянности, потом бежит к ближайшему автомобилю на стоянке, садится в машину, уезжает вслед за женой.

Обе машины мчатся на бешеной скорости, встречные автомобили едва успевают свернуть в сторону.

Два облачка покидают кроны роскошного сада мистера Джексона и уносятся вслед за Кэт и ее мужем.

Дорога сворачивает на побережье. Становится виден океан, величественный и спокойный.

Кэт подъезжает к берегу, выходит из машины и, раскинув руки, напевая громко: «Люби меня крепче, Майкл!» — заходит в воду, идет все дальше и дальше от берега, погружается с головой. Из подоспевшей второй машины выскакивает муж Кэт, бежит к воде, зовет жену, умоляет ее вернуться. Ныряет, так и не найдя Кэт, выходит на берег, садится на песок. В отчаянии закрывает лицо руками.

Два облачка летят над океаном, в том месте, где скрылась под водой Кэт.

— Почему ее так долго нет? — слышится голос Эл.

— Наверное, она уже утонула. Люди не умеют дышать под водой, как рыбы! — говорит Фил.

— О, я не знала об этом! Тогда скорей к ней! — слышится голос Эл.

Два облачка тут же касаются поверхности океана, превращаются в двух рыбок и плывут к Кэт, погружающейся на дно с закрытыми глазами, с бессильно опущенными руками. Рыбки подплывают к Кэт, касаются ее плавниками, и у Кэт вздрагивают ноздри, она как будто начинает дышать, вот взмахивает руками, ногами, плывет энергичнее, сильнее, открывает глаза, с удивлением разглядывает зеленый сумрачный подводный мир. Вот одна из ракушек привлекает ее внимание. Кэт протягивает руку, вытаскивает ракушку, раскрывает ее. Внутри раковины сверкает жемчужина. Обрадованная Кэт плывет вверх.

Всплывает на поверхность, плывет к берегу, кричит:

— Том! Том! Смотри, какую жемчужину я сама себе нашла!

Подбегает к мужу.

Тот с изумлением смотрит на нее:

— Кэт! Ты жива? С тобой ничего не случилось? Ты не утонула?

— Глупенький! — смеется Кэт. — Что со

мною может случиться?

Обнимаются.

Два облачка летят вдоль побережья.

— Я так переволновалась за нее! — говорит Эл. — Она действительно могла утонуть! Но видишь, она научилась дышать под водой, как рыба! Может, раньше люди жили в океане?

Фил. Может быть...

Эл. А почему она бросилась в воду?

Фил. Слишком много выпила! И ей было неуютно среди этих людей...

Эл (*требовательно*). Фил, хочу музыки! Хочу хорошей музыки!

Фил (*усмехаясь*). Ты заговорила со мной, как Кэт со своим мужем!

Эл. Но ведь мы на Земле! Я обращаюсь к тебе как женщина к мужчине! Что в этом странного? Смотри — огни! И музыка! По-моему, это кафе! Зайдем?

Приняв облик мужчины и женщины, одетых, как туристы, в джинсы и куртки, Эл и Фил входят в деревянное строение с фонариками под крышей, садятся за столик.

За соседним столиком посетитель заказывает официанту:

— Мне двойное виски и вечернюю газету!

Фил (*разглядывая мужчин, сидящих за столиками, угкнувших в газеты*). А ты заметила, Эл, здесь все изучают эти таблицы?

К их столику подходит официант:

— Что угодно?

Фил (*показывая рукой на газету*). Вот это...

Официант. Газету? Дневную? Вечернюю?

Фил (*поколебавшись*). И дневную, и вечернюю...

Официант приносит газеты, ставит на стол напитки.

Фил разворачивает газету, читает.

Эл. Ну и что это?

Фил. По-видимому, новости...

Эл. И какие же это новости?

Фил. Кругом забастовки!

Эл. Почему?

Фил. Недовольны жизнью, недовольны тем, как им платят, недовольны правительствами...

Эл. Еще?

Фил. Ну вот... в Греции сменили президента.

Эл. Это что, хорошо?

Фил. Здесь пишут, что он брал взятки. Если новый президент не будет брать взятки, наверное, это хорошо!

Эл. Я вижу, ты скоро начнешь разбираться в земной политике! (*Покачивает головой в такт музыке*). А здесь уютно! Давай поживем немножко просто так, никуда особенно не торопясь... Как путешественники...

Фил. Согласен!

Погожий осенний денек. Эл и Фил гуляют в окрестностях города. Выходят к кладбищу.

Разглядывают могильные памятники, дорожки, посыпанные чистым песком, цветы на могилах. Эл читает надписи:

— «Дорогой мамочке от Дикки», «Он был великим гражданином», «Отцу и брату», «Любимой бабушке». Фил, как думаешь, кто это?

Фил. По-видимому, умерших хоронят здесь... Сажают цветы, ставят памятники...

Эл. А у нас этого нет...

Фил. Да, этого нет...

Эл. По-моему, это красиво... Лучше, чем у нас.

Замечают на одном из холмов женщину-художницу, расположившуюся с мольбертом и красками, пишущую с натуры. Некоторое время наблюдают за ней.

Эл. Хотела бы я так же писать красками!

— Что же в этом сложного? — удивляется Фил.— Ты можешь так же положить краски на холст, в таком же порядке!

— Тогда это будет копия! — говорит Эл.— Не оригинально! Как ты не понимаешь!

Художница, закончив работу, складывает кисти и мольберт, садится в автомобильчик, съезжает с холма в город.

— Хотелось бы увидеть еще картины! — говорит Эл.— Может, в городе есть музей?

На одной из улиц Эл и Фил останавливаются перед старинным особняком со скульптурой у входа и надписью на дверях: «Картинная галерея».

Фил (*глядя на закрытые двери*). Кажется, закрыто!

Эл. Воспользуемся нашим преимуществом!

Входят во двор, подходят к дверям, «проходят» сквозь них и оказываются в одном из залов галереи.

Эл (*останавливается перед картиной старинного итальянского мастера «Мадонна с младенцем»*). Какое прекрасное лицо! Какой покой! Почему на улицах мы не видим таких лиц?

Фил. Это картина пятнадцатого века. Видимо, жизнь на Земле переменялась...

Проходят в следующий зал.

Позади них, в первом зале слышится какой-то шум.

Эл и Фил возвращаются, выглядывают.

Два парня в черных перчатках снимают со стены картину, которой любовались Эл и Фил, засовывают ее в мешок и по веревке спускают из окна. Спускаются сами, садятся в машину, уезжают.

— Видимо, это похищение! — говорит Фил.— Сейчас на Земле происходит семь похищений в секунду! Так написано в газетах. Но куда они ее увезли?

Обратившись в два облачка, следуют за машиной похитителей, которая подъезжает к respectable особняку на окраине города. Это загородный дом мистера Джексона.

Похитители выходят из машины с картиной, завернутой в мешок, нажимают на кнопку в воротах, проходят по двору, скрываются в здании. Через несколько секунд выходят оттуда без картины, садятся в машину, уезжают.

Два облачка плывут мимо распахнутых окон особняка. Возле одного из них задерживаются. Это кабинет. Мужчина в домашнем халате, с сигарой в руке сидит в кресле, разглядывает картину на стене. Ту самую, похищенную. Сидящая в другом кресле жена с измученным лицом, поглаживая кошку на коленях, говорит:

— Ты бы хоть очки надел, ты же совсем не видишь картину...

Мистер Джексон (*пыхнув сигарой*). Зачем мне ее видеть? Мне достаточно знать, что она стоит десять миллионов!

Два облачка отлетают от окон особняка. — Еще один вид человеческого безумия! — говорит Фил.— Владеть одному картиной, которой могут любоваться миллионы!

— Кэт права, что не любит этого человека! — говорит Эл.— Мне он тоже не нравится. Но давай вернемся к картинам! Кажется, из них мы больше узнаем о человеке, чем глядя вокруг...

Картинная галерея.

Эл с задумчивым видом разглядывает картину испанского художника XVI века.

— Фил, почему так много картин, где человек висит на кресте?

— Это Иисус Христос, он жил две тысячи лет назад.

— Почему его так почитают?

— Он первый сказал людям: «Не убий!», «Не укради!», «Люби ближнего как самого себя!» Важные для человека заповеди!

— Он существует?

— Люди верят, что он есть, на небесах.

— Почему же мы не видели его на небесах?

— Возможно, потому что мы существуем в другом измерении.

— А что за битва на этой картине?

— Это верующие в Христа сражаются с теми, кто верит в Мухаммеда!

— В Мухаммеда?

— Да, он появился позднее... Основал новую религию... У него тоже много последователей!

— Где их можно увидеть?

— В Саудовской Аравии, например.

Мекка в Саудовской Аравии. Знойный полдень. К мечети Харам, выстроенной вокруг святыни древних арабов Каабы, торжественно движется процессия: король Саудовской Аравии и его многочисленное се-

мейство. В руках у членов семейства — красивые шелковые метелочки, похожие на опухала. Под заунывную молитву, читаемую священнослужителем, королевское семейство входит в храм. Толпы верующих, сопровождающих шествие, падают ниц, начинают молиться.

Два облачка висят над куполом мечети Харам.

— Только король и члены его семейства имеют право наводить чистоту в этом храме, раз в год! — слышится голос Фила. — Так написано в их газетах! Таков обычай!

— Забавно.

— Забавного много и в других обычаях... Но, видимо, они нужны людям, если существуют тысячи лет...

Эл и Фил подлетают к стенам древнего Иерусалима. Храм «Гроб Господень», Стена плача, соборная мечеть Аль-Акса. По улицам идут христиане, мусульмане, туристы, священнослужители, солдаты. В одном дворе, расстелив на земле коврик, молится мусульманин. В соседнем, через ограду, молится иудей. Мусульманин повышает голос, стараясь перекричать соседа, тот делает то же самое. К ним присоединяются домочадцы. Молятся все громче. В ярости бросаются к ограде, швыряют через нее камни.

— Значит, вера не дает им мира, даже наоборот! — говорит Эл. — Не хочу смотреть на это! Полетим туда, где людей нет!

Желтые пески пустыни. Знакомое племя туарегов приближается к месту своей обычной стоянки. Вот сейчас за барханом должна появиться рошица из нескольких деревьев и колодец. Над караваном, не отставая, летят два облачка. Вождь племени, ведя на поводу головного верблюда, взбирается на холм и застывает в изумлении. Там, где раньше была рошица, теперь торчит нефтяная вышка. Неподалеку — брезентовые палатки, джип, вертолет, несколько человек, укрывшись под тентом, обедают за пластмассовым столиком. Двое смотрят переносной телевизор, передачу из Эфиопии. Рыжий верзила с автоматом за спиной ожесточенно крутит рукоятками игрального автомата. Из палатки слышится музыка — современный рок.

Кочевники тревожно переглядываются. Посовещавшись, поворачивают караван обратно. Уходят в пустыню. Замыкают шествие юноша и девушка.

Из лагеря вылетает вертолет, медленно движется над песками, вдруг снижается, слышны выстрелы.

Эл и Фил летят на звуки выстрелов. Видят лвицу со львенком, мчащихся по пескам к зарослям. Неподалеку над ними кружит вертолет. Из него стреляют.

— Ах вот как! — слышится возмущенный голос Эл.

Внезапно ураганный ветер обрушивается на вертолет, летчик едва успевает посадить машину на землю, вылезает, зарывается в песок. Его примеру следуют трое охотников с ружьями в руках.

Львица со львенком, домчавшись до зарослей, скрывается из виду.

Ветер стихает. Люди поднимают головы, видят ясное небо, удивляются, идут к вертолету. Осматривают машину. Винты сломаны, лететь на ней нельзя. Оставив покореженную машину в песках, пешком, ругаясь, направляются к лагерю.

Ночь. Эл и Фил сидят на песке неподалеку от вертолета, смотрят на звездное небо.

Эл. Знаешь, Фил, мне захотелось домой...

Фил. Мне тоже... Но мы не можем пока вернуться... наши исследования не окончены, многое здесь непонятно, Эл...

Эл. Мне тоже... Почему они все время стреляют и убивают? Разве без этого нельзя обойтись? Как у нас...

Фил. Вся историю человечества были войны и конфликты. Захват новых земель, борьба за власть, за веру... Сейчас это усилилось. Может, планета Уран на них так действует? Или открытие урана?

Над ними в небе пролетает самолет.

Фил (*глядя ему вслед*). Ну вот, опять военный и опять с бомбами.

Эл. Давай обезвредим его?

Фил. Это бессмысленно! Обезвредим один — пошлют другой! Пока у них не изменится сознание — все бесполезно, нельзя им помочь! В их сознании всегда присутствует враг, враждебные силы...

Эл (*задумчиво*). Но все-таки если женщины рожают детей, значит, они надеются, что жизнь на Земле не кончится? Хотелось бы увидеть, как у Дины и Кэт родятся дети!

Фил (*после паузы*). Этого может и не случиться...

Эл. Почему?

Фил. Потому что одна из них живет в городе, где половина жителей больны, отравлены вода и воздух... А вторая — не чувствует себя счастливой...

Эл. Но у нее изумительные способности! Ты же видел — она научилась дышать под водой, как рыба!

Фил. Тем не менее она не очень-то счастлива...

Эл. Но почему, Фил? Давай еще раз взглянем на ее город.



Одна из центральных улиц Нью-Йорка. В разноязыкой, разноликой толпе идут, взявшись за руки, Эл и Фил, одетые как «средние американцы». Разглядывают афиши театров, казино, вывески кафе, закусовых, варьете.

Эл (*указывая на афишу*). Гастроли «Ла Скала». Кажется, это лучший театр мира! Хочу послушать!

Фил читает световую рекламу на крыше небоскреба:

— «Завтра заседание ООН по Намибии». — Поворачивается к Эл: — Это мы тоже должны посмотреть!

Эл. Я думала, мы пойдем в театр!

— И в театр, и на заседание! — уточняет Фил.

Эл останавливается перед витриной, через которую видны игральные автоматы, в глубине комнаты за большим столом, обтянутым зеленым сукном, играют в рулетку. Лица у игроков напряженные.

Эл (*глядя на них*). Хочу поиграть в эту игру!

Заходят. Эл присоединяется к играющим, делает ставку. Выигрывает. Проигрывает. Опять выигрывает.

Наконец Фил уводит ее на улицу.

Фил. Почему ты проигрывала? Ведь ты знала все цифры!

Эл. Я хотела выиграть по человеческим законам! Хотела понять, что такое страсть игрока!

Идут дальше по улице. Из дверей книжного магазина выходит мужчина в длинном пальто и шляпе, с альбомом под мышкой. Увидев Эл, останавливается в восхищении, смотрит ей вслед. Затем, подбежав к уличному торговцу, покупает огромный букет белых роз, догоняет Эл и Фила, заступает им дорогу.

— Прошу прощения! Извините! Тысячу раз извините! Я не имею никакого права... Но ваше лицо!.. Такое встречается раз в жизни! Если бы жив был Рафаэль! Может быть, заглянете в мою мастерскую? Вот моя визитная карточка... В любое время! Еще раз прошу меня извинить! — протягивает Эл цветы, визитную карточку, кланяется, уходит в противоположную сторону.

Фил (*глядя на цветы*). Что он говорил? Почему он подарил тебе цветы?

Эл (*помолчав*). Мне кажется, я ему понравилась...

Фил (*удивленно*). Понравилась?

Эл. Да.

Фил. А... он тебе?

Эл. Да, он мне тоже понравился...

Фил. Как ты думаешь, он... красив? По человеческим меркам?

Эл. Да. Думаю, красив.

Фил (*внезапно хмурится*). На этой улице слишкомлюдно!

Сворачивает в переулок, увлекая за собой Эл.

Эл. А как мы проведем ночь? Повиснем как два туманных облачка на этом фонарном столбе? На всю ночь? Не хочу! Ведь как поступают люди, очутившись в чужом городе? Они идут в отель и снимают номер. Вот, кстати, и отель! Зайдем?

Фил, поколебавшись, кивает.

Входят в нарядный холл, подходят к портье.

Фил. Мы хотели бы снять номер...

Портье. На ночь?

Фил. Да.

Портье (*протягивает ключи*). Пожалуйста! Эл и Фил входят в роскошно обставленный номер.

Эл (*бросаясь в кресло, уткая в нем*). Нет, что ни говори, а у этой цивилизации есть свои достоинства!

Улица города. На фасаде здания — транспарант «Международный симпозиум». В большом зале идет заседание. Среди присутствующих — Эл и Фил, с блокнотами и фотоаппаратами, похожи на журналистов, слушающих докладчика.

Перерыв в заседании. Какой-то журналист берет интервью у докладчика.

Фил, сидящий неподалеку, удивленно качает головой.

Эл. Что ты, Фил?

Фил (*кивая на докладчика*). Он сейчас говорит совсем другое, не то, что в докладе! (*Разглядывает проходящих мимо участников симпозиума*). А этот принял алкоголь!

Эл. У этого пистолет в кармане!

Фил. А в этом столько отрицательной энергии, что вряд ли здесь договорятся о чем-нибудь...

Эл. Может, лучше пойдем в оперу?

Здание «Метрополитен-опера». Идет представление оперы Верди «Травиата». Среди слушателей — Эл и Фил в вечерних туалетах.

Виолетта заканчивает предсмертную арию. Аплодисменты.

Эл тоже хлопает. На глазах у нее слезы. Оборачивается к Филу:

— Правда, это прекрасно?

Видит, что Фил внимательно разглядывает публику.

Фил (*наклонившись к Эл*). Я тут подсчитал... На те драгоценные камешки, что собраны в этом зале (*Кивает на украшения: кольца, ожерелья, браслеты, серьги, перстни на женщинах и мужчинах, сидящих в зале.*), можно снарядить космический корабль до нашей планеты! Или накормить голодную

страну где-нибудь в Африке... Но они почему-то этого не делают...

Поздний вечер. Эл и Фил входят в свой номер в отеле.

Эл (*все еще под впечатлением от спектакля*). Ради одного того, чтобы услышать эту музыку, стоило прилететь сюда! Фил, что ты делаешь?

Фил (*включая телевизор*). Хочу услышать последние новости!

На экране политический комментатор: — Блок новостей. На ливано-израильской границе вновь идут ожесточенные бои. На тихоокеанском побережье вблизи местечка Куин наблюдается массовый выброс дельфинов. Причины явления пока неизвестны. В пустыне Сахара вблизи эфиопской границы продолжается поиск нефти компанией «Эйл-Лайн». Экспертиза на содержание фтора в атмосфере города Актау в СССР, проведенная независимой экологической группой, показала, что норма превышена в двадцать раз! А теперь — американские новости. Кэт Кросби, пассажирка самолета «Боинг-707», летевшего в Калифорнию, предотвратила взрыв самолета!

Фил. Эл, твоя подопечная!

Эл оборачивается к телевизору.

На экране — Кэт, сияющая, оживленная; комментатор, обращаясь к ней, говорит:

— Кэт, расскажите, как это произошло.

Кэт (*очень естественно*). Ну я спала в кресле, рядом с Томом...

Комментатор. Том — это ваш муж?

Кэт. Да! И вдруг слышу: тикает! Посмотрела на свои часики, на часики Тома, потом вызвала стюарда и говорю ему: «По-моему, в нашем самолете бомба». Он, конечно, побледнел. Попросил меня пройти вдоль рядов и прислушаться. И вот в багажном отделении я показала на маленький серенький чемоданчик и говорю: «Вот здесь!»

Комментатор. И что — там действительно бомба?

Кэт. Да! Чемоданчик выбросили из самолета, выстрелили по нему, и он тут же взорвался.

Комментатор. Великолепно! Сто пятьдесят пассажиров будут вам благодарны всю жизнь!

Кэт смеется.

Комментатор. А правда ли, что авиакомпания предложила вам двести тысяч долларов в год только за то, чтобы вы сидели на контрольном пункте?

Кэт. Да!

— И вы отказались?.. Почему? Вы чем-то заняты?

— Да, я жду ребенка!

— О, это прекрасно! Желаю удачи!

Комментатор пожимает руку Кэт.

Эл (*поворачиваясь к Филу*). А ты гово-

рил — она несчастная!

День. Дом Кэт и ее мужа. В нарядной гостиной, уставленной современной мебелью, сидит Кэт в шелковом халате, в домашних туфельках, листает иллюстрированный журнал.

За окном проплывают два облачка.

Входит Том, оживленный, улыбающийся, в плаще, шляпе, со свертками в руках.

— Дорогая, я купил тебе жареные каштаны, как ты просила.

Подходит к телефону, снимает трубку:

— Джексон? Я думаю, нам надо снизить цены на препарат альфа на десять процентов. Не думаете? Ну хорошо!

Отходит от телефона, садится рядом с женой.

Кэт (*задумчиво*). Но если подумать, Том... мы на самом деле могли погибнуть в этом самолете!.. Представляешь, нас сейчас бы уже не было! И мы бы умерли, так и не узнав, зачем мы жили...

Том (*пожав плечами*). Но не погибли же!

Кэт. Том, а ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

Том. Конечно! Я ехал в Морристаун... Заехал в какую-то забегаловку по дороге — страшно хотел пить. Я подошел к стойке и спросил: «Мисс, у вас есть апельсиновая вода или шипучка?» А ты ответила: «Ш-ш-шипучки нет, но есть виски и вода». Тогда в Морристауне я открыл маленькое отделение нашей фирмы...

Кэт (*задумчиво*). Видишь ли, Том... я подумала: у тебя нет родителей и у меня...

Том (*внезапно хмурясь*). Не надо об этом, Кэт!..

Кэт. Просто я вспомнила, что моя бабушка жила в Джорджии... Когда мама вышла замуж за отца и бабушка он не понравился, мама уехала из этого города, а бабушка осталась...

Том (*после паузы*). Если я правильно понял тебя, Кэт, ты хочешь, чтобы мы поехали в Джорджию искать твою бабушку?

Кэт кивает.

Том. Хорошо. Хотя я не понимаю, зачем, ведь ты ее совсем не знаешь!

Включает телевизор.

На экране комментатор рассказывает новости дня:

— Группа ученых, прибывших на побережье вблизи местечка Куин, где наблюдали массовый выброс дельфинов, установила, что вода в этом районе поражена цезием-137. Со дна океана подняли контейнеры с радиоактивными отходами. Выясняется, кому принадлежат эти контейнеры.

Кэт. Ты слышишь, Том? Какой ужас!

Том. Это далеко, Кэт, это шестьсот миль отсюда!

Кэт. Значит, в этой воде нельзя купаться? Том (*снова подходит к телефону*). Джексон, а может, снизить хотя бы на пять процентов?

Городок в штате Джорджия.

Кэт и Том сидят в небольшой чистенькой гостиной, стены которой увешаны фотографиями, картинами, гравюрами. Всюду — цветы, в вазах, горшках, корзинах.

Перед Кэт и Томом сидит на стуле старушка, хрупкая, с прямой негнувшейся спиной, со вкусом одетая, с необыкновенным достоинством в лице. Показывает на фотографию на стене, где она снята с другой улыбающейся женщиной. Старушка говорит:

— Да, Мэри была моей лучшей подругой! Ее дом был недалеко отсюда. Она была так добра! И очень переживала, что ваша мама больше не навещала ее! А розы у нее были — лучшие в городе!

Кэт. Отчего она умерла, миссис Флинч?

— Она умерла во сне, дорогая, очень легко и спокойно... Нет, она не мучилась!.. Что еще?.. Она любила музыку! Особенно Шуберта! Хотите, сыграю ее любимую вещь? — Посмотрев на Кэт, миссис Флинч добавляет: — Тем более что вы, милая, я вижу, ждете ребенка. А детей с самого начала надо приучать к хорошей музыке!

Том готов засмеяться, но Кэт бросает на него предупреждающий взгляд, и он удерживается от улыбки.

Миссис Флинч с чувством играет Шуберта. Закончив пьесу, оборачивается к Кэт:

— Еще, милая: ваша бабушка очень гордилась, что родом из Ирландии. Она всегда говорила, что Свифт и Джойс — величайшие из писателей!

По пустынному шоссе едут в машине Кэт и Том.

Кэт. Завтра же посажу в саду розы! Тысячу роз!

Том. Конечно, дорогая!

Кэт. И буду брать уроки музыки! Буду играть Шуберта!

Том. Разумеется, дорогая!

Кэт. Я не знала, что я родом из Ирландии! Том, ты читал Свифта?

Том. Ну конечно! «Гулливвер в стране великанов».

Кэт. А я не читала! Том, нам нужны книги!

Том. Но у нас есть книги — целая библиотека!

Кэт. Почему же ты раньше мне этого не говорил?

Том. Но ты не спрашивала, дорогая! А что случилось?

Кэт (*после паузы*). Том, мы богатые люди?

Том. Ну достаточно!

Кэт. Ты совладелец фирмы «Джексон и Кросби». Как это случилось?

Том. Очень просто. Семь лет назад, когда я окончил университет, мистер Джексон пригласил меня в свою фирму, ему понравились мои деловые качества, и он предложил мне стать его компаньоном...

Кэт. Что производит фирма?

Том. Кэт, ты меня удивляешь! Фирма — это сеть фармацевтических предприятий у нас и за рубежом... Но почему тебя это заинтересовало?

Кэт (*помолчав*). Просто мне пришло в голову, что я очень мало знаю о себе... о тебе... обо всем, что вокруг нас... Мир не такой, каким мне виделся вчера... Что-то со мной произошло, Том...

Ночь. Кэт и Том спят в уютной спальне. Кэт улыбается во сне.

Она видит зеленые холмы, поросшие вереском, старинный дом из серого камня, похожий на замок, корабль под парусами, плывущий к берегу.

Кэт видит себя и Тома сидящими на скамейке в саду. Кэт держит в руке книгу, читает ее.

Кэт (*просыпается, будит мужа*). Том, просыпайся!

Том. Что случилось?

Кэт. Я видела сейчас сон: замок, море, парусник... Все так ясно-ясно! Может быть, это Ирландия, где родилась моя бабушка?

Том. Ну Кэт, просто ты вспомнила что-нибудь из телевизионной программы...

Кэт. А потом я увидела, что мы с тобой сидим в саду и я тебе читаю. (*Декламирует из Томаса Мура.*)

Том (*шугливо*). Как ты все это запомнила? Я не знал, что у тебя такая память! Почему я не вижу такие интересные сны?

Кэт. О чем ты думал, засыпая, скажи?

Том. Ну я подумал, что надо уволить Фрэнка Аллана, он стал слишком напиваться... Подумал, что наш препарат, который мы продаем в Африку, слишком дорог, африканцы его мало покупают...

Кэт. А что за препарат?

— Против малярии.

— Том, а ты когда-нибудь болел малярией?

— Кэт, запомни, твой муж никогда ничем не болеет! И он был лучшим нападающим в команде нашего университета! — Обнимает Кэт. — Может, довольно распросов?

От окон спальни Тома и Кэт отлетают два облачка.

Голос Фила. Это твои проделки, Эл? Это ты дала ей увидеть Ирландию?

Эл. Она сама ее увидела! В Ирландии жила ее бабушка... Генетическая память... Фил, а что за стихотворение читала Кэт?

**Фил.** Это ирландский поэт Томас Мур.  
(*Декламирует*).

Вечерний звон, вечерний звон!  
Как много дум наводит он.  
О юных днях в краю родном,  
Где я любил, где отчий дом...

**Эл.** Мне нравится! А ты заметил, Фил, что теперь и Кэт вспомнила о своей бабушке? **Фил,** а ты помнишь свою бабушку?

**Фил.** Ты же отлично знаешь: никаких бабушек у нас нет!

**Эл.** Может быть, это не так хорошо?

**Фил.** Может быть...

Эл и Фил летят над уральским промышленным городком, где живет Дина.

— Фил, почему у деревьев нет листьев? Так еще хуже! — слышится голос Эл.

— Смена времен года. Осень! — говорит Фил.

Летят над главной улицей города, нагоняют автобус, битком набитый людьми.

— Слышу ее голос! — восклицает Эл.

Из автобуса слышится отчаянный голос Дины:

— Выпустите меня! Остановите автобус! Выпустите меня!

Автобус останавливается, из него, с трудом протискиваясь, выходит Дина с сумками в руках. Стоит, жадно вдыхая морозный воздух, идет по обочине, пытается остановить такси.

**Водитель (пригормозит).** Куда?

Дина называет адрес.

Водитель отрицательно качает головой, отъезжает.

Дина замерзла. Губы у нее посинели, щеки побледнели. Увидев неподалеку магазин, направляется к нему.

Войдя в магазин, разглядывает прилавок, идет к кассе, пробивает чек. Выстает в очереди и протягивает продавщице чек. Та дает ей бутылку молока.

Дина видит, что молоко несвежее.

— Извините, несвежее! — протягивает Дина бутылку обратно.

— Не хочешь — не бери! — отвечает продавщица.

— Замените, пожалуйста! Или верните деньги! — говорит Дина.

— Надела модные сапоги и строишь из себя Пугачеву? — говорит продавщица.

— При чем тут сапоги? И при чем тут Пугачева? — говорит Дина.

— Девушка, не мешайте продавцу работать! — выкрикивают из очереди.

Дина, сдерживая слезы, выходит из магазина. Садится на скамейку, всхлипывает.

— Нет, не могу на это смотреть! — слышится голос Эл.

— Что ты хочешь делать? — спрашивает Фил.

На скамейке рядом с Диной оказывается старушка в длинном старомодном пальто, пуховой шаля. Обращаясь к Дине, говорит:

— Тебя кто обидел, милая? А ты вот что делай: если хочешь, чтобы человек исполнил твоё желание, посмотри ему прямо в глаза и скажи одно словечко — ну ты знаешь, какое! — и он все выполнит!

Старушка исчезает. Дина оглядывается по сторонам:

— А какое словечко?

Поднявшись, направляется в магазин. Подходит к прилавку и, глядя в глаза продавщице, говорит:

— Пожалуйста, дайте мне свежее молоко!

**Продавщица (рассвирепев).** Ты что, опять явилась?! А ну иди отсюда!

Дина растерянно поворачивается, выходит из магазина. Пытается снова остановить такси.

— Куда? — спрашивает водитель.

Дина, глядя прямо в глаза таксисту, называет адрес.

— Не по пути, — говорит тот и отъезжает.

Подходит автобус, опять переполненный. Дина втискивается в него, дверцы закрываются, автобус идет дальше.

Два облачка плывут над улицей.

— Не получается у нее, — слышится расстроенный голос Эл. — Не удастся ей собрать силы.

— А какое словечко она должна была сказать? — спрашивает Фил.

— Любое! — отвечает Эл. — Какая разница! Лишь бы подействовало!

Дина с сумками в руках входит в свою квартиру.

— Привет!

Муж Дины, сидящий за письменным столом, поворачивается к ней:

— Привет!

Дина (*глядя ему в глаза, шепчет*). Джаным!\*  
Муж встает, подходит к ней, целует в щеку.

Дина (*обрадованно*). Это я тебя заколдовал, чтобы ты меня поцеловал!

Муж (*смеется*). Я бы тебя и так поцеловал!

Ночь. Дина лежит на тахте рядом с мужем. Видит во сне чье-то лицо. Это ее прабабушка Фатима (ее Дина видела в начале фильма). Прабабушка входит в избу, где на кровати лежит больная женщина, возле

\* Джаным — душа моя (татар.).

нее — родственники. Фатима подходит к больной и, ласково приговаривая что-то, проводит ладонью над ее головой. Больная, которая только что металась, кусала губы, трясла головой, успокаивается.

Дина просыпается, видит, что в комнате темно, тихо, фонарь за окном слабо освещает комнату. Рядом спит муж. Дина поднимается, подходит к зеркалу, смотрит на свое лицо. И вдруг это лицо превращается в лицо ее прабабушки. Дина вытягивает руку и делает такой же жест, какой делала Фатима.

От фонарного столба, что перед окном Дины, отлетают два облака.

— Теперь за нее можно не беспокоиться, — слышится голос Эл.

Летят над пустынными улицами, над мигающими светофорами, над домами, похожими друг на друга.

У одного из только что выстроенных зданий, возле которого вырыты ямы и лежат трубы, Фил замедляет полет.

— Никак не могу понять, — говорит он, — почему здесь сначала возводят здание, а потом к нему подводят трубы? Должно быть наоборот!..

Летят дальше, мимо кафе, столовых, закусокных, закрытых на ночь, мимо гостиницы с надписью на двери «Мест нет».

— Если бы мы даже и захотели остаться здесь, не нашли бы номера в гостинице! — говорит Эл. — Но почему мы с тобой никогда не летели отсюда на Восток? Давай посмотрим, что там!

Покидают городок, летят в восточном направлении.

Пролетают мимо стоба, на котором указано стрелками «Европа — Азия».

Эл и Фил летят над бескрайней тайгой. Начинается степь. Эл и Фил спускаются пониже. Огромные пространства, покрытые снегом, лишь изредка у излучин рек видны поселки, маленькие города.

Розовое солнце встает над степью.

Эл и Фил спускаются ниже, плывут над снежной целиной, по ней идет одинокий путник — старик казах в длинном тулупе, в малахае, ведущий за собой усталую лошадь.

— Куда он идет? — удивляется Эл. — Ведь близости нет жилья!

— Это почти первобытный человек. Так он жил и сто, и двести, и триста лет назад, — поясняет Фил. — Вон его жилье!

Сверху видна кошара — длинная вытянутая постройка, возле нее толкуются овцы. Из кошары выбегает мальчик, бежит навстречу старику, отбирает у него уздечку, помогает пройти. Из трубы над кошарой вьется дымок.

Эл и Фил летят дальше.

Впереди — снова холмы, покрытые снегом.

Эл (*опускается на один из холмов*). Как тихо! И совсем нет людей!

Вдруг мощный взрыв сотрясает землю. Столб снега, земли, камней взлетает вверх и медленно оседает вниз.

Слышится встревоженный голос Фила:

— Эл, где ты? Эл! Где ты?

В ответ — молчание. Затем слышится треск, шорох, будто настраивают музыкальный инструмент, потом слабый голос Эл проносит:

— Фил, что это было?

Фил. Это я виноват! Я должен был предусмотреть! Эл, мы должны покинуть это место! Немедленно! Направление — юго-восток! Ты слышишь меня, Эл?

Слабый голос Эл (*после паузы*). Да, Фил, я слышу тебя!

Национальный заповедник на острове Цейлон. Среди реликтовых деревьев, на ветках которых прыгают обезьяны, щебечут птицы, на зеленой траве под священным деревом баньяном сидят Эл и Фил в облике мужчины и женщины.

Эл (*запрокидывает голову, пьет сок кокосового ореха*). Наверное, земной рай был именно таким!

Фил. Как ты себя чувствуешь, Эл?

Эл. Хорошо... Я уже поправилась... Наверное, потому, что здесь воздух необыкновенный и нет радиации... А сколько мы здесь пробыли?

Фил. По земным понятиям — пять месяцев, по нашим — пять дней... Так ты готова лететь домой?

Эл. Да... Только мне все-таки хотелось бы увидеть Дину и Кэт...

Фил. Ну хорошо...

Мужчина и женщина, сидящие под баньяном, исчезают, над кронами деревьев заповедника пролетают два облачка.

— Полетим через Гималаи! — говорит Эл. — Ведь это самые высокие вершины Земли!

Пролетают Гималаи. Рассветное солнце окрашивает снежные вершины розовыми бликами.

— Хорошо, что сюда еще не добрались люди! — говорит Эл.

Летят ниже. Нагоняют пассажирский самолет.

В уютном салоне дремлют пассажиры, кто-то читает газеты, кто-то играет в шахматы.

— Полетим немножко в самолете! — предлагает Эл. — Побудем среди людей.

Через секунду в двух пустых креслах оказываются Эл и Фил, одетые в пальто и шляпы.

Фил берет газету из спинки кресла. Читает:

— «Трагедия в Сахаре. Двое служащих компании «Эйл-Лайн», приступившей к бурению скважины в песках, были ранены стрелами туарегских воинов. Причина нападения — загрязнение колодцев с питьевой водой».

Фил протягивает газету Эл, та читает дальше:

— «Напавшие скрылись в пустыне, однако с вертолета удалось их обнаружить. Пулеметной очередью с вертолета были убиты двое людей племени, юноша и девушка. В перестрелку попала львица из национального заповедника».

В газете помещена фотография: лежащие на песке юноша и девушка, неподалеку от них — мертвая львица.

Эл швыряет газету на пол, мгновенно исчезает из самолета.

Фил следует за ней.

Над горами летят два облачка, слышится плач Эл.

Голос Фила. Эл, успокойся! Я же говорил: лучше лететь домой!

Эл (*жалобно*). Они были так прелестны! Юноша и девушка. И эта львица!.. Почему современные люди так жестоки?

На одном из перевалов идет бой. Стреляют ракетами с той и с другой стороны.

— Меняем направление! — приказывает Фил. — Направление северо-запад! Как выясняется, безумны люди на этой планете все больше!

Меняют курс на северо-запад.

Уральский городок, где живет Дина. Родильный дом. В палате — десять человек, в коридоре на раскладушках тоже лежат женщины.

Мимо оконной рамы пролетают два облачка.

Дина сидит на кровати у окна, читает.

— Пить! — стонет одна из женщин. — Дайте пить!

Дина поднимается, наливает воды из графина, подносит женщине.

— Умираю! — кричит вторая. — Мне плохо! Врача!

Дина выглядывает в коридор, зовет сестру: — Подойдите, пожалуйста! Тут женщине плохо!

Сестра. А что с ней?

Дина. Говорит, «умираю».

Сестра. Все они умирают! А как выпишутся, так снова: прыг-скок! Некогда мне! (*Уходит.*)

Дина подходит к женщине, садится с ней рядом, берет ее за руку:

— Потерпи, сейчас легче будет!

Женщина постепенно успокаивается.

— Дина, иди сюда! — зовет еще одна женщина. — Посиди и со мной!

Дина идет ко второй женщине.

Ночь. Свет от уличного фонаря падает на лицо Дины. Она открывает глаза, смотрит на свой живот, будто прислушивается к чему-то, тихонок поднимается и выходит из комнаты. Идет по коридору мимо спящих на раскладушках женщин, мимо дежурной, уснувшей за столом, спускается по лестнице, толкает дверь и оказывается в ванной с бассейном, из кранов тихонок льется вода, заполняя бассейн.

Дина снимает халат, оставшись в ночной рубашке, осторожно, медленно входит в воду, ложится на спину, плывет. Перебирает руками и ногами, энергичнее, сильнее. Видит перед собой бескрайнее небо, озеро, отражающиеся в озере облака...

Вбегает дежурная:

— Женщина, вы что? Зачем полезли в воду? А ну выходите!

Дина сильно бьет по воде ногами, чуть-чуть уходит под воду, потом выплывает, держа в руках младенца.

— Помогите! Возьмите его на руки!

Медсестра. Женщина, вы с ума сошли! Ужас какой!

Дина. Да помогите же!

Медсестра лезет в воду, берет на руки новорожденного.

— Девочка! А крепенькая какая!

В павильон вбегает еще медсестра, с ужасом смотрит на Дину и медсестру с младенцем на руках.

— Ох и попадет нам, Нинка!

Дина поднимается на ступеньки. Вдруг в руках у нее оказывается охапка свежих цветов.

Медсестры переглядываются.

Одна из них. Нинка, ты что ли цветы бросила?

Вторая. Нет, я думала — это ты!

Дина зарывается лицом в охапку душистых цветов.

От окна родильного дома отлетают два облачка.

— Эл, зачем ты бросила цветы? — слышится голос Фила.

— Должен же был кто-то ее поздравить! — отвечает Эл.

Квартира Дины. На подоконнике в вазе хризантемы. На столе Дина гладит распашонки. Дочка лежит на тахте, завернутая в одеяло.

Входит муж Дины, оживленный, радостный.

— Привет!

Целует Дину, снимает пальто, раскрывает чемоданчик.

— А нам сегодня заказ дали: копченую колбасу и чай! И премию обещают в конце года!

Дина. Поешь сам, я сейчас ее купать буду.

Муж приносит из кухни тарелку с домашней лапшой, садится, начинает есть.

Дина, взяв полотенце, берет на руки дочку, идет с нею в ванную.

Муж Дины, прислушиваясь к радостным голосам Дины и дочери, отставляет тарелку, идет в ванную.

— Может, я тоже хочу посмотреть!

Видит, что Дина опустила ребенка под воду, ребенок барахтается, но плавает.

Муж Дины. Утопишь ведь!

Бросается к ребенку, вытаскивает его, прижимает к себе.

Дина (*обтирая ребенка, спокойно*). Ну чего ты испугался? Смотри, ей нравится!

Девочка действительно выглядит довольной.

Дина укладывает ее на простынку, накрывает одеялом.

Муж, вернувшись в комнату, садится за стол, продолжает есть.

Дина. Увидишь: я научу ее не только плавать, но и ходить босиком, не бояться холода и жары, вообще ничего не бояться! Она будет жить лучше, чем мы.. (*Подходит к окну, смотрит во двор, где двое мужчин дубасят друг друга. Отворачивается.*) Наша дочь объездит весь мир! Увидит все, что захочет! Хоть Северный полюс, хоть Южный! У нее будет много друзей! Может быть, она будет жить в городе, а может быть, в деревне, рядом с лесом и озером... или в пустыне...

Муж (*перестает есть, подходит к ней*). Дина, тебе что — плохо со мной?

Дина (*тихо*). Не в тебе дело! (*Помолчав.*) Не должен человек жить так, как мы! В таком доме, в таком дворе, в таком городе! Даже моя прабабушка жила лучше... По крайней мере, она пила чистую воду...

Муж молчит.

Дина (*подходит к нему*). Пойми, если наш ребенок не будет жить лучше, тогда вообще — зачем все?

Муж Дины (*вздыхнув*). Вот скоро закончу этот прибор, получу кучу денег — и заживем по-человечески! Купим тебе шубу, магнитофон... Может, в «Алгоритм» попрошусь, там больше платят...

Дина. Дело не только в деньгах...

— А в чем?

Дина (*тихо*). Надо, чтобы мы вообще жили по-другому... Надо, чтобы в человеке был свет...

— Ну это что-то абстрактное!..

— Почему? — Дина протягивает ладонь над чистым листом бумаги. На листе отчет-

ливо проступают контуры ее ладони.

Муж (*удивлен, но стараясь скрыть это, шутливо*). Ну раз ты у меня такая особенная, садись рядом и помогай! Чтоб я скорее закончил эту проклятую схему!

Сажает Дину рядом с собой, включает настольную лампу, углубляется в расчеты.

Дина, достав нитку с иглой, принимается за шитье, время от времени поглядывая на мужа.

В дверь стучат, в комнату входит соседка.

— Дина, от кашля нет чего-нибудь? Анварка задыхается! Я «скорую» вызвала, а она не едет!

Дина входит в квартиру соседей. На диване лежит Анвар, тяжело дышит.

Дина подходит к нему, садится рядом.

— Смотри, что у меня есть!

Вынимает из кармана яблоко, показывает Анвару, поворачивает руку — яблока в руке нет.

Анвар. Фокус, да? Еще покажи!

Перестает кашлять.

Дина снова показывает свой незатейливый фокус. Потом протягивает ладонь и держит ее над головой Анвара.

Анвар дышит все ровнее.

Фешенебельная больница в Нью-Йорке. В родильное отделение на каталке ввозят Кэт. За ней со смущенным видом следует Том.

Кэт. Том! Не уходи! Держи меня за руку! Том (*стараясь говорить уверенно*). Я здесь, дорогая, я с тобой!

Кэт (*жалобно*). Если бы ты знал, Том, как мне страшно!

Том. Дорогая, все будет хорошо!

Кэт (*возбужденно*). Том, прочти мне какую-нибудь молитву!

Том (*удивленно*). Молитву? Сейчас?

Кэт. Ну да, мне будет легче!

Том. Не могу вспомнить, дорогая! Я никогда не читал молитв...

Врач и сестры переглядываются. Одна из сестер подходит к компьютеру, установленному в углу комнаты, нажимает на клавиши, дает задание; на экране возникает текст молитвы, медсестра жестом показывает Тому, что он может читать с экрана.

Том читает.

Кэт. Том, читай как следует! С выражением!

Том читает «с выражением». Он стоит, обратившись лицом к экрану, а за его спиной врачи делают свое дело.

Раздается пронзительный крик новорожденного.

Том оборачивается, видит, что медсестра держит на руках младенца, шлепает его.

— Как? Уже? — Том поражен. — Но я еще не дочитал!

Дом Кэт и Тома. Столовая, разукрашенная цветами. За длинным столом сидят гости, человек тридцать, во главе стола — Кэт и Том. Среди гостей — Эл и Фил.

Эл (*наклоняется к Филу*). А не боишься, что нас спросят, кто мы такие?

Фил. Не спросят. Ты очень похожа на жену преуспевающего бизнесмена.

Оба смеются.

Один из гостей (*поднимается с бокалом шампанского*). А где виновник торжества?

— Наследника! — требуют и другие гости.

Кэт уходит в соседнюю комнату и возвращается с розовощеким младенцем, завернутым в голубое, с оборочками одеяльца.

— Здоровье маленького Джона! — кричат гости.

— Пусть он станет президентом Соединенных Штатов Америки!

— Президентом нефтяной компании!

— Пусть открывает новое отделение фирмы «Джексон и Кросби».

Эл (*наклонившись к Филу, с грустью*).

А мы с тобой видели нашего малыша лишь раз... когда он родился... Таков наш закон! Но, мне кажется, это несправедливо...

Фил (*глядя на Тома, подбрасывающего Джона на руках*). Да...

К Тому подходит один из гостей, мистер Джексон, отводит его в сторону, говорит вполголоса:

— Том, хочу вас обрадовать! Мы заключаем договор с южноафриканской фирмой. Она покупает у нас препарат «С».

Том (*удивленно*). Что за препарат?

Мистер Джексон. Синтетическое вещество с очень широким спектром действия, что-то вроде слезоточивого газа... Мы разработали его в вашей лаборатории...

Том (*меняется в лице*). В моей лаборатории? Почему вы не поставили меня в известность? Я — против!

Мистер Джексон. Ну-ну, Том, во-первых, договор еще не заключен... Это лишь предварительный разговор!.. Поговорим на той неделе! (*Отходит от Тома.*)

Гости разошлись. За неубранным столом сидят Кэт и Том.

Том выглядит озабоченным.

Кэт. Что-то случилось, Том?

Том. Нет-нет, ничего... А что бы ты сказала, Кэт, если бы я порвал с Джексоном?

— Сказала бы: «Наконец-то!» А ты действительно хочешь с ним порвать?

Том. Я думаю...

Кэт. А все-таки жаль, Том, что у нас нет родных! Близких нам людей... Может быть, пригласить миссис Флинч пожить у нас?

Том. Но она ведь тоже не родня...

Кэт. Она подруга моей бабушки! Почти что бабушка! Думаю, что она будет нужна нашему Джонни! По крайней мере, она будет

учить его музыке... (*Подходит к фортепиано, играет пьесе Шуберта.*) Видишь, я еще не очень хорошо играю... (*Садится рядом с Томом*). Том, теперь, когда у нас есть Джонни, наша жизнь должна измениться... Я в это верю... В ней должен быть больший смысл, да?

На экране телевизора — путешественница-японка, обошедшая земной шар с ребенком за спиной.

Кэт. Может быть, мы будем путешествовать... Не только самолетом, но и пешком, как эта японка...

На экране показывают восьмилетнего американского мальчика, ведущего самолет.

Кэт. Может быть, наш Джонни будет таким же смелым, как этот мальчик!..

На экране комментатор:

— Двадцатичетырехлетний инженер из Советского Союза разработал оригинальный прибор по измерению токсических веществ в атмосфере...

Показывают мужа Дины, сидящего рядом с ней в их квартире, в руках у него — изобретенный им маленький прибор.

Кэт (*глядя на Дину*). А может, в Советский Союз как-нибудь съездим. А, Том?

Том. Может быть!

На экране крупным планом — Дина.

Комментатор. Жена изобретателя каждое утро купается со своей двухмесячной дочкой в ледяной проруби!

На экране показывают окраину уральского города и Дину с дочкой на руках, погружающуюся в полынью.

Комментатор. Она вылечила пятерых детей из своего двора методом нетрадиционной медицины. Она утверждает, что так лечила ее бабушка.

На экране Дина, ведущая ребятшек на прогулку в город. Среди детей — Анвар.

Кэт. Мне нравится ее лицо... Том, я хочу купаться! Поедем к океану!

Том. Сейчас? Ночью?

Кэт. Почему нет?

Пустынное побережье. На песке стоит машина. Кэт и Том с маленьким Джоном на руках плещутся недалеко от берега.

Кэт (*опускает сына в воду*). Том, смотри, он плавает! Он совсем не боится! (*Вдруг выпрямляется, смотрит вдаль.*) Том, ты слышишь — там кто-то тонет!

Том. Я ничего не вижу, Кэт, с чего ты взяла?

Кэт передает ребенка Тому, бросается в воду, стремительно плывет от берега.

Через несколько секунд подплывает к тонущему недалеко от лодки человеку, вместе с ним, поддерживая его рукой, возвращается к берегу. Том помогает ей вытащить потерпевшего на песок, наклоняется над ним.



— Жив!.. Но как ты услышала его, Кэт? Кэт (*отжимает мокрые волосы*). Понимаешь, Том, я вдруг поняла, что вокруг нас все живое! Вот этот кустик рядом с машиной — он живой! В воде плывут рыбы — они живые! И человек, который тонул.. Может, это Бог дал мне услышать его, Том? Может, Бог есть!..

Том. Просто у тебя потрясающий слух, Кэт!

Кэт (*глядя на лежащего человека*). Смотрите, он открыл глаза! (*Направляется к потерявшему.*)

Тот медленно приподнимается, увидев на пске Джона, улыбается:

— Ребенок! На Земле еще остались дети? — Это тот самый бродяга с окраины Нью-Йорка.

Кэт (*мягко*). Как вы себя чувствуете? Бродяга декламирует:

— Апокалипсис отступает  
Перед улыбкой ребенка,  
Перед его глазами,  
В которых радость и свет...

Том (*протягивая ему бутылку*). Хотите выпить, дружище? Вы вне опасности! Не волнуйтесь!

Бродяга. «Вне опасности», говорите? Вы уверены в этом? Цезий сто тридцать семь! Стронций! Этот воздух, океан — все, все отравлено!

Том (*вполголоса, Кэт*). Кажется, бедняга в шоке...

Кэт (*медленно*). А может, он прав? (*Смотрит на океан.*) Может, вся эта вода уже почти мертвая? И те голоса отовсюду, которые мы слышим,— это голоса погибающих?

Оба облачка летят над Восточно-Европейской равниной. Отроги Уральских гор, леса, поля, рощи, рельсы железной дороги, знакомое кирпичное здание вокзала. На платформе стоит пассажирский поезд. К одному из вагонов подходит Дина с ребенком на руках в сопровождении мужа.

Муж Дины. Что за передача? Когда она будет?

Дина. Телемост с Америкой, кажется, в воскресенье.

Дина с дочкой поднимается в вагон, муж помогает внести сумку, целует Дину и дочь, говорит:

— Как приедешь — сразу же дай телеграмму! И сообщи, когда передача.

Поезд трогается с места, муж выпрыгивает из вагона, машет вслед.

Поезд набирает скорость.

Эл и Фил летят рядом с окнами вагона, где едет Дина.

Пассажиры начинают устраиваться удобнее. Проводник собирает билеты, раздаёт белье.

Два облачка летят над рельсами, не отставая от поезда.

Голос Фила. Эл, нам пора! Почему ты медлишь?

Голос Эл. Мне не по себе, Фил!

Фил. Что за выдумки!

Эл. Давай посмотрим, что впереди!

Взывают вверх, опережают поезд, летят впереди него, сворачивают в сторону лощины, недалеко от железной дороги. Видят трубопровод, слабо поблескивающий в лунном свете.

Голос Эл. Видишь, Фил, утка! Может случиться авария. Когда подойдет поезд...

Голос Фила. Мы ничего не можем сделать, Эл!

Оба облачка возвращаются назад, к движущемуся поезду, летят рядом с окнами вагона, в котором едет Дина.

Дина с дочкой на руках дремлет, прислонившись к стенке купе. Вдруг лицо ее выражает ужас. Во сне Дина видит огонь, горящие заросли, группу всадников, оказавшихся внутри огненного кольца. Всадники мечутся из стороны в сторону, огонь подбирается все ближе, огненное кольцо все плотнее. Среди всадников — женщина с маленьким ребенком за спиной. Внезапно, как бы решившись, женщина набрасывает мешок на голову обезумевшей лошади, накрывает себя и ребенка халатом и изо всех сил ударяет камкой по крупу лошади. Та взвизгивает, встает на дыбы, потом мчится вперед, не разбирая дороги, сквозь огненную стену. Через несколько мгновений падает с обрыва в темную реку, плывет, вытянув вперед морду... Женщина оглядывается, малыш позади цел и невредим. Женщина успокаивает лошадь, плывет медленно к противоположному, заросшему травой берегу.

Дина в вагоне просыпается, озирается. Вокруг все тихо. Пассажиры спят. Дина поднимается, опускает раму окна, высовывает голову. Морщится, почувствовав запах газа. Бежит в тамбур, нажимает ручку стоп-крана. Поезд резко останавливается. Раздаются голоса: «Что случилось?»

Люди выглядывают из вагона. Впереди на дороге темно и тихо.

Вдруг метрах в трехстах впереди вспыхивает гигантское пламя. Бушует, поднимается ввысь. Люди выскакивают, бегут в противоположную от огня сторону.

Дина с ребенком на руках стоит возле опустевшего поезда, смотрит на бушующее впереди пламя.

Поднимает голову и смотрит вверх, на два легких облачка, улетающих от нее...

Два облачка летят в небе.  
Голос Фила. Эл, нам пора!  
Голос Эл. Но я еще не попрощалась  
с Кэт!

Два облачка снижаются над городом. Один из крупнейших парков Нью-Йорка.

Кэт с Джоном на руках и миссис Флинч плывут в лодке мимо искусственных джунглей.

Джон с любопытством смотрит на разрезающих пасти крокодилов, выплывающих из воды, на обезьян, прячущихся в ветках деревьев, на змей и птиц.

Миссис Флинч. И все же... всем этим великолепным игрушкам я предпочитаю живую кошку! Кэт, дорогая, может, нам завести кошку? (*Посмотрев на Джона, назидательно.*) Ребенок с детства должен общаться с животными, иначе он вырастет бессердечным! Не зря же Киплинг написал «Маугли»!

Улица города. Фасад внушительного здания, на котором табличка «Фирма Джексон и Кросби». Подъезжает машина.

Кэт (*открывает дверцу, оборачиваясь к миссис Флинч*). Я сейчас позову Тома, и поедем вместе в зоомагазин, за кошкой. Захлопывает дверцу, идет к зданию, нажимает на кнопку в стене.

Охранник (*открывает дверь*). Что вам угодно?

Кэт. Я — миссис Кросби! Мне надо к мужу!

Охранник (*преграждая дорогу*). Сюда нельзя!

Кэт (*удивленно*). Вы — что, не поняли? Я — миссис Кросби!

Отстранив охранника, входит в здание. Два облачка снижаются над зданием фирмы.

Голос Эл (*тревожный*). Зачем, зачем она туда вошла!

Кэт идет по коридору. Он пуст, в него выходит множество дверей.

Кэт толкает одну дверь, вторую, третью — все заперты.

В конце коридора появляется встревоженная секретарша:

— Миссис Кросби! Миссис Кросби! Туда нельзя!

Но Кэт не слушает ее, идет дальше.

Вот толкает какую-то дверь и оказывается в комнате без окон, с вытяжным шкафом. Это, видимо, лаборатория. Мужчина в белом халате, в противогазе и перчатках переливает жидкость из колбы в пробирку.

Кэт. Извините! Я ищу своего мужа! О, какой нежный запах! Это что, духи?

Мужчина (*обернувшись, роняет пробирку*). Уходите! Сейчас же уходите отсюда!

У Кэт падает на пол перчатка. Она наклоняется и поднимает ее, слегка намокшую

от разлитой на полу жидкости.

— Пахнет, как черемуха! — говорит она и подносит перчатку к лицу.

Кэт — дома, лежит в постели. У нее исхудавшее лицо, угасший взгляд.

У постели Кэт сидят миссис Флинч и Том. На лице Тома — отчаяние. Миссис Флинч читает вслух Библию.

Том поднимается, идет в соседнюю комнату, звонит по телефону:

— Доктор Фишер? Это опять я, Кросби... Послушайте, неужели ничего нельзя сделать? Голос по телефону. Вы же знаете, Кросби, против этой болезни мы пока бессильны...

Том вешает трубку, подходит к письменному столу, вынимает револьвер, разглядывает его. Бросается в кресло, закрывает лицо руками.

— Я погубил свою жену! — говорит он. — Я сам погубил свою жену! — Поднимает голову вверх, шепчет: — Бог, если ты есть, помоги!

За окном дома Тома и Кэт под моросящим дождем сидят на скамейке Эл и Фил.

Эл. Я простужена, Фил!

Фил. Не выдумывай, Эл, ты не можешь быть простуженной! (*Тем не менее вытаскивает из кармана носовой платок, протягивает.*) Возьми!

Эл (*жалобным голосом*). Фил, неужели она умрет? Такая прекрасная, такая великолепная!

Фил. Люди сами создали эту болезнь... В этой лаборатории... И таких лабораторий на Земле достаточно...

Эл. Но ведь ты можешь вылечить ее, Фил!

Фил. Мы не можем делать того, что не умеют делать сами люди!

Эл. Значит, Кэт... не встанет!

Фил. Да...

Эл. Я не согласна!

Вскакивает, начинает ходить вдоль скамейки, чихает, сморкается, из глаз ее текут слезы. Наконец она останавливается перед Филом, умоляюще говорит:

— Фил, пожалуйста, вылечи ее! Я знаю — ты можешь!

Фил (*отворачиваясь*). Если мы нарушим инструкцию, нас никогда больше не пустят в Космос! Мы всю жизнь будем сидеть дома.

Эл. Пусты!

Фил. Это неразумно, Эл!

Эл (*поднимая глаза, еле слышно*). Фил, если ты любишь меня! Если любишь!

Фил (*в смятении*). Какие слова ты говоришь, Эл!

Комната Кэт. Она спит в кровати. В кресле рядом дремлет миссис Флинч. В открытое окно влетают две бабочки, приближаются к Кэт...

Через некоторое время Кэт поднимается на постели, удивленно озирается, лицо у нее розовое, глаза ясные.

Бабочек в комнате нет.

Кэт (*громко*). Миссис Флинч! Миссис Флинч!

Старушка просыпается.

Кэт. Хочу есть!

Миссис Флинч (*обрадованно*). Вы хотите есть? Сейчас, дорога!

Кэт (*решительно*). И принесите мне Джонни! Я не видела его целую вечность!

На звук ее голоса из кабинета показывается Том, с удивлением смотрит на жену.

Кэт. Том, ты не хочешь подойти и поцеловать свою женушку?

Том (*бросается к ней*). Дорогая, ты улыбаешься? (*Подхватывает ее на руки, кружит по комнате.*)

Кэт (*замечает кошку на стуле*). У нас появилась кошка?

Миссис Флинч. Да, дорогая, я подумала, что с кошкой будет уютнее!

Фешенебельный ресторан, старомодный, уютный. Столики с затененными лампами, бесшумные официанты, оркестр, играющий музыку начала века.

За одним из столов сидят нарядно одетые Кэт, Том, миссис Флинч и маленький Джонни — в корзине, на высоком табурете.

Том (*поднимая бокал с шампанским*). За тебя, дорогая!

Кэт (*задумчиво*). Сейчас я даже не могу вспомнить, что была больна... Что со мной было?

Миссис Флинч. Это Бог услышал мою молитву, Кэт! И вылечил!

Том (*тихо*). Теперь я готов поверить, что он есть... (*Поворачивается к Кэт*). Я видел сон, Кэт... Ты же знаешь, я никогда не вижу снов, а сегодня... Будто иду с отцом по парку... Лет мне семь или восемь... Отец держит меня за руку... И вдруг из аллеи к нам выбежала собака, пушистая-пушистая, с огромными лапами... Такой прекрасной собаки я в жизни не видел... И отец, который держал меня за руку, сказал: «Том! Запомни этот день! Запомни этот парк, эту собаку, запомни, что я тебе сейчас скажу: я тебя люблю, Том!»... А на следующий день случилась эта авария на дороге... Больше я не видел его...

Кэт (*кладет свою ладонь на руку Тома и говорит мягко*). Том, запомни, что я тебе сейчас скажу! Я тебе этого никогда не говорила... Я тебя люблю, Том! И я рада, что нас было двое, а теперь нас четверо, у нас есть Джонни, наше будущее, и прошлое — миссис Флинч! И мы все любим друг друга... Разве этого мало?..

Через столик от Тома и Кэт сидят Эл

и Фил.

Фил (*держит в руке бокал шампанского*). Ну, ты довольна?

Эл (*улыбаясь*). Да, она замечательно выглядит! И малыш прелестный! Может быть, дальше у них будет все хорошо?

Фил (*подошедшему официанту*). Пожалуйста, вечерний выпуск «Таймс»!

Официант приносит газету.

Фил. Прочту, в последний раз!

Эл (*с грустью*). Неужели сегодня, Фил?

Фил. Да... Прошли все сроки...

Оркестр играет нежную мелодию.

Фил (*смущенно*). Послушай, Эл, я тут попробовал что-то сочинить...

Когда я слышу твой голос,  
Я забываю, с какой я планеты,  
Я готов следовать за тобой  
По всей Вселенной!..

Эл (*смеется*). О Фил!..

Оркестр играет вальс.

Эл. Потанцуем? Позволим себе напоследок маленькую человеческую радость?

Танцуют меж столиков.

Посетители ресторана дружно аплодируют этой изящной, грациозной паре.

Кэт (*задумчиво глядя на Эл*). Кажется, я где-то видела эту женщину...

Два легких облачка поднимаются над зданием ресторана, над улицей, над крышами домов, над мостами, площадями, небоскребами, над всем этим огромным, расцвеченным ночными огнями городом.

Голубой шар Земли виден все меньше и меньше. Эл и Фил летят в темном беззвучном небе.

Пролетают мимо космического корабля, заглядывают в «киллюминаторы». Женщина и мужчина склонились над ящиком с зелеными ростками.

Эл. Что они делают?

Фил. Выращивают огурцы...

Эл. Как думаешь, когда-нибудь они долетят до нас?

Фил. Может быть... Если сохранят свою планету...

Космический корабль остается позади, вокруг снова темно и тихо.

Эл начинает напевать.

Голос Филадельфия. Что за мелодия, Эл?

— Колыбельная, Фил! Она мне скоро придется!..

Оба смеются.

А потом этот теплый смех, эти понятные человеческие голоса переходят в иные, более таинственные звуки.



**Анатолий  
УСОВ**

## НАСИЛИЕ

Тусклый осенний день. Пора уныния и забвения. Мокро и одиноко. Перед парадным зданием МГУ под моросящим дождем стоит изможденный, бедно одетый юноша — будущее России, а может быть, уже ее прошлое, так и не ставшее настоящим. На его груди написано:

**НЕ ВЕРЮ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,  
НЕ ВЕРЮ ЦК КПСС,  
НЕ ВЕРЮ НИКОМУ.  
ВЕРЮ ТОЛЬКО СЕБЕ САМОМУ**

Лицо у юноши бледно и уныло. Глаза затравлены и тоскливы.

Будний день. В небольшой церкви на Ленинских горах немногочленно. Тихо идет вечерняя служба.

Печальное лицо Спасителя. Наполненные мудростью и страданием глаза.

В негустой толпе у иконы стоит немолдой человек и тихо молится:

— Господи, Боже, Отец наш, помоги нам выжить в это тяжелое время, не кривя душой, не пресмыкаясь и не озлобься...

Человек оборачивается, и мы на мгновение видим его лицо. Это отец Игоря, Николай Гусев.

Концерт ансамбля «ЛЮБЭ». Солист надрываясь поет:

— Я гражданин, я член народных масс...  
Текст тонет в восторженном стоне толпы.

В толпе лысые ребята — то ли панки, то ли призывники, то ли и те и другие вместе.

Жидкая цепь солдат отделяет один враждующий народ от другого. Женщины этих народов лезут через плечи солдат друг на друга. Старые, страшные в озлоблении восточные женщины. Кричат в лицо солдатам обидные, несправедливые сейчас слова:

— Оккупанты!.. Фашисты! Идите домой! В Россию!

Старуха плюет Игорю в лицо, лезет к нему с кулаками. Игорь раскачивается в цепи под напором и едва не плачет от ненависти и от обиды.

Тишина. В тишине слышится детский голос:

Люблю отчизну я,  
но странно любовью.  
Не победит ее рассудок мой,  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого  
доверия покой...  
Ни мрачной старины  
заветные преданья  
Не пробудят во мне  
отрадного мечтанья...

Старухи плюют солдатам в лицо. Лезут к ним с кулаками.

По реке с мутной водой плывет труп с выколотыми глазами, отрезанным носом, отрезанными ушами.

Изнасилованная, изувеченная и убитая девочка в костре, который, в ужасе прикрывая глаза и отворачиваясь, тушат солдаты.

Убитые дети. Убитые старики. Изувечен-

ная, обгорелая голова на шесте.

К городу идут боевые машины с десанниками. Восемнадцати-девятнадцатилетние вологодские, новгородские, архангельские ребята сидят на жесткой броне — то ли каратели, то ли спасатели; сомнение и неуверенность на их мальчишеских лицах.

Мальчишка-киргиз бежит на отшибе. Несет что-то в склянке, опасливо отставив от себя руку.

За спинами старух мальчишка подбегает к цепи и выплескивает эту жидкость в лицо ближнего к нему солдата — Игоря Гусева. Жидкость шипит, становится белой.

Финляндия. 1947 год.

Сияющая от удовольствия, от радости предвкушения счастливой жизни, которая бывает у нас только в детстве, раннем отрочестве или когда мы счастливо влюблены, пятилетняя девочка в балетном трико на тоненьком ладном теле приседает и, застенчиво улыбаясь, счастливо говорит: — Деми-плиер — полуприседание...

Жиденькие светлые волосы девочки стянуты на затылке в тугий узел. Синие глаза светятся счастьем. Во всем ее облике — радость, удовольствие и надежда. За окнами скорее ощущается, чем видится, синь неба, простор.

...Бескрайнее небо над средней полосой России. Сильный осенний ветер рвет и гонит тяжелые осенние тучи, завывает в стгибающихся под ним верхушках красивого и грустного осеннего леса. Кружит и орет, заглушая все звуки вокруг, огромная черная стая ворон. Грустные мокрые деревья осеннего леса.

Голос Гусева. Господи!.. Я не могу понять, что означает «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство Небесное...»? Почему им такое — ведь и убийцы, и жулики, и насильники, и мздоимцы — все нищие духом... Почему им такое? Ведь так легко быть нищим духом и так трудно не быть им... Почему ты хочешь, чтобы на земле было несправедливо?..

...По лесу идет высокий человек с автоматом Калашникова в правой руке. Человек в военной форме, воинская плащ-палатка скрывает знаки различия.

Лес редет, проглядывается шоссе и полоска серой осенней Балтики.

Человек залегает на окраине леса в удобном для наблюдения месте, кладет рядом с собой автомат, поправляет на близоруких глазах очки, ведет наблюдение за мотелем. Это Гусев. Его лицо поросло недельной щетиной. На лице розовеют

едва затянувшиеся шрамы.

...У мотеля машины с финскими и шведскими номерами. Какие-то молодые люди с хорошей военно-спортивной выправкой в удобных спортивных одеждах. Наряд милиции с УКА, рацией и собакой в жестком наморднике.

Подъезжает черная холеная «Волга». Из нее пружинисто выскакивает сухой поджарый человек в полувоенной-полуспортивной одежде и с охотничьим ружьем в чехле.

Неожиданно застучал колесами близкий поезд. Гусев обернулся и увидел...

...себя в окошке вагона — таким, каким он был тогда, в 1947 году в Финляндии, белобрысым и очень счастливым мальчиком в военном кителе, перешитом гарнизонным портным из отцовского кителя...

...и девочку-финку рядом с красивым деревянным домом, которую он видел один раз и которую помнил потом всю жизнь. Девочке было пять лет, и она тоже была белесая, как он, и синеглазая, как он...

...и они оба онемели, увидев друг друга...

...а за ним, в купе, весело хохотал его папа — жгучий молодой брюнет с голубыми глазами и погонами капитан-лейтенанта на расстегнутом темно-синем кителе. И стесненно улыбалась мама, белесая, как сын, блондинка с уложенными венчиком волосами...

...но вот тронулся поезд, зачуждылся, лягнул вагонными буферами, и уплыла навсегда грустная девочка с белыми, как у него, волосами.

1991 год. Весна. Полдень. Школьный класс.

Голос Гусева. Все очень просто. Для того чтобы жизнь человека стала лучше, надо, чтобы сам человек стал лучше... Человек может стать лучше, если он будет больше обращать внимание на самого себя... Ищите возможность любить ближнего и быть бескорыстными, ибо бескорыстие есть, может быть, самое главное достоинство человека...

Под школьным столом, не очень-то и таясь, довольно крепкие, с разрисованными от безделья руками два старшеклассника рассматривают браунинг «Лонг 07». Хозяин пишет на листке в школьной тетради: «800». Другой зачеркивает эту цифру и, показывая маленькое ржавое пятно, пишет: «600». Они шепчутся, временами заглушая Гусева:

— Это же не ТТ, это браунинг «Лонг 07». Ты понял? Лонг — «длинный». С двухсот

метров «Жигули» насквозь прошивает — вместе с тем, кто сидит...

Оба смеются.

По классу ходит учитель истории Николай Иванович Гусев. Он в поношенном, но аккуратно почищенном и отутюженном костюме. Воротник его рубашки уже однажды перелицован, но чист и свеж. Галстук аккуратно повязан... Его лицо тщательно выбрито. Он раскраснелся, говорит искренне и взволнованно. Но слушают его, увы, без всякого интереса.

Гусев. Ибо бескорыстие, может быть, как раз то, что породит новую цивилизацию... Ибо эту гниль породила корысть и злоба. Устранись от зла и делай добро — и будет тебе хорошо... Ищи мира и следуй за ним — и будет тебе хорошо... Ищи любую возможность принести пользу, помочь слабому — и будет тебе хорошо... А когда тебе тяжело, помоги тому, кому еще тяжелее, — и тебе сразу же станет легче... Лев Толстой считал...

Тут под партой тяжело грохнул выстрел. Все завизжали. А девушка, которая все это время смотрела в окно, закричала, будто увидела что-то ужасное.

Девушка. Николай Иванович, ваш Игорь идет!!!

...И правда, от автобусной остановки, выше всех на целую голову, среди по-летнему одетых людей, в маленькой ушитой до кукольных размеров и начищенной гуталином солдатской шапке-ушанке, в тесной ушитой шинели, с ремнем где-то под самой грудью, в сильно зауженных форменных брюках, с «дипломатом» в руке шел его сын Игорь Гусев.

...Николай Иванович, конечно, тут же забыл о выстреле, кинулся вон из класса.

Он подбежал к сыну, обнял его, уткнулся головой в грудь. Сына гладил его по спине широкой, огрубелой, в порезах и шрамах ладонью и смотрел над его головой мутноватыми и блеклыми сквозь очки глазами. Кажется, он был пьян.

Рядом, за оградой детского сада, в мусорных баках визжали и дрались крысы. Ветер гнал грязные бумаги. Валялись пустые пакеты и картофельная шелуха.

Стучала колесами недалекая Киевская желдорога, выло моторами грузовиков Минское шоссе, тарыхтел экскаватор, роя очередную бездонную яму.

Николай Иванович. Мама как будет рада... как хорошо... Что же ты грустный, сынок?.. Не улыбаешься.

Полудейблы, которые нигде не учились и не работали, гоняли рядом, на пешеходных дорожках, на своих недочиненных мотоциклах, безумно ревя двигателями и пуская шлейфы синего дыма.

Игорь. Я?.. Я улыбаюсь.

Два месяца спустя.

Игорь открывает дверь своим ключом, входит в квартиру и видит поджидающих его родителей. Он говорит им:

— Привет.

И тут же направляется в свою комнату, благо, она у самой входной двери.

Отец и мать тут же шагнули следом.

Гусев (строго). Где ты был?

Игорь (улыбаясь). Я не спрашиваю — где ты был.

Он садится на тахту и тут же раздевается, по обыкновению кулемая и бросая во все стороны свои вещи.

Вмешивается мать, которая все это время внимательно и сурово смотрит на сына. Гусева. А ну дыхни.

Игорь неохотно дыхнул маме в лицо.

— Ты пьян, как свинья!

Игорь улынулся и почесал затылок.

— Я выпил стакан вина с ребятами. Если свинье хватит стакана, чтобы быть пьяной, как я, — я пьян, как свинья...

Мама тут же стала кричать:

— Ты посмотри на себя... Ты — скот! Ты хуже скота!

Тут же вмешался отец и выпроводил ее на кухню:

— Иди поставь-ка чайник.

На стене, над белым письменным столом и рядом, висят красивые белые полки разных форматов. Когда-то он с большим воодушевлением и любовью мастерил их для сына, сперва под игрушки, потом под книги.

Гусев берет письмо с полки и, показывая его сыну, строго говорит:

— Это что за письмо?

— А-а-а... — Игорь тянет к письму руку, но отец не отдает. — Это из армии...

Раздевшись и обнаружив ладный, тренированный, но весь в порезах и шрамах торс, Игорь начинает стелить постель, доставая белье из ящика.

Отец в это время вынимает письмо из конверта и начинает читать дрожащим от негодования голосом:

— Это что? «Игорек, про что ты спрашиваешь? Если про анашу, то могу достать двадцать рублей спичечный коробок. Это дешево, на гражданке он тянет шестьдесят рублей...» Это что?!

— Ерунда, ребята спрашивают.

Потянувшись, Игорь ложится в постель, натягивая одеяло до подбородка.

Гусев (с сарказмом). Хорошие ребята! Нет, они про книги не спрашивают, они спрашивают про анашу!

Игорь, зевая и поворачиваясь к отцу спиной, добродушно говорит:

— Па, давай завтра поговорим.

— Куда ты катишься? Третий месяц, как из армии, и хотя бы раз пришел домой трезвый.

— Но и не пьяный.

— Тебе нравится, как ты живешь?

Игорь улыбается, обеими руками чешет голову и молчит.

— Правильно ты живешь?

— Если честно, мне ничего не нравится, но не я выдумал эту игрушку — жизнь. Думаю, и не ты.

— Что ж ты ее кланешь, ты же еще не знаешь, что это такое.

Игорь, улыбаясь, смотрит на отца.

— Игорь, очнись. Ты хотел в институт готовиться...

— Па, ну кому это нужно? — говорит Игорь с горечью. — Ученых тьма, а что-то не видно, чтобы жизнь от этого стала лучше.

— Тебе просто лень, — вздыхает Гусев.

— А какой смысл напрягаться?.. Все хорошее уже схвачено — ты маленький что ли, не видишь, что происходит вокруг?

— А что происходит?

— Па, не обижайся... Но вы все, учителя, немножко дебилы: то ли не видите ничего, то ли у вас мозгов не хватает.

— Все от того, что лень! Ты одежду в жизни за собой не убрал — посмотри, что у тебя в комнате...

Входит жена и с ходу, на нехорошей ноте, вмешивается в разговор:

— Надо было учителей нанимать...

Это старый и больной вопрос в их семье.

— Ты себе часто нанимала учителей?

— Сейчас все нанимают.

— Ну так нанимали бы!

— А ты денег дал?

— Где я их возьму?! — кричит Гусев.

— Все мужчины могут обеспечить свои семьи, — безапелляционно заявляет Гусева. — Вон Валера Коган...

— Валера — проктолог, он в задницу заглянет, ему пятьдесят рублей за это дают.

— Ну так и ты заглядывай.

— В чью?! В свою?! — кричит Гусев.

Сын. Да ладно, хватит вам лаяться.

Гусева (мужу). Хам. (Бежит на кухню, потому что свистит чайник.)

Гусев в изнеможении опускается на стул и устало смотрит на сына.

Игорь лежит на спине и равнодушно ковыряет мозоль на ладони, он давно и стойко презирает их за эти постоянные ссоры...

Гусев (устало). Мать говорит, ты у нее какой-то материал украл.

Игорь искоса, спокойно, как лаборант на кролика, посмотрел на отца.

Тут, услышав про материал, опять в комнату вбегает жена, вытирая кухонным полотенцем мокрые руки, и уже на ходу кричит:

— Бирюзовый!.. В восемьдесят втором году покупала! Разве это мужик? Матерьял! Это в

голову никому не придет... И часы он упер — три пары часов! Скажи, ты украл все мои часы?

Игорь (улыбаясь). Часы я не брал. Гусева (в ярости). Они сами ушли? (Игорь хмыкает.) А духи?!

Гусев. Что, и духи?

Гусева. Все французские духи, что ты мне когда-то дарил.

Гусев (с ужасом). Что — выпил?

Игорь опять хмыкает.

Гусева (в ярости). Что усмехаешься, как дегенерат? (Игорь изменился в лице, но она все равно кричит.) У тебя пустые глаза! Посмотри на себя в зеркало — у тебя звериные зенки! (У Игоря закружилась голова и раздулись ноздри). Читать надо больше! Гусев (перебивая). Ну не надо так.

Гусева (в праведном гневе). А что? Это у него твои глаза. У тебя точно такие глаза. И у родителей твоих тоже такие... (Гусев поправляет очки, еле сдерживается, чтобы не закричать на нее при сыне.) Ты спроси у него, куда он магнитофон дел! Гусев (устало). Какой магнитофон?

Гусева. Совсем отупел? Какой мы ему подарили на совершеннолетие — за тысячу триста инвалютных рублей покупали. (Сыну.) Это подарок — тебя за это убить мало.

Гусев (растерянно). Что — продал?

Игорь (зевнув и потянувшись в кровати). Штаны вон купил...

Гусев растерянно смотрит на свисающие со спинки стула штаны, к которым он привалился.

Гусев. Ммм... сколько?

Игорь. Сколько стоят — шестьсот.

Гусев. Что? (Хватает штаны.) Эта тряпка — шестьсот?!

Гусева. Что ты кричишь — теперь все так стоит.

Гусев. Ты хочешь сказать, что я за такое дерьмо два месяца должен работать?

Жена презрительно хмыкает. Сын говорит наставительно и враждебно, принимая ее сторону:

— Они в валюте тридцать пять долларов стоят.

Гусев вскакивает, швыряет штаны сыну в лицо и начинает кричать, покрываясь красными пятнами:

— Жить надо по средствам! Если ты зарабатываешь честным трудом двадцать тысяч в неделю — носи! Но если тебя хватает только на три рубля в день — носи за пятерку!

Гусева. Чушь собачья... (У Гусева пунцовеет лицо.) Спроси лучше, куда он дел остальные деньги.

Игорь перестает ковырять ладонь, поднимает голову и говорит презрительно:

— Ладно, идите отсюда!

Родители в растерянности. Игорь вскаки-

вает и подталкивает их к двери. Он выше отца на голову, мамы — на две головы. Гусев (*задерживаясь в дверях*). Какой ты все же... подлец.

Игорь (*трясаясь от ярости*). Давай я тебе тоже скажу... ты скучно живешь. Как ты живешь — это не жизнь. Так жить, лучше сразу повеситься...

Вытолкнув родителей и заперев за ними дверь на палку, Игорь начинает одеваться. Натягивает джинсы, кроссовки.

Голос Гусева (*за дверью*). Заметь: поколения, которые презирают своих отцов, не бывают удачливы — это мы уже проходили!.. Голос Гусевой (*презрительно*). Хватит голосить, ты не в классе... (*Доброжелательно.*) Игорек, иди поужинай!

...На самодельном кухонном столе накрыт ужин: непонятная отечественная колбаса, хлеб, две помидорины, нарезан дольками молодой огурец; жареную картошку Гусева выкладывает на тарелку.

...Поверх майки Игорь надевает жилет, выходит из комнаты и открывает входную дверь. Мать тут же появляется в прихожей.

Гусева (*испуганно*). Ты куда?

Игорь (*зло*). Катись отсюда! (*Хлопает за собой дверью.*)

Гусева тут же набрасывается на мужа: — Лучше бы ты не лез, ничего не умеешь! Кидается в комнату к большому окну. За окном темень, горят очень редкие фонари. Слышно, как завывает машинами Минская улица да грохочет по Киевской железной дороге товарняк.

Гусева. Чушь какую-то говорил, не мог сказать, как подобает отцу.

Гусев (*кричит в ярости*). Откуда я знаю, что вам всем говорить?! (*Дрожащими руками наликает себе капель Зеленина и валокордина.*)

Цыгане и другие граждане СССР расположились на ночевку на вытоптаных прежними цыганами и гражданами СССР газонах сквера у Киевского вокзала — спят, обхватив вещи и друг друга, играют в карты, гадают, меняются баш на баш, жуют колбасу с хлебом. Бродят несчастные, брошенные хозяевами собаки.

По тротуару вдоль Киевского вокзала — мимо цветочниц, мимо оставших людей с сумками, скопившихся в очереди на отсутствующий троллейбус, — идут два рослых и крепких парня. Это «краповые береты»: горные ботинки с высокой шнуровкой, темные бриджи, то ли кожаные, как у комиссаров, то ли из кожзаменителя темные матовые куртки, полосатые тельники в вырезах курток, темно-бордовые, краповые береты. Молодые, но уже с твердым выражением лица. Пока еще не

вызывает ужаса экипировка: дубинки, наручники на спецпоясе, укороченные АК. Этот наряд расходится с другим нарядом — воинским патрулем из одного низенького, с испитым лицом майора и двух тощих сутулых солдат. Оба наряда обмениваются быстрыми короткими взглядами.

Прозрачный киоск из затененного стекла. Внутри — в кувшинах — пушистые гвоздики. Продает их красивый и нагловатый парень с бархатными, стригущими по сторонам глазами. Через дорогу другой киоск с таким же стеклом, такими же цветами и таким же нерусским волоокимым парнем.

И третий такой же киоск.

И четвертый.

И такое впечатление, что они держат под перекрестным прицелом всю площадь со всем народом, со всей ее площадной жизнью.

Проститутки недорогого вокзального ранга едят чебуреки, к которым, в очередь, мчитя со всех сторон заинтересованный в еде приезжий и неприезжий люд.

В зал ожидания входит некий мужчина с пьяным и дерзким лицом и с уснувшим мальчиком в сильных, знакомых с физическим трудом руках. Войдя в зал, мужчина тут же принимается голосить:

— Граждане свободной России! Братья из соседних республик! Сестры... Стыдно мне говорить! — Всхлипывая, опускает голову. Пьяно плачет.

Игорь поднимает голову, смотрит на этого мужика и видит его и милиционера, который остановился у стены и тоже смотрит на мужика и похлопывает по ладони длинной резиновой дубинкой.

У Игоря помятое лицо. Мутные нетрезвые глаза за нечистыми захватанными стеклами очков полны тоски и уныния.

Мужчина (*голосит сквозь пьяные слезы*). Жена стояла в очереди за билетами. Мафия ukrала все деньги и документы! Двое детей! Не дайте пропасть русскому человеку!

Попрошайка заливается слезами от жалости к самому себе и от умиления своими словами, собирает хилые подаяния, истово и пьяно благодарит:

— Спасибо, граждане! Дай вам Бог дожить до перестройки... социализма в гуманное общество!

Игорь, не дожидаясь, когда попрошайка подойдет к нему, встает и идет мимо — мужчина смотрит на него быстрым коротким взглядом. Игорь смотрит на него точно так же, будто они в сговоре, и направляется к платному туалету.

...Он заходит в кабину, не закрывая за собой дверь, расстегивает ширинку на американских вареных джинсах, из-за которых все началось, сосредоточенно смотрит на



стену перед собой. В соседнем туалете взвыла спускаемая вода.

В этот момент кто-то сильно и резко ударил его по почкам. Игоря сотрясло, будто хватило мощным электрическим зарядом. Дернувшись, он обернулся и увидел перед собой...

...плотную стену из приезжих, скорее всего казанских, подростков лет от тринадцати до семнадцати. Их жестокие, злые лица, плохую одежду, раскосые волчьи глаза. За ними маячили люди и старались не видеть ничего, кроме своих писсуаров.

Не успел Игорь что-нибудь сообразить, как плечистый и злой подросток, который стоял впереди всех, перегянул его куском стальной трубы в резиновом шланге, вначале по печени и тут же по селезенке. Игорь потрясен — он пытается оказать сопротивление, трезвея и ожесточаясь, отбивается ногами, руками.

Казанцы бьют его обрезками труб, цепями, ногами, стараясь завалить в кабине.

И никто из тех, кто был в этот момент в туалете, даже не пытается сделать вид, что что-то видит.

Наконец Игоря сбили с ног.

Отделение транспортной милиции на вокзале.

Игорь слюнявит разбитые до костей пальцы и осторожно прикладывает к рассеченному с угла веку. Его лицо в кровоподтеках и ссадинах. Он без штанов и бос. Его руки и ноги посечены цепями. Майка порвана. Безрукавки на нем нет.

Игорь сидит в углу на старом эмпээсовском стуле, положив одну голую ногу на другую, и смотрит, как дежурный по отделению пишет на него протокол задержания. По отделению ходит лупоглазый и длинноволосый Юрка Чернов и одаривает милиционеров разными импортными безделицами: сигаретами, зажигалками, брелоками. Он скромно и красиво одет, в широком пиджаке с засученными рукавами.

**Дежурный** (*распечатывая сигареты*). Ну, Юрасик, ты всегда чего-нибудь принесешь. **Чернов** (*одаривая милиционеров*). Пустое, ребята. Вы помните меня, я помню вас... Это и есть дружба. (*Останавливается перед Игорем.*) Слушай, это не тебя там с креста сняли?

Все смеются.

**Дежурный**. Казанским пацанам штаны в туалете отдал. Такой лоб...

Игорь слабо усмехается разбитым ртом.

У Чернова что-то шевельнулось в сердце, он улыбнулся Игорю.

**Чернов**. Мои тебе будут коротковаты.

**Дежурный**. Юрась, ты что?.. Протокол на него пишу. Серегу Бодрова в пах головой

злягнул — три года, козел, получит.

Однако Чернову стало жалко Игоря.

**Чернов**. Да ну, «протокол»... (*Он берет у дежурного листки с протоколом, читает.*)

Тоже мне, Львы Толстые. Возьму на память. У Сереги пах, его танком не прошибешь.

Они весело и с охотой ржут.

Под восхищенно-завистливыми взглядами мужчин восточной национальности Чернов подводит Игоря к «девятке», отпирает дверцу, подталкивает Игоря, потому что Игорь сомневается, стоит ли ему садиться в машину.

Чернов вставляет ключ в замок зажигания, пускает двигатель, выжимает сцепление, переводит кулису. Восточные мужчины заглядывают к ним сквозь стекла, облепили, как мухи.

**Чернов**. Иди, ара, иди... Здесь нет гомиков... **Мужчина**. Слушай, потом познакомь, а?

Лихо, как на гонках, срывается машина с места, Игоря вдавливают в сиденье.

**Чернов**. Как не в Москве живу... Ислам... Наступление ислама... Наши все за границу, а эти сюда... Извини, конечно, я не расист, но я живу в России, и мне хочется хоть иногда видеть русскую морду... Ну хотя бы такую, как у тебя... (*Он смотрит на Игоря.*)

Игорю кажутся странными его светло-голубые, почти прозрачные, большие, навывкате глаза и несколько страшным и непонятным то, что таится в них. Чернов смотрит на голые Игоревы ноги и непонятно улыбается. Игорь мрачнеет, поджимает ноги и отвечает:

— Мы, русские, — гады.

Чернов отвечает улыбочиво, он вообще очень улыбочив и очень опасен. От него просто идут эти флюиды опасности.

**Чернов**. С чего вдруг, парень?

**Игорь** (*с непережитой, еще свежей обидой*). С жизни... Все друг друга поддерживают: и чурки, и азики, и дети гор — только не русские. У русских главное — только было бы мне хорошо... Суки все русские. Мы гнили и будем гнить...

В углах губ у Чернова появилась улыбка обиженного достоинства. Он глянул на Игоря, в глазах мелькнуло жесткое, оценивающее выражение. Но ответил почти с иронией:

— Знаешь, парень, как сказал Пушкин, когда я ругаю отечество, это хрен с ним, это нормально... Но когда ругают чужие, мне делается не по себе. (*Он опять посмотрел на Игоря и опять в глазах мелькнуло холодное выражение.*)

**Игорь**. Я не чужой.

**Чернов**. От этого обидней всего.

«Девятка» Чернова, между тем, на большой скорости делает разворот на вокзальной площади — все эти встречные машины, дома

и деревья сквера, кажется, мчатся на них, вызывая головокружение,— минует сквер, улицу, въезжает под мост и останавливается перед светофором.

Рядом с ними со стороны Чернова останавливается серая неброская «Волга» без каких-либо особых знаков отличия. В «Волге» три милиционера.

Офицер присматривается к Чернову, вынимает фотороботы, сравнивает, оборачивается назад, переглядывается с сержантом, протягивает фотографию.

Сержант смотрит на фотографию, на Чернова и поправляет лежащий на коленях автомат.

Чернов засек, что его разглядывают,— на лице безмятежное улыбочное выражение, но уголок левого глаза сечет ситуацию.

Игорь, приложив в глаза разбитые в драке очки, рассматривает внутреннее убранство машины Чернова.

Машина ухожена и любима: панель, рычаги, руль. Темно-серые мягкие чехлы на сиденьях, тем же материалом оклеены панели. Стереомаягнитофон. Радиотелефон между сиденьями. У спинки заднего сиденья опущена панель с чем-то цилиндрическим, укрытым от посторонних глаз чехлом из того же темно-серого материала.

Почувствовав на себе взгляд, Игорь поднимает голову и встречается с прищуренными напряженными глазами милицейского сержанта на заднем сиденье «Волги». Они испытующе глядят друг на друга, будто пытаются вспомнить или узнать...

Следя за ситуацией уголком глаза, на зеленый свет светофора Чернов отжимает сцепление, переводит кулису. Могуче взревев двигателем, «девятка» срывается с места и, нагло вырвавшись на правительственную полосу, летит по ней, как птица-тройка. Кружа голову, мчатся навстречу автомобилю, дорога.

Игорь оборачивается и видит, что серая милицейская «Волга» идет за ними. Офицер милиции о чем-то говорит по радию. Игорь оборачивается к Чернову и видит, что тот абсолютно спокоен. Он опять оборачивается на серую «Волгу». Милицейский офицер отводит от уха трубку. «Волга», демонстрируя мощный мерседесовский двигатель, настигает их, обходит — ее пассажиры внимательно смотрят на Игоря, на Чернова,— и неожиданно оставляет их, сворачивая в боковую улицу.

Опять светофор. Чернов останавливает машину, смотрит на Игоря и улыбается. Игорь почему-то мрачнеет.

**Чернов.** Что ж ты, «русский»... Такой здоровенный парень, такие плечи — и перед каждой падлой штаны снимать?

Игорь хмыкнул, зло посмотрел на него и сказал:

— Хотел бы я посмотреть на тебя... на моем месте.

— Хотел бы? В натуре?.. И что бы увидел?

— То же, что видишь ты.

— Нет, милый, не то.

Чернов резко — как раз загорелся зеленый свет — развернул машину и припарковался у тротуара набережной Москвы-реки.

По набережной идет кодла — человек пять — крутых и резких ребят лет семнадцати-восемнадцати.

**Чернов (открывает дверцу).** Эй, парни, идите сюда.

**Из группы.** А закурить есть?

**Чернов (вылезая из машины).** Все будет.

Ребята, переглянувшись, идут к нему. Это на самом деле крутые ребята с жесткими суровыми лицами. Кто-то из них говорит: — Кинем деда — возьмем тачку?

Старший огляделся — место было нормальное, чтобы «взять», — и согласно кивнул.

**Из группы.** Только смотри, если дашь не «Мальборо», поплывешь на тачке по Москве-реке.

Остальные заржали.

Чернов шевельнул плечами, пошел навстречу. Он был невысок и не сильно крут телом, особенно перед такими ребятами. Однако он накинудся и начал лупить их.

Игорь от удивления вытаращил глаза и поправил на лице треснутые очки.

Одного, самого рослого, Чернов завалил с прыжка ударом ноги в живот, второго — кулаком правой руки в шею, третьему дал апперкот с левой.

Крутые ребята кинулись врассыпную, отбежали подальше, начали материться, кричать.

**Из группы.** Дурак со сдвигом! Убьем паду! Блин трухлявый!

Чернов сделал вид, что что-то выхватил из кармана, и кинулся на них. Ребята дрогнули и побежали.

Чернов сел в машину, развернул ее, нарушая правила, и помчал в прежнем направлении.

**Чернов.** Что-нибудь понял?

**Игорь (хмуро, без восторга).** Приемы знаешь.

**Чернов.** Только один. Все люди трусы. Заметь, парень, все. И тот, кто начинает драть всех, тот хозяин над всеми.

**Игорь (с хмурой иронией).** Ты, конечно, хозяин... над всеми...

**Чернов.** В какой-то мере я, парень, хозяин. Ты кто?

**Игорь.** А ты?

**Чернов.** Человек. Только не тот, который «человек — это звучит гордо». Я ненавижу этих вонючих писателей.

**Игорь.** Я тоже.

Чернов протянул ему руку. Игорь протянул свою. Они изо всех сил, испытывая друг друга,жимают ладони.

Голос по громкой связи. Водитель семь семь семнадцать, прижимитесь к обочине.

По трассе длинные темные, как тени, бесшумно несутся в сопровождении автомобилей охраны правительственные машины.

Чернов. Вот они... мечутся перед смертью... (Он вывел «девятку» на трассу и внезапно погнался за кавалькадой.)

Набиту бы полную тачку тротилом и врезаться хоть в одного. Голос по громкой связи. Водитель семь семь семнадцать, прекратите движение!

Чернов (в трубку радиотелефона). А ху-ху не хо-хо? (Но все же замедляет движение, сворачивает на развилке. Игорю.) Слушай, а ты вообще мог бы убить человека?

Игорь мрачнеет. Отвечает не сразу.

Игорь. Не знаю... вряд ли...

Чернов (весело, бесовски поглядывая на него). В этом нет ничего страшного, и вообще интересно: был и нету... (Игорь, не веря, смотрит на него.) Знаешь, что при этом испытываешь?

Игорь (еле выдавливая из себя). Мерзость.

Чернов. Вдохновение. Будто его сила соединяется в этот момент с твоей.

Игоря охватила рвотная судорога, он приложил руки ко рту.

Игорь. Останови.

Чернов останавливает машину. Игорь вываливается из нее, блюет и кашляет на обочине. Чернов. А вообще — это как в шахматах. Поскольку есть погусторонний мир и Бог, ты просто переставляешь его с одной клетки на другую — из одной жизни в другую. Игорь (отплеываясь). От этого весь бардак, что человека двигают и не спрашивают, чего он хочет.

Чернов. Бардак как раз от того, что стали спрашивать. Держи. (Он кинул Игорю литровую пластиковую бутылку с водой «Евэн».) Ополосни и пасть и рыло... Ты или убивал, или много видел, как убивают.

Игорь ополоснул лицо, набрал воды в рот, сплюнул, вернулся в машину и молча отдал бутылку.

Чернов (присматриваясь к нему). Сколько тебе лет, Игорь?

Игорь. Вроде бы девятнадцать.

Чернов. Почему «вроде бы»?

Игорь. К слову.

Чернов. Почему ты не в армии?

Игорь. Дембельнули.

Чернов. По зрению?

Игорь. Из-за морды.

Чернов (иронично). Кирпича просила?

Игорь (хмыкнув). Может быть, и просила... Она у меня была красная и отекала.

Чернов. Ну это тебе повезло.

Игорь. Вряд ли мне повезло. (Спокойно

посмотрел на Чернова.) Вряд ли мне вообще когда-то везло...

Чернов понял, кивнул на его здоровенные бицепсы:

— Сантиметров сорок?

Игорь (сдержанно). Было сорок четыре.

Чернов. «Качок»?

Игорь. Да так... для себя.

Чернов. Где ты работаешь?

Игорь. Ничего что-то пока не найду... чтобы душа лежала.

Чернов. А что ты сидел на вокзале?

Игорь. На вокзале? (Он хмыкнул и посмотрел на Чернова, в глазах Игоря мелькнули боль, тоска и страдание.) Да вроде из дома ушел...

Чернов. Зачем?

Игорь. Да так... (У него дрогнули ноздри. Он стиснул зубы и сощурил глаза.) Понимаешь, никому я не нужен...

Чернов (очень серьезно, проникновенно). Вот это я как раз понимаю... Другое бы я не понял, а вот это я понимаю...

Игорь (доверительно, как на исповеди). Я и не был никому нужен, меня с двух лет спихнули бабке и деду...

Волнуясь, переживая, Игорь начинает сдирать подсохшую ссадину в уголке глаза.

Чернов отводит его руку.

Чернов. Не трогай.

Игорь (испытывая благодарность за заботу). Они меня, конечно, любили... особенно дедушка... Мы с ним на пруд ходили...

Чернов озабоченно смотрит на часы, пускает двигатель, разворачивает машину.

Чернов. Мне надо кое-куда заглянуть — я же по делу еду.

Игорь. Какой разговор.

Чернов. Ну а насчет того, что я к тебе имею... Мы оба русские — ты и я — разве этого мало?

Игорь. Нормально.

Чернов резко, на повороте, тормозит машину — перед ними, через ветровое стекло, бескрайняя панорама ночной Москвы с Ленинских гор.

Чернов. Смотри, это несчастный, занюханный город, Москва. А ведь неплохо. Это столица русских.

Игорь. Я-то вообще, если честно... люблю Москву...

Игорь не может говорить это слово — «люблю», выталкивает его из себя с трудом. Чернов замечает это, видит в нем проявление искреннего человека.

Чернов. Я думаю, она не в обиде... особенно сейчас, когда никто ничего не любит.

Игорь молчит. Чернов аккуратно вырубивает из сквера — за окном плывет будто дышащий огненный океан ночной Москвы. Чернов (изучающе смотрит на Игоря). Ты там можешь что-то увидеть, что-то услышать, но избави Бог кому-то сказать об

этом — ты не будешь дышать, это уже не юмор.

Игорь воспринимает предупреждение очень спокойно, протирает стекла очков вытасканным из трусов подолом майки.

**Игорь** (*надевая очки*). Ну поехали — я понял.

Чернов выжимает сцепление, переводит кулису, давит на акселератор. Завизжав шинами, машина срывается с места.

На Поклонной горе — развороченная бездарным незавершенным строительством земля. Сведенный на нет парк. Громоздится над всем этим безобразием недоделанный купол мемориала Победы. Здесь, в тени одного из нетронутых островков деревьев, притаилась машина Чернова.

Игорь в машине один. Настороженно прислушиваясь к нетихой городской тишине, оглядываясь по сторонам, Игорь шурует в «бардачке»: сигареты, презервативы, армейские индпакеты, йод — все аккуратно сложено. Игорь закуривает «Мальборо», небрежно запикивает все назад и ныряет к заднему сиденью. Под чехлом на выдвижной панели руки нащупывают что-то гладкое, цилиндрическое, твердое. Тесемка затянута туго, с трудом поддается ногтям и зубам. Роняет сигарету. Не сразу находит ее. Тлеет и прогорает синтетический чехол. Игорь плюет на палец, затирает огонь. Потом развязывает тесемку, стаскивает чехол, под ним проблесковый маяк, который устанавливается на машинах специального назначения. На лице Игоря удивление и настороженность. Но чехол он напяливает на маяк плохо, небрежно. Открывает ящик бара. В баре вино, коньяк, виски, водка. Игорь предпочитает вино, ловко выбивает кулаком пробку. Наливает в большой бокал и с ходу выпивает граммов триста.

В это время затрещали автоматные очереди, защелкали частые пушечные выстрелы, закричали раздраженные голоса, ахнула граната.

Игорь удивленно дернулся, поправил очки и, не выпуская из руки бутылку, выскользнул из машины.

Он продирается сквозь кусты. Таясь, выходит из-за деревьев. Поправляя на лице очки, вглядывается в ночную тьму и допивает из горлышка бутылки вино.

Вдоль бетонки бесшумно и легко, позвериному бежит человек в черной маске. Он перелетает через вырытую траншею, оглянувшись, залегает за валом земли, широко расставив ноги и наведя автомат «узи» в ту сторону, где темнеет купол. Там кто-то мелькнул, человек в маске открывает огонь. Он почти рядом, метрах в двенадцати.

Игорь поправляет очки, приглаживает волосы и идет на него.

Человек как раз менял магазин с патронами, когда Игорь, подойдя сзади, схватился за короткий автоматный ствол и с такой силой дернул автомат на себя, что упал на землю, больно ударившись спиной о какие-то корни и далеко перебросив через себя человека в страшной ритуальной маске.

Игорь вскочил. Человек тоже вскочил, оказавшись таким же высоким, как Игорь, и кинулся на него.

Он был умелый боец, не успел Игорь очухаться, как он отходил его вытянутыми черными руками с розовыми ладонями по всем болевым точкам.

Игорь только успевал вскрикивать и дергаться от ударов, потрясенный ими, не в состоянии оказать хоть какое-нибудь сопротивление. Что-то ему не везло сегодня. Но он все же собрался и, как палицей, двинул противника автоматом. Ухнул гранатный разрыв, послышался топот ног и возбужденные голоса. Негр выхватил нож и метнул в Игоря, норовя попасть в шею. Игорь, скорее наугад, потому что без очков ничего толком не видел, прикрылся автоматом. На этот раз судьба была благосклонна к нему; нож взвизгнул, скользнул по металлу, откошетировав, по рукоятку впился в землю.

Ухнул еще один взрыв. Негр растворился в темноте. Загрохотала на стыках ночная электричка. В освещенных окнах — редкие пассажиры.

Вместе с Черновым их было семь человек — все как один крутые, накачанные ребята. Все в черном и в черных шерстяных шлемах-масках, в кожаных перчатках и с автоматами. Все раздосадованы поражением. Чернов сохранял спокойствие и улыбался.

**Чернов** (*на ходу*). Ну нормально поговорили. Они оказались хитрее и поставили вторую засаду. Кто там орал? Кого-нибудь замочили?

Ответил Сережа, парень с умными и быстрыми «притатаренными» глазами:

— У нас никто не орал... Федю чуть примочили.

**Федя**. Я вообще молчаливый.

**Чернов** (*весело*). Нет, ты можешь орать — где-нибудь с девочкой. (*Все ребята заготовили.*) Но на деле не надо — техника сейчас такова, могут по голосу прокачать и вычислить. Тем более Федю — Федя везде на учете...

Это было как похвала. Они опять с охотой заржали и тут увидели Игоря. Игорь ползал на корточках по земле и искал очки.

**Чернов**. А ты что делаешь, тевтонский рыцарь?

Невольно застонав — так сильно болела шея и все тело, — Игорь поднялся с земли и ответил шутливо, как все они говорили:

— Да так, вышел чуть-чуть поползать...

**Анзор**. Это он орал.  
**Чернов** скользнул по Игорю взглядом:  
— Э-э-э! Откуда у тебя автомат?

**Игорь.** Да тут один худой пробегал, на, говорит, на память.

Ребята с охотой заржали. Чернов взял у Игоря автомат.

— А почему без рожка?

**Игорь.** Сильно спешил, рожок позабыл отдать.

Ребята опять заржали. Белобрысый парень Антон поднял с земли окончательно добытые очки и протянул Игорю:

— Твои?

— Были мои.

**Чернов.** Ну ты ничего, крутой парень — только пришел, и уже своя пушка, будешь у нас первый номер.

И опять ребята слúшали, что он ответит.

**Игорь.** Да это тебе. Он говорит: тут такой, с такими глазами... (*Игорь вытаращил глаза, ребята опять заржали, он договорил под их смех.*) ...бегаает, отдай, говорит, ему, он мне страшно нравится. Так что бери.

**Чернов** (*чуть посерьезнев от его прыти*). Ну спасибо... По нашим правилам это добыча. Мы дадим тебе семьсот долларов, столько он стоит.

**Игорь.** Да ну их.

**Чернов.** Тогда двадцать тысяч рублей.

Ребята смотрят то на одного, то на другого.

**Игорь.** Да ну их.

**Чернов** (*несколько обиженно*). Чего же ты хочешь?

**Игорь.** Ну если ты очень хочешь... дай мне свою телегу.

Ребята опять заржали, и Чернов вместе с ними.

**Чернов.** Вы смотрите — такая простая рожка, вся в пятнах, и уже такой умный!..

Несмотря на то что он был гол, озяб и все у него болело, Игорь чувствовал себя среди этих веселых, постоянно ржущих ребят все лучше и лучше. От их близости, от их лиц и крутых фигур, от того, что они сразу признали его, и от их оружия в нем росло ощущение настоящего мужского братства, с которым раньше он был знаком только по книгам Хэмингуэя и Ремарка.

**Чернов.** Это моя гвардия, лучшие из лучших, вы еще познакомитесь... Денис прав, надо было вести от аэропорта...

**Анзор** (*с усмешкой глядя Чернову в глаза*). Ну, в натуре, Юрий, если пошел такой разговор, ты должен дать крошке телегу...

Стало тихо. Чернов усмехнулся и бросил Игорю ключи от машины.

**Игорь** (*поймав ключи*). Спасибо.

**Голос** (*истошно*). Ложись!

Они рухнули, как стояли.

На бетонированную дорожку парка бесшумно вылетел черный, без огней лимузин и погнался на них. Над опущенными стеклами непрерывно строчили в пять автоматов. Пули рубили на деревьях ветки, отбивали кору, вспарывали вокруг землю, но они лежа-

ли за земляным валом от вырытой, а потом забытой траншеи.

Лимузин остановился. Из него, не давая поднять головы, беспрестанно долбили из автоматов.

**Чернов** (*вжимаясь в землю*). И это иностранные студенты в России — посланцы мира и доброй воли.

Стреляя, машина пронеслась мимо. Все ударили вдогон из АК.

— Во, блин, бронированная, — ахнул кто-то.

— Не ху-ху, а хо-хо.

Чернов, услышав, что пищит, включил ВТ и приложил к уху.

**Голос из рации.** ...ОМОНа третьего подразделения выехать блокировать парк, произвести задержание и изъятие всех видов оружия.

**Чернов.** Распылились.

Боевики вскочили с земли, и каждый кинулся к тому месту, где в тайнике у него стоял мотоцикл.

Четверо ребят прыгают в битую-перебитую, мятую-перемятую «шестерку». «Шестерка» срывается с места.

Срываются с места мощные мотоциклы — один, второй, третий, четвертый...

Над парком — мощный рев их двигателей.

Чернов и Игорь в машине. Чернов видит, что в «бардачке» копались, что чехол на проблесковом маяке надет небрежно. Смотрит на Игоря. Игорь невозмутим.

**Чернов.** Слушай, маленький, если чего берешь, делай, как было, а то о тебе будут плохо думать.

**Игорь** (*с вызовом*). А я брал?

**Чернов.** Брал.

Игорь с презрением хмыкает. Между тем выпитое вино разбирает его.

Машина мчится по запутанным неосвещенным аллеям парка. Молочный неживой свет от приборного щитка «девятки» подсвечивает лупоглазое лицо Чернова, превращая его в страшную гипсовую маску. И когда он мельком поглядывает на Игоря, непререкаемая и жесткая воля отпечатана на его лице.

Чернов отрывает правую руку от руля и тянет ее к Игорю.

**Чернов.** Дай твою руку. (*Игорь невольно отдергивает ее.*) Не бойся, дай! (*Он одержимо, как сумасшедший, хватает Игоря за руку. Игорь чувствует какие-то непонятные толчки в руке и содрогается.*) Вот так. Ты понял? Слышишь, как идут токи?..

Игорь слышит и видит, как две сплетенные в рукопожатии руки будто светятся и подергиваются от напряжения, над ними мелькнула змейка, как во время грозы на черном небе.

Чернов от удовольствия хохочет.

**Чернов.** Ты мой биологический тип. А я твой! (*Его зубы и его глаза становятся с каждым словом все ярче и все белес.*) Ты будешь давать силу мне. Я — тебе.

Игорь пытается освободить руку. Чернов поворачивает к Игорю голову и смеется, обнажая белые фарфоровые зубы. На месте резцов — два небольших клыка.

Мчатся навстречу машине деревья, едва не врываясь в ее огромные окна. Игорь, сжав зубы и прищурив глаза, смотрит на эту сумасшедшую круговерть.

**Чернов.** Что ты видел там — ерунда. Мафия из иностранных студентов. Зарабатывают на наших девочках и нашей разрухе. Мы считаем это несправедливым. Это наша земля, наши деньги и наши проблемы. (*Чернов опять смотрит на Игоря. В его глазах могучая и недобрая воля.*) Но ерунда со смыслом. Идет другая цивилизация. Нужны жесткие сильные люди, потому что слабые уже были, они все довели до дерьма, потому что слабые ни на что другое никогда не способны... (*Одержимо, плотно выставляя каждое слово.*) Весь мир сидит в этом дерьме, мы — чистильщики, ты понял?.. Мы чистим это дерьмо... Никто не знает, что мы уже есть, и не должен знать. (*Он опять смотрит на Игоря.*) У тебя хорошая жесткая морда, парень. Ты нам годишься.

Игорь делает попытку освободиться.

**Игорь.** У меня такая морда, потому что ее сегодня три раза били.

**Чернов.** Я вижу суть... Сегодня тебе здорово повезло: сегодня ты можешь сделать выбор, и я знаю, что ты его уже сделал.

**Игорь** (*поспешно и твердо*). Я просто ушел из дома и ничего не знаю.

Чернов засмеялся в ответ и с мелькнувшим презрением глянул на Игоря.

**Чернов.** Нет, парень, ты не просто ушел из дома, ты чесанул из автомата по дипломатическому автомобилю — и это все видели... Ну что, маленький? Наделал в штаны? (*Чернов загоготал и хватанул его между ног.*) Да нет, еще сухо... (*В этот момент машина вылетела на освещенный проспект, внутри сразу стало хорошо видно. На веселом лице Чернова после последних слов появилась смесь уважения и удивления.*) Несчастливая Россия — ты понял? А мы ее дети — и это наша судьба.

На самой середине шоссе, что рядом с Триумфальной аркой в честь героев Отечественной войны 1812 года, голосовали две симпатичные девочки — радостные, пьяненькие.

**Чернов.** То, что тебе надо. Берем для доброты?

Игорь пьяно глянул на свои голые ноги.

**Игорь.** Вообще-то я без штанов...

**Чернов.** Скажем, что ты шотландец.

**Игорь** (*икнув*). Вообще-то я и без юбки.

**Чернов.** Скажем, что потерял.

**Игорь.** Тогда конечно.

Завизжали заторможенные колеса. Игоря потянуло к ветровому стеклу.

Девочки кинулись в автомобиль с криками:

— Командир!

— Мастер!

— Стоять!

— В центр!

Чернов высунулся в окно — девочки выглядели чистенькими, непотасканными, одна с темной гривой, другая с выбеленными короткими волосами под мальчика.

**Чернов.** Что, милые, спиданемся?

**Стриженная под мальчика** (*пытаясь открыть дверь*). Отвали, красавчик.

Но в машину полезли обе, задирая юбки над хорошими ножками.

**Одна девочка.** В центр — рысью! — плачу.

**Другая девочка.** Ой!.. Этот уже без штанов...

**Чернов** (*трогая машину с места*). Потому что он иностранец...

**Игорь.** Шотландец.

**Чернов.** А штаны позабыл в посольстве.

**Игорь.** А юбку сняли.

**Стриженная под мальчика** (*брезгливо, с опаской*). А почему он весь в пятнах — случайно, не сифилитик?

**Игорь** (*пьяно*). А как же!

**Чернов.** Он не понимает по-русски. Очень отзвучивый парень... Никого не трогаем, не шалим, примуса починяем.

**Стриженная под мальчика.** Но вообще — если вы насчет того, чтобы насиловать, — это у вас не пройдет, у нас газовые баллончики.

**С пушистыми волосами.** Мы только за валюту.

**Чернов.** Валюты у него — завались!

**С пушистыми волосами.** Пусть покажет. (*Теребит Игоря.*) Ты, хмырь, покажи валюту...

**Стриженная под мальчика.** И вообще — если что, наши ребята из-под земли достанут, и вам не захочется жить.

Чернов как-то странно дергает шей и, оборачиваясь, упирается в них пистолетом.

**Чернов.** Когда мне грозят, я балдею. А ну сумочки — обе!.. Обе!!!

**Игорь.** Ты куда правишь?!

Игорь хватается обеими руками за руль и спасает их от аварии — машина едва не врезалась в автобусно-троллейбусную остановку, она катит по тротуару, Игорь едва вырывается между деревьями и киосками.

Чернов бросает обе сумочки себе под ноги.

**Чернов.** Ну несчастное государство... Все мальчики хотят быть рэкетирами, все девочки — проститутками. «Давай, дед, давай, сейчас себе наворую, а потом и тебя не забудем»...

Говоря это, он сильно давит девочек —

то одну, то другую, — упираясь стволом пистолета в живот. У девочек от страха вылезают глаза из орбит, расширяются зрачки, они испуганно ойкают и задыхаются.

Игорь, обхватывая товарища, пытается утихомирить. Чернов сбрасывает его руки. Игорь опять лезет, увещевая словами:

— Ну нет, Юр, ты не прав!.. Юр..

Чернов. А ну быстро, обе сняли штанишки. Обе! Быстро! Быстро!

Девочки медлят, он начинает бить их по щекам. Девочки визжат и плачут. Игорь пытается утихомирить Чернова, схватить за руки.

Чернов. Уйди, застрелю, падла, уйди...

Стриженная под мальчика. Ребята, все будет, только не убивайте.

Чернов. Умница. Делайте ему хорошо.

Стриженная под мальчика. Обе?

Чернов. Обе. Сразу. Бесплатно. Из чувства патриотизма.

Девушки переглянулись и согласно кивнули. Но тут возразил Игорь Гусев:

— Не, я не буду.

Чернов. Будешь. (*Вынимает из бара бутылку водки.*) На, пей.

Игорь пьет прямо из горлышка. Не отрываясь, выпивает половину бутылки.

Чернов. Хватит, оставь другим.

Игорь. Спасибо.

С пушистыми волосами. А нам можно?

Чернов. Вы на работе. (*Пьет сам и тут же хмелеет.*)

Игорь открывает дверцу, высовывает на улицу голые длинные, порезанные, в синяках ноги. Чернов хватает его.

Чернов. Куда, маленький?

Игорь. Не, я так не хочу.

Чернов. Стоп... А как хочешь?

Игорь (*Заплетающим языком*). Я хочу, чтобы я любил... Чтобы меня любили.

Чернов (*заплетающимся языком*). Долго придется ждать.

Игорь. Ну я пойду, подожду...

Тут стриженная под мальчика блондинка, изрядно пригубив водки, выскакивает за ним с бутылкой, начинает тормозить, целовать, бить по щекам:

— Вер-рнись... Вер-рнись...

Игорь. Извините... некогда... Спасибо.

Чернов выходит из машины и начинает стаскивать со стриженной девушки колготки.

Девушка с пушистыми волосами тоже выскакивает из машины, но уж как-то совсем неловко — натягается на Игоря, все падают. Игорь роняет и окончательно добивает очки. Стриженная девушка дробит их каблуком.

Игорь, пошатываясь, идет в арку дома. Чернов. Куда?

Игорь не отвечает.

Ревут двигатели. Идут БМП со спецназом — защитные шлемы на головах, бронжилеты, укороченные десантные автоматы,

дубинки, насупленные мальчишеские лица, спрятанная в глубине глаз растерянность — возвращаются с операции в парке Победы.

Все спецназовцы поворачивают головы в одну сторону — к «девятке» Чернова, куда, обнажая хорошенькие ножки, садятся обе девицы и где Чернов, стоя у дверцы, машет колготками, словно флагом.

БМП, ревя двигателями, входят в тоннель.

Игорь возвращается домой под утро.

Мама открывает дверь, видит сына — избитого, порезанного, в трусах, изодранной майке.

Мама (*стонет*). Игорь!

Игорь (*шагнув в квартиру*). Ладно, ма, иди...

Мама (*сурово*). А ну дыхни.

Игорь дыхнул. Она тут же вцепилась не красивой, испорченной стирками и тасканием тяжестей рукой ему в волосы и стала дергать столько раз битую за эту ночь голову и приговаривать:

— Негодяй... негодяй... негодяй...

Вся боль вздыбилась в его голове, шее. У Игоря от боли перекошилось лицо. Наконец она перестала дергать.

Игорь (*миролюбиво*). Все? Иди спи... Пока...

У него из носа хлынула кровь. Он зажимает нос рукой и идет к себе в комнату. Мама (*сурово вдогонку*). Где был?

Игорь плотно закрывает за собой дверь. Мама ломится в нее:

— Игорь... открой, Игорь... я тебя предупреждаю: ты отца в могилу загонишь... Алкоголик несчастный!

Игорь стоит, налегая всем телом на дверь. У него усталое измученное лицо.

Днем к дому Гусевых подъезжают два черных мотоцикла. Они снимают черные шлемы и оказываются Антоном и Максимом, двумя белокурыми симпатичными боевиками Чернова.

Макс заходит в подъезд.

Антон остается у мотоциклов. Он открывает багажную сумку у заднего колеса своего мотоцикла. Там поблескивает темная стальная игрушка — десантный автомат Калашникова. Он достает сигареты и закуривает.

Открывается замызганная, заляпанная руками дверь в комнату, чье убранство говорит о небольшом достатке учителя Гусева, на цыпочках входит его жена и шепчет от порога. Гусев сутулится за столом в очках для чтения и проверяет письменные работы учеников.

Гусева (*шепотом*). Какой-то парень к нему приехал... Такой симпатичный. С благородным лицом. Наверное, студент. Правда, весь в коже.

Гусев (*меняя очки для чтения на очки для дали*). Может, мне выйти, поздороваться с ним?.. А то как-то я...

Гусева. Ну конечно — ты совсем задолбил его. Так тоже нельзя... (*Гусев стаскивает с себя рваную домашнюю рубашку*). Вон Попаковский все время с сыном, так его сына со второго курса зовут в Америку.

Дверь в комнату Игоря плотно закрыта. Громыкает «металлом» плохонький магнитофон. Игорь хмуро сидит на незастеленной, всклокоченной после сна постели. Красивый и любезный Макс сидит рядом.

Макс. Ну ты, в натуре, чего на тебя нашло? Тачку Юрасику всю помяли.

Игорь (*хмуро*). Ты откуда узнал, где я живу?

Макс весело сверкнул синими навывкате глазами.

Макс. Юрасик же протокол читал.

Игорь мрачно смотрит ему в лицо и механически почесывает на руке шрам.

Игорь. Ты, в натуре, чего колотишь?.. Я в протоколе записан как Иван Куралесов. Адрес я там сказал «улица Дружбы», а это — Довженко...

Макс смеется в ответ. У него белые как фарфор зубы. Но слишком большие резцы, почти как клыки. Игорь видит их, в его глазах появляется ужас.

Постучав в дверь, в комнату быстро и жизнерадостно — так быстро и жизнерадостно, как позволяют ему умение и теснота, — входит отец Игоря. Он переоделся в приличные брюки, рубашку, спортивную обувь.

Гусев. О! У тебя гости — не помешаю? (*Жизнерадостно протягивая руку, он идет к вставшему навстречу ему лучезарному Макс*). Здравствуйте, меня зовут Николай Иванович.

Макс (*пожимает, склонив голову, его ладонь и стучает каблуками*). А я тезка вашего Игоря — меня зовут Игорь.

Гусев стремится пошутить, но шутка не приходит в голову, помявшись, спрашивает почему-то жалобным голосом:

— Работаете или учитесь?

Игорь (*раздраженно*). Па, ты иди пока — а?

У отца от обиды дрогнуло лицо. Ссутулившись, он пошел к себе.

Жена окликнула его из кухни, она висела на телефоне.

Гусева. Чего так быстро? Сусанна, оказывается, вышла замуж за француза, теперь будет жить в Париже! Малик поступил в Сорбонну!

Он не ответил, она и не слушала.

...Макс плотно прикрыл дверь в комнату. Встал у косяка, спиной к стене, достал из сумки пистолет, глушитель, накручивает его на ствол.

Игорь хмуро смотрит на это и ковыряет лицо. Он в старых некрасивых очках, но

видит в них хорошо.

Макс. Если бы ты знал, как мне не хочется делать это.

Игорь. Ты что... (*Игорь приложил палец к виску и покрутил им.*) ...вообще стебанутый?

За дверью громко позвала мама:

— Мальчики! Кушать готово!

Макс тут же прижался к стене и вскинул пистолет на голос.

Игорь. Сейчас, ма! (*Негромко.*) Их тоже шлепнешь?

Макс. Они же видели меня.

Игорь встает с постели, потягиваясь и зевая. Под следящим за ним пистолетом идет к шкафу. Выбрасывает оттуда свои старые шмотки. Ничего не найдя, вынимает солдатскую форму. Она вся грязная и в крови.

Макс. Ты, в натуре, — у тебя другого нет?

Игорь (*надевая грязные солдатские брюки*). Зырь... (*Кивает на шкаф.*) Что было, то сплыло... Из остального вырос...

Застегивая на ходу рубашку, Игорь, а следом за ним Макс с пистолетом в руке выскальзывают из квартиры.

Прижавшись спинами к противоположным стенкам кабины лифта, они смотрят друг на друга: Игорь — хмуро, Макс — весело. В его руке пистолет.левой рукой, спохватившись, Макс вынимает из сумки три банковские упаковки — две пятидесятирублевых и одну сто-рублевую. Протягивает Игорю:

— Твои.

Игорь (*враждебно*). Чего вдруг?

Макс. «Узи» — забыл?

Игорь хмыкает. Берет деньги. Пытается затолкнуть в карман рубашки, они не лезут туда. Тогда кладет их в карманы брюк.

Лифт, дернувшись, останавливается. Заскрежетав, откатывается дверь.

Игорь выходит из лифта первым. Макс идет следом, держит руку с пистолетом в сумке, ствол направлен Игорю в спину.

Навстречу, стремясь успеть, пока не задвинется дверь лифта, бежит девушка с афганской борзой. Борзая облизала Игоря, Макса.

Игорь задерживается у почтовых ящиков. Находит глазами ящик под номером 18 и заталкивает в щель все три банковские упаковки с деньгами. Они толстые и еле пролезают в щель.

Выходя на улицу, они сталкиваются с женщиной-почтальоном.

Мама Игоря выходит из кухни, поет на ходу.

— Мальчики... — она задерживается перед зеркалом, поправляет волосы, — ...мы вас ждем.

Она открывает дверь — в комнате сына никого нет. Валяется на полу скомканная и



брошенная одежда. Незаправленная, съехавшая почти до пола постель.

Громыкает «металл» в скромном советском магнитофоне.

В комнату входит папа.

Мама и папа Игоря стоят друг за другом у окна...

...и видят, как срываются с места два черных мотоцикла. Видят своего сына в зеленой солдатской одежде и черном защитном шлеме.

Гусев (*кричит*). Мне надоело все, что мешает мне жить! Ублюдок! Дебил! Кретин! Пусть катится к чертовой матери! (*Он впадает в истерику*.) Я не хочу жить!..

Гусев бежит из комнаты. Жена в ужасе ловит его.

Гусева. Коля! Не надо! Коля! А-а-а!!!

Начальник отдела кадров держит в руках его фотографию и говорит:

— А здесь вы в очках...

Игорь. Да. А теперь в линзах. Правда, пока не привык.

Начальник отдела кадров протягивает Игорю отпечатанные в типографии тесты. Игорь смотрит в них и радостно сообщает:

— Это тесты... Как в военкомате. Если бы я ответил на десять процентов больше, меня бы послали в школу сержантов. Ну, я теперь на все отвечу.

...Игорь чувствует затылком чей-то упорный и пристальный взгляд. Он оборачивается и видит в полутемной нише прозрачные, как лед, и пристальные, нечеловеческие глаза на бледном женском лице.

Игорь идет на эти глаза.

Женщина проводит перед своим лицом сверху вниз ладонью.

Игорь останавливается в полуметре.

Женщина берет его левую руку своей правой рукой и резко вскидывает в сторону. (*Эта женщина — финка, которая без изменения внешности, но в разных обликах, пройдет черз весь фильм*).

Эта женщина и Игорь сидят друг перед другом на круглой и голой вершине скалы. Где-то внизу, за ее спиной, поднимается солнце, плывут облака. Они смотрят друг другу в глаза, у них спокойные лица. Они голые по пояс. У женщины юные груди, набухшие. И пристальные нечеловеческие глаза на бледном лице.

Голос женщины. Ты — Водолей, ты всегда говоришь правду. У тебя мощный и сильный корень — твой отец Дракон, твоя мать Обезьяна. Ты никогда не сможешь соврать. Твой конец ужасен... Водолей не знает, что такое робость, с блеском разрешает любые вопросы... Горд, самолюбив, способен к де-

дукции. Его жизнь коротка, он не будет счастлив. Мальчик мой, ты скромн и добр. Земля покрыта черным пологом зла, пришло время уничтожить ее, она мешает светить звездам. Но в этом положе нет ни одной твоей нити. И если ты хочешь, чтобы Господь, когда ты умрешь, взял к себе твою душу, ты должен так просить его: «Господи! Возьми мою душу, когда я умру...»

Женщина протянула к Игорю свои прекрасные белые руки и вошла пальцами в грудную клетку.

Окраина леса. Вечереет.

Игорь оторопело смотрит перед собой и видит заглядывающие ему в лицо пристальные сатанинские глаза Чернова. Он видит приклееную ко рту улыбку, белые здоровые зубы, два клыка, жесткие стальные глаза. Игорь. Я был пьян, что тебе вообще от меня надо?

Чернов. Я хочу, чтоб ты был со мной в одной упряжке.

Игорь. Но я не хочу.

Чернов. Ты захочешь.

...За его головой Игорь видит вершину той самой скалы на фоне бездонного синего неба.

Авторынок. Игорь и Чернов сидят в машине.

Чернов смотрит на Игоря и говорит:

— Иди сделай его.

Группа мужиков яркого восточного темперамента, одетых в вычурные джинсовые костюмы, ведет крикливый гортанный разговор. Среди мужиков выделяется громадный, двухметровый громила с огромными кулаками, которыми он беспрерывно орудует, как поршнями, сбивая с ног то одного, то другого.

Голос Чернова. Они наглые, Игорь. Наглые. У них деньги. У них все. Скоро нельзя будет в Москве говорить по-русски. Они будут иметь наших баб, лучших баб — а ты будешь один, и у тебя не будет даже детей...

Игорь поворачивает лицо к Чернову:

— Почему ты хочешь, чтобы я стал злым?

Чернов. Я не хочу. Это ты хочешь, но боишься, что глупо: силы добра уже выдохлись и показали свою полную безнадежность. Теперь зло должно спасти мир. Когда-нибудь ты поймешь, что зло — это и есть истинное добро.

Уже со второй фразы у Игоря почему-то начинает кружиться голова, он теряет контроль над собой — лицо Чернова плывет перед ним.

Чернов трогает его за плечо:

— Все хорошо, малыш. Иди.

Игорь приходит в себя, послушно толкает дверь и вылезает из машины.

Как сомнамбула, но спотыкаясь и шурясь, он идет и видит, как громила спокойным неумолимым движением, как движение поршня, валит с ног безропотного русского мужика, заслонившего спиной и разведенными, как на кресте, руками свой новенький автомобиль. Другие выдергивают из машины второго и безжалостно бьют его.

**Игорь.** Ты зачем бьешь маленьких?!

Он подходит и начинает без передыху молотить громилу. Все оцепенели — никогда, видно, никто не молотил его. Но больше всех оцепенел сам Игорь и был наказан. Началась круговерть, на Игоря налетают со всех сторон. Однако не могут завалить его. Он разделяется со всеми.

В руках юркого брюнета сверкнул длинный широкий нож. Игорь успевает выкинуть руку.

Подбегают милиционеры с дубинками и начинают отхаживать и правых и виноватых.

Прибегает веселый, довольный Юрасик Чернов, выдергивает Игоря из толпы и тащит к машине.

В машине Игорь, задыхаясь, вытирает руками вспотевшее, в ссадинах и царапинах лицо. Его правая рука расплосована с внешней стороны сантиметров на двадцать.

**Чернов (смеется).** Смотри — теперь ты походишь на мужика! На русского мужика — с раной!

Он пускает машину. Они срываются с места.

Игорь смеется и по инстинкту, унаследованному нами от предков, зализывает рану. **Чернов (останавливает машину).** Дай...

Он берет его руку, сжимает рану двумя пальцами, пытается проделать какие-то манипуляции, но рана остается раной. Не получилось.

Он опять пускает машину. Они опять срываются с места.

В травмопункте рыжеватый, в очках, краснолицый хирург обработал разрез на руке Игоря, начинает сшивать.

Чернов обнимает хирурга, прижимается головой к голове. Хирург смеется и дружелюбно смотрит на Игоря.

**Чернов (растроганно, обнимая хирурга).** Эх, Игорек... Игорек...

Чернов и Игорь идут по коридору травмопункта. Чернов растроганно говорит Игорю: — Он тоже Игорь — тезка. Когда мне ногу разворотило — если бы не он, отрезали... Чудесный парень, огневик, прошел Анголу, а даже квартиры нет. (Горько). Эх, Россия — большая страна... Никто-то тебе не нужен...

Убогая старуха-инвалид ползет к кабинету. ...Машина с Игорем и Черновым разворачивается, выезжает со двора больницы.

Они едут по ночной Москве, проносятся мимо Совмина РСФСР, гостиницы «Украина» на том берегу.

Чернов курит сигарету и, поглядывая в окно, рассказывает Игорю о себе.

Игорь тоже курит.

**Чернов.** Мы с ним из-за Славика познакомились...

Чернов видит, как от Совмина РСФСР отъезжает бронированный правительственный автомобиль, смотрит на часы, отмечает что-то в блокноте.

**Чернов.** Поехал и... Был у меня такой друг, можно сказать, лучший друг... Славик — идеалист...

Чернов с серым столбиком пепла на сигарете тянется к пепельнице. Рука Игоря лежит на рычаге переключения передач. Над бинтом выступает, расплываясь, красное пятно крови.

**Чернов.** Тогда он первый... скажем так: к Н... ворвался. Его сразу охрана из двадцати Калашниковых... распотрошила...

У Игоря суровый и спокойный профиль. Перебинтованная рука сильнее сжимает рычаг. Он дергает его, тормозит.

Справа ярко-красный фонарь светофора.

Инспектор ГАИ подозрительно смотрит на них через стекло будки, заглядывает в лежащую перед ним ориентировку с номерами угнанных автомобилей.

В ногах у инспектора стоит автомат Калашникова.

Он смотрит на номер «девятки» Чернова: «Ф 1771 ММ».

**Чернов.** ...но Славик успел бросить гранату, они на секунду заткнулись...

Игорь смотрит на светофор. Замигал желтый свет. Он переключает рычаг на первую скорость, держит ногу на педали сцепления, чуть-чуть в волнении подгазовывая правой ногой. Смотрит на милиционера.

Милиционер внимательно разглядывает его.

Загорается зеленый свет.

Игорь срывается с места, быстро и сильно набирает скорость.

Чернов закуривает от старой новую сигарету.

**Чернов.** Тут ворвались мы и сделали.

**Игорь.** Ты, выходит, гэбист?

**Чернов.** Нет, милый, это ГУР... у меня даже два ордена дома лежат...

**Игорь.** Что же ушел?

Чернов затягивается.

Игорь искоса поглядывает на него.

**Чернов.** Нас было четверо... четыре друга...

теперь я один... И знаешь, в чем фокус? (Игорь пожимает плечами и переключает рычаг скоростей.) Ты, блин, вылитый Славка... (Чернов берет Игоря за волосы на затылке и любовно треплет.) Та же морда, такой же фтиль и такой же, наверно... мудила... Но ничего! Я сделаю из тебя самого быстрого, самого жесткого волкодава... Хочешь?

**Игорь.** Еще бы.

Густой лес. Болотистая земля. Поваленные через тропинку деревья. Тяжелое дыхание многих уставших глоток.

Через поваленные деревья перепрыгивают ноги в пятнистых штанах от маскировочного комбинезона. Кто в кроссовках, кто в кедах.

Один за другим бегут по лесу уставшие ребята в бронжилетах. За спинами у них — громоздкие рюкзаки, в руках — тяжелые автоматы, саперные лопатки, сумки с запасными рожками, гранаты. По грязным лицам, оставляя белые полоски, струится от волос пот.

Среди них — взмокший, уставший Игорь. В руках у него тяжелый ручной пулемет. На бронжилете — поясная сумка с запасными коробками.

Сухопарый молодой человек очень бравого вида в маскировочном комбинезоне, красном берете и без знаков отличия говорит в микрофон РУ:

— Есть.

Это командир. Он обращается к сотоварищам, их здесь около взвода, в лихих безмятежных позах развалившихся под деревьями:

— Сейчас побегут любители, надо их будет сделать.

**Здоровила.** На отвал?

**Командир.** На отшиб — плотно, но ласково. Подъем!

Сотоварищи вскакивают — лениво, но сильно, как тигры.

Командир, мужчина лет тридцати пяти, с рыжеватыми ухоженными усами, бежит налегке. Он подгоняет их и словами и стеком, нещадно лупит ленивых и отстающих.

**Командир.** Вперед, толстая жопа! Убью, падлы! Дуб моченый!..

Ветки хлещут Игоря по лицу, едва не выхлестывая зажмуренные глаза. Пот струится по худому, загоревшему и грязному, в потеках, лицу.

Там, где лес поредел, их ждал условный противник. Эти ребята со свежими силами налетали на них и били на полном серьезе прикладами, цепьем, кулаками, ногами, только что ножом не кололи.

**Командир.** Суки! Падлы! Лежачих бить, блин, до смерти!..

Он вмешивается сам, раздает удары тяже-

лым стеком. Пинает ногами в «найках» упавших.

Игорь тяжелым, длинным, неудобным в борьбе пулеметом отбивается от двоих. Неловко, с размаху, шарахает одного по согнувшейся на мгновение спине.

Тот падает, захлебываясь хлынувшей из рта кровью.

Игорь останавливается в испуге.

**Игорь.** Извини, зема...

Игорь хочет поднять парня. Но тут его самого сбивают с ног сразу двое. Один, в прыжке, ударяет ногами в бок. Другой — прикладом в затылок.

Не успел Игорь прийти в себя, как на него налетает командир и начинает пинать и лупить стеком.

**Командир.** Встать, глиста!.. Встать!

Игорь зло вскакивает. Командир доволен его озлобленностью. Щерится стальными зубами. Встает в боевую стойку.

**Командир.** Давай, комар!.. (Он бьет Игоря). Со смертельным исходом!

Начинается настоящая озверелая драка. Все останавливаются и с испугом следят за ней...

...Уже солнце садится, а они все бегут по этому нескончаемому и непроходимому лесу. Некоторые падают.

Командир говорит разбитым Игорем ртом: — Убитый!..

У него не только разбит рот, но и лиловый синяк под левым глазом.

Игорь тоже хорошо отделан. На его лице опять нет живого места. Он бежит в полуобморочном состоянии.

С разбегу все падают в песчаный карьер. Но это еще не все, им не дают отдышаться.

**Командир.** Атака с ходу! Штурм! Встать! Огонь!.. (Он опять налетает на Гусева.) Гусь!

Ворона ты долбаная! Гранатомет!

**Игорь (зло).** У меня пулемет!

Командир бьет его стеком.

**Командир.** Одно только слово — одно — ты должен говорить мне: «есть!»

Игорь вырывает у него стек и, не сумев переломить, швыряет в сторону строения высотой с трехэтажный дом.

Командир тут же перехватывает его руку, выворачивает, швыряет Игоря лицом в песок. И несколько раз тычет ртом и носом.

Игорь не может вырваться. А командир выворачивает ему голову и жмет чугуном коленом в позвонки.

**Игорь.** Ну все, все... есть...

Командир выпускает его. Игорь вскакивает, бежит, забирает у одного гранатомет, несется с ним к дому.

Из дома открывают встречный огонь. При чем не в шутку. Побежали в строчку завитушки песка. Игорь падает за валун. На его лице азарт и недоумение.

**Истерические крики.** Ложись!!! Убивают!!!

Танцующие завитушки приближаются к залегшим ребятам. Некоторые начинают оккупываться.

Командир стоит за бетонным блоком и сощурившись наблюдает, как каждый ведет себя.

Игорь прицеливается из гранатомета и шахрает на огонь. Все получилось по-настоящему — и взрыв под козырьком дота, и разлетевшиеся по сторонам осколки бетона.

Другие тоже начинают строчить из автоматов. Свистят пули, звенят осколки бетона. Кончатся патроны.

**Командир.** Штурм! Штурм, козлы!

«Козлы» кидаются к строению. Командир следит, кто и как. Там, оказывается, засел гарнизон. Те лупят их, выкидывают из окон.

Игорь в остервенении борется со здоровенным парнем на подоконнике... У противника штык-нож, Игорь держит его за запястье. Противник пытается зубами вцепиться ему в горло.

Так и падают они оба со второго этажа в песок.

Отовсюду — хрип, крики, стоны, мат, тяжелые удары...

...Командир идет, осматривая свое растерзанное воинство. Перед некоторыми останавливается, коротко бросает:

— Убит,— и идет дальше.

Те, кто «убит», с обиженными лицами выходят из строя.

**Командир.** Убит.

**Парень.** Тут один вправду почти убит.

Командир видит раненого. Раненый стонет. Командир сморкается, смотрит на этого невысокого, но очень плечистого парня, ему не понравилась его вызывающая, в упрек, интонация.

**Командир.** И ты убит.

Парень обиженно выходит из строя.

Командир останавливается перед Игорем. Смотрит на него и так и эдак. Опять сморкается и проходит мимо.

**Командир.** Равняйся!.. Смиррна!.. Кобели вонючие, я сказал смирно!.. Я вас сделаю всех! Вам здесь не армия! Кому не нравится — на хер! Слушать меня! Убитые на хер! Кто жив, пока остается!.. *(Слышит стон, кто-то хочет спросить.)* Молчать и слушать... Перестройка начинается не с колбасы, а с духовности!

Один из них на полном серьезе заржал. Командир тут же хватает его и выкидывает из шеренги.

**Командир.** Убит — на хер! *(Остальные вытянулись и молчат.)* В здоровом теле — здоровый дух! Я вам сделаю здоровое тело и здоровый дух! *(Он смотрит в бумажку и с раскатом читает.)* Во времена мрака, когда каждый поц, каждая падла поносят свою Родину, надо помнить, что Родине надо слу-

жить... Смирно! *(Какое-то время командир молчит, пристально смотрит на всех, потом отдает команду.)* Направо! Бегом марш!

Непонятное подразделение устало, но твердо пробегает перед своим суровым командиром.

Контора СП. Тонкие холеные пальчики бегают по клавиатуре компьютера. За компьютером сидит красивая и очень ладная девушка Юля в военной форме.

Открываются дубовые двери. Влад и Шнурок вносят огромную коробку с компьютером.

Здоровенный «качок» при дверях дергает плечами, оправляя, видимо, под курткой кобуру с пистолетом, и закрывает за ними дверь.

Влад и Шнурок очень бережно вынимают из коробки монитор. Снимают заднюю стенку. Достают один за другим аккуратно упакованные в белый полистирол предметы.

Коротко звенит сигнальный звонок. «Качок» открывает дубовую дверь. В контору входит возмужавший, загорелый и чем-то очень сильно довольный Игорь Гусев. **Игорь.** Здорово...

**Качок** *(закрывает за ним дверь).* ...корова, привет от быка.

«Качок» ржет, довольный своим юмором, дергает плечами и закрывает дубовую дверь.

Юля поднимает от факса хорошенькую головку и равнодушно смотрит на Игоря.

Он в тех же, только выцветших, солдатских брюках и солдатской рубашке, в которых ушел из дома.

Игорь проходит в кабинет Чернова. Тот встает из-за стола, обнимает его.

**Чернов.** Игорь, как я рад тебя видеть! А ты меня?

**Игорь.** Слушай, этот мухомор...

**Чернов.** Ну и здоровый ты стал! Подожди, а то я забуду, ты за «узи» тогда сколько взял — двадцать или тридцать?

**Игорь.** Вроде, двадцать.

**Чернов.** Десять надо отдать. У нас правило: половину от всего отдаем на движение *(Игорь мрачнеет и чешет в затылке.)* И не будь жлобом — оденься получше.

В кабинет в сопровождении Малика входит молодой лысый грузин Лузан, ближайший помощник Чернова. К руке Лузана стальным наручником на цепочке прикреплен стальной кейс.

**Лузан.** Здорово, Игорек.

**Игорь.** Здорово. Я пошел?

**Чернов.** Сиди...

Лузан снимает наручник, открывает перед Черновым кейс с деньгами.

**Лузан.** Сам отдал.

Чернов достает из стола плотный конверт и складывает в него доллары в сотенных

упаковках. Рубли кладет в сейф, закамуфлированный под тумбу письменного стола.

**Чернов.** Коровин... (*Лузану.*) Почему мало? **Лузан.** Плачет — больше нет.

**Чернов.** Врет падла.

**Лузан.** Сильно плачет...

Входит немолодой, лет сорока пяти скромно одетый клерк со стертой внешностью.

**Чернов.** Вот это отвезешь в управление — Бодунов.

...Чернов и Игорь выходят из конторы, подходят к машине. Чернов отдает ключи Игорю:

— На, прокатись.

Игорь садится в машину, оглядываясь назад и крутя руль, четко и уверенно выводит машину из тесного ряда. Чернов сидит рядом. **Игорь** (*весело*). Слушай, этот тип в красном берете, мы зовем его «мухомор», говорит, будто я могу стать офицером.

**Чернов** (*весело*). «Мухомор» врать не будет.

**Игорь.** А это точно — я служу Родине?

**Чернов** (*изучая его*). Да, малыш, точно.

У Игоря мелькнула в глазах радость. Он с силой нажал на «железку».

Темно-фиолетовая «девятка» с Игорем и Черновым вихрем мчится вверх по улице им. Пальме.

Игорь ловко обходит две машины, автобус и первый застывает у светофора.

Смотрит на Чернова. Чернов тоже смотрит на него.

**Игорь.** Это хорошо — мне надоело вообще жить без смысла.

**Чернов.** Будет еще лучше.

Зажегся зеленый свет.

Игорь первым срывает машину с места. Не успели встречные машины тронуться, Игорь делает перед их носом левый поворот и вылетает на Мосфильмовскую.

**Чернов.** Тебя Макс хотел пригласить кое-куда прокатиться.

**Игорь** (*весело*). Прокатиться я большой любитель.

**Чернов.** Тогда позвони ему.

Игорь ломит через кусты. На его шее висит автомат АКУ. Он сильно волнуется, курит. Его лицо влажно от умывания, волосы мокрые. Слышно, как недалеко, на дороге, воют дизелями тяжелые грузовики.

Продравшись сквозь кусты, Игорь подходит к «шестерке».

Макс меняет на машине номер. Поднимает голову и весело поясняет Игорю:

— Для любознательных.

**Игорь** (*пытается пошутить*). Значит, не для меня.

Макс лезет в салон. Ставит под ветровое стекло синий проблесковый маяк.

Макс пускает двигатель. Игорь, затяги-

ваясь окурком, садится в машину.

Они едут по перелеску к дороге. Игорь, волнуясь, трет руки ветошью.

**Макс.** Будешь сидеть в машине, держи ствол и стриги ситуацию. Заметишь какое-то колебание — не спи. (*Он кивает на автомат.*) Его чуть дергает, держи крепче и ниже.

Игорь, волнуясь, кивает. Выбрасывает ветошь в окно и крепко сжимает в руках рукоятки.

Макс весело вынимает из-под пиджака пистолет Стечкина, сует Игорю прямо под нос:

— Двадцатизарядный, автоматический Стечкина — любимая пушка полковника Карташова. Надо будет тебе такой сделать. Будешь со мной — сделаем!

Игорь не очень любит оружие, поэтому встречается предложение без особой бодрости. Тоскливо смотрит в окно и закуривает.

**Макс.** Дауны! Сняли вещь с производства. Гонят Макарова. Не было у мужика блата.

Они выезжают из леса. Поднимаются по крутому подъему на шоссе.

Макс вырывает машину на край обочины, останавливает.

**Макс.** Если я делаю рукой так... (*Он оправляет рукой волосы на затылке.*) ...выкатываешься, стоишь на стреме, держишь под стволом тех, кто в кабине. И учти, Малыш, лучше быть первым, чем мертвым.

Макс выставляет ладонь. Игорь хлопает ладонью в его ладонь. Макс выбирается из машины. Игорь, в напряжении, пристраивает автомат на коленях.

...На «шестерке» крутится под ветровым стеклом проблесковый маяк.

Игорь мочится неподалеку в кустах.

Из Москвы мчится «КамАЗ» с фурой.

Макс поднимает жезл, фура с армянским номером останавливается на обочине. Макс оглядывается на Игоря. Игорь мчится из кустов, застегивая на бегу ширинку. Прыгает в «шестерку», поправляет на коленях автомат. Прилаживаясь ладонью к рукоятке и спусковому крючку, напряженно смотрит, как Макс подходит к машине.

В кабине шофер и напарник. Напарник высовывается в окно.

**Напарник** (*по-армянски. Синхронный перевод*). Сзади чисто. (*Он вынимает из-за спины ружье.*) Ты бери первого, я — второго.

**Шофер** (*по-армянски*). Вдруг там еще машина... Сначала выясним, потом возьмем... (*Он останавливает машину, скрипят тормоза.*) Были бы вдвоем, второй бы не сидел там спокойно.

Он открывает дверцу и, весело приветствуя Макса, выпрыгивает из машины...

...В распахнутый полог фуры видны ящики с мебелью, коробки с телевизорами, холодильники. Колбасы и окорока. Высокими стоп-

ками связана джинсовая мануфактура.

Шофер изучающе разглядывает Макса.

**Шофер.** Слушай, зачем говоришь, зачем не веришь — тебя отец так учил, да?

**Макс.** Ты моего отца не трогай, я твоего не трогаю.

**Шофер.** Что, убьешь, да? *(Он презрительно смеется и встречается жесткими, колючими глазами с напарником.)* У меня на каждый вещь документ есть, идем покажу... джигит...

Водитель треплет Макса по плечу, идет к машине. Напарник приоткрывает дверцу со своей стороны.

Макс идет следом и условным движением поправляет волосы на затылке.

Игорь сжимает в руках автомат и напряженно смотрит на фуру.

Он видит, как смеются Макс и водитель. Как Макс обусловленным движением поправляет волосы на затылке.

Игорь замешкался.

Макс смотрит на него и снова поправляет волосы.

Игорь выбирается из «шестерки» и, стоя за ней, направляет автомат стволом к «КамАЗу».

Шофер и Макс подходят к кабине, они заслонены ею от Игоря. Шофер тянется руками в кабину, будто ищет документы, встречается глазами с напарником...

Напарник выставляет ногу на ступеньку. Смотрит на Игоря, прикрытого «шестеркой», видит его автомат, направленный на них. Напарник держит в правой руке заслоненное корпусом от Макса, стволами книзу короткое охотничье ружье.

**Шофер** *(по-армянски)*. Стреляй!

**Макс** *(кричит)*. Говорите по-русски!

Напарник вскакивает на ступеньку, навскидку стреляет в Игоря. Однако прицелиться хорошо не успел. Короткой очередью хлопает безотказный «стечкин». Это навскидку стреляет Макс.

Разлетается разбитое вдребезги боковое стекло «шестерки». Игорь запутался в ремне автомата.

Убитый, с окровавленным боком, с вылупленными мертвыми глазами, вываливается из кабины «КамАЗа» напарник.

Игорь, забыв о наставлениях, с перепуганным, искаженным ужасом лицом бежит с автоматом к фуре. Цепляется ногами за что-то, растягивается на шоссе во весь рост.

Макс борется с шофером, сжимая его волосатую руку с ТТ.

Шофер держит руку Макса со «стечкиным», тянется к ней зубами.

Макс пинает шофера головой в живот. Второй раз... Третий... Высвобождает руку со «стечкиным», стреляет в упор.

Кровь брызжет ему в лицо, будто из бурдюка. Он стирает ее ладонью.

...Макс и Игорь волоком тащат убитых в лес. Игорь давится, его чуть не рвет.

В кустах, сваленных рядом друг с другом, Макс обливает убитых бензином. Они лежат оба лицом к небу.

**Макс.** Ну — в ад. Не все жуликам, пусть что-то будет нормальным людям...

Он чиркает спичкой, бросает на трупы — взрывается пламя.

Игорь стоит, приложив руку к горлу, боясь с дурнотой. В его глазах ужас.

Макс смотрит на него и говорит с презрением:

— Что, страшно? С тобой только роляи носить...

Он идет к дороге, слышно, как там проносится тяжелая машина.

...В кабине, затаившись, сидит заплаканный, чумазый мальчик лет девяти. Держит в руках подобранное за убитым отцом ружье. Он видит, как из-за деревьев показывается Макс. Потом Игорь.

Мальчик кладет двустволку на кромку окошка в дверце. Целится. Плавно нажимает курок.

Вспыхивает белое сдвоенное пламя. Грохочут выстрелы.

На вспотевшем, с росинками пота лбу Макса разрывается кровавая бомба, разлетаются осколки костей и мозга...

Макс бессознательно выбрасывает вверх руки...

Игорь срывает с шеи автомат, навскидку стреляет в «КамАЗ».

Автоматная очередь прошивает дверцу машины. Она открывается.

Из кабины, роняя ружье, вываливается убитый мальчик.

Игорь в ужасе от происшедшего.

Ревет дизель проносащегося по шоссе автопоезда. Шофер в страхе оглядывается на место события.

...Игорь оцепенело стоит у свежего могильного холмика с лопатой в руке. У него красные зареванные глаза. Он бросает лопату, идет из леса...

По проселку, высоко поднимая густую пыль, дергаясь на ухабах, гонит знакомый «КамАЗ» с фурой. За рулем у простреленной, в дырах, двери сидит Игорь.

«КамАЗ» с фурой въезжает в деревню, останавливается у убогого деревянного клуба, переделанного когда-то из бедной деревенской церквушки.

Забиты окна. Забита дверь. Выцветшие плакаты и лозунги... В распахнутой фуре видны коробки с цветными телевизорами, ящики с холодильниками, мягкая роскошная мебель под целлофаном, продукты и мануфактура. Перед всем этим богатством — семнадцать бедно одетых колхозников с расте-

рянными, испытанными лицами.

Игорь говорит:

— Мужики, это все вам... и бесплатно...

Мужики молчат.

Игорь берет из фуры палку сухой копченой колбасы и уходит.

Мужики удивленно смотрят на колбасу.

Игорь заходит в деревенский дом, покупает четверть мутного самогона у забытой Богом старушки. Тут же наливает стакан, с омерзением нюхает и выпивает. Выуживает из-за рубашки колбасу, протягивает спасительнице.

Старушка жадно хватается, впивается беззубым сморщенным ртом.

В сенях Игорь наливает еще стакан и, не отрываясь, пьет самогон.

Около дома, прислонившись к ограде, он вытаскивает зубами пробку, сделанную из тряпицы, выплевывает ее и, собравшись с духом, пьет самогон из горла.

С остервенелым выражением на лице Игорь лезет по огороду, запутываясь ногами в картофельной ботве, во всю глотку орет песню:

Не губите, мужики, не губите!

Игорь падает лицом в землю. Упрямо, но с трудом встает, не переставая кричать.

Ради гнездышка грача...

И опять одержимо прет — с борозды на борозду — по ровному картофельному участку.

...не губите сгоряча...

Не губите, мужики!

Не губите!

У края картофельного участка Игорь минует баньку, выходит за околицу.

Ради гнездышка грача...

Не рубите сгоряча...

Игорь цепляется за корягу и падает лицом к убогой, заросшей камышом речонке, чуть ли не в самую воду...

Хрипит, задыхаясь от безысходности и от горя.

Потом замолкает и переворачивается на спину. Засыпает с открытыми, полужакавшими глазами.

...Старое, мутное, в пятнах и точках от сколовшейся амальгамы зеркало. В зеркале проявляется изображение лица. Это лицо Игоря. Игорь рассматривает себя. Когда он открывает рот, видно, что по бокам у него появились такие же клыки, как у Макса. В глазах — ужас.

Прозрачный колпак телефонной будки. Игорь кричит в трубку. Во рту ненавязчиво, но довольно заметно остряты оба клыка.

Игорь. Мама! Здравствуй, это я, Игорь! Голос мамы (*радостно*). Игорек! Как ты, сыночек?

Игорь. Mam, позови папу!

...Мама Игоря на кухне, у телефонного аппарата.

Мама (*нерешительно*). Папа ведь в больнице, у него инфаркт.

Игорь не улавливает смысла.

Игорь. Ладно, я потом позвоню. (*Нажимает на рычаг. Задумывается. Вешает трубку.*)

В перелеске стоят две машины. Четыре телохранителя зорко смотрят вокруг. Примятые ветки кустарника. Глубокие следы от колес. Игорь тупо смотрит на эти следы. Он помят и несвеж после вчерашнего. Брюки в пятнах, грязная, в подтеках рубашка. Игорь кивает на следы, говорит Чернову:

— Я ее сюда отогнал.

Чернов. Так где же она? (*Игорь молчит.*) Где твой автомат? (*Игорь молчит.*) Где пушка Макса?.. Мудила!

Чернов в ярости идет к машине. Останавливается у «восьмерки». Зовет Игоря.

Чернов (*сурово*). Иди сюда.

Игорь, волоча ноги, медленно идет к нему. Анзор не выдерживает и яростно кричит:

— Бежать надо!

Игорь с ненавистью взглядывает на него. Игорь. Такие суки в армии на меня орали.

Анзор дергается к нему. Чернов поднимает руку. Анзор, щуря глаза и сжимая губы, остается на месте.

Игорь останавливается перед Черновым, возвышаясь над ним на две головы.

Чернов. Ты все отслужишь. (*Игорь качнулся, невольно дохнул на него и потрянул головой. Чернов не сдерживается.*) И перестань пить — говно выдавлю, жрать заставлю!.. Садись.

У Игоря подрагивают от обиды губы, однако под спокойным, изучающим взглядом Чернова он садится в машину.

В машине сидит красавица Юлия и с любопытством смотрит на Игоря.

Чернов привез Игоря в Центр международной торговли.

Молодцеватые ребята в дверях устали было на Игоревы стиранные-перестиранные армейские штаны и рубашку, стоптанные армейские башмаки.

Однако Чернов сказал им:

— Со мной, — и они расступились.

Чернов усадил Игоря в кресло у фонтана, дал в руки кейс-атташе, вынул из кейса папку и диктофон в замшевом футляре.

Чернов. Жди меня здесь и держи двумя руками, но не это, а то — ха-ха! (*И ушел куда-то по широкой лестнице.*)

Игорь забалдел от неожиданной, сказочной красоты...

...от декоративных берез...  
...от застекленного неба над ними...  
...от прозрачного лифта, который взмывал как будто в небо...  
...от больших рыб в фонтане...  
...от обилия самодовольных, богато одетых, гортанных, закормленных мужиков.

Солнце светило уже в другой стороне застекленного неба, когда вернулся Чернов, затолкал две папки с бумагами и диктофон в кейс.

**Чернов.** Давай пообедаем здесь?

**Игорь (неловко).** Только я за себя плачу сам.

**Чернов (небрежно).** Сколько угодно — у меня нет комплексов по этому поводу.

Игорь, взмокнув от напряжения, ковыряется в каком-то экзотическом блюде. Чернов ведет себя непринужденно, смешивая белейший рис с чем-то из горшочка.

**Чернов (подцепляя из горшочка).** Вот это настоящий веджитэбл — побеги молодого бамбука, их на самолете доставляют из Малайзии. А вкусно! Думаешь, сколько стоит? **Игорь (хмуро).** Рублей двадцать...

**Чернов.** Почти угадал — двадцать семь. Но не рублей — долларов. *(Игорь еще сильнее мрачнеет.)* Нет, Малыш, я вижу, ты не умеешь радоваться. Ты посмотри, где сидишь, посмотри, кто вокруг... *(Вокруг сидят богатые преуспевающие мужики со смуглыми лицами, волнистыми волосами, наглыми, вкрадчивыми глазами, в «роллексах» и золотых перстнях, некоторые со своими перекормленными детьми и толстенными женами в бриллиантах.)* Это хозяева нашей жизни — правда, не самые главные, но что интересно — ни одной русской морды... прорабы долбаные долбаной перестройки, все растащили, не успокоятся, пока не сопрут последнюю нитку. Вот кто теперь правит нами, а потом будут править всем миром, если, конечно, американские евреи не тормознут, наши оказались хилыми, болтуны херовы, диссиденты вонючие — хватило только на то, чтобы бежать...

Потом, когда ели на десерт экзотический плод с огромной костью, Чернов сказал:

— Вот так, Малыш, перестройку выдумали паханы, чтобы растащить страну. Ты что-нибудь выиграл от нее?

**Игорь.** Я — нет.

**Чернов.** И парень с клясой — нет. Но он им попался. Они им крутят за авторитет. И пока он крутится, он — живой. Так что при нем ничего не будет... Что-то не нравится тебе авокадо? *(Игорь с огорчением смотрит на огромную косточку и не знает, что с ней делать. А Чернов очень лихо свою обсасывает. Тянется за Игоревой.)* Не возражаешь? Дай я обсосу...

**Игорь (с некой обидой).** Бери.

**Чернов (запихивает кость в рот).** Это сладко, как... секиль... *(Он выжидательно смотрит на Игоря. До Игоря не сразу доходит смысл сказанного, а когда доходит, он наливается краской до корней волос. Чернов смеется над ним. Неожиданно говорит.)* Пошли в туалет.

В сияющем чистотой туалете у писсуара, растопырив локти, стоит огромный, толстенный мужик в дорогом костюме. Чернов на секунду замирает, прислушиваясь, спокойно подходит к громадине, резко вздергивает за штаны, человек теряет равновесие и толкается головой о стенку. Чернов молниеносным ударом обрушивает кулак между его лопаток. Человек рухает на кафельный пол, ударившись об него виском.

Чернов подмигивает Игорю, склоняясь над человеком.

**Чернов.** Одним прорабом поменьше.

Обернув руку носовым платком, Чернов вытаскивает из его пиджака огромный и тяжелый бумажник, вынимает деньги, сует бумажник обратно.

**Чернов.** Давай, блин, иди, вставляй лошадям золотые зубы.

Хлопает входная дверь. Игорь в ужасе оборачивается. Входит иностранец.

Чернов уже держит за пульс огромную волосатую руку и обеспокоенно говорит:

— Что с вами?.. Позовите кого-нибудь! Позовите швейцара!

Иностранец кидается за швейцаром.

...Швейцар, милиционер и еще какие-то люди повалили толпой в туалет.

В валютном магазине Чернов шупает красивый свитер. Дает пощупать Игорю.

**Чернов.** Такой свитер выдается старшему офицеру бельгийской армии. Надежная вещь.

**Продавщица.** Ну так будете брать? Вообще!

Перед ней на прилавке лежат два отобранных свитера, черные джинсы, две рубашки, жесткие ботинки на высокой шнуровке, кроссовки.

**Чернов.** Будем.

**Игорь.** Мне не надо.

Чернов протягивает Игорю доллары:

— Иди плати.

Игорь не трогается с места.

Продавщица возмущается, швыряет вещи и кричит:

— Вы бы дома договорились!

**Чернов (с грузинским акцентом).** У нас уже нэт дом. Мы его профукали...

Игорь берет деньги и идет платить.

Они идут по вестибюлю. Минуют искусственные, но красивые березы в кадках. В руках у Игоря огромная сумка с покупками.



**Игорь.** Этот уже, наверное, очухался.

**Чернов.** Это не тот удар, он вздрючивает организм, человек сразу же умирает, и никто не может понять почему. Я тебе потом покажу. (*Игорь присмирел. Чернов смеется, треплет его по загривку.*) Ты что, милый?.. Юра добрый. Но и ты, парень, не прост. Ты зачем зажопил те двадцать тысяч? Теперь цыгана убил, они ведь тебя найдут, это не русские мудаки...

Они проходят сквозь строй швейцаров. Чернов хохочет, Игорь хмурится и сопит. Расходятся с очень красивой богатой парой. Женщина смотрит на них.  
**Чернов** (*Игорю*). Я ее драл — ух, как это было...

Красные габаритные огни машин. Зеленые светофоры. Машинное стадо мигает желтыми поворотными огнями. По мосту через Москву-реку мчится электропоезд метрополитена.

На Бережковскую набережную в сопровождении двух патрульных автомобилей выворачивает тяжелая черная громадина правительственного лимузина.

Игорь сидит за рулем. Рядом — Чернов. Они ждут, когда проедет правительственная машина.

Чернов смотрит на Игоря, потом на часы. Отмечает время в прикрепленном к панели блокнотике.

Игорь без всякого интереса смотрит на это.

Регулировщик делает им отмашку.

**Чернов.** Попробуй достать его.

Игорь прибавляет ходу, спрашивает:

— А можно?

**Чернов.** Сейчас демократия — ничего нет, но все можно. Зато потом все будет, но уже ничего будет нельзя.

Игорь, улыбаясь, поддает газу. Чернов смотрит на спидометр. Он показывает 140 км.

Они настигают заднюю машину сопровождения и правительственный лимузин.

**Чернов.** Один толчок — и в жизни снова будет порядок...

Он искоса смотрит на Игоря.

Игорь смотрит перед собой.

Задняя машина сопровождения качнулась чуть влево.

**Чернов.** Если бы нашелся такой парень, он бы трахал любую бабу и имел фазенду на каком-нибудь острове в теплом море, а ты как думаешь?

**Игорь.** Не думаю, чтобы он уцелел.

**Чернов.** А что жить без толку?.. Давай заглянем к нему в окошко?

Игорь охотно давит на газ. И они видят...

...на заднем сиденье правительственного лимузина склоненного над бумагами человека со знакомым всей стране профилем.

Слева сильно и грубо рывкнуло:

— Остановите машину! Примите вправо!

Задняя черная «Волга» накатывает на них. Тут же откуда-то из-под окружного желдор-моста наперехват кидается неприметная серая «Волга».

Игорь едва успевает вывернуться из их зажима.

Грохочет усиленный трансляцией голос из серой «Волги»:

— Водитель семь семь семнадцать, остановите машину!

Заливается усиленная трансляцией милицейская трель.

**Чернов.** Останови.

Игорь припарковывается. Чернов берет сумочку с документами и идет разбираться.

Игорь видит...

...как Чернов подходит к выскочившим из серой «Волги» инспекторам, как показывает документы, тянет руку в его сторону, как инспектора запрашивают по РТУ, как Чернов платит штраф.

Чернов возвращается.

— Подвинься.

Игорь пересаживается. Чернов садится за руль, кидает сумочку на прежнее место.

**Чернов.** Твои художества стоили мне пятьдесят рублей.

**Игорь** (*искренне*). Мой? Ты мне сам велел!

**Чернов** (*грогая машину, смеется*). Малыш. У нас не принято закладывать ближних. И других тоже.

**Игорь.** Значит, тебе можно меня закладывать, мне тебя нельзя?!

**Чернов** (*раздражаясь*). Тебе не нравится? Можешь идти. (*Он останавливает машину.*)

Вон до того столба и на нем повеситься.

Игорь только сейчас понимает, какой опасный он человек, и тушует. Чернов резко срывает машину с места.

Они останавливаются в каком-то проезде — между деревьев и сонных домов.

**Чернов** (*пренебрежительно*). Ну ладно, милый. (*Он хлопает Игоря по ладони. Игорь открывает дверцу.*) Завтра позвони мне пораньше. (*Игорь выбирается из машины.*) Да, дай-ка мне там пакетик. (*Игорь в униженной согнутой позе достает с заднего сиденья пакет с покупками, отдает Чернову. Чернов вынимает сверток со свитером, кидает назад. Сумку же с остальными покупками пренебрежительно кидает Игорю.*) Лови.

Взвизгнув шинами и сверкнув красными габаритными огнями, «девятка» уносится между домов и деревьев.

Игорю некуда идти. Дико угнетает обида.

**Игорь.** Да зае...

Он швыряет пакет в сторону контейнеров с мусором.

Игорь подходит к подвалу.

Скрипит несмазанная низкая дверь. Зажигая спички и пугая крыс, Игорь забирается в чужой подвал. Отыскивает в закутке чье-то лежбище. Ложится спать на досках.

...Лежит с остановившимися в задумчивости глазами. В его ушах трещат автоматные очереди, истошно кричат подбитые люди.

...Он сдергивает с себя рубашку, накидывает на голову. Трясется в рыданиях.

...Из темноты появляется настороженное лицо Игоря. Он замирает. Из некоей точки идет слабый свет и слышатся отдаленные, но гулкие голоса.

Голос. ...наши люди замещают на названных должностях. Подразделения и соединения...

Игорь вздрагивает, чувствуя чей-то взгляд. Оборачивается...

В открытой двери массажного кабинета стоит китайка и смотрит на него.

Не дослушав, Игорь уходит отсюда — вдоль идущей полукругом стены.

Навстречу, выгнувшись, как при лордозе, вышагивает Анзор.

Они не здороваются и не смотрят один на другого. Расходятся.

Игорь идет вдоль стены. Видит какое-то мутное пятно на стене. Оглянувшись и не увидя позади китайки, останавливается.

Это стекло, замазанное масляной краской. Игорь счищает краску монетой. Трет мизинцем. Заглядывает в протертый «глазок».

...Далеко внизу, в некоем помещении, сидят за длинным столом, в один ряд, как на «тайной вечере», тринадцать человек, преломляют хлеб, свежую агнца, передают друг другу бокалы с его кровью и ведут беседу. Вдруг из-за стола вскакивает некий пожилой человек и спешит куда-то. Верх у него действительно человеческий и даже весьма положительный — в хорошем темно-синем костюме, с орденской колодкой и ветеранскими знаками, а вот низ — гол, и то ли как у козла, то ли как у собаки. Чернов догоняет его, подхватывает на руки и сажает на место. Потом он поднимает голову и смотрит прямо на Игоря.

...В этот момент к Игорю неслышно подходит массажист-китайка, прижимается грудью к спине и кладет обе ладони на пах. Игорь в ужасе выскальзывает.

Игорь стоит в охране и напряженно смотрит перед собой.

Из-за угла концертного зала гостиницы, метрах в тридцати от него, выкатывает инвалидная коляска. В коляске сидит тот человек или не человек, которого он тайно увидел выскочившим из-за стола. Сейчас его низ укутан пледом. Коляску катит Чернов.

Икс. А кто это исполнит?

Чернов. Вот один из них — вон тот, высокий.

Они смотрят на Игоря.

Игорь напряженно всматривается в их губы.

Икс (*охаёт*). Такой молодой... А если он не захочет?

Чернов. Кто будет спрашивать? Скажу, что он должен его охранять, — я ему забил мозги русским патриотизмом, или что должен передать на ходу важный пакет... Они все, знаете ли, в этом поколении чуть-чуть дауны.

Икс (*радостно*). Да что вы говорите?! (*Обеспокоенно*.) Голубчик, откуда же вы узнаете, что он догонит?

Чернов. Я буду ехать в другой машине и дам сигнал взрывному устройству в его машине, когда он догонит.

Икс (*взволнованно и боязливо*). А что он на меня смотрит, будто хочет скушать?

Чернов кидает взгляд на Игоря. Тот действительно напряженно смотрит в их лица.

Чернов. Несет службу, старается. (*Говорит негромко*.) Игорь, у тебя что-то упало. (*Игорь не шелохнулся*.)

Икс (*обеспокоенно*). И того, седенького красавчика, тоже бы надо. И парня с кляксой. Чтобы уж заодно.

Чернов. Я готовлю семь экипажей. Они будут задействованы одновременно.

Икс (*оглядываясь на Игоря, оживленно*). Пусть он поможет меня.

Чернов. Рано ему.

А вокруг все было, в общем, нормально. Хороший и даже почти солнечный день. Люди у гостиницы жили своей человеческой жизнью, подъезжали и отъезжали какие-то машины с финскими и шведскими номерами. Бежали дети. Толпились туристы. Но были еще какие-то молодые люди с хорошей военно-спортивной выправкой, в удобной одежде, с цепкими, быстрыми глазами. Они располагались по периметру до самого моря. Был наряд милиции с УКА, рацией и собакой в жестком наморднике. Были две отполированные «Волги» с солдатами за рулем.

Подъезжает еще одна. Из нее пружинисто выскакивает поджарый человек в полувоенной-полуспортивной одежде с охотничьим ружьем в чехле.

Он тут же устремляется к Чернову и субъекту в инвалидной коляске. С почтением жмет руку субъекту. Виновато оправдывается:

— Учитель, я чуть опоздал, но я привез хлеб, чтобы ломать.

Икс довольно улыбается. У него красные, горящие изнутри глаза Сатаны.

Голый по пояс, в брезентовом фартуке, Игорь с омерзением на лице мочет мыльной пеной дряблую старческую спину субъекта и старается не смотреть вправо. Но его так и тянет глянуть туда боковым зрением.

...Там, нежная и миловидная в дневном свете, китайка заботливо расчесывает щеткой для вычесывания собак волосатую ногу субъекта, аккуратно придерживая ее за копытце.

Игорь стоит на самом берегу моря среди огромных гранитных валунов и всматривается...

...в легкую полоску Кронштадта, различая воздушный купол собора.

Он обращается к девушке, она стоит бо-сиком в грязной пенной воде.

**Игорь.** Скажите, это Кронштадт?

Девушка оборачивает к нему некрасивое обихонное лицо:

— А что?

**Игорь.** У меня там дедушка в войну служил. Вы не простудитесь — уже холодно.

**Девушка.** Какая разница — простужусь я или не простужусь? *(Она уходит, бросая че-рез плечо.)* Когда жрать нечего...

Навстречу ей по песку идет пограничный наряд с рацией, автоматами и служебной собакой.

Крепко обнимаясь с Юлей, подходит Чернов, договаривая на ходу:

— ...комплекс раба: раб хочет выглядеть господином. На его взгляд, господин не работает, поэтому раб ненавидит работу. Поэтому вся страна состоит из обиженных неизвестно на что, ничего не делающих и, как следствие, нищих бездельников. *(Он крепко обнимает Игоря и заглядывает ему в лицо.)* Я прав или не прав?

**Игорь** *(с непонятной обидой)*. Я не слушал.

**Чернов.** Хочешь, я тебе скажу глупость? Но ты, пожалуйста, слушай.

Игорь, косясь, смотрит на Юлю.

Правой рукой она обнимает Чернова. Пальчики левой руки нежно поглаживают его грудь. Чернов смотрит Игорю в лицо и говорит тихо, почти шепчет:

— Великий заглянул в будущее и сказал: скоро. Земля покрыта пологом дурной воли, исходящей от озлобленного человечества. Она перестает быть энергоносителем и может привести ко вселенскому катаклизму. Большой Разум хотел оттянуть Землю в доки на капитальный ремонт, и нам грозил Апокалипсис. Но Постоянным Учителям удалось упротить его дать еще один год, чтобы самим расчистить все это... Ты понял, чем мы тут занимаемся?

**Игорь.** Смотрите, не надорвитесь...

Вдруг его что-то дернуло, он полетел с камня, на котором стоял, и едва успел воткнуться в песок руками. Пот тут же прошиб его. Он с подозрением, раздувая ноздри, посмотрел на Чернова, но Чернов не мог это сделать, он не так стоял.

**Чернов.** Ты не хочешь спросить, кто эти учителя?

Юля стала как-то странно повизгивать и тянуться к его уху зубами. Рука Чернова спустилась по ее спине туда, где у человека крестец, и что-то гладила там.

Игорь мог дать голову на отсечение, что видел, будто там, под юбкой, шевелится что-то наподобие небольшого тугого хвоста. Он поднял на них глаза — и Чернов и Юля смотрели на него не мигая.

**Чернов.** Тебе будет удобно зайти к нам часов в одиннадцать — это не нарушит твоих планов?

**Игорь.** У меня нет планов.

Обнимаясь, Юля и Чернов уходят. Юля наконец дотягивается до его уха и начинает целовать, легко покусывая мочку. Видно, их разобрало, они спохватились и побежали.

В номере гостиницы Чернов копается в бумагах, фотографиях и газетах на рабочем столе. Вываливает еще одну кучу из обувной коробки.

В приоткрытую дверь спальни видно Юлю. Игорь смотрит на нее.

**Чернов.** Вот... *(Находит фотографию человека с тихим благообразным лицом и протягивает Игорю.)* ...это отсюда недалеко — в Комарове. *(Игорь кладет фотографию на стол и опять смотрит в приоткрытую дверь — голая Юля лежит на кровати, китайка стирает ее. Игорь принимается за Чернов швыряет все в обувную коробку и обиженно говорит.)* Конечно, я могу отдать другому — каждый согласится и будет рад. Но я о тебе забочусь: тебе тоже надо подниматься в автоситеты... Ну иди, возьми ее — уж если немогут!

Чернов смотрит на Игоря и показывает рукой на Юлю. Юля и китайка смеются. Игорь смотрит на них и наливаются горячей краской. Чернов приближает к нему лицо:

— Ну давай — ты одну, я другую, а потом поменяемся... Ты хоть понял, что я тебе говорил? Это стоит шесть штук.

**Игорь.** Я все понял. Чего тут болтать — сделаю.

Чернов хлопывает его по плечам:

— Молодец! Я это знал, как только увидел тебя. *(Он хлопывает его по груди, под мышками, ловко выуживает из-под куртки «макарова».)* Это тебе не понадобится.

**Игорь.** Тогда и эту сниму... *(Игорь быстро снимает маленькую для него куртку, кулё-мает и бросает в кресло.)* Тесно... *(С сожалением отстегивает кобуру.)*

**Чернов.** Зайди к Анзору, он тебе расскажет детали.

**Игорь** *(спокойно и твердо)*. Пусть он ко мне заходит.

**Чернов.** Игорь-Игорь... Иегова... Хочешь, я буду звать тебя Иеговой?

**Игорь.** Не хочу.

**Чернов.** Ну и дурак. *(В безмятежных глазах промелькнули красные искры.)*

Из спальни выпархивает Юля. До чего же она красивая и отчаянная — настоящая рыжая ведьма. Ее даже не портит, что она голая до юбки.

**Юля** *(радостно и тревожно)*. Я готова.

**Чернов.** Идем, дорогая... *(Берет Юлю под руку, серьезно поясняет Игорю.)* Мы на бал. Сегодня мы летаем, как в «Мастере и Маргарите». *(А у самого в насмешке блеснули клыки)*.

Игорь глядит на себя в зеркало — у него тоже клыки, правда, поменьше.

Чернов идет рядом с воздушной, упругой Юлей, чуть подволакивая, как всегда, когда устает, левую ногу.

Игорь подпрыгивает, дотягиваясь рукою до потолка, и чуть не сбивает с ног подвернувшуюся под ноги китаянку.

Она обвивает его рукой и ногой, повисает на нем, чуть подергиваясь:

— Но, кум! Не гони лошадей...

Соскальзывает с Игоря, проводит рукой по паху и вниз по ноге и идет следом за Черновым и Юлей.

Раннее утро в Комарове. Туман и роса. Недобрый, невыспавшийся Анзор демонстрирует Игорю старый зазубренный топор и объясняет:

— Этим попасть сюда... — Жестким и сильным пальцем он сильно давит в точку на Игоревом затылке.

Игорь сердито отпихивает его руку и давит своим пальцем в его затылок:

— Или сюда.

Анзор смеется. Обнимает и тут же отталкивает Игоря. Холодно. Анзор в теплой, на искусственном меху джинсовой куртке. Игорь все в той же выпятившей солдатской рубашке с обрезанными рукавами. Рядом, за деревьями, грохочет товарный поезд.

**Анзор.** Держи. *(Он отдаст Игорю топор. Смеется, поправляя съехавший с подставки мотоцикл.)* Он пойдет через семь минут. Через одиннадцать там будет электричка. Я буду стоять, чтобы никого не пускать, но никто здесь в это время не ходит — один ты, подлец и фанатик... Потом бросаешь топор, мы садимся и едем отсюда... Ты мне стал нравиться, хочешь, я тебе помогу?

**Игорь.** Вдвоем я только рояли ношу.

**Анзор** *(смеется)*. Через форточку — да?.. Я тоже носил. *(Он толкает Игоря в спину.)* Иди. Будешь большой, не забудь меня, я тебя уважаю.

Игорь сжимает за спиной топориче и идет по тропинке к поселку. Настречу из-за пово-

рота выходит человек в светлом плаще и рясе. У Игоря пересыхают губы. Он облизывает их. Руки за спиной сжимают топориче. Он смотрит на Анзора. Анзор, ободряя, приподнимает ладонь и кивает головой.

Через пять метров Игорь сближается со священником.

Анзор поворачивает ключ зажигания и заводит мотоцикл. В напряжении смотрит на Игоря и священника.

Священник, подходя к Игорю, улыбается и приподнимает шляпу. Игорь преграждает ему дорогу.

**Игорь.** Вас хотят убить.

**Священник.** Спасибо, сын мой. Если хотят, пусть делают.

**Игорь.** Я не буду. Бегите.

**Священник.** Нет. Я не унижу бегством достоинства святого креста. *(Он крестит Игоря и кладет руку ему на голову.)*

Рев мотоцикла.

Мотоцикл с пригнувшимся седоком гонит на них.

Игорь сталкивает священника с тропинки и под выстрелами падает сам.

Он падает лицом в землю. И тут же настроженно ощущает, что пистолет, видимо, газовый.

Он дергается на месте, чтобы сбить нападающего, опираясь носом в спасительницу-землю и закрывая голову руками. В какой-то момент он вскакивает, захватывает на прием руку с газовым пистолетом, подвернувшись, выкручивает ее. Овладев пистолетом, Игорь дважды фукает Анзору в лицо. Анзор отключается.

Игорь не удерживается, нюхает из ствола, зажимает нос и кашляет.

Священник лежит на спине, широко распластав руки.

Игорь заглядывает ему в глаза, размежив веки. Дует в нос. Тот чуть шевелится.

Игорь швыряет топор в глубь леса. Стаскивает с Анзора теплую куртку, говорит:

— Обойдешься. — Сует во внутренний карман газовый пистолет. Садится на мотоцикл, смотрит в обзорное зеркало на свои клыки — ему кажется, что они уменьшились, — радостно говорит им: — Ну пока... — И мчит отсюда.

С подошедшей электрички от станции идут люди. Они кидаются врассыпную перед мчащимся на них мотоциклом.

Игорь подъезжает к Московскому вокзалу. Ставит мотоцикл у какого-то здания и бежит на вокзал.

Он выбежал на перрон как раз вовремя — стоял дневной скоростной экспресс.

Игорь ищет по карманам деньги, находит три бумажки по пятьдесят рублей. Не очень заметно для посторонних, уголками показы-

вает две ассигнации проводнику. Проводник согласно прикрывает глаза.

...И вот уже экспресс трогается, Игорь, оглянувшись напоследок и не увидев погони, садится в поезд.

...Он сидит у окна, пьет из горлышка «фанту», ест бутерброд с дурной, но толстой и обжаренной колбасой и смотрит в окно.

За окном бескрайние просторы России и бесконечная, сумасшедшая круговерть из мелькающих деревьев.

Игорь одним из первых выходит на перрон Ленинградского вокзала. Озирается — нет ли какой-то особой встречи. Не видит ничего подозрительного.

Идет к прозрачному колпаку телефона-автомата, набирает номер.

**Игорь.** Папа! Па, надо бы встретиться.

...Отец здорово постарел. А главное, он подавлен и растерян, как все, кто только что перенес обширный инфаркт. Он сильно обрадовался, услышав голос дорогого сына.

**Гусев.** Хорошо! Иди домой! Мы тебя ждем!

И мама обрадовалась и в такт кивала поседевшей головой.

**Игорь.** Домой не могу. Давай у пруда.

**Гусев (поскучнев).** Хорошо. Когда?

**Игорь.** Сейчас.

На берегу пруда металлическая табличка с суровым предупреждением: «Купаться запрещено. Вода отравлена. Яд». А также череп и кости.

Однако это не пугает людей. Компания молодежи человек в восемь с визгом и руганью, полупьяно толкая друг друга, мчится к пруду.

В воде много народу. Сидят будто в чане, ждут, когда закипит.

Солнце висит низко и светит ярко. Кажется, оно вот-вот коснется земли и прожжет ее.

На берегу неумолчный гул: ревут грузовики на близком отсюда Минском шоссе, грохочут поезда, идущие по Киевской железной дороге, надрывается усиленный громкоговорителем голос диспетчера.

Люди смеются, громко разговаривают, едят и мусорят. Мрачно сидят рыбаки с удочками.

Низкий боковой ветер гонит обрывки газет. Поблескивают на солнце разлетающиеся целлофановые пакеты.

Гусев отлепляет от лица прибитую ветром замасленную газету и с невольным страхом смотрит вокруг.

...Подбегает маленькая, лет пяти, девочка и с разбегу, ударяя его ногами в живот, карабкается на Гусева. Это девочка из его прошлого, из 1947 года, она в том же длинном клетчатом платье, лаковых туфлях, с той же

матерчатой повязкой на лбу, с теми же распущенными волосами, с тем же застывшим грустным выражением на лице. Она доверчиво прижимается к Гусеву и шепчет, уткнувшись губами в ухо:

— Папочка... они уже прилетели и смотрят на нас, только об этом нельзя говорить вслух, а то они услышат...

**Гусев (растерянно).** Конечно... Девочка, ты кто?

**Девочка.** Катя...

Подбежала молодая красивая мама в куртке и начала извиняться:

— Ой, извините, она вас с бабушкой перепутала. — А сама странно, с выжиданием смотрит на Гусева.

Гусев чувствует, что его толкают чем-то тяжелым в пах, опускает голову, видит черного дога, который упорно и нагло нюхает у него между ног, и спрашивает обиженным голосом:

— Почему «дедушка»? Она же сказала «папа».

Женщина, с вызовом глядя на Гусева, пожалала красивыми молодыми плечами, и они с девочкой исчезли.

Гусев растерянно смотрит на подошедшего сына. Сын скрывает улыбку и отворачивает лицо. Гусев видит, какое у него чужое, острое ухо, и пугается.

Игорь поворачивается и, выжидая, почти враждебно сузив глаза, смотрит отцу в лицо.

**Гусев.** Ты обижаешься на меня?

Лицо у сына смягчилось, на нем появилось какое-то детское удовлетворение.

**Игорь.** Сейчас нет...

Отец и сын идут по этому странному, призрачному миру, будто плывут, мягко передвигая ноги и руки. Неспешно шевелят губами. Они испуганно поглядывают друг на друга и отводят глаза.

**Игорь.** Я сильно обижался на тебя, потому что думал, что ты понимаешь меня, а ты даже не захотел понять...

**Гусев (обиженно).** А я понимаю — ты не очень-то сложен... Делать ничего не хочешь, а иметь хочешь все...

**Игорь (сдерживая обиду).** Ладно, па... я пошел...

**Гусев (виновато).** Подожди. (Они останавливаются. Гусев смотрит на сына.) Ты когда подошел?

**Игорь (настороженно).** Только что.

Игорь увидел, как здорово постарел и ослаб отец, жалость вошла в его сердце. Он обнял отца и, склонившись, уткнулся лицом в плечо.

Гусев счастливо гладит Игоря по спине. **Гусев (облегченно).** Ну слава Богу... Пошли домой — хватит, набегался.

**Игорь (цепко глянув по сторонам).** Давай вначале поговорим.

**Гусев.** Давай.

Они опять идут вокруг пруда — мягко, словно не по земле. Игорь тяжело дышит, сопит, беспомощно смотрит на отца в детской надежде, что отец, добрый и умный, сейчас сам все скажет и от всего защитит.

Гусев увидел этот его взгляд и ужаснулся:

— Игорь, у тебя что-то случилось!

**Игорь.** Нет. *(А сам сжал за спиной огромные кулачищи и почему-то соврал.)* Я просто соскучился.

Гусев. Как ты живешь?

**Игорь** *(не сразу, помявшись)*. Нормально.

Гусев. Правильно ты живешь?

Игорь пожал плечами и провел рукой по волосам.

**Игорь.** По-моему, про себя этого никто не может ответить.

Гусев. Игорь... я только тогда смогу помочь, когда ты скажешь правду.

**Игорь.** В чем ты можешь помочь? У меня все нормально. *(А сам прикрыл глаза и стиснул за спиной огромные кулачищи.)*

Гусев. Где ты живешь?

**Игорь** *(не сразу, с промелькнувшей тоской)*. У товарищей.

Гусев. Почему ты не хочешь жить дома? *(Игорь молчит.)* Игорь, пошли домой.

**Игорь** *(не сразу, с надеждой)*. Давай еще погуляем.

У дома Гусевых рядом со знакомой темно-фиолетовой «девяткой» стоят два «качка», растерянно смотрят по сторонам.

Из лоджии на пятом этаже выглядывает мама Игоря и, показывая рукой, объясняет:

— Не там. Там — у пруда — они с папой гуляют...

Оба «качка» — Кент и Шнурок — садятся в машину.

Игорь и отец идут вокруг пруда.

Гусев. Теперь я знаю, как тебе возразить, — что бы, Игорь, ни происходило, какая бы мерзость ни торжествовала вокруг победу — все равно должны оставаться абсолютно честные молодые люди, и они обязательно должны учиться, а то Земля рухнет...

**Игорь.** Черт с ней.

Гусев. Как?

**Игорь.** Ладно, па, я пошел.

Гусев. Подожди, Игорь... *(Игорь задержался.)* Какой-то Сатана все время стоит между нами и не дает нам поговорить... *(Игорь смотрит на отца с иронией и улыбается, обнажая в уголках рта слишком острые и слишком большие для человека резцы Гусев, растерянно.)* Игорь, у тебя зубы, вроде, чуть-чуть подросли...

Игорь зевает, прикрывая рот рукой.

**Игорь.** Да нет, пап, так не бывает. Я пошел. Гусев *(спохватившись)*. Подожди... я тебе в газете отметил... *(Разворачивает газету.)* Какое-то странное предприятие — можно по-

дать заявление и найти друга жизни в Америке или завербоваться на работу в Канаду — пока молодой, чего не поездить? И недорого — всего пятьдесят четыре рубля, я тебе дам.

Гусев протягивает газету. Игорь не берет ее.

**Игорь.** Я не хочу никуда ездить.

Гусев. Это не совсем. Смотри... *(Показывает рукой направо.)*

В полуметре от них за стальной решеткой гольф-клуб Тумбы Юхансена. Густой изумрудный газон, купы деревьев, белые шарики на траве. Маленький трактор трудолюбиво собирает их. Красивые, блестящие на солнце иностранные автомобили. Холеные, удобно одетые, худошавые люди с клюшками.

Голос Гусева. Это всего лишь гольф-клуб, а это мы... *(Показывает рукой налево.)*

Замусоренное, загаженное пространство вокруг пруда, забитого полупьяными, оружием, толстыми людьми. Вдали, в Матвеевском, огромные широченные трубы выпускают в небо тяжелые шлейфы дыма.

Гусев *(с горечью)*. ...и я боюсь, здесь не скоро что-нибудь будет... *(Совсем рядом здоровенный жирный мужик внаглую ломает иву.)* Что же вы делаете?

Мужик оставляет иву и в ярости идет на Гусева:

— Чего лезешь, гнида стеклянная?! Щас как дам по мозгам. Очки выбью!

Игорь белеет и, почти теряя сознание, начинает без остановки, озверело молотить по огромному телу.

От мощных ударов мужик тут же поплыл и завалился.

Игорь берет его за ноги и стаскивает в пруд. Тяжело дыша, Игорь поднимает куртку и смотрит на отца. Отец сильно напуган. Гусев *(с ужасом)*. Игорь, какой ты жестокий!

Игорь срывается и кричит:

— Папа! Почему ты никогда не можешь поговорить со мной?!

И тут он видит за спиной отца...

...как от Минского шоссе идут, всматриваясь в лица людей, два очень крепких и очень знакомых человека. Как за ними медленно катит знакомая темно-фиолетовая «девятка».

У Игоря пересохли губы и вытянулось лицо.

Те двое видят его, останавливаются и поднимают руки — то ли приветствуя, то ли подзывая его. Один что-то говорит шоферу. **Игорь** *(кричит)*. Папа! Я тебе напишу! *(И побежал.)*

Те двое кидаются к машине.

Машина срывается с места и, едва не давья выскакивающих перед капотом людей, мчится в погоню.

Игорь бежит напрямик, меряя землю длинными, быстрыми ногами. «Девятка» тоже ки-

дается напрямик. Но на ухабах, заросших травой, буксует.

Оба «качка» выскакивают из машины, за Игорем.

Но Игорь уже успел вскочить в автобус № 684...

...Сквозь грязное заднее стекло он видит...

...как его отец бесстрашно бежит к застрявшей «девятке», как не успевает. Как машина выбирается на асфальтированную дорожку, подбирает обоих своих пассажиров, как догоняет его автобус.

...Автобус останавливается около метро «Университет».

«Девятка» тоже останавливается. И те трое сидят в ней и смотрят, как Игорь не спеша, таясь за спинами пассажиров, выходит из автобуса.

Игорь опрометью кидается к станции. Те двое выскакивают из машины и кидаются следом.

...Игорь врывается в вестибюль, тут же перепрыгивает через ограждение, врывается во встречный поток, буравит его, пробиваясь к выходу.

Дежурный милиционер свистит скорее от неожиданности, топчется на месте, не зная, что ему предпринять.

На него налетает и чуть не сбивает с ног «качок».

Милиционер в ярости бежит за «качком».

Игорь выбегает на улицу, и тут на него, распахивая людей, набрасывается второй «качок», который поджидал его у выхода.

Игорь успевает отпрянуть и, используя ситуацию, перехватывает его за руку так сильно, что Кент, прокрутившись по движению, врывается лицом в стену.

Игорь бежит к переходу через проспект Вернадского.

Пустынный, густо заросший сорокалетними тополями переулок. Телефонная будка.

Игорь. Мама... папа здоров?

Мама. Игорь...

...Отец забирает у нее телефонную трубку, настроен поговорить.

Гусев. Игорек...

Игорь перебивает его:

— Па, я тебе напишу. Но учти — это правда. Пока.

...Отец кладет трубку. Мать начинает тихо-нечно голосить.

...Игорь, задыхаясь от бега, протягивает киоскеру «Союзпечати» рубль:

— Конверт и бумагу.

Киоскер (*враждебно*). Бумагу дома возьмешь. (*Зло кричит*). Ты на меня так не смотри! Мал еще! Сопля! Я весь фронт прошел — я таких сук в грудь стрелял!

Игорь проводит рукой по лицу, как бы пытаясь убрать ответную озлобленность.

И все же не может сдержаться, набрасывается на будку, бьет ее кулаками, пинает ногами, пытается перевернуть.

Киоскер свистит в милицейский свисток. Игорь убегает.

В отделении связи Игорь выдирается из толпы у прилавка. В руке — конверт и осьмушка бумаги. Какая-то женщина зло толкает его.

Игорь пристраивается у стойки, берет шариковую ручку, привязанную шпагатом, начинает писать: «Папа! Если...»

Хлопает входная дверь. На почту вваливают оба «качка» — Кент и Шнурок. У Кента отекает в сплошной лиловый синяк лицо. Они направляются к Игорю.

Кент (*протягивая руку к письму*). Дай.

Игорь. Не тебе. (*Опускает конверт и листок в ящик*.)

Шнурок остается в дверях. Кент, расталкивая людей, идет к служащей.

Кент. Открой ящик... Я тебе говорю! (*Он обрывает ручку, привязанную к прилавку, швыряет служащей в лицо*.)

Служащая. Я милицию вызову.

Женская нога в носке со штопаной пяткой нервно, рывками тянется к сигналу.

Кент прыгает через прилавок, дергает служительницу за ногу, опрокидывая вместе со стулом.

Посетители, заголосив, кидаются к выходу.

Шнурок выдергивает пистолет и кричит:

— Лежать! С-суки! Лежать всем!

Посетители заваливаются на пол.

Кент сует какой-то коробок в стол и объявляет:

— Бомба! Сработает сигнализация, будет взрыв.

Под пистолетом Кента служительница, потирая ушибленную поясницу, идет к почтовому ящику, вскрывает его.

Кент находит письмо Игоря, читает:

— «Папа...» Е-мое — сыночек. Еще что писал? — Игорь молчит.— Все беру.

Кент вырывает у лежащей поблизости женщины целлофановую сумку, вываливает содержимое на пол, протягивает сумку служащей:

— Упакуй.

Кент тычет в Игоря стволом, отдает сумку с письмами:

— Держи.— Подталкивает освободившейся рукой в спину: — Пошел.

Переступая через лежащих на полу людей, они идут к выходу.

Шнурок прилепляет к стене кусок темнокоричневого пластилина и объявляет:

— Бомба. Кто встанет, взорвется.

«Качки» выталкивают Игоря в дверь. Игорь пытается задержаться.

Испуганные, сто раз обманутые в своей

жизни люди лежат, уткнувшись лицом в пол. **Игорь** (*упирается*). Я никуда не пойду.

Они выталкивают его в дверь и тащут к машине.

... Вокруг стоят в очередях люди. Игорю «западло» обращаться за помощью. Кент добавок коротко, но сильно бьет Игоря в печень. Игорь дергается и смолкает.

Они подводят Игоря к машине и, заламывая руки за спину, открывают перед ним заднюю дверь. Согнувшись, Игорь видит...

...их ноги и не медля бьет тяжелым кованым каблуком армейского башмака по чьей-то голени.

Не повезло опять Кенту. Он дико кричит, приседая и хватаясь за голень.

Игорь включает свои рычаги и не переставая, раз семь или восемь, вбивает кулаки в корпус второго.

От овощного магазина льется милицейская трель. Расстегивая на ходу кобуру с «Макаровым» и дую в свисток, к месту происшествия несется милиционер.

Вдобавок «водила» выскочил на Игоря с монтировкой и уже замахнулся над головой.

Игорь уворачивается, спотыкается о Шнурка и падает, но тут же вскакивает, вспоминая о газовом пистолете, выхватывает его из кармана и стреляет в перекосившееся от ужаса лицо «водилы». Потом в Кента, Шнурка.

**Милиционер** (*кричит*). Буду стрелять! (*И делает первый предупредительный выстрел в воздух.*)

Игорь кидает пистолет и прыгает в машину. Втыкает передачу. Давит газ.

Завизжало, дымясь, ведущее колесо. Машина срывается с места.

Милиционер встает в позу, как его учили на стрельбище, заведя левую руку со свистком и дубинкой за спину, а правой начинает вести огонь «на поражение». Но этого уже можно не делать — машина в двухстах метрах. Еще миг, подпрыгнув, она скрывается за пригорком.

И все-таки одна пуля пробила шину на левом заднем колесе.

Игорь крутит руль. Давит ногой на тормоз. Вырубает рычаг скоростей. Дергает рычаг ручного тормоза. Выскакивает из машины. Заднее колесо стоит на диске — сжевана и наполовину съехала шина.

Игорь кидается наутек в яблоневый сад. ...Милиционер останавливает попутную машину.

...К месту происшествия с автоматами в руках бегут два омоновца.

Игорь сбегает по длинному, запруженному гражданами эскалатору.

Последние пассажиры втискиваются в закрывающиеся створки вагона.

Игорь настороженно оглядывается — нет ли хвоста, кидается к вагону, раздвигает двери, втискивается в вагон...

Он стоит, прислонившись спиной к двери и устало прикрыв глаза. Вдруг кто-то стучит его в грудь. Это девушка с пушистыми волосами. Она говорит:

— Привет.

Игорь узнает ее и теряется. Это Ира, одна из двух девушек, которых Чернов посадил в машину той ночью у Триумфальной арки.

**Ира**. Не узнаешь?.. А так? (*Она меняет положение волос.*) Хочешь, милицию позову?

**Игорь**. Хочу.

Между тем вагон останавливается на станции «Шаболовская». Ира выходит. Игорь зачем-то идет следом.

Ира останавливается на перроне. Смотрит на Игоря снизу вверх.

**Ира**. Не стошнило бы встретиться...

**Игорь**. Честно говоря, не стошнило бы.

Ира хмыкает и уходит. Игорь тащится следом. Они идут по безлюдной станции. У обоих чувствуется влечение друг к другу. Ира делает вид, что она только заметила, что он идет рядом. Они останавливаются.

Неподалеку скучает милиционер при пистолете и при дубинке. Он выжидательно, с интересом смотрит на них.

**Ира**. Ну ты... полюбил кого-нибудь?.. Как хотел?

**Игорь**. Вроде нет.

**Ира** (*прыснула*). А я и полюбила и разлюбила.

Игорь насупился, ощутив почему-то обиду, и промолчал.

**Ира**. Почему не спрашиваешь — кого?

**Игорь**. Это меня не касается.

**Ира**. Это касается... я полюбила и разлюбила тебя.

Игорь покраснел от удовольствия и почувствовал прилив жизненных сил.

**Ира**. Вообще-то мы тут с Алкой хату снимаем. Хочешь к нам заглянуть?

**Игорь**. Хочу.

Ира пытается освободиться от Игоря. Но делает это непосредственно, то отталкивает, то целует. Они оба истомлены. Их губы опухли от поцелуев.

**Ира**. Не надо было приводить тебя... Что я делаю... Игорь — не надо!..

**Игорь**. Ну почему?

**Ира**. Прости, что я обманула тебя... Прости... (*Поспешно, быстрыми поцелуями целует его в грудь, живот, опускаясь перед ним на колени.*) Прости, не могу отомстить тебе... (*Поднимается и говорит ему прямо в лицо.*) Прости, у меня СПИД...

Игорь воспринимает новость спокойно, без истерики.



**Игорь** (неуверенно, с надеждой). А ты что — любишь меня?

**Ира**. Выходит, что да — люблю...

**Игорь** (искренне). Спасибо... Я тоже...

**Ира**. Ты понимаешь, что ты говоришь? Вообще... фанат, да?

**Игорь**. Вообще, я тупой... но... можно просто... поговорить.

**Ира** (радостно). Конечно...

...Ее глаза полузакрыты, лицо мокро от пота, рот полуоткрыт. Она крутит головой, будто пытается выскользнуть из-под него. Ее пальцы сжимают кожу на его спине, стискивают, впиваются ногтями. Расслабляются, нежно гладят...

Игорь тянется губами к ее груди. Она пальцами впивается в его мокрые волосы, забирает губами рот...

Захмелевшие от прилива любви глаза...

Их губы ищут друг друга...

Ее рука свисает с кровати, покачиваясь в такт движению.

Они обнимают, целуют друг друга...

Его руки сжимают и гладят ее ягодицы...

То же делают ее руки...

...Она сидит на кровати напротив него, по-турецки сложив ноги, спрятанные под простыней. Поднимает левую руку и показывает у себя под мышкой. Ее тело влажно от пота. Пот над переносицей, над верхней губой. Когда она говорит, время от времени облизывает его.

**Ира**. Потом вот здесь появляется наподобие желваков... (Показывает пальцами, свернутыми в кольцо.) Сантиметр в диаметре. Вот здесь... (Показывает на пах.) Здесь... на лимфоузлах... (Трогает лимфоузлы на его шее. Подобие улыбки появляется на ее губах.) У меня уже были... А в остальном будто грипп: слабость, потливость, часто тошнит... (Подвигается к Игорю, целует в губы, шепчет виноватым голосом.) Жалеешь?

Игорь нежно кладет ее на спину и, склоняясь, целует в те места, которые она показывала пальцем. Осторожно и мягко, чтобы не ранить ее, говорит:

— Я где-то читал, что СПИД — порождение неразумного обращения с ядерной энергией: испытания, Чернобыль, но скоро найдут лекарство...

**Ира** (смеясь). Ой, ну ты даешь — да?.. Ой... Нет у меня ничего — я треплюсь... (Она опять смеется и кашляет.)

**Игорь** (растерянно). Зачем?

**Ира**. Скучно. Ну иди сюда... (Обхватывает Игоря, гнет к себе.) Иди-и... (Смотрит Игорю в глаза, касаясь носом носа, и слегка покусывает его губы.) Но ты потряс меня... потряс... У тебя что — действительно не было девочек? (Игорь застенчиво соглашается. Ира балуется, рычит и накидывается на него.)

Сухощавая мускулистая спина Игоря в крупных и мелких каплях пота. По шее, по

лбу от взмокших волос струится пот. Пот на висках, под носом и на подбородке. Игорь целует свою подругу, целует мокрую шею и сухие мочки ушей, целует шею и подбородок.

Ира кричит в экстазе, отталкивает от себя. Он прижимается к ней еще плотнее.

...Уже стемнело. За окном от сильного ветра шумит листва. Стекла сечет дождь.

Ира делает бутерброды, вырезая из шматка несвежей, заветрившейся колбасы более или менее годные для еды куски и щедро кормит Игоря. Она целует его, дает откусить от бутерброда и потом кусает сама.

**Игорь** (виновато). Я всегда был страшный: длинный, прыщавый, в очках...

Она смотрит на него — у него крепкая чистая шея, мужественное лицо, тонкая талия, перехваченная полотенцем, длинные сильные ноги.

**Ира**. У тебя ноги, как у древнегреческого Аполлона... только размер большой...

Она целует его ноги, подбираясь к паху, к самому краю полотенца.

**Игорь**. Я всегда был олигофрен.

**Ира**. Почему?

**Игорь**. Я не люблю говорить ерунду, а умное в голову не приходит. Вот и думают, что я тупарь.

**Ира**. Зато сейчас ты самый большой, самый красивый и самый умный.

Игорь смеется и целует ее. Ира садится на него. Смотрит ему в глаза. Игорь обнимает ее, ищет губами губы, она не дает их.

**Игорь**. До семи лет я вообще был глухонемой — зато умел читать по губам.

**Ира**. А сейчас?

**Игорь**. Иногда.

Ира смотрит ему в глаза и безмолвно шевелит губами.

**Игорь**. Нет. Никогда.

**Ира**. А что я сказала?

**Игорь**. «Ты не будешь обижать меня?»

**Ира**. Ух ты!.. Можно, я рассмотрю тебя? Я хочу рассмотреть тебя...

Ира медленно стаскивает полотенце, обнажая сантиметр за сантиметром его тело, вызывая в нем дрожь и мурашки.

**Ира** (видит шрамы на его груди). Откуда они у тебя?.. (Игорь улыбается и пожимает плечами. Она видит длинный, сросшийся шрам, пересекающий грудную клетку сверху донизу.) У тебя что — вынимали сердце? (Игорь улыбается и прижимает ее к себе, она отталкивается от него.) Скрываешь?.. Ну-ка, ну-ка... И вот... Да ты весь изрезан!.. Беденький ты малыш... (Чуть выворачивая, рассматривает его левую руку, видит порез над кистью.) Ты что — вены вскрывал?

**Игорь** (виновато). В госпитале, когда думал, что останусь слепым.

Она тянется к его лицу. Под глазами Игоря множество мелких шрамов.

**Ира**. Как будто тебе иссекали кожу.

**Игорь.** Потом так и было.

**Ира** целует его в эти места. Выворачивая руку, демонстрирует свою левую кисть и шрам над ладонью.

**Ира.** А я — вот... когда меня изнасиловали одноклассники... *(Целует такой же шрам у Игоря и прижимает к его губам свои.)* Я хочу тебя полюбить навсегда.

**Игорь.** Да... Скажи, ты правда валютная проститутка?

**Ира.** Мы просто тогда хорошо набрались... Ты лучше скажи мне, только честно-престно... мне это важно... в армии очень плохо?

**Игорь.** Нормально... Понимаешь, везде ведь свои законы... в армии — свои...

**Ира** *(настаивая)*. Ну так там бьют или не бьют?

**Игорь.** У тебя там парень?

**Ира.** Хуже — брат. Понимаешь, он оттуда сбегал. Его сейчас везде ищут.

**Игорь** тяжело дышит, ноздри широко раздуваются.

**Игорь.** У тебя есть выпить?

**Ира** испуганно выскальзывает из постели, мелкими шажками бежит на кухню. Возвращается с подносом. На подносе — вино и бокалы.

Наливает большой бокал вина из плетеной бутылки. Игорь не отрываясь выпивает.

**Игорь** *(с трудом)*. Там, как везде, — как поставишь себя, так и живешь. Кого бьют, а кого не бьют.

**Ира** *(испуганно)*. Успокойся. *(Снова наливает ему полный бокал вина, поднимает свой, наполненный на треть.)* Давай лучше чокнемся.

**Игорь** *(взволнованно)*. Как везде — в этой дермовой жизни.

**Ира** показывает пальцами шрамы на его груди.

**Ира** *(тихо)*. Это оттуда? *(Игорь молча кивает и выпивает вино.)* Тебя били ножами... эти «деды»?

**Игорь.** Азики... чем придется.

**Ира.** Азиаты?

**Игорь.** Разные. В основном — с гор. Понимаешь, до армии я не знал... то есть я знал, но мне было плевать, у кого какая национальность...

**Ира.** А русские? Ведь там есть и русские?

**Игорь** оттягивает кожу на шее, показывая небольшой странный шрам.

**Игорь.** Русские?.. Я работал с расстегнутым воротником, два русских «деда» отвели меня за угол, и сержант-азик застегнул крючок через кожу.

**Ира** *(стукнув свой бокал об его)*. Да плевать на них — они все подохнут! Давай наберемся?

**Игорь.** Давай!

**Ира** побежала на кухню, расшвыряла посуду и банки в кухонном столе и вытащила

оттуда две бутылки вина и бутылку с джином. Вернулась в комнату, включила музыку.

Они пили вино, танцевали, любили друг друга и были счастливы.

**Ира** *(шепчет)*. Милый ты мой, любимый, где же ты был?.. Зачем ты прятался от меня?..

**Игорь** *(пьяно)*. Ну почему? Ну что за жизнь — куда ни сунешься, везде только бьют!.. «Честные молодые люди должны учиться...»

**Ира** *(с улыбкой)*. А я студентка! Я учусь...

Он взял ее на руки и носил, прижимая к себе, как подарок.

...Под утро, когда где-то далеко-далеко поднималось солнце, а здесь засерели шторы, Игорю почудилось, что по квартире прошлептели чьи-то шаги и легко стукнула дверь. Он открыл глаза и прищурился, но ничего не увидел.

Он прошел в ванную, нашел у зеркала контейнер с линзами, тщательно вымыл руки с мылом, промыл каждую линзу, надел на глаза и вернулся в комнату.

**Ира** спала, разметавшись на широкой низкой лежанке. Поясница ее обнажилась. Там, где она переходила в ягодичцы, Игорь увидел надпись: «Шалунья».

Это было так неожиданно, что он послушно явил палец и потерял букву «Ш». Буква не оттиралась.

**Ира** *(недовольно, сквозь сон)*. Ну что — наклейки не видел? *(Повернулась, увидела его ошеломленное, растерянное лицо, засмеялась.)* Давай и тебе делает: «Привет Ире из Севастополя». А что — места хватит... *(Хватанула его за место, где, по ее мнению, следовало сделать эту татуировку. Тут же съежилась под одеялом и закрыла глаза.)* Спать-спать-спать...

**Игорь** молча, стараясь не шуметь, одевается. Потом берет роскошную дорогую куртку, которую вчера отнял у Анзора, прикрывает Иру поверх простыни и уходит.

**Ира** не спит. В ее глазах печаль и тоска.

**Игорь** выходит во двор, и первое, что он видит: в арке, единственном выходе из небольшого замкнутого двора, стоит голубая «девятка». В открытой двери, свесив на землю длинные ноги, улыбаясь, сидит Влад. За рулем — Андрей. На заднем сиденье читается аккуратенькая белая головка Аллы. По обе стороны от «девятки» стоят два мотоцикла.

У входа в каждый подъезд, куда можно было бы сбегать, стоит по «качку» — и все улыбаются.

Едва **Игорь** успевает оценить ситуацию, сзади на него набрасываются, накидывают на шею удавку, резко, рывком затягивают и тащут к машине.

В автомастерской Валеры ревет в углу телевизор, показывая развлекательную программу по коммерческому каналу.

Белая лошадка  
в чистом поле скачет,  
вечно мать о сыне  
потихоньку плачет...

Они пытали его давно. Тело Игоря обожжено окурками, подпалено паяльной лампой. Он висит на вывернутых руках над камерами и баллонами, подтянутый к потолку цепью.

**Чернов** (*домогается*). Куда ты еще заходил? Кому еще написал?

Игорь молчит.

Харон прикрепляет тиски на срамное место.

Чернов отходит к двери.

Ребята на баллонах, на верстаках — кто где — сидят с автоматами. Чернов считает, что это для них школа, пусть смотрят.

Ревет телевизор.

Чернов подходит к двери и выглядывает на улицу.

...Все тихо, спокойно на крытой автостоянке. Пенсионер Амбиевич мирно строгаёт доски на электростанке.

Из «бокса» выехал на «Москвиче» и поехал на работу актер Панькин.

...ну а он далече  
где-то затерялся,  
на пути на Млечном  
след его остался...

Чернов отходит от двери и переключает телевизор. По этой программе показывают Нобелевский комитет. Награжденный премией Президент выступает с речью.

Чернов снова переключает на коммерческий канал.

Харон прилаживает тиски к половым органам Игоря.

Игорь молчит.

**Влад**. Он отключился.

Харон обливает Игоря из ведра.

Игорь открывает глаза.

**Чернов** (*повторяет вопрос*). Куда ты еще заходил? Кому еще написал?

Игорь молчит.

Чернов в раздражении тушит об его живот сигарету, видно, как шипит кожа, и кивает Харону — давай.

Харон подкручивает тиски, Игорь тяжело стонет.

Кто-то включает станок.

**Чернов** (*снова*). Ну?..

Игорь тяжело стонет, открывает рот.

Харон подкручивает тиски.

Игорь кричит.

**Чернов** (*снова*). Говори. (*Выругался. Сделал Харону отмашку рукой.*)

Харон старается.

Игорь стонет в муках, но смерть-спасительница подбирается к нему...

Белая лошадка  
в чистом поле скачет...

...Финский домик на лесной поляне. Чистое звездное небо. Из трубы домика вьется легкий дымок.

Открывается дверь домика, выпуская на улицу сноп света. Это мама открыла дверь. Из домика выходит маленький мальчик с котомкой на слабой спине — сын.

Мама остается в проеме, прислонившись к крашеному дверному косяку, смотрит, как уходит от нее, в свою жизнь, сын.

Мальчик идет со двора в темный знакомый мир. Он останавливается и, подняв голову, смотрит на звездное небо. Ожидание, восторг и надежда в его чистых глазах. И тончайший, еле видимый свет связывает его незамутненный дурным помыслом взгляд с чистым звездным небом.

...Ах, мама-маменька,  
я очень маленький,  
ах, мама-маменька,  
мне много лет...

Николай Иванович Гусев быстрыми шагами идет за одетым в валенки, ушанку и телогрейку служителем морга.

На лице Гусева потеряность и отрешенность. Глаза заплаканы.

Рядом шагает милиционер.

Служитель ест на ходу какую-то паршивую колбасу с огурцом.

Они останавливаются у морозильной камеры. Служитель что-то говорит Гусеву. Гусев, не слыша и не понимая, молча кивает. Служитель открывает морозильную камеру — Гусев зажмуривает глаза.

Служитель выдвигает носилки с покрытым серой простыней телом. Он откидывает простыню и что-то сердито говорит Гусеву.

Гусев виновато открывает глаза. Его тут же повело, он еле удерживается на ногах.

Служитель заставляет смотреть на лицо.

Да, это лицо Игоря. Его, видимо, сильно били перед тем, как убить, а потом уродовали лицо, чтобы нельзя было узнать. Но это был он.

Гусева снова повело, но милиционер подерживает его, спрашивает что-то. Гусев кивает. Неутешно плачет.

Церковь Святой Троицы на Ленинских горах.

Большие, с некогда крепкими пальцами руки Игоря уже пожелтели, а под ногтями стало синеть. След от пальца Чернова на внешней стороне правой кисти обозначился еще явственнее и приобрел лиловый оттенок.

В мертвых руках Игоря — горящая свеча,

а сам он лежит в гробу с закрытым лицом...

Старушка-молельщица с любопытством заглядывает в гроб, но, увидев вместо лица черный бархат, пугается и плачет.

Священник читает молитву по похоронному обряду святой православной церкви.

Безумными от горя глазами смотрит Гусев на то, что еще совсем недавно было его сыном.

Сшедшая с ума мама слабоумно улыбается и тарашится по сторонам.

Над ними в светлой просторной высоте белеет купол церкви с нарисованными облаками, ангелами и добрым всепрощающим Богом.

Вступает далекая траурная мелодия.

Траурная музыка.

Последняя минута прощания.

Гусев склоняется над гробом, целует руки сына и незаметно для всех сует в них...

...свою фотографию, снятую когда-то для паспорта.

Он шепчет: «До скорой встречи, сынок» и прижимается лбом к рукам, не имея ни желания, ни силы расстаться...

...Но вот уже гроб движется к распахнувшимся колосникам...

...Гусев об руку с женой выходят во двор крематория, где их поджидает санитарная машина и два крупных санитара.

Двор залит ярким солнцем.

Санитары открывают заднюю дверцу машины с зарешеченным окном и помогают жене Гусева забраться внутрь.

Гусев благодарит их, дав каждому по десять рублей.

Санитар. А водиле?

Гусев *(безропотно прибавляет десятку для водителя)*. Можно, я с ней прошусь?

Санитар недовольно открывает заднюю дверцу машины.

Гусев смотрит жене в слабоумно улыбающееся лицо и целует руку.

Гусев. Прости, Марина, я перед тобой виноват... Ты не была счастливой...

Она бессмысленно смотрит перед собой. На ее лице блуждает улыбка.

Гусев *(еще раз целует ее руки)*. Прощай...

Санитар легонько отодвигает Гусева и захлопывает дверцу.

В этот миг жена льнет лицом к зарешеченному окну и громко, музыкально поет:

Надежда — мой компас земной,

А удача — награда за смелость...

Слова песни уносятся вместе с санитарным автомобилем...

На площади Дзержинского вокруг памят-

ника основателю ВЧК безумное и бестолковое стадо автомобилей, сизый дым смога.

Гусев с трудом, обеими руками открывает массивную дверь рядом с табличкой «Комитет государственной безопасности СССР».

...Сотрудником КГБ, к которому попал Гусев, был молодой, немногим старше тридцати лет человек с миловидным, несколько женоподобным лицом и черными, воронова крыла волосами. Он старался не смотреть на собеседника, но когда смотрел, его черные глаза резали потусторонним светом.

Он был одет в серый костюм, голубую сорочку и черно-белый галстук.

Сотрудник КГБ. Очень хорошо, что вы пришли к нам. *(Испытующе, исподволь смотрит на Гусева и хорошо понимает, что перед ним старый и в общем-то доверчивый лопух.)* Это очень важное, большое секретности сообщение. И я прошу вас никоим образом не говорить об этом — ни в дружеской беседе, ни в ответах на любознательные вопросы.

Гусев согласно, с неожиданно возникшим в нем чувством преданности и верноподданничества кивает головой.

Сотрудник КГБ *(продолжает)*. Когда вы нам понадобится, к вам придет соответствующий товарищ и скажет: «Я от товарища Родионова». Это будет наш сотрудник, вы должны полностью доверять ему... *(Встает, протягивает Гусеву пухлую белую ладонь. Гусев как-то чересчур поспешно протягивает свою. Ладони неловко попадают друг другу в зажим, что сильно смущает Гусева.)* Спасибо... Вы в ближайшее время никуда не собираетесь уезжать из Москвы?

Гусев. Нет, я все лето буду в Москве.

Сотрудник КГБ. Еще раз большое спасибо...

Он встает, открывает перед Гусевым дверь в коридор:

— Всего доброго.

— До свидания.

Вернувшись к столу, сотрудник КГБ, зачем-то нюхая одну и вторую ладони, вынимает из кармана пакетик с освежающей салфеткой и трет ею руки, пока она не отдаст им всю свою влагу. Затем бросает салфетку в корзину для бумаг и выходит из кабинета.

Беспокойно оглядываясь, Гусев входит в арку круглого дома. Его лицо, шея и руки в многочисленных порезах, обильно смазанных зеленкой.

На лестничной площадке он звонит в дверь. Ему открывает тот самый ученик, который на уроке Гусева продавал «Лонг 07».

Бычков. Николай Иванович, что с вами?

Гусев. Ерунда, попал в автобусную аварию. Бычков, продай мне пистолет.

Бычков испуганно смотрит на учителя, на

его покалеченное лицо и понимает — человеку нужно.

**Бычков** (*шепотом*). Заходите, Николай Иванович. (*Пропускает Гусева в квартиру.*)

...Гусев проверяет, как ходит затвор у «Лонга», как щелкает курок, вставляет и вынимает рожок-обойму с патронами.

Бычков кладет на письменный стол две картонные упаковки с патронами, спрашивает с сомнением:

— А вы стрелять-то умеете?

— Научусь.

Бычков показывает, как пользоваться пистолетом.

**Бычков** (*показывает*). Вот так — туда скользит патрон. Целитесь. Стреляете. Обойма — вынимаете, вставляете. Запасная обойма. Гусев. Ага... Спасибо. (*Выгаскивает из кармана мешочек из тонкой замши.*) Денег у меня нет. Вот... (*Вынимает из мешочка прекрасную старинную вещь, возможно, работы самого Фаберже.*)

**Бычков** (*с большим сомнением*). Ну, она потянет на восемь сотен?

Гусев. Она потянет на восемь тысяч... А может быть, и на восемьдесят.

**Бычков** (*хмуро*). У меня нет сдачи...

Гусев (*пишет на листке бумаги адрес, протягивает листок Бычкову*). Здесь лежит моя жена. Это больница. Будешь раз в неделю возить ей овощи, фрукты... иногда колбасу, если достанешь... Пока сдача не кончится.

**Бычков**. А вы куда же?

Гусев. Уезжаю.

**Бычков**. Надолго?

Гусев. Скорее всего насовсем.

**Бычков**. Вы вроде бы не еврей.

Гусев. У каждого свои недостатки.

**Бычков**. Я в том смысле, что вы не потянете. Это у евреев в каждой стране община, а у вас — хрен.

Гусев. Спасибо, Бычков. Жену зовут Марина Семеновна. Вещь сдай в комиссионку, не связываясь со спекулянтами. (*Протягивает руку.*)

Гусев идет к выходу. Бычков обгоняет его, открывает перед ним дверь.

Гусев (*из дверей*). Привет нашим... ребятам... (*Вздыхает, повторяет сердечным тоном.*) Большой привет нашим.

Гусев достает с антресолей рюкзак. Маленький детский рюкзак. Когда-то они с Игорем брали его в поход. Он испачкан побелкой о потолок. Гусев стирает ее мокрой губкой. Вытряхивает из рюкзака на кровать то, что в нем было. А были детские вещи Игоря — шорты, рубашки, пионерские галстуки.

Гусев отыскал в атласе карту с нужным ему районом, вырывает листок, сворачивает

и кладет в карман.

В рюкзак он бросает зубную щетку, пасту, мыло, полотенце и бритву.

Проходит в свою комнату, снимает со стула пиджак, надевает на себя. Вынимает из внутреннего кармана «Лонг-07». Проверяет, как вынимается обойма, как взводится затвор. Осматривает запасную обойму. Возвращает все на место.

Присаживается напоследок. Коротко задушивается и со спокойным и твердым выражением лица выходит в холл. Оглянувшись, он видит...

...как в комнате Игоря воссиял свет...

Весь свет исходит от него, его мальчика, его сына. Маленький, первоклассник, он как будто только что сел за письменный стол и задумался... Но вот повернулся к отцу и радостно, во все лицо улыбнулся. От лица исходило счастливое белое сияние. **Игорь** (*радостно*). Папа! (*Взметнулся из-за стола и повис у отца на шее.*)

Гусев подхватил сына на руки, прижался к нему лицом.

**Гусев**. Значит, ты маленький?

**Игорь** (*радостно*). Да, папа, я не вырос... Маленьким лучше... (*Кому-то, кого здесь не видно.*) Да, сейчас... (*Отцу.*) Я пошел, а то меня ждут...

Игорь исчезает, и в квартире становится сумрачно, как и прежде.

Гусев стоит у косяка с рюкзаком на спине. Отталкивается от косяка и выходит из квартиры, хорошо понимая, что это уже навсегда.

Рижский вокзал. На углу привокзальной площади стоит БМП с зачехленной пушкой. У БМП стоят молодые солдаты спецназа в бронежилетах, с укороченными десантными автоматами и длинными резиновыми дубинками в молодых сильных руках. Они курят и глазуют на девушек.

Мимо спокойно и сосредоточенно проходит Гусев. Он идет на вокзал.

До обидного неновой и нечистый поезд мчит по бескрайним, печальным просторам Северо-Запада России.

Оскверненная бездарным строительством и бездарной мелиорацией земля.

Деревни.

Поля и леса.

В заплеванном тамбуре парень и девушка тискают, целуют, едва не грызут друг друга.

Распахивается дверь со стороны межвагонной сцепки, в тамбур входят милиционер и два «краповых берета» в полном вооружении. «Береты» косятся на девушку, проходят тамбур, входят в общий вагон.

На боковой нижней полке сидит за сто-

ликом Гусев и сосредоточенно рассматривает карту, вырванную из атласа. Он так увлекся, что не заметил остановившийся над ним наряд.

**Милиционер** (*осторожно дотрагивается до Гусева. Гусев поднимает голову*). Извините, выборочная проверка документов. У вас есть при себе паспорт?

**Гусев**. Есть. (*Вынимает из кармана и протягивает милиционеру паспорт.*)

Милиционер сверяет фотографию паспорта с оригиналом. «Краповые береты» лениво смотрят на процедуру и по сторонам.

**Милиционер**. У вас нет других документов?

**Гусев**. Нет. (*Ему кажется, что «Лонг» очень опасно выпирает под пиджаком, он вздыхает и меняет позу.*)

**Милиционер** (*возвращая паспорт*). Что у вас с лицом?

**Гусев**. На автобусе попал в аварию.

**Милиционер**. У вас нет справки из поликлиники?

**Гусев**. Есть, из травмпункта. (*Дает милиционеру справку.*)

**Милиционер**. Здесь не указано, что на автобусе.

**Гусев**. Что делать.

**Милиционер**. Извините. (*Он козыряет. Возвращает справку.*)

Патруль отходит от Гусева, и больше до самого выхода из вагона они ни к кому не обращаются.

Дождавшись, когда последний из наряда закрывает за собой дверь в тамбур, Гусев идет к туалету.

...Здесь, стоя чуть не по щиколотку в моче, Гусев вынимает сунутый еще в Москве в карман пиджака «Огонек», достает из внутреннего кармана «Лонг», запасную обойму и заворачивает пистолет и боеприпасы в журнал.

Срезает перочинным ножом замызганное мокрое полотенце, заворачивает в него куль с «Лонгом» и боеприпасами.

Гусев возвращается на свое место и сует сверток с оружием под столик.

...Ночь. К станции подходит поезд Москва—Ленинград.

Молодой милиционер, не дав остановиться составу, прыгает в вагон.

...Гусев дремлет, сидя за столиком. Над ним склоняется милиционер.

**Милиционер** (*шепотом*). Гражданин Гусев? Гусев (*шепотом*). Да.

**Милиционер**. Документы есть?

**Гусев**. Есть.

Протягивает милиционеру паспорт. Милиционер читает его.

**Милиционер**. Ага, Гусев... А что это у вас в руке?

**Гусев**. Где? (*Показывает, что в его руке ничего нет.*)

Милиционер тут же накидывает на кисть

наручник. Не давая опомниться, ударом об колено больно защелкивает. Рывком выдергивает Гусева с сиденья, тянет за собой. Тут бестолково и суетливо прибежали еще люди в форме.

**Милиционер** (*свистящим шепотом*). Один стреножил! Один! Мой!

Гусева вытаскивают из вагона. На перроне столько суперагентов в унылой милицейской форме, будто людей десяток опасных преступников. Молодой милиционер, взявший Гусева, все суетится.

**Милиционер**. Один захватил! Один! (*Бьет себя в грудь.*) Я!..

**Майор** (*свистящим шепотом*). Заткнись!.. Давай машину!

Задним ходом подкатывает патрульный УАЗ.

Милицейские чины толпой, мешая друг другу, затапливают Гусева в машину.

Кабинет следователя располагается в полу-подвальном помещении бывшей купеческой лавки. Толстые, кирпичной кладки стены не белили, видимо, со времен застоя.

Гусев, прочитав, возвращает следователю бумагу, спокойно и твердо говорит:

— Бред.

Следователь, морщась, трогает на шее нарезанный фурункулы и дергает головой в сторону милиционера:

— Слышь... пригласи пострадавшую.

Милиционер пропускает в кабинет молодую, лет тридцати, женщину со следами очень сильно потасканной, сильно бывшей в употреблении красоты.

**Женщина** (*вскидывает руку на Гусева*). Вот он! Хотел меня изнасиловать. Накинулся в туалете, повалил на пол и бил ногами по почкам. Тебя расстрелять мало! Хорошо, мужики отогнали...

**Гусев** (*спокойно и твердо*). Я отказываюсь вести какие-либо разговоры в отсутствие адвоката.

Тут откликнулся человек, тихонечко сидевший за боковым столом и все что-то писавший.

**Адвокат**. А я здесь. (*У Гусева вытянулось лицо, адвокат радостно засмеялся.*) Не нравлюсь?.. Есть деньги, вызывайте себе из Москвы.

Двор. СИЗО. У КПП готовится транспорт. Выпускающий прапорщик оканчивает осмотр кузова «воронка», придирчиво заглядывает под машину, будто кто может прицепиться под ней и выехать на волю.

Второй прапорщик, из проходной, в это время рассказывает ему.

**Прапорщик**. ...А мне приснился во сне телевизор — но белый! — попался мне по та-

лону... И смотрю я по нему новости, которые никто больше не видит!.. И съезд, которого нет!..

От изолятора под охраной ведут эзков. Среди них похудевший и обросший щетиной Гусев.

Зафиксируем еще одного, огромного и угрюмого человека — это бывший майор милиции Петраков. За ним шаркает какой-то наглый звереныш и нарочно наступает тяжелым «коцем» на пятку.

Старшина. Стой!.. Подравнялись! Васильев, начинай проверку.

Начинается «шмон».

В кабинете у тусклого большого окна стоят замначальника по режиму и вор.

Отсюда хорошо видно, как у «воронка» равняется группа заключенных. Как контролеры «шмонают» ээка. Как потом запускают в машину. Среди них Гусев.

Замначальника. Этот — седой, в «стеклах»...

Вор. Я этих стеклянных с таких пор ненавижу... Начальник, а ты не хочешь меня замести по «мокрому»?

Замначальника. Посмотри мне в глаза... (Вор смотрит.) Ты видел когда-нибудь честнее глаза?

Вор (нерешительно). Нет.

Замначальника. Зато сидеть будешь — сколько тебе там по твоей статье?.. (Смотрит на стол, не отходя от окна.) Семь... Как у мамы. Все будешь иметь: и пидера, и кайф, и шамовку...

Вор. Я все имею, не в этом дело. Ты не забываешь меня, я не забываю тебя. Сегодня тебе принесут его стекла.

Замначальника (вызывает кнопкой дежурного). Шерстюка на место...

Тусклый осенний вечер. По дороге, переваливаясь по лужам и рытинам, катится «воронка». Подвывает слабый, старый двигатель.

В кабине пожилой старшина водитель и прапорщик с автоматом.

Вместе с машиной дергаются за решеткой ээки. Дергается на ухабах и конвой.

Шерстюк нагло ухмыляется и смотрит в глаза Гусеву. Гусев старается выдержать его взгляд. Ему страшно. Петраков кричит в ухо Гусеву:

— Плюнь ему в рожу, а то не отвяжется!

Шерстюк втягивает из носа в рот сопли и шаркает Петракову в лицо. Петраков пытается ударить его ногами.

Конвойный. Сидеть — пристрелю!

«Воронка» дергается и садится в колдобину. Воеет двигателем. Визжат колеса, зарываясь в землю все глубже и глубже.

На лицах арестантов — ожидание. Один, заросший буйными волосами, привстает.

Конвойный (вскидывает автомат). Сидеть!

Арестант садится. Машина качается взад-вперед, взад-вперед, раскачивая арестантов. Останавливается. Хлопает дверь кабины.

Шерстюк, нагло улыбаясь, смотрит в глаза Гусеву.

Открывается дверь кузова. В проеме прапорщик с автоматом.

Прапорщик. Кто будет толкать — даю сигарету с фильтром.

Старый вор (Авторитет). Прапор, ты наш закон знаешь — воры не работают.

Прапорщик. Это развлечение!

Авторитет. Пусть фраера развлекаются.

В «воронке» общая тупая ржа. Шерстюк, нагло улыбаясь, ловит взгляд Гусева.

Прапорщик (ругается). Воронец, сними с фраеров наручники!

Визжит в грязи колесо, выплевывает из-под себя жидкую грязь.

Гусев и Петраков пытаются вытолкнуть «воронку». Они оба по пах в грязи.

Прапорщик стоит на сухом месте, автомат на плече.

Конвойный из кузова «воронка», он тоже прапорщик, стоит совсем близко от Гусева и Петракова и держит автомат в руках.

Петраков толкает машину и искоса наблюдает за ним.

Прапорщик вешает на плечо автомат, достает из кармана шинели сигареты, открывает пачку.

Тут же на него кидается Петраков, одним рывком срывает с плеча АК, ударом приклада в скулу сбивает конвоира с ног.

Второй прапорщик мгновенно реагирует, но он уже на прицеле у Петракова.

Петраков. Брось штуку, убью!

Прапорщик видит, что Петраков не шутит, бросает автомат на землю.

Петраков (Гусеву). Возьми ствол, учитель. (Гусев подбегает, поднимает с земли автомат.)

А машина ревет, дергается взад-вперед. Петраков подбегает к кабине, открывает дверцу. Наводит АК на водителя.

Петраков. У тебя есть ствол?

Старшина. На кой хрен он мне?

Петраков. Выметайся. Ключи мне.

Старшина. Потом ты не заведешь.

Петраков. Тогда оставляй в замке.

Старшина, кряхтя от боли в пояснице, выбирается из кабины.

Задняя дверь «воронка» открыта. С автоматом наизготовку, широко раздвинув ноги, стоит Петраков.

Петраков (в машину). Бегом все — на руках выносить машину!

Откликается широкоплечий, заросший буйными волосами ээк, выпуская из хищных ноздрей дым и сплевывая табачные крошки.

Ээк (с презрением). Канай, фра...

Петраков вскидывает автомат. Бьет короткая тугая очередь.

Зэк, выгибаясь дугой, дергается в судороге. Забулькала в горле кровь, хлынула на обезумевших от животного страха людей.

Гусев в ужасе опускает автомат, ставит прикладом на землю. Прапорщик засекает это. Делает движение к Гусеву.

Петраков вскидывает на него АК, кричит: — Место! Учитель, убью! — В машину: — Суки, буду стрелять!

**Авторитет.** Ша, фраер, лезем!

Зэки один за другим прыгают из «воронка» на землю...

...и под неусыпной охраной Петракова и осмелевшего Гусева выкатывают машину на сухое место.

Дергаясь по корням и кочкам, обхлестываясь о сучья, мчит «воронка». Надсадно завывает двигатель.

За рулем Петраков. Рядом — с автоматом на коленях Гусев. Мелькает, мчится навстречу осенний ночной лес.

Машина останавливается.

Гусев переодевается в форму прапорщика.

Петраков уже переодет. Он выгоняет из машины зэков. Подталкивает стволом.

**Петраков (подгоняет).** Кляпы .. Кляпы!.. Всем кляпы!

Зэки и прапорщики вставляют себе в рты кляпы из лоскутов одежды и завязывают тряпками на затылках.

Один зэк хитрит, медлит.

Петраков зло сощуривается, бьет его прикладом АК в грудь. Зэк гибается, заходится в кашле. Петраков бьет его кулаком в затылок, сбивает с ног, бросает другому зэку:

— Ты, тварь в законе, помоги кенту.

Зэк кидается к коллеге, пихает в заднюю кашлем пасть кляп.

**Петраков.** Помнишь, как бил меня? (Зэк молча кивает. Гусеву.) Ох, Коля, как они били меня — два месяца, каждый день и каждую ночь.

Все зэки, а также оба прапорщика-конвоира, переодетые в одежды Гусева и Петракова, водитель — все с кляпами, сидят в кузове на скамейках, вытянув перед собой руки в наручниках, которыми они пристегнуты к прутьям решетки.

Петраков запирает решетку, выключает плафон, спрыгивает на землю и запирает кузов «воронка».

Он машет рукой Гусеву, они молча отправляются в путь.

...Гусев и Петраков в плащ-накидках продираются сквозь кусты, светят себе фонариком. Дождь сеет не переставая.

**Петраков (на ходу).** Часов двенадцать у

нас есть. А может, и больше — пока спохватятся, потом посоветуются с начальством, начальство — со своим начальством. Потом будут спихивать все друг другу. Пошлют розыскную группу, у нее сломается машина или кончится бензин. Что-нибудь обязательно потеряют. Похоже, неделю имеем...

Они выбирают по насыпи на дорогу. Петраков взлетел довольно быстро и мощно. Гусев съехал по гравию, Петраков протянул ему автомат и помог влезть. По-прежнему сеет дождь.

**Петраков.** С физкультурой не дружишь. **Гусев.** Нет.

**Петраков.** Что мы будем идти? Подождем транспорт. (Он осветил Гусева фонарем.) Смотримся мы неплохо: два немолодых прапорщика при исполнении особого боевого задания родного правительства... Слушай, Коля, у тебя нормальная морда, ты, вообще, кто?

**Гусев.** Учитель.

**Петраков (с горечью).** А я, вообще, майор ОБХСС. Я вышел на мафию, взял очень длинный конец в «Совэксспортнефти». Подстроили мокрое дело, пришли убийство... (Гусев вздрагивает. Петраков продолжает в упоении.) Посадили меня, мента, к ворам... (Яркие фары.) Транспорт. Похоже, даже «уазик».

Это действительно «уазик». Дергаясь и визжа тормозами, он останавливается перед монументальным Петраковым. Из кабины выглядывает недовольный мордатый мужик. Петраков высвобождает из-под накидки ствол автомата. Подходит к машине, вскидывает к козырьку ладонь:

— Кто старший?

**Шофер (недовольно).** Ну я... (В машине рядом с ним горбатится какая-то баба с узлами в обхаекту.)

**Петраков.** Старший прапорщик КГБ Фигнер. Машина реквизируется для выполнения задания. (Гусеву.) Садитесь, товарищ Засулич.

Гусев и Петраков садятся в УАЗ.

В машине полно женщин с корзинами и узлами.

**Женский голос (испуганно).** Я не поеду. Отдай, Ванька, денежку.

**Петраков (весело).** Поедешь. И всю дорогу будем трахатьсья!.. Ну кто первая?

Блеснули озорные глаза.

**Голос (звонко).** А что, бабоньки, мужик справный!

Машина трогается с места.

Смех, радость, веселье.

**Чистый, тоскующий женский голос.** Вот кто-то с горочки спустился...

**Шофер (басом).** Наверно, милый мой идет...



**Другие женщины (подхватывают).** На нем защи-итна ги-имнастерка, она с ума меня сведет...

Переваливаясь, укатывают красные габаритные огни. Сеет нудный осенний дождь.

Лицо Гусева над родником. Чистая прозрачная вода. Близкое дно. Там, где выбивают ключи, шевелятся и взлетают песчинки. Гусев благоговейно принакает лицом к воде. Пьет. Ополаскивает лицо. И опять пьет.

Потом он поднимается по усыпанному желтыми листьями лесному склону. Перед ним скала — как та, на которой когда-то сидел перед ясновидящей его сын. Под ногами — красная брусника. Млея от счастья, Гусев ест ягоды. Жарко. Пралорщицкая одежда на нем распахнута. Галстук съехал, автомат — на плече.

...Вечереет. Он выходит на берег небольшого лесного озера. Смотрит по сторонам. Тихо, спокойно, безлюдно. Именно в таком месте он всегда хотел жить.

Лицо его просияло. Как будто не было ни горя, ни греха за спиной и впереди. Где-то в небе гогочат гуси. Он поднял голову и увидел растянувшийся в небе, направленный к югу косяк.

Гусев (*радостно*). Ах, как хорошо... Чуден мир твой, Господи...

Он опускает глаза и видит перед собой старушку. Он может дать голову на отсечение, что здесь секунду назад никого не было. Старушка сидит на берегу заросшего водяными лилиями и камышом озера и спокойно и твердо, совсем не по-старушечьи смотрит на Николая. Может быть, это его мама? Он бы не мог поручиться, что это не мама, хотя знает, что это не мама, потому что она умерла.

Гусев (*вздрыгнув, с трудом справляясь со своим ужасом*). Бабушка, вы чего?..

**Вилконен.** Тебя, Коленька, поджидают...

На его глазах в ее лице проступают знакомые черты Елены А. Вилконен, его первой учительницы.

Ее изображение задрожало, заволновалось.

**Вилконен (строго).** Не делай этого, Коленька, грех. Это не твое дело — Богово...

**Финляндия. 1947 год.**

Маленький белесый мальчик Коля Гусев с ревом мчится к учительнице, падает головой ей в живот, горько рыдает: на его штанах сзади вырван клоч материи.

Его первая учительница, финка по происхождению, Елена А. Вилконен гладит Колю по голове. Она более чем скромно одета, стройна и ласкова.

Неподалеку мальчики собирают самые большие и самые красивые листья, а девочки плетут из них венки.

Помогая себе автоматом, Гусев с трудом идет по проваливающейся под ним земле. Впереди течет ручей в полтора метра шириной. Гусев перебирается через него, проваливаясь по грудь, вылезает на твердь и карабкается на кручу.

Тяжело дыша, Гусев останавливается и видит коричневую охотничью собаку с внимательными глазами. Из-за деревьев выходят два одинаковых мужика с ружьями — оба в тирольских зеленых шляпах с перьями, в тирольских пиджаках и с острыми, будто нечеловеческими ушами.

Гусев едва успевает положить автомат и накрыть плащ-накидкой.

Охотники останавливаются и пристально смотрят на Гусева.

**Охотник.** Мужик, ты тут не видел двоих с собакой?

Гусев (*нерешительно*). А — вы?..

**Охотник (с усмешкой).** Других. (*Внимательно смотрит на Гусева, потом показывает рукой.*) Там мост.

Недалеко за лесом стучит по рельсам тяжело груженный поезд. Еще ближе гудит нечастыми моторами шоссе.

В темноте, таясь, Гусев выходит на просеку, вырубленную вдоль ЛЭП... Прислушивается... Он мокрый и грязный после болота.

На стене старого, сто раз крашенного, с заколоченными окнами дома прибита вспучившаяся под дождями фанера с неровными черными буквами. Дверь забита толстыми досками.

Гусев (*шепотом*). «Детская дача. Взрослые и дети, сохраним дачу для малышей. Дача на капремонте. Просьба не ломать и не бить стекла. 1986 год».

Он обходит строение и видит, что дверь черного хода открыта. Гусев с трудом взбирается по заскрипевшим под ним ступенькам на крыльцо и входит в черный зев дома.

В полной тьме, повинувшись необъяснимому велению, он минует кучи разного хлама и безошибочно выходит к лестнице на мансарду. Он ступает на эту скрипучую шаткую лестницу и, рискуя каждое мгновение рухнуть вместе с ней, держа в одной руке автомат, поднимается на зашатавшуюся под ним площадку. Он открывает скрипучую дверь и рядом с низким широким окном видит женщину. Она сидит и молча смотрит на него. На вид — его ровесница. Тоже в очках. Она снимает очки, обнаруживая

прекрасные молодые глаза. Его лицо осветилось. Она спрашивает его, не раскрывая рта.

Голос финки (*по-фински, синхронный перевод на русский*). Кто ты?

Гусев отвечает по-русски, тоже не открывая рта.

Голос Гусева. Я — русский.

Она понимает его. Ее лицо становится ближе и моложе.

Голос финки (*по-фински, синхронный перевод*). Но ты так хорошо говоришь по-фински.

Гусев понимает ее и отвечает по-русски, не открывая рта.

Голос Гусева. Я не говорю, я думаю.

Ее полные губы едва шевельнулись.

Голос финки (*по-фински, синхронный перевод*). Но я тебя понимаю.

Она встает и оказывается тонкой и стройной, как девочка. Но что удивило и как-то ранило Гусева — ее лицо тоже вдруг становится молодым, как у семнадцатилетней. Голос Гусева. Я тебя тоже.

Она тянет к нему белые молодые руки. Делает шаг. На ее молодом лице — желание.

Финка. Почему вы, русские, всегда приходите с автоматами?

Гусев. Я не знаю.

Финка. Зачем с автоматом ты?

Гусев. Я хочу убить зло.

Финка. Зло нельзя убить, оно внутри каждого человека.

Гусев. Я знаю, но я должен... у меня нет выбора...

Она прильнула к нему. И едва ли не первый раз в жизни он почувствовал настоящее удовольствие от постороннего прикосновения...

...Они были раздеты. Нежно и застенчиво, как молодые супруги, только открывающие радость и счастье совместной жизни, они прижались друг к другу. Каждый говорил на своем языке.

Гусев (*глаза в глаза*). Я всю жизнь хотел жениться на финке... Можно, я расскажу тебе, почему...

Финка (*снимая с него очки*). А я и есть финка... (*Целует его в глаза*). Я старая финка... (*Гладит его по губам своими губами, трогает их слегка своим языком, как будто на ощупь проверяя, что он говорит.*)

Задыхаясь от желания, она целует его в губы, шею, плечи и грудь. Гусев сопротивляется.

Гусев. Не надо... Извини, я грязный, давно не мыт, я сидел в тюрьме. Я лучше сам...

Он выворачивается и начинает целовать ее чистое свежее тело. Он ведет пальцем по ложбинке ее груди, по животу, кожа упруго принимает его палец в себя и тут же упруго, по-юному восстанавливается. Лунный

ручеек пробежал по ее телу.

...Лунный сноп связывает мансарду со всем остальным миром через распахнутое окно.

Тревожные тени листьев раскачиваются на полу. На их лицах. На их мерцающих в этом свете телах.

Поскрипывает старый дом.

Гусев. Ты знаешь, я совершенно не умею жить. Я даже не знаю — как это. Вот я вижу, как все уверены, что все умеют, и думаю, что я научусь. А я ведь уже не научусь. Я так и прожил, не умея жить... Финка (*молодо улыбаясь ему*). Я тоже... Гусев. Понимаешь, я ведь учитель, а совершенно не умею учить.

Финка (*утешая его*). Этого никто не умеет...

Гусев. Я даже не смог воспитать сына.

Финка. Это потому, что ты не встретил меня и твой сын — не мой...

Гусев. И самое страшное, я совсем не хочу жить. И никогда не чувствовал желания и охоты жить.

Финка (*становясь еще моложе*). Я — тоже. Это потому, что мы жили, так и не встретив друг друга... (*Нежно целует его в губы молодым, свежим ртом.*)

Гусев (*с виной и тоской*). Моя несчастная жена, она в сумасшедшем доме...

Финка. Это потому, что ты не встретил меня, она из-за тебя не встретила того, кого должна была встретить. Все несчастья в мире оттого, что не те люди встречаются друг друга... (*Становится еще моложе.*)

Гусев (*с огорчением*). Какая же ты молодая — сколько тебе лет?

Финка (*прижимаясь к нему*). У меня нет возраста, потому что я так и не родилась... мои родители уехали отсюда, так и не встретив друг друга...

Гусев (*с нарастающим страхом*). Но как ты здесь оказалась, если тебя нет?

...Светает, их тела блестят от пота, волосы прилипают ко лбам. А они все любят друг друга.

Финка. Я пришла сюда посмотреть. Эта деревня называется Старая Мельница. Я должна была родиться в этом доме в сорок седьмом году... Ведь мне интересно посмотреть на место, где я могла появиться на свет... Почему вы отняли его у нас?.. Почему вы все у всех всегда отнимаете? Есть Бог, он все видит. Поэтому у вас ничего нет и никогда не будет, пока вы все всем не вернете...

Она была над ним, как валькирия, и старела с каждой минутой. Тут запел петух, и с этим последним словом она растворилась...

Загрохотал близкий тяжелый поезд. Гусев открыл глаза. Он повел ими вправо, влево — рядом никого не было.

Гусев нащупал рукой автомат — он лежал рядом, в изголовье. Автомат был испра-

вен. Затвор ходил сильно и мощно. Ствол чист, патроны хищно поблескивали. Гусев вставил рожок на место, встал с кровати и потянулся к стулу...

...и вздрогнул — одежда была выстирана, высушена и отутюжена.

...Одетый, с автоматом в правой руке, он стоит на пороге и смотрит на эту комнату.

...Узкая железная кровать со старым расплюснутым матрасом. Какое-то расписание на стене. Шаткий столик и стул под окном, на которых теперь качались и бегали трепетные тени от листьев, освещенных утренним осенним солнцем. За окном в кронах деревьев синее чистое небо и неумолчно щебечут птицы.

У него было какое-то странно приподнятое и радостное состояние прощания со всем этим — не с тем, что в комнате, а со всем вообще. Ничего не было жаль. Он чувствовал себя гостем, который прилетел и должен теперь улететь в другое место, где его ждут.

С этим радостным, сильным ощущением он выходит из комнаты, где не узнал, но почувствовал, каким может быть счастье.

...Он останавливается перед приклеенной к дереву бумажкой. Читает вслух. Одно слово написано по-фински, остальное — по-русски.

Гусев. «Усикюлля. Старая деревня. Смолоду мойте посуду — всегда будет вам счастье, будет еда».

Хорошим, здоровым и спокойным отношением к жизни повеяло от этого текста. Далеким, счастливым детством. Гусев тянется лицом к бумажке, зачем-то втягивает в себя ее запах и целует. Затем поправляет на плече автомат, вздыхает с радостной задумчивостью на лице.

Дует сильный осенний ветер, сгибая верхушки деревьев. Гонит по небу облака. Холодно светит осеннее солнце. Выстраивается в небе клин улетающих на юг больших белых птиц.

Резкий скрежет вагонных колес.

Гусев резко оборачивается на звук...

Финляндия. 1947 год.

Коля Гусев, шестилетний мальчик, стоит у вагонного окна и смотрит...

...на грустную девочку в клетчатом платье, с которой они так сильно похожи. Нашедших из дома ее молодых и спокойных родителей. На ее товарищей, которые подъезжали к их мызе на красивых велосипедах с яркими сетками на задних колесах. На нарядный их дом.

Заскрипели тормоза. Вдоль состава и по вагонам побежали пограничники в зеленых фуражках с автоматами и собаками.

Голоса (встревоженные). Кто сорвал тормоз?.. Кто сорвал тормоз?..

Поезд трогается...

Гусев в отутюженной, как для парада, форме прапорщика, с автоматом в правой руке сбегает с пригорка, пересекает шоссе и смело выходит на площадку перед мотелем.

Здесь все так, как было тогда, при Игоре. Те же автомобили. Та же военно-спортивная охрана по периметру. Те же милиционеры с рациями и автоматами.

Перед Гусевым раздвигается зеркальная дверь — выходит не очень высокая, но очень стройная женщина в полутемных очках, с платиновыми волосами. Гусев на секунду остолбенел — это та самая финка, которую он или видел или не видел прошедшей ночью в брошенной детской даче. Финка легкой походкой идет к маленькому темно-фиолетовому «вольво» с затемненными стеклами и быстро уезжает, скорее, уносит-ся в нем.

Гусев огибает мотель. На его лице суровое сосредоточенное выражение.

Мелькнул залив за деревьями и гранитными валунами.

Аллея с прогуливающимися девицами.

Напрягшийся милиционер с рацией.

Два общевойсковых офицера с повязками и пистолетами в кобурах...

Со стороны залива — вход в мотель. У входа две красавицы торгуют кооперативным мороженым.

Прищурившись, внимательно присматриваются к проходящему мимо с автоматом в правой руке Гусеву.

Два рядовых пограничника в пятнистой полевой форме, с рациями и автоматами, покупают у девиц мороженое и провожают Гусева пристальными взглядами.

...Из валютного бара грохочет музыка, мелькают разноцветные фонари. Яркая девушка и парень с сигаретами выходят выяснять отношения.

Гусев проходит мимо, спускается по лестнице вниз.

Там, в подземелье, разветвление коридоров. У входа в один — два здоровенных «качка».

Гусев заходит в телефонную будку, приклонив к углу автомат, скидывает ботинки, тужурку, срывает галстук, рубашку, засовывает за ремень оба запасных рожка, берет автомат, открывает дверь.

Справа — кабинет массажа. В ужасе закрывает руками рот китайка-массажистка. Голый жирный клиент ныряет в страхе со стула под стол.

Гусев с автоматом в правой руке разбегается, в прыжке — обеими босыми нога-

ми — выбивает дверь сауны...

...врывается в зал с двумя разновысокими бассейнами, с длинным загаженным столом, за которым некогда «преломляли хлеба».

Увидев его, застывают в бассейне и на бортах, в простынях и без простыней тринадцать крепких, сытых, властных монстров: полулюди-полузвери, как на картинах Босха.

Гусев в ужасе вскидывает автомат и начинает косить их. Азарт победы завладел им.

Монстры затряслись в радости. Счастливо закричали, обливаясь кровью и умирая. Потянули к нему руки-крючья.

Счастливые голоса. Иегова пришел!.. Иегова!.. Он поведет нас!!!

Гусев смотрит на себя и видит, что и сам он превращается в полузверя-получеловека. Он уже на козлиных ногах.

Гусев направляет на себя дуло и разряжает автоматную очередь...

...Он быстро, как на вагонетке, пролетает через чернь ничто...

...и видит свет...

Финляндия. 1945 год.

Ухоженный, в половину гектара, малинник. Спелые ягоды. По малиннику, продираясь сквозь кусты, мчится маленький счастливый мальчик — Коля Гусев — и радостно голосит:

— Папа идет! Папа идет!

Идет красивый чернобровый капитан-лейтенант. На белом форменном кителе — орден Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над фашистской Германией». На длинной флотской портупее — револьвер в черной кобуре.

В морской фуражке с летним белым чехлом папа несет гору лисичек. Глаза у папы синие, как у сына, и тоже счастливые. Голос Коли Гусева. Папа идет!.. Папа идет!..

...У крыльца небольшого и уютного финского домика стоит молодая, красивая и счастливая мама. Ждет мужа и сына. У нее светлые, уложенные венчиком волосы, светлые, почти невидимые брови на хорошем северорусском лице.

Мальчик бежит сквозь кусты ухоженной малины, радостно кричит:

— Папа пришел!.. Папа...

...Через этот же малинник бежит уже вполне взрослый мужчина. Он выше кустов.

...И вот уже не то что немолодой, а уже и седой мужчина. Это Николай Иванович Гусев бежит сквозь малинник и кричит сквозь слезы:

— Папа...

...Он выбегает из кустов тяжелым, седым и плешивым мужчиной, почти стариком, падает перед своим молодым отцом на колени в слезах, в горе, в отчаянии.

Гусев (*кричит*). Папа!.. (*Плачет.*) Папа... я не умею жить!!!

А папа и мама спокойны, красивы и очень счастливы, потому что у него их уже нет и никакое горе их не касается.

Жалоба тает в окружающей пустоте и покое.

Ноябрь, 1990 г.





Егор ПОЛТОРАК

## ЛЮБОВЬ К АРМИИ

*Я не знаком с матерью Егора Полторака, но, когда общаюсь с Егором, всегда завидую ей — она воспитала умного, честного интеллигентного и, по-моему, талантливого человека. Можно позавидовать женщине, которая станет его женой, и киностудии, где он будет работать.*

*Когда на занятиях по мастерству драматурга (есть такая дисциплина во ВГИКе) он разбирал конструкцию сценариев, я иногда с неудовольствием ловил себя на мысли, что он такой же умный, как я, а часто — даже умнее меня.*

*То, что Егор Полторак стал профессиональным кинематографистом, мне абсолютно ясно. Каким он стал сценаристом — судить читателям.*

*Одно судилище он уже прошел, когда защищал этот свой сценарий в качестве дипломной работы перед Государственной экзаменационной комиссией, в которую входили самые известные советские кино-сценаристы.*

*Сценаристы отнеслись к сценарию по-разному. Это понятно. Недостатки в сценарии есть, но есть и бесспорные достоинства. Сегодня, когда об армии принято писать жестко, рассматривая практически уголовные традиции, сложившиеся в армии рабочих и крестьян, Егор Полторак, описывая армию, все-таки оставляет надежду, что можно и выжить, и победить, и остаться человеком в самых экстремальных ситуациях. Сегодня он написал такой сценарий, какие сценарии он будет писать завтра, я не берусь предсказывать, но сегодня он все-таки ближе к романтикам, чем к жестким аналитикам. Кое-что я советовал ему изменить в этом сценарии. Он выслушал, поблагодарил за советы и не изменил. И это нормальное писательское отношение к своей работе — да, он написал так, другие напишут по-другому, хуже или лучше, но не так.*

*У этого сценария будут и сторонники, и противники. Я — сторонник и сценария, и молодого драматурга.*

*А когда этот номер выйдет в свет, я пошлю его в Главное военно-политическое управление Советской Армии. И может быть, на этот раз там найдутся разумные люди, которые выделят из армейского бюджета средства для государственного заказа на кинофильм, а не на еще один танк, потому что фильм по этому сценарию могли бы с*

*интересом и удовольствием посмотреть миллионы молодых мужчин, которым еще предстоит надеть военную форму, и миллионы женщин, которые с надеждой будут ждать возвращения этих мужчин живыми и здоровыми.*

## В. Черных

*За тех, кто стоит  
на вечерней поверке*

**Я**сный солнечный день. Морской пехотинец в дембельской форме идет по Лиговскому проспекту и шепчет безостановочно:

— Поверьте, мы придем домой, ребята, и будут нам светить издалека не звезды на погонах у комбата, а звезды на бутылках коньяка! — идет и шепчет.

— Коля! — вдруг слышит он.

Он оборачивается и видит девушку с сумкой в руке.

— Ленка! — орет Колька и бросается обнимать девушку.

— Не позвонил, не прислал телеграммы... ну! — она улыбается и вытирает глаза.

Они идут по проспекту, взявшись за руки. Колька хочет повернуть в одну сторону, но Ленка тянет его в другую.

— Домой! — говорит он и смотрит на Ленку удивленно.

— Да, Коля, в булочную зайдем и домой.

Колька стоит возле булочной, переминается, смотрит на вход. Наконец выходит Ленка, зовет его, а он говорит:

— Пойдем уже!

— Сейчас, зайди сюда! Два батона еще надо взять, а мне не дают. Зайди скорее!

Торжествующая Ленка предьявляет Кольку кассирше и забирает два отложенных батона.

Они выходят из булочной, Ленка с интересом смотрит на очередь у обувного.

— Пойдем домой! — кричит Колька и тянет упирающуюся Ленку за собой.

Уже день, сквозь окно всюду светит солнце. Колька с трудом открывает глаза и медленно со стонами и кряхтеньем встает с постели. Идет по коридору, заглядывает на кухню.

Ленка стоит у раковины, моет посуду, ей еще много. Повсюду пустые и полупустые бутылки, остатки салатов.

— Встал, братик, — не оборачиваясь говорит она. — Иди в ванную, завтрак сейчас будет готов.

— Я спросить хотел, — хмурым голосом говорит Колька, — что-то важное, — задумывается. — Не помню.

Колька в своей комнате одевается во все новое, разложенное на заправленной кровати. Входит Ленка, быстро подходит к Кольке, ощущивает заботливо джинсы, поправляет воротничок рубашки, спрашивает:

— Не жмет, не тесно?

— Нет. А это что? — он достает из заднего кармана бумажник.

— На первое время, — говорит Ленка.

Колька осматривает себя в большом зеркале, считает деньги в бумажнике, Ленка сидит на кровати, перелистывает страницы дембельского альбома.

Колька смотрит на Ленку:

— Вчера здесь был Альберт. У тебя с ним что-то есть?

Пальцы Ленки напрягаются, она, не поднимая головы, отвечает:

— Я его люблю, он мне муж.

— Какой муж?!

— Он мне как муж.

— Он плохой человек. Я запрещаю тебе с ним встречаться.

Ленка молчит, потом смеется:

— Я понимаю Наташу, что тебя не дождалась, ты бы ей устроил дедовщину!

Колька быстро подходит к ней.

— Не трогай Наташу! Не трогай! — сжимает ей плечо.

Ленка встает, стряхивает его руку.

— Ты никогда не будешь мне указывать, что мне делать, братик, — тихо говорит она. — Ты пальцем не тронешь Альберта. Или я забуду, что я твоя сестра. Запомни это, Коля.

Она выходит из комнаты.

Колька сидит за столом, вынимает из рамки, стоящей на столе, фотографию, на которой он обнимает красивую девушку, а рядом стоит еще один парень. Все трое весело улыбаются. Он переворачивает фотографию, там надпись: «Коля и Наташа, а также их друг Дима. Коля, я тебя люблю, твоя Наташа». Еще там нарисованы всякие цветочки.

Колька кладет фотографию перед собой и черным и красным фломастером рисует огромный синяк под глазом Димы, распухшую нижнюю губу, глубокую царапину на щеке, кровь, текущую из носа Димы. Потом ломает фломастеры между пальцами, один за другим. Смотрит на перепалканные пальцы.

Вечер. Во дворе большого дома гуляют собаки с хозяевами и дети с бабушками. По двору идут Дима с Наташей. Слышится резкий свист. Они оборачиваются. К ним, улыбаясь и протягивая руку, подходит Колька.

— И ваш друг Коля,— говорит он.

Дима отодвигает Наташу за спину и говорит:

— Здравствуй, Коля,— сильным голосом, прокашливается и говорит еще раз,— здравствуй.

Колька одной рукой поднимает руку Димы, другой пожимает ее.

— Зачем ты пришел? — говорит Наташа.

— Поговорить,— смотрит на них Коля.— Поговорить.

— Не о чем! — говорит Наташа.— Я тебе все написала. Я просто ошиблась. Никто не виноват! Я Диму люблю.

— А я? — говорит Колька.

Сзади подходит невысокий плотный парень с авоськой, в которой бутылки с пивом, одна бутылка у него в руке. Колька его не видит.

— Коля,— говорит Наташа,— мы с Димой уже два месяца женаты.

— Веселая свадьба была? — спрашивает Колька и шагает к ним.

Он медленно берет Диму за лацканы пиджака и начинает накручивать их на кулак.

— Коля! — кричит Наташа.

Парень сзади бьет Кольку по голове бутылкой. Колька падает вперед на Диму и Наташу.

Они еле удерживают его, подводят к скамейке, усаживают.

— Не надо было, Пахом,— нерешительно говорит Дима парню.

— Ничего! — зло отвечает тот.— Ничего! — и переступает на месте, сжимая бутылку, наблюдая за Колькой.

Колька открывает глаза, хватается за голову, хочет подняться, но не может.

— Ничего получил! — говорит довольный Пахом.

Димка отводит его в сторону, говорит: — Уходи. Он не простит. Лучше уходи, пожалуйста.

Пахом недовольно машет головой, но уходит.

Колька смотрит на свою руку — пальцы в крови. Наташа кричит Димке:

— У него вся голова разбита. Его в травмопункт надо!

Димка, поддерживая Кольку, звонит в дверь. Открывает Ленка. Она смотрит на них, на повязку на голове брата и бросается на Диму.

— Ты, гад, ты что с ним сделал!

— Да это не он,— говорит Колька.

— Не он? А кто?! — И Ленка вслед за братом входит в квартиру.

Ленка на кухне снимает повязку с Колькиной головы, рассматривает место, где ссажена кожа и сбиты волосы.

— Сейчас я тебе кровь вытру, погоди, а повязка и не нужна,— говорит Ленка.— Алик,— зовет она.— Принеси немного ваты, в тумбочке.

В кухню входит Алик, парень лет двадцати, с ватой в руке.

Колька хочет встать со стула, но Ленка его удерживает:

— Чего ты, Коля, просто влажной ваткой кровь сотру.

— Привет, Коля,— говорит Алик.

— Что ты здесь делаешь, Альберт?! — говорит Колька.

— Коля, мы же обо всем договорились, кажется! — Ленка держит руками плечи Кольки.

Алик кладет вату на стол и выходит. Ленка бежит за ним.

Колька лежит в постели, рассматривая фотографии в дембельском альбоме, где он один и с друзьями.

Пасмурный день. Из подъезда выходит Алик, машет Ленке, которая выглядывает из окна, уходит.

Колька, наблюдающий это, дожидается, когда сестра закроет окно, затем выходит из-за угла и, насвистывая, сжимая и разжимая пальцы правой руки, идет в ту же сторону, что и Алик. С бега переходит на шаг, опять идет.

В комнате в темноте на тахте сидят Ленка и Алик. Их почти не видно — за окном ночь, а света они не зажигают. За окном горит фонарь. Алик прикуривает, и виден синяк у него под глазом.

Хлопает входная дверь. Колька стоит в прихожей. Приоткрывается дверь одной из комнат, в темноте слабо белеет лицо. Женский голос:

— Николай, тебя уже просили не приходить так поздно, отцу мешаешь спать, неужели трудно понять.— И дверь закрывается.

— Да, мама,— говорит Колька закрывшейся двери.

Он, стараясь не шуметь, проходит в свою маленькую комнату. Закрывает за собой дверь, облегченно вздыхает.

Садится на кровать, начинает снимать джинсы. В комнату входит Ленка и останавливается у двери.

— Коля! — шепчет она.— Коля!

Он смотрит на нее.

Ленка подходит к нему, становится перед ним на колени.

— Коля, что мне сделать, чтобы ты дал мне жить?

— Ты что? — он пробует обнять ее.

— Смотри! — она протягивает к нему руки. Пальцы сильно дрожат. — Не трогай Алика, я тебя прошу, Коля. Он сказал мне, что ты пообещал бить его каждый день, если он будет со мной жить. Он сказал, что стерпит это для меня, но я не потерплю. Так и знай. Если еще один раз ты его ударишь, я покончу с собой, я покончу жизнь самоубийством. Ты это знай.

Она склоняет голову, и Колька видит, как слезы ее становятся темными пятнышками на деревянном полу.

Наконец ему удается обнять ее, так они и сидят, он гладит ее по спине, говорит:

— Хорошо, хорошо, хорошо.

День. В квартире только Колька. Звонок в дверь. Колька открывает дверь, там стоит Димка в лыжной шапочке и неловко улыбается. Потом медленно стягивает с головы шапочку — он пострижен наголо.

— Если хочешь, ты можешь меня ударить, — говорит Димка и вытирает шапкой мокрое лицо.

— А тебе чего здесь надо?

— Меня забирают в армию. Коля, я не могу так уйти!

— Зачем ты пришел?

— Я не могу уйти. Я не могу уйти в армию, а ты останешься здесь, я буду знать, что ты остался и не простил меня, не простил нас. Как я смогу там служить, а ты и Наташа будете здесь, а ты меня не простил! Как я смогу?

— Я тебя прощаю, — говорит Колька и хочет закрыть дверь.

— Я знал, что ты такой, Коля! Проводи меня в армию, пойдем на отвальную ко мне. Я завтра ухожу.

— Дима, ты сошел с ума. Вы все тут сошли с ума! Уходи!

— Коля, пойдем, я тебя очень прошу, я не смогу уйти, если буду знать, что мы вот так расстались. Ударь меня, сделай, что хочешь, но пойдем со мной на отвальную. Ты не можешь так все бросить. Мы ведь друзья. А Наташа? Ты ее любил ведь. Я все готов отдать, чтобы ты пошел, простил.

— На улице дождь? — спрашивает Коля.

Большая комната, полная гостей, пьяный Димка, родители, Наташа. Колька сидит в углу. Вечер подходит к концу.

— Сейчас будем пить чай, а потом танцевать, — говорит мать Димки.

К Кольке подходит Наташа:

— Можно, я с тобой посижу?

Димка смотрит на них.

— Конечно, — говорит Колька. — Это будет неплохо.

Они сидят рядом, молчат.

— Наташа, — говорит Коля, разглядывая гостей, Димку, — я все понять не могу. Меня ты не дождалась четыре месяца, а он вот сейчас уходит на два года. Он там будет службу ломать, а ты здесь будешь сидеть и ждать. Ты меня не дождалась, чтобы выйти замуж за призывника. Так что ли?

— О чем ты, Коля, я его люблю.

— А ты говорила, что меня любишь! Тоже говорила, когда меня провожали. А вот сейчас: мне три месяца оставалось, ты меня бросила, а ему сейчас в армию. А с того до этого четыре месяца прошло, — он качает головой. — Ты что, дура?

Наташа вскакивает, хочет отойти, потом вдруг садится снова, говорит, взяв Кольку за руку:

— Дима просто мне все открыл, и что я теперь знаю — это он. А ты ушел два года назад, оставил меня ждать.

— Но ты обещала меня ждать.

— Коленька, — говорит она ласково, — ну кто ты такой, чтобы именно тебя ждать? Что ты мне сделал, чтобы я тебя ждала?

— Я любил тебя.

Она встает, подходит к Диме, обнимает его напояет Кольке, целует его, прижимается к нему всем телом.

Утро. Колька заправляет постель, слышит, как в соседней комнате напевает Ленка.

Колька на кухне ставит чайник. Входит Ленка. Наливает в стакан воды, заливает таблетку и молча уходит. Колька смотрит вслед, снимает с плиты чайник, идет за ней.

Он входит в ее комнату, останавливается у двери.

— Лен, а за матрешки хорошо платят?

— Да, — не оборачиваясь говорит Ленка.

— Лена! — Колька подходит ближе. — Ну все ведь нормально! Никто твоего Альберта не трогает, живем тихо-мирно.

— Да.

— Лена! Ну скажи, что такое, он опять ночевать не пришел? Хочешь, я схожу его приведу?

— Его в армию забирают! Алика в армию забирают! — она начинает плакать.

— Ну. Все служат.

— А его убьют в твоей армии. Он гордый, он не будет терпеть издевательства, они его убьют!

Колька подходит к ней вплотную, обнимает за плечи:

— Я не знаю, пусть закосит как-нибудь.

— Алик не умеет ничего такого, — она поднимает голову, смотрит на брата. — Коля, помоги нам, мне помоги с этим как-нибудь.



— А что я могу?

— Я не знаю что. Только помоги. Пообещай, что поможешь.

— Хорошо, я помогу. Конечно, ты ведь моя сестра, конечно, помогу.

Вечер. Ленка лежит на кровати, отвернувшись к стене. Колька расставляет на столе матрешек поотделенно и повзводно.

Звонок в дверь. Колька открывает, там Алик.

— Привет! — Алик пьяно улыбается, в руке у него две бутылки водки. — Выпьешь со мной, Коля?!

— Родители спят, — говорит Колька.

Они входят в комнату, Колька подходит к сестре, гладит ее по плечу и собирается уйти к себе.

— Коля, выпей со мной, меня в армию забирают.

— Ну и что?

— Коля, — Алик смотрит на Ленку. — Мне военком сказал, в первый день призыва он меня отправит на Кольский полуостров.

Лена, не поворачиваясь, начинает тихо плакать.

— Чего ты бабу доводишь, Альберт. Не мужик ты что ли?

— Коля, — Алик подходит к нему. — Ты, конечно, настоящий мужик, ты меня не уважаешь. Но ты пойми меня, давай втроем сядем посидим. — Алик поворачивается к Ленке: — Лена!

— Коленька, я тоже тебя прошу, — говорит она.

Колька и Алик садятся за стол друг напротив друга. Ленка быстро вытирает слезы, встает:

— Я сейчас закуски принесу, сейчас! — и уходит.

Ленка сидит рядом с захмелевшим Колькой, обнимает его. Напротив сидит Алик, Колька говорит:

— Тревоги, маршброски, деды, все было. Все это мелочи, я тебе говорю. Служить можно, можно, если кто тебя ждет. Можно. Ты не слушай, что тут говорят, армия другая. А меня, ты ж знаешь, не дождалась Наташа моя.

— Коля, ну что ты, Коля, успокойся, — говорит Ленка.

— Ты так рассказываешь, — Алик улыбается. — Мне кажется, тебе служить нравилось.

— Чему там нравиться, чему? Тянешь эти два года, денечки в календарике вычеркиваешь. День прошел, вычеркиваешь. Ждешь дембеля, ждешь. Свобода впереди. Все денечки вычеркнул и — свободен. Иди, дембель. Отслужил я, вышел за капэ, встал,

стою и думаю. Куда же это мне пойти? Впереди у меня гражданка, девки, вино — ешь не хоч. Иди. Живи. Вот и стою: впереди все, позади капэ. Я скажу сейчас: я уже повернулся тогда, уже назад на службу, в прапорщики пошел. Про Ленку вспомнил, про то, как дембеля ждал. Не, подумал, домой. Дома дерьмо слаще.

— Нравилось тебе в армии, нравилось, — пьяно улыбается Алик.

— Да что ты меня куда-то подводишь все? Я ведь не пьяный! Смотри, такое предложение: хочешь, я с тобой пойду служить на пару? Я тебе и всем там покажу, как оно в морской пехоте. Я там всех дедов на уши поставлю. У меня лучшая рота в армии будет! Хочешь?

— А кто же о Ленке заботиться будет? Ты уйдешь, я уйду.

— И Ленку возьмем. Чего ей здесь делать? В штаб устроим, на офицере женим... ну, то есть, не важно! Будет она нам с тобой увольнительные выписывать, благодарности, отпуска. Ух мы там навертим! Хотя, вы ведь гражданские оба, куда вам. А я пойду! Вот вместо тебя хочешь, Альберт, пойду? Ну хочешь? Пока я добрый?!

— Да, пожалуй, тебе это не трудно будет второй раз, Коля.

— Не трудно? Да я там в армии лучший буду! — он смеется. — Ну, до трех считаю, хочешь? Ра-аз, два-аас...

— Договорились, Коля, давай.

— Договорились. Давай!

И они пожимают друг другу руки.

Колька на кухне ест суп, Ленка разогревает картошку с котлетами. За окном дождь.

— Коля, — поворачивается к нему Ленка, — так как же ты сможешь вместо Алика в армию пойти? Это что, возможно как-то?

— Чего? — удивляется Колька. — В какую армию?

— В армию. Служить. Вы с Аликом договорились, что ты вместо него ради меня идешь служить в армию. Так?

— Леночка, какая армия. Не знаю я никакой армии. Я свое отслужил, — он пожимает плечами. — Армия какая-то.

— Коля, вы ведь договорились! Коля, он даже сказал, что когда ты вернешься, у тебя будут деньги. Он сказал, хорошие деньги на книжке. Хватит на все, на обустройство. Он сказал...

— Он богатый у тебя, что он меня покупает?

— Он заработал эти деньги в нашем кооперативе. Это не стыдно. И тебе будет, он сказал, ты тоже заработаешь. Это ведь просто жизнь.

Колька встает:

— Лена, вот это ты мне предлагаешь? А ведь деньги — это такая ерунда. Ведь это просто глупость, деньги эти ваши. Ну это не важно.

Он выходит из кухни, а затем и из квартиры.

Ленка смотрит ему вслед, подходит к окну, смотрит, как Колька идет через двор.

Потом она берет большой кухонный нож и несколько раз проводит тупой стороной ножа по левому запястью. Смотрит на оставшиеся красные полоски, подносит руку ко рту, лижет кожу на запястье.

Колька в магазинах покупает очень дешевую одежду, идет по улице. Моросит дождь.

Он останавливается у кинотеатра, рассматривает афишу какого-то военного боевика, входит в кассу.

Он выбирает из карманов мелочь, считает, набирает на билет, покупает билет.

Кроме Кольки кино смотрят еще несколько мелких мальчишек в школьной форме, несколько старичков.

Домой Колька возвращается, когда уже темно. Он переодевается в своей комнате в некрасивую дешевую одежду, которую купил днем, подходит к зеркалу в дверце шкафа. Но даже эта одежда сидит на нем ловко. Он видит берет морского пехотинца в шкафу, надевает его, поправляет, но берет не смотрится — волосы у Кольки слишком отросли.

Он кладет берет на место.

Колька бежит по улице. Очень быстро, ловко, избегая столкновений с людьми. Один раз даже перепрыгивает через двух близнецов, идущих между родителями. Близнецам лет по семь, и они долго оборачиваются, показывая друг другу большие пальцы — класс!

Колька вбегает в больницу, видит в конце коридора Алика, бежит к нему. Алик бежит от него по лестнице, но между вторым и третьим этажами Колька сбивает его подножкой, и Алик ударяется о стену.

— Я не виноват! — кричит Алик.

Колька поднимает его и отряхивает, на них оборачиваются.

— Что с ней?! — кричит Колька.

— Она себе руки порезала. В ванной все руки порезала, все вены перепилила! Я дверь выломал, а там кровящи в ванной!.. Все уже нормально, ее вылечат быстро.

— Ты был дома, скотина, а Ленка себе вены резала! Я тебя предупреждал, что убью? Предупреждал, что задушу?

— Она в магазин меня послала, за котле-

тами в кулинарию, а я пошел. А она в ванной. Сама меня в магазин послала, а сама в ванной и вены резать. Я ее спас, а ты меня!..

Колька его отпускает наконец, и Алик едва не падает.

— Где она?!

— Ну мы почти прибежали,— говорит Алик спокойно.— Вон, на третьем. В отдельной палате, но завтра переведут.

Колька входит в палату, где кроме Ленки еще две женщины. В руках у Кольки сумка с фруктами. Он подходит к Ленкиной кровати, неловко ставит сумку на тумбочку.

— Садись сюда,— тихо говорит Ленка, показывая на край кровати.

Колька садится, а Ленка выразительно смотрит на соседок. Те встают и с большой неохотой выходят.

— Коля,— по-прежнему тихо говорит Лена,— я должна попросить у тебя прощения. Я очень глупо, плохо себя вела. С этой армией вместо Альберта. Ты ведь, конечно, совсем не обязан этого делать. Потом, ведь это и невозможно, правда?

— Да почему! Вон азиаты всякие и по три раза служат, за всех братьев. Мне рассказывали, чего тут такого.

— Да-да! — Ленке так интересно, что она приподнимается с постели.— И как же это они проделывают?!

— Ну как... Черт! Лена, давай не будем уже об этом. Ты же решила вроде, что все.

— Да. Но ты не обижаешься на меня, Коля?

— Ты не виновата, конечно! Только не делай так, пожалуйста, больше. Ты обещаешь? Обещаешь?

Ленка молчит, отвернувшись, а когда смотрит на Кольку, на глазах ее уже слезы:

— Обещаю? Дай бог, Коля, чтобы у тебя все сложилось, ничего, ты еще найдешь себе кого-нибудь вместо Наташи, все у тебя будет хорошо.

— При чем здесь Наташа, зачем ты?!

— Да. Ни при чем. Коля! А ты при чем? Ты посмотри на меня. Кто я? Алик в армию уйдет, он уйдет, его не будет у меня! Кому я нужна буду, я никому не нужна. Я психическая. Вот! — она протягивает перед собой перевязанные руки.— Ты же ничего не хочешь видеть, не хочешь видеть, как мне плохо. Никто не хочет видеть меня. Алику противно со мной в постель ложиться, я же уродина теперь совсем! Ты видишь? Ты слышишь? А ты здоровый нормальный парень, здоровый! Коля. Дай мне эти два года, дай, я тебе отработаю, всю жизнь положу на тебя, все для тебя сделаю, дай мне эти два года. Дай! Дай!

Она протягивает руки, хочет обнять его. Колька вскакивает, отходит, отходит, быстро

выходит из палаты.

Пасмурно, туман. В парке жгут листья. Листья сухие, горят очень хорошо. К одной из куч подходит Колька, очень коротко стриженный, с тощим рюкзаком на плече. На голове у него берет морского пехотинца.

Он раскидывает ногой листья, чтоб лучше горели, достает из рюкзака дембельский альбом, вырывает страницы и по одной кидает в огонь.

Он снимает берет и хочет бросить в огонь за альбомом, но потом раздумывает. Уходит.

— Эй, парень, проснись! На службу приехали!

Колька открывает глаза — солнце светит в машину, и через борт заглядывает сержант.

Колька выпрыгивает из машины, встает перед сержантом почти по стойке «смирно».

— Любишь поспать, парень? — спрашивает сержант, задумчиво глядя свои усики.

— И поесть люблю, — отвечает Колька и осматривается — часть как часть, расположена меж холмов.

Взвод призывников идет в баню, сбоку идет сержант. Они крутят стриженными головами, все одеты во что победнее, вид у них беспризорный.

Из бани уже выходит взвод солдат, правда, без погон, петлиц и шевронов. На шапках нет кокард. Сержант на их фоне выглядит ярко.

Сержант строит молодых в роте перед турником, говорит:

— Салабоны, сейчас мы будем смотреть, как вы готовы к службе в армии. Кто пять раз не подтянется, тот, значит, еще не готов.

— И его надо отправить домой, пусть подготовится, а потом приезжает! — говорит из задних рядов Колька.

— Нет, — спокойно говорит сержант. — Его надо будет отправить на толчок чистить очки. А ты, Rogozin, сразу поступаешь в распоряжение дневального. Давай, Почикайло, — говорит сержант здоровенному дневальному свободной смены, который стоит тут же рядом.

Колька моет и чистит очки, когда Почикайло вводит худого молодого и весело говорит:

— Помощь братская прибыла! — и показывает худому медные краны над умывальниками. — Кранки должны блестеть и сиять. Понял?

Худой кивает.

— До обеда полтора часа, время пошло!

Колька домыл последнее очко и подходит к вспотевшему худому, который чистит краны брючным ремнем и зубным порошком. Начистил он всего один.

— Как тебя зовут, боец? — спрашивает Колька.

— Валя.

— Ты сколько раз подтянулся, Валя?

— Почти один, чуть-чуть не хватило.

— Хочешь через месяц подтягиваться пятнадцать раз?

— Да! А как?

— Ты будешь, это не сложно при желани. Главное, нам с тобой вместе постараться.

Колька снимает брючный ремень и начинает сноровисто и энергично чистить краны вместе с Валей.

Молодых вводят в столовую. Почти все столы заполнены солдатами, которые начинают радостно гоготать, кричать:

— Зелень завезли! Зелень!

Сержант, улыбаясь, проводит взвод к трем столам в конце столовой, молодые торопятся занять места, сесть, но сержант рычит:

— Взво-о-д. встать!!!

Молодые вскакивают.

— Давай их, старшина! — кричат сержанту.

— Взвод, садись!!! — продолжает сержант.

Молодые нестройно садятся.

— Взво-о-од, встать!!!

Молодые вскакивают.

— Садись!!!

На этот раз у молодых более или менее получается.

Колька сидит в конце стола, напротив толстого молодого, рядом с Колькой сидит Валя. Съев суп, молодые едят кашу. Миска с мясом доходит до Кольки — там два небольших кусочка мяса, совсем мало подливы. Толстый с жадностью смотрит на Кольку, и тот протягивает ему миску, не взяв мяса.

— Ешь, боец.

— А ты не хочешь? — с надеждой спрашивает толстый.

— Ты больше хочешь, ешь.

— Спасибо!

— Давай пополам, — говорит Валя, показывая Кольке маленький кусочек мяса в своей миске.

Колька качает головой, ест пустую кашу.

— Меня Серега зовут, — говорит толстый.

Сержант стоит перед взводом, говорит: — Десять минут помыться, подмыться, всем вымыть ноги, и в койки. Кто не успеет — пойдет работать! Время пошло! Разойдись.

Молодые разбегаются.

У кровати Колька останавливает Валу, говорит:

— Отжимайся давай, сколько сможешь.

— Помыться не успеем! — испуганно говорит тот.

— Плохо будешь отжиматься, не успеем. Давай!

Валя начинает отжиматься. Ему тяжело, каждый раз он хочет считать последним, но Колька не дает ему встать.

В роте горит только дежурный свет, многие молодые уже спят. Кровати Кольки, Вали, Сереги рядом, они тихо разговаривают, с опаской оглядываясь на каптерку, где горит свет и дверь открыта.

— Я думал, в армии все круче — девовщина, бить будут, мне ребята старшие рассказывали, — говорит Валя. — А так вроде и ничего, пугали, значит.

— Мы пока в карантине, Валя, — говорит Колька. — Это не армия. Армия начнется, когда в роту придем. Там нас по дедам распределят — шконки заправлять, хэбэшки в бане стирать, сапоги чистить. Может, и еще что. Пока живи, деды в роте начнутся.

— Я не буду сапоги чистить, — говорит Валя.

— А ты сколько раз подтягиваешься? И драться не умеешь. И один ты. Все отгурцы в армии поодиночке — так легче терпеть.

— Мы ведь не по-одному, нас ведь трое! Да, Серега?

Серега кивает, но смотрит на Кольку.

— А дедов тридцать, стариков тридцать, не считая шкурков, а нас трое. Да, Серега?

Серега опять кивает.

— Я-то помахатья могу, — говорит Серега. — Но я не буду. Почки отобьют, потом будешь всю жизнь в постель ссать. Я потерплю год. Меня поймеют, но потом и я иметь буду. Армия.

Из каптерки выходит сержант, стоит в полосе света. Он берет хэбэшки, в руке у него дымитя сигарета.

Постояв, он медленно направляется к табуретам, на которых сложена форма. Подойдя, начинает ногой переворачивать табуреты, переворачивает все, кроме одного. Берет свободный табурет, тихо командует:

— Взвод, подъем. Строиться.

Все вскакивают, выстраиваются, одетые в кальсоны и рубашки.

— Взвод, — рассудительно говорит сержант, — плохо складываем форму. Не старательно, не тщательно. Будем учиться.

Сержант подходит к единственному табурету, который он не опрокинул, тихо командует:

— Взвод, кругом. — И, когда молодые поверчиваются, спрашивает: — Это чье? — и

показывает на табурет.

— Рядовой Рогозин, товарищ сержант, — говорит Колька.

— Иди сюда, боец.

Колька подходит, а сержант говорит:

— Вот так надо складывать форму, бойцы. Покажи еще раз, Рогозин, — сержант переворачивает ногой табурет Кольки.

Колька складывает форму быстро, хорошо.

— Еще раз, Рогозин, — сержант спокойно переворачивает табурет.

И так несколько раз: Колька складывает, сержант переворачивает, разбрасывает форму, откидывая на середину казармы сапоги.

Так до тех пор, пока Колька по-настоящему не устает.

Тогда сержант разрешает остальным сложить форму.

Взвод снова строится, сержант говорит, подойдя к Вале:

— Теперь ложитесь, бойцы, отдохайте. И не надо разговаривать после отбоя. Ты понял меня, Васильков? А то всем из-за тебя плохо будет.

Утро. Встает солнце. Из казарм лениво выходят солдаты на зарядку. Последними, зевая и потягиваясь, бредут деды. Еле шевеля ногами, солдаты оббегают вокруг плаца, выходят на плац и делают зарядку.

Три взвода молодых выбегают из казарм и, подгоняемые тремя бодрыми сержантами, мчатся вокруг плаца. Солдаты на плацу дружным гоготом и свистом приветствуют появление молодых.

Колька бежит в последнем ряду вместе с Серегой и Валей, которые бегут с трудом, начинают отставать.

— Серега, если отстанешь, — говорит на бегу Колька, — мяса моего за обедом не получишь.

— А ты обещал! — с обидой, задыхаясь, говорит Серега.

— Беги тогда! И все будет в порядке.

Серега старается, догоняет взвод.

— А ты, Валя, будешь отжиматься... — Колька не успевает закончить, а Валя уже, перегнав Серегу, бежит в ногу со взводом.

Взвод в казарме, перед строем стоят капитан и сержант.

— Я капитан Чемодуров, замполит роты, в которой вы будете проходить службу. Сегодня вам разрешено написать письма домой первый раз. В связи с этим я вам должен объяснить кое-что, чтобы вы не ошиблись, — он осматривает строй, подходит к табурету у кровати, медленно садится, с наслаждением протягивает ноги, шевелит ступнями, ерзает на табурете, чтобы сесть поудобнее.

Молодые стоят.

— Итак, письма, — продолжает капитан. —

Вы можете написать домой, что через несколько дней примете присягу. Не надо никого приглашать на присягу — это лишнее. Адрес нашей войсковой части сообщать не надо, иначе цензор не пропустит ваши письма. Не надо писать, что вам тяжело служить, вы еще и не начинали, дальше будет гораздо тяжелее. У старшины можно узнать, что из продуктов можно получить, какой адрес писать, чтобы получать денежные переводы. Нельзя сообщать мою фамилию, также фамилии любых офицеров части. Не стоит жаловаться — вы мужики, служба есть служба, а со своими проблемами обращайтесь к старшине роты, — капитан кивает на сержанта. — Или ко мне. Всегда готов вам помочь. Последнее: для политзанятий вам потребуется ленинская тетрадь, в которой вы будете конспектировать политические занятия и труды Маркса — Энгельса — Ленина и Михаила Сергеевича Горбачева. Так вот, попросите вам выслать портрет Ленина для вашей ленинской тетради. Когда вы уже сможете ходить в увольнение, будет проверяться ваш внешний вид и ленинская тетрадь: конспекты и оформление. Вопросы есть? Старшина, занимайтесь. — И капитан встает и уходит.

— Взвод! — командует сержант. — Отставить! Взвод, полчаса на написание писем. Время пошло. Вольно! Разойдись!!!

Колька сидит с тетрадкой на коленях, в руке ручка, но не пишет. Рядом с ним склонились Серега и Валя, исписывают уже который листок. Невдалеке сидит старшина, глаза у него закрыты, воротничок расстегнут — дремлет. К нему подходит молодой: — Товарищ сержант, разрешите обратиться!

— Обращаясь, — сержант не открывает глаза.

— Рядовой Штейнгауз, товарищ сержант. Разрешите сходить в библиотеку!

— Штейнгауз, какая библиотека, — лениво говорит сержант. — У нас в части нету библиотеки.

— Товарищ сержант, я видел, когда мы проходили мимо клуба, — там библиотека. И время работы я запомнил. Разрешите, товарищ сержант?

Наконец сержант решает приоткрыть глаза:

— Штейнгауз, может быть, лучше письмо девушке напишешь?

— Ничего, товарищ сержант, я лучше в библиотеку, — и он уже готов идти.

— Как хочешь. Почикайло! Почикайло! — кричит сержант.

Из-за кровати выныривает заспанный Почикайло.

— Много спишь, Почикайло!

— Виноват, товарищ сержант! — Почикайло трет заспанные глаза.

— Почикайло, отведи Штейнгауза в библиотеку и дай ему пару книжек потолще.

Колька заходит в туалет, где Штейнгауз чистит очки.

Колька подходит к нему:

— Марк, тебе что в библиотеке надо было?

— Спасибо, я уже читаю, — вежливо отвечает тот.

— Марк, я могу помочь. Хочешь, я тебе принесу что-нибудь из библиотеки?

— Почему ты это хочешь сделать?

— Потому что тебе это надо. Я просто хочу тебе помочь.

— Зачем тебе это надо?

— Мы с тобой одного призыва, ты и я. Мы должны быть вместе.

— Я не хочу вместе. Одному легче. Одному мне легче вытерпеть. Два года армии — и я свободен. Я дождусь дембеля.

— Марк, я тоже так думал, но это неправда, — Колька показывает указательный палец. — Один даже я не справлюсь с этой жизнью. А ты один пропадешь в роте. Евреев не любят в армии. Тебя забьют деды.

Марк отворачивается, занимается своим делом. Колька, постояв немного рядом, говорит уже на выходе:

— Я тебе принесу книгу. Я сделаю то, что ты сделать не смог.

Валя между кроватями отжимается — видно, что он прибавил в силе. Рядом стоит Колька с двумя зубными щетками, на которых уже паста, с двумя полотенцами, считает:

— Двадцать один, двадцать два, еще восемь, Валя, давай!

Мимо идет в умывальник Марк.

— Марк! — говорит Колька, когда тот, едва взглянув на Валя, проходит мимо.

Марк сразу останавливается, подходит к Кольке.

Колька достает из-под матраса книгу.

— На, — говорит он Марку.

Марк берет книгу двумя руками.

— Хорошую книгу я тебе принес? — спрашивает Колька.

Валя между тем, пользуясь моментом, халтурно отжимается.

— Пушкин. Пушкин, — Марк гладит тисненые буквы на обложке. — Пушкин, — открывает книгу, нюхает листы в середине. — Пушкин.

Валя встает, деловито отряхивая ладони.

— Нет, — говорит Колька. — Тебе, Валя, еще пять раз, последние не считаются.

Валя вздыхает и отжимается.

День присяги. Ветер, дождь. Молодые в парадной форме у окон, смотрят на мокрый плац, через который бежит офицер,

кутаясь в плащ-палатку.

В ленинской комнате фотограф расставляет свои приспособления и тоже посматривает в окно.

Старшина с красной папкой в руке, на которой написано «Присяга», рассматривает себя и свою форму в зеркало.

В роту входит капитан Чемодуров, снимая на ходу плащ-палатку, подходит к старшине, говорит ему что-то тихо.

Старшина кричит:

— Ро-ота, строиться в центральном проходе.

Молодые повзводно принимают присягу, нестройным хором повторяют за капитаном Чемодуровым текст.

Затем выстраивается очередь в ленинскую комнату фотографироваться. А в окна светит солнце — небо расчистилось.

Колька, Серега, Валя и Марк стоят вместе у дверей — они следующие. К ним подходят двое братьев-близнецов, говорят почти одновременно, обращаясь к Кольке:

— Алик, можно, мы с тобой сфотографируемся. Можно ведь?

Серега недовольно смотрит на них:

— Сначала мы, а потом уже вы!

— Давайте с нами,— говорит Марк и пропускает их вперед.

Они все усаживаются. Колька и Марк стоят за стульями. В ленинскую комнату заглядывает старшина. Колька говорит:

— Товарищ старшина, давайте с нами!

— Да у вас своя компания,— добродушный сегодня, отвечает старшина.

— Давайте, давайте с нами! — просят все.

Даже Марк улыбается старшине, и тогда он подходит, встает между Колькой и Марком, говорит Марку:

— Подвинься, читатель,— но по-прежнему добродушно.

Все с важными лицами смотрят на фотоаппарат, а Колька, тихо улыбаясь, смотрит на старшину.

Ночь. Колька встает, идет в туалет, стараясь не хлопать тапочками. Когда он уже моет руки, из курилки выходит сержант с сигаретой, смотрит на Кольку, говорит:

— Зайди-ка, Рогозин, посидим, поговорим.

Они сидят в курилке друг напротив друга.

— Завтра с утра в роту, Рогозин,— говорит старшина.— Жждали там вас деды.

— В роту так в роту.

— Боишься?

— Я, товарищ старшина, никогда сапог не чистил и не буду.

— А что, уже заставляли? Уже не чистил? Чего ты такой уверенный?

— Такую вещь, насчет сапог, человек про себя знает. А в армии ведь как? Если деду морду разбить, никто на молодого не подумает. А если мне фингал под глазом поставить, я на любого деда укажу, и он залетел.

— А ты можешь деда заложить, Рогозин?

— Я могу хуже сделать. Я могу деда убить, когда я на посту стою, а он меня с поста снимать придет. Скажу, пароль не назвал, а у меня за спиной ракета. Скажу, не знаю, кто это был: пароль не назвал, а подходил. Скажу, шпион.

— А если я приду, умник, нажмешь на курок?

— Так вы не дед, мне с вами делить нечего. Совет могу дать: если хотите в роте хозяином быть, вам надо выбрать, с кем вы. Деды вам хозяйничать не позволят, и вы с ними один,— Колька поднимает указательный палец,— не справитесь. А если вы со мной будете, если роту по уставу держать станете, мы за вас. Я бы на вашем месте выбрал меня.

— Зачем мне лишние неприятности, Рогозин. Я ведь и так и так через полгода хозяином в роте буду. И вас, огурцов, в две дырки иметь буду, как старшина по уставу и как дед по закону.

— Целый год главным быть,— тихо говорит Колька.— Главным в роте над всеми. Всем приказывать, самым крутым быть. Разве не нравится? А через полгода вы нашим врагом станете, если захотите дедом быть. Опоздаете, а сила наша уже будет. Кулак наш будет.

Колька встает, улыбается:

— Я спать пойду.

— Я тебя разве отпускал? — словно шутил старшина.

— Завтра трудный день,— Колька опять улыбается.— И я пойду спать, так мне по уставу положено. Покойной ночи, Алеша.

Когда Колька выходит, старшина вдруг удивленно говорит:

— Чего?!

Молодые по-одному забегают в другую казарму и строятся у ленинской комнаты. Они, пробегая между кроватями, с опаской посматривают на солдат, которые сидят в казарме.

Когда взвод построен и входит в роту старшина, из-за второго ряда кроватей, из сушилки, из курилки выходят деды, усатые, в расстегнутых гимнастерках, с сигаретами. Старшина стоит перед взводом и смотрит на дедов, а те, подойдя, молча рассматривают молодых.

Самый здоровый из всех дедов вдруг спрашивает:

— Ростовские есть?

Все молчат, но затем один из молодых, парень с большим и грубым лицом, говорит:

— Я до пятнадцати лет жил в Ростове.  
— Иди сюда,— дружелюбно говорит дед. Тот нерешительно выходит из строя, подходит к деду.

— Старшина,— говорит дед,— этого запиши в мое отделение. Это мой, его не трогать.

— Калина,— говорит старшина,— я сам знаю, кого куда распределять.— И уже к молодому: — Встань в строй, Колесников!

— Старшина! Не надо буреть, старшина! — И дед уводит Колесникова, приобняв за плечи.

Старшина смотрит на молодых и видит, как Колька улыбается ему, но не улыбается в ответ, начиная читать по списку фамилии, какие молодые в какой взвод. Деды молча стоят и смотрят.

— Отделение младшего сержанта Калины,— старшина останавливается, что-то исправляет в списке, читает: — Иванов, Петров... Колесников.

В бане деды и старики неторопливо раздеваются в предбаннике, аккуратно развешивают хэбэшки, раскладывают хорошее мыло и мочалки на лавках. Колесников раздевается рядом с Калиной, он очень горд этим, поглядывает на молодых презрительно.

Молодые раздеваются в другом углу, тесном и грязном. У них одна вешалка на троих. Рядом с ними раздевается и старшина, и у него с вешалки падает гимнастерка. Стоящий рядом Колька успевает подхватить ее прежде, чем она падает на грязный пол.

— У вас вешалка оторвалась, товарищ старшина,— говорит Колька громко.— Я вам сейчас пришью быстро.

— Не надо, Rogozin, я каптерщику отдам. Не надо.

— Ну что вы, товарищ старшина, дайте я, мне не трудно.

Калина и деды смотрят на них, и старшина соглашается.

Колька начинает пришивать вешалку, к нему подсаживается Марк.

— Алик, у тебя проблема,— тихо говорит Марк.

— У меня?

— Тебя собираются завтра ночью бить, очень сильно собираются бить.

— За что?

— Все знают за что, и ты знаешь за что. Они говорят... сейчас... как же они выразились... Они говорят, этот Rogozin вконец оборзел вместе со своими молодыми, что эти молодые еще не служили, а уже бурее дедов себя ставят.

— Они сказали, мои молодые, так? Мои молодые?

— Да. Rogozin и его молодые.

— Это хорошо,— довольно улыбается Колька.

— Завтра суббота. Офицеров в батальоне не будет, они тебя бить будут ночью.

— Марк, а откуда ты все это узнал? А, Марк?

— Я люблю слушать, что говорят люди. Тихо сидеть и слушать. Так можно многое узнать и чему-нибудь научиться.

— Это не они тебе, Марк, шепнули, чтоб ты мне пригрозил?

— Я еврей, Алик, а евреи до двадцати пяти лет не продаются,— улыбается Марк.

— Значит, ты тоже мой молодой?

— Я пока ничей, я посмотрю, как у тебя все будет сейчас.

— Все будет по-моему, Марк. Так все и будет — по-моему.

Марк встает:

— Алик, я тебя понять не могу. Мы с тобой одного призыва, а ты такой другой. Ну ты все время ведешь себя, как будто ты раскавшийся крутой дед. Как будто ты уже здесь прежде был.

— Нет. Я здесь прежде не был.

— Ну как хочешь,— Марк отходит.

Когда Колька, пришив вешалку к гимнастерке старшины, откладывает ее, у стола, где сидит фельдшер с сильной лампой, проверяющий молодых на предмет наличия у них лобковой вши, начинаются крики и суматоха.

Фельдшер вскакивает, а к молодому, стоящему у стола, подходит один из дедов и говорит:

— Ты, сука, ты там с кем на гражданке трахался? Ты что теперь хочешь, чтобы мы тут все твоих вшей нянчили? — и он бьет его по щеке.

Голый молодой отшатывается, одной рукой защищая лицо, другой мошонку, чуть не плачет:

— Я не знаю! Не знаю! Ничего не было, это здесь!

— Дерьмо! — говорит дед, бьет его по другой щеке, уходит в моечное отделение.

Фельдшер дает молодому станок, газету:

— Побрей все у себя. И яйца, и жопу, чтоб до одного волоска. Ноги, руки, грудь. Все на газету сложи. Потом подойдешь, я тебе все твоё вымажу. И принеси мне кальсоны и рубаху.

Плачущий молодой сидит над газетой на корточках, пытается по сухому сбрить волосы у себя на лобке. Подходит Колька:

— Давай смачивай все и намыливай.

Молодой все делает. Понемногу успокаивается.

— Между ягодиц тоже обязательно,— показывает Колька.— Все нужно сбрить.

Между ягодиц самому брить неудобно, молодой и так пробует приспособиться, и по-

другому, никак. Фельдшер даже и не смотрит. Тогда Колька говорит:

— Давай станок. Я тебе помогу.

Молодой опять краснеет, машет головой.

— Давай, давай,— улыбается Колька.— Ничего в этом стыдного нет. Я просто хочу тебе помочь. А то два часа провозишься.

Колька почти силой отбирает у молодого станок, заставляет его наклониться, осторожно бреет.

Фельдшер глядит на них и ухмыляется. Колька говорит:

— Теперь давай под мышками быстро, а все остальное уже сам. Давай поднимай руку, боец.

Расслабленные после бани солдаты выходят на улицу, закуривают. Колесников выходит вместе с Калиной, достает сигареты, зажигает спичку для своего деда.

Отдельно от всех стоят молодые. Они курят торопливее, как-то не стоя на месте, суетятся, не то что деды.

Выходит Колька, блаженно улыбается, подходит к своим.

Калина подталкивает Колесникова, и тот, неприятно улыбаясь, подходит к Кольке.

— Rogozin! — говорит он.— Ты после бритья подлизал парню? А?

— Колесо, а ты почему не со всеми нами стоишь? Почему ты с дедами? Они ведь уйдут через четыре месяца, а я останусь.

— Rogozin, ты чего, не услышал ничего? Ты подлизал?

Колька вздыхает, показывает Колесникову указательный палец правой руки:

— Смотри, Колесо, это только один мой палец, а у меня их двадцать, а это всего лишь один мой палец,— и резким неумолимым движением бьет Колесникова в шею под подбородок пальцем.

Колесников падает на землю, хрипит, хватается за горло. Калина начинает медленно подходить к Кольке. Деды и старшина смотрят на это, но не двигаются. Молодые прижимаются к Кольке.

Но тут из-за угла бани выходит капитан Чемодуров и начинает кричать:

— Старшина, почему рота до сих пор не на политзанятиях? Почему я должен ждать? Разнежились! Быстро строиться!

Солдаты торопливо строятся. Молодые поднимают Колесникова, ведут его в строй, прикрывая от Чемодурова.

Калина лежит в сушилке на груди бушлатов, глаза его закрыты, во рту сигарета. Огонек сигареты то разгорается, то тускнеет — только поэтому понятно, что он не спит, курит.

В сушилку входит Колька, аккуратно прикрывает за собой дверь.

— Разрешите с вами поговорить,— говорит Колька.

Калина открывает глаза, привстает на локтях:

— Чего тебе здесь надо, зелень?!

— Я хочу извиниться перед вами. Простите меня пожалуйста, Михаил Юрьевич.

— Rogozin, ты что, ты хочешь, чтобы я тебя здесь убил? — и он встает.

— Я серьезно говорю, Михаил Юрьевич, я виноват перед вами, я прошу прощения.

Калина смотрит на Кольку, думает.

— Rogozin, я пока не дембель, почему ты меня по имени-отчеству называешь?

— Потому что вы главный здесь.

— Так. А в чем ты провинился? Извиняешься?

— Я перед вами виноват, что Колесникова сегодня ударил, но я ведь не мог поступить иначе, Михаил Юрьевич? Он ведь моего призыва, и так себя ведет, так не ведут себя с годками. Ведь вы, главный дед, никогда не унижите годка, вы понимаете армию, знаете, как тут все. Но я все равно виноват перед вами.

— Rogozin,— Калина наконец встает.— Мне не нравится все, что сейчас происходит в роте, как ведут себя молодые. Мне не нравится, что ты такой крутой, что ты такой бурый — приходишь ко мне и хочешь со мной договориться. Ты мне не нравишься, Rogozin.

— Попробуйте понять. Я и все остальные делаем только то, что нам говорили старшина и замполит в карантине. Они говорили, что мы должны докладывать им обо всех издевательствах, что мы должны закладывать дедов. Но мы никогда не закладываем никого. Нам старшина говорил, что он здесь главный в роте, что только его мы должны слушаться. Я не знаю, как нам быть, я хочу попросить у вас совета.

— Ну,— и Калина долго молчит, смотрит на Кольку.— Rogozin, считай, что пока у тебя нет неприятностей, и я тебе еще что-нибудь скажу попозже. А сейчас запомни, последний раз говорю: если я что-нибудь прикажу, это должно быть сделано, если вы будете ко мне хорошо, я к вам буду хорошо,— он улыбается.— Мы все, Rogozin, советские люди, правда?

— Ага,— широко улыбается в ответ Колька, но тут же озабоченно спрашивает: — А старшина как же?

— Не твое дело.

— Да, Михаил Юрьевич, конечно! Простите, а у вас не будет одной сигареты, перевод запаздывает и посылка, мне должны прислать американских, я вам отдам много.

— Все-таки ты бурый, парень, бурый,— Калина протягивает Кольке пачку, дает прикурить.— Иди в курилку. Здесь ты молод курить.



Колька, дымя сигаретой, выходит из сушилки со словами:

— Конечно, Михаил Юрьевич, само собой.

Старшина и двое сержантов-стариков изумленно смотрят на Кольку.

Марк, стоящий с тряпкой в дверях туалета, тоже смотрит на Кольку. А Колька проходит мимо Марка в туалет, слегка отодвинув улынувшегося Марка, с отвращением выбрасывает сигарету. Подходит к умывальнику, кашляет, отплеывается, промывает рот, полощет горло, ополаскивает лицо и тщательно моет руки, приплюхиваясь, не пахнут ли табаком.

Марк подходит к нему, с тряпки в его руках капает грязная вода.

— Алик, давай теперь со старшиной?

— Ты решил стать моим молодым?

— Я хотел бы остаться ничьим, но, наверное, ты слишком сильный, у меня не получится, давай, я буду с тобой.

— Давай. А что старшина?

— Тебя не будут бить сегодня, но если мы ничего не сделаем, и тебя и нас все равно начнут бить. Хорошо бы выставить кого-нибудь.

Утром после зарядки Марк, быстро заправив свою постель, начинает заправлять постель старшины, который еще досыпает в каптерке. Старательно это делает, чуть ли не любовно.

Серега толкает Кольку и показывает ему на Марка:

— Еврей шестерит.

Валя, который отжимается между кроватями, вскакивает:

— Да чего это он? Чего он? — возбужденно говорит он.

— Так. Ты отжимайся, Валя. А ты, — Колька поворачивается к Сереге, — следи, чтобы он не халтурил. А мы с Марком будем заниматься делом, — и он подходит ближе к Марку.

К Марку подходит и полуодетый Калина.

— Ты что это делаешь, парень! — зло говорит он, отпихивает его от кровати старшины.

— Михаил Юрьевич, так старшина приказал, — говорит Марк.

— Старшина приказал тебе заправить его койку?

Тут из каптерки выходит заспанный старшина, останавливается, увидев у своей кровати Марка и Калину.

— Старшина! — радуется Калина. — Подожди-ка сюда, старшина!

— Что ты творишь, Штейнгауз? — говорит старшина.

— Извините, товарищ старшина, я спешил, но вот, — отвечает Марк.

— Еврей заправляет твою постель, старшина, — говорит Калина. — Ты стал дедом, стар-

шина. Вырос наш малыш, никто и не заметил. А мне что теперь делать, бедному старенькому больному дедушке? А, старшина? — и Калина идет к старшине, раскачивая плечами.

— Калина! — старшина шагает вперед. — Я тебе не молодой! Я твой начальник!

— Ты — пацан зеленый! — и Калина бьет старшину.

Одного удара и хватило — старшина отлетает к стенке и медленно сползает по ней. Калина ждет некоторое время, потирая кулак, довольно хмыкает и поворачивается к Кольке:

— Сдерни его постель на пол. Сам заправит!

Колька сбрасывает постель старшины на пол. Калина довольно кивает. Стоит, думает, потом говорит:

— Давай-ка, Алик, построю всех молодых своих.

Колька строит молодых у туалета. Калина подходит к ним.

— Значит так, ребята, — он обнимает Кольку за плечи и идет с ним вдоль строя. — Теперь вы начнете новую счастливую жизнь. У каждого из вас будет свой дед, которому вы будете делать все, что тот захочет. Захочет он вас поиметь, значит, вы встанете раком, а он вас будет иметь. Или мы с другом, — он улыбается Кольке, — все вам оторвем. А еврею особенно. Да, Алик?

Колька улыбается Калине.

— Я с вами больше разговаривать не буду.

А это теперь ваш старший, — он похлопывает Кольку по спине. — Что он вам скажет, то и делать. Иначе... — и он, улыбаясь, отходит.

Молодые окружают Кольку, говорят возмущенно все вместе, среди них и Валя. Марк в стороне что-то тихо говорит Сереге.

— Умывайтесь, — говорит Колька. — И все будет в порядке.

— Как же так! — возмущается Валя. — Мы все вместе стали. Как же теперь! Сапоги им чистить?

— Мы все вместе, Валя, вместе. Подожди немного.

После обеда рота выходит из столовой. Строем доходит до казармы. Старшина командует:

— Разойдись! Построение в роте через сорок пять минут для занятий.

Солдаты расходятся, Колька, взглянув на Марка, подходит к Калине:

— Михаил Юрьевич, можно мне с вами поговорить?

— Ну.

— Не здесь. О моих молодых. Так чтобы никто не слышал, пожалуйста.

— Ну пошли в лесок, покурим. Поговорим. Хотя холодно. Может, в сушилку.

— Я не могу этого в сушилке. В сушилке потом.

Калина недовольно качает головой, но они идут с Колькой в лесок за здания казарм.

Солнечный день. Выпал снег, но мороза нет, и снег подтаивает. Калина с Колькой идут медленно, выбирая, куда ставить ноги. Приходят на полянку среди молоденьких берез, там останавливаются.

— Ну,— Калина закуривает, а Кольке не предлагает.

Колька смотрит на небо, на стаи ворон в небе, на березки и говорит неприятным, почти блатным голосом:

— Брось сигарету, Калина, а то обожжешься.

Калина изумленно выпучивает глаза, открывает рот.

— Я ведь сказал тебе, Калина. Брось сигарету. Тебе сколько раз это нужно повторять?

И Колька бьет Калину в живот, потом еще раз.

Калина сгибается, сигарета, прилипшая к его нижней губе, медленно отваливается и падает в снег, вытаивает ямку до земли.

Калина медленно разгибается, но Колька снова бьет его в живот и в мошонку. Калина падает. Колька стоит над ним, ждет. Калина встает на четвереньки, его рвет. Потом медленно начинает приподниматься, но Колька снова бьет его в живот.

Калина падает. Колька носком сапога перекатывает его на живот, лицом в то место, куда его вырвало.

Последний раз Калина пытается встать. Колька ждет, но как только Калина выпрямляется, Колька два раза бьет его в сердце.

Калину тошнит желчью. Колька над ним, ждет.

Калина открывает глаза, Колька наклоняется к нему, поворачивает к себе лицом, спокойно говорит:

— Калина. Это я тебе только показал, что будет. Но ты даже представить себе не можешь, как плохо может быть. Если еще один только раз ты залупнешься на любого молодого, я тебе отобью печень. А когда ты выйдешь из госпиталя, я займусь твоими почками. Ты меня понял?

Калина не отвечает.

Колька наступает ногой на пальцы правой руки Калины:

— Ты меня понял?

— Да,— хрипит Калина.

— Пока я никому не скажу ничего. Ты можешь лезть на старшину, может залупаться на шнурков. Но никогда не трогай ни одного молодого. Или я это сделаю при всех. Ты слышишь?

— Да.

Стоят на постах у складов и боевых точек часовые в тулупах и с автоматами.

Валя подтягивается на турнике пятнадцать раз, довольно улыбается, спрыгивает, но Колька подталкивает его к турнику:

— Последние два раза плохо, Валя. Давай, вперед.

Валя смотрит на турник, потом на Кольку, думает, вздыхает.

Колька ведет взвод молодых мимо плаца. Навстречу идет женщина-прапорщик. Без команды головы молодых поворачиваются в ее сторону.

У казармы стоят ротный, Чемодуров и старшина. И взвод молодых с грохотом проходит мимо них, равняясь без желания.

Офицеры с удовольствием смотрят на Кольку и на взвод, а старшина хмуρο отворачивается.

Марк сидит в курилке, читает Достоевского, курит, немного по-пижонски выпускает дым.

В курилку входят Калина и еще один дед. Калина, с тоской глянув на Марка, садится подальше от него, а второй дед подходит к Марку, бьет по книжке так, что та улетает далеко к стороне, говорит:

— Иди кури на улицу, зелень, читай на улице, чтобы не было тебя в курилке никогда!

Марк, не вставая, удивленно разглядывает деда. И тогда тот замахивается для удара, но его руку сзади перехватывает Серега, отбрасывает деда к стенке, скручивает гимнастерку.

— Не надо,— тихо говорит Серега.— Не надо.

Колька, стоящий в дверях, смотрит на Калину, и тот опускает глаза.

Весна. Первые почки раскрываются на деревьях, на пригорках желтеет мать-и-мачеха, все солдаты, стоящие в карауле, привязывают к березам банки — собирают, пьют сок.

Колька, Серега и Валя сидят у своих кроватей, пришивают к погонам лычки, новенькие, блестящие, желтые.

Калина в дембельской форме, он в последний раз проверяет «дипломат» — не забыл ли чего-нибудь, обнимается с годками и идет к выходу из казармы. Напротив Кольки останавливается, смотрит на него. И Колька смотрит. Оба молчат.

Потом Калина идет, а Колька вскакивает с кровати и догоняет его. И говорит:

— Счастливо вам, Михаил Юрьевич, чтоб у вас все получилось!

Калина не отвечает.

— Не обижайтесь на меня,— продолжает Колька.— Я бы хотел, чтобы вы моим годком были, правда.

Калина пожимает Кольке руку, говорит, улыбаясь:

— Я бы хотел посмотреть, какой из старшины дед получится. Трудно ему с тобой придется.

— Да кто же ему даст быть здесь дедом,— улыбается Колька.

— Ну ладно. И тебе, чтобы дембель скорее,— и Калина уходит.

Колька с повязкой дежурного и с сержантскими лычками идет по центральному проходу.

Окна в казарме открыты, никого нет, солнце освещает кровати. Колька медленно идет, оглядывая роту: все ли в порядке.

Поправляет косо стоящую табуретку, нагибается за бумажкой. Входит в сушилку.

В сушилке на бушлатах лежат старшина и еще один дед, курят.

Колька поправляет вещи на крючках, сапоги, говорит, не глядя на старшину:

— Не курите здесь. Повесьте бушлаты на место и выходите.

— Ты кому это говоришь, сопляк! — кричит старшина.

— Я говорю это как дежурный по роте солдатам, которые нарушают устав. Быстро сделайте то, что я сказал,— Колька подходит к ним.

Старшина вскакивает, но Колька ладонью толкает его в грудь, и старшина падает на бушлаты. Колька качает головой, когда второй дед хочет встать, и тот снова садится.

— Я вам даю пять минут. Через пять минут я проверю, де-ды.

Колька, Серега, Валя заправляют постели — их кровати по-прежнему рядом. Колька всматривается за спину Сереги, говорит: — Серега, я смотрю, там твой молодой уже вторую койку заправляет. Он ведь из твоего отделения, вон тот, худой?

Серега разворачивается и тут же быстро идет к одному из молодых, заправляющих постель.

— Ты чью койку заправляешь, боец?

— Меня просто попросили, товарищ младший сержант.

— А где твоя?

— Вон,— молодой показывает на довольно неряшливо заправленную постель.

Серега сдергивает одеяло, переворачивает матрас:

— Работай!

— Эй, толстый зеленый червяк! — слышит Серега, поворачивается и видит деда, который продолжает: — Ты совсем страх потерял?

Серега хватается за рубаху, задирает ему на голову и швыряет деда на его же кровать, откуда тот скатывается на пол вместе с матрасом и постельным бельем.

Выбегают из-за кровати деды, но возле Сереги уже стоят Колька, Марк и остальные их годки. Деды останавливаются, и Колька им кивает довольно.

Старшина выходит из каптерки, смотрит, молчит.

Сергей склоняется над лежащим дедом, говорит:

— Еще раз дедом себя почувствуешь, и я тебя вокруг турника обмотаю, узлом завяжу, и пусть тебя комбат распутывает.

Медленно и спокойно подходит Марк:

— А я пойду к напю и расскажу, что ты молодых заставляешь себе сапоги чистить и портянки стирать, что ты обменял свою парадку на новую, что это ты срезал в клубе бархатный занавес на альбом. Расскажу, где ты держишь свой дембель и где остальные держат свой дембель. Так что подумай, парень.

Серега поворачивается к по-прежнему стоящим дедам:

— В этой роте нет дедов! А если кто захочет жить дедом, поедет в дисбат. Правильно, Алик? Да, Марк?

— Как скажешь, Серега, как скажешь,— улыбается Колька.

Ночь. Валя говорит Кольке и Сереге:

— Ко мне завтра мама приедет, гостинцев привезет, поедим!

— А ко мне пока не обещают,— говорит Серега.— Вот в отпуск пойду, я своей девке покажу кузькину мать! Я тут служу, стараюсь, а она там сидит, не думает, чтоб приехаты! А обещала-то, обещала. Говорила, хоть ты где, Сереженька, служить будешь, на Северный полюс я к тебе приеду. Все-таки бабы свиный натуральные.

— В отпуск,— говорит Валя.— По Ленинграду походить.

— С отпуском тяжелее дослуживать,— говорит Колька.— Ждешь его, а все равно дерьмо. Мне отпуск если будет, не вернусь, наверное, не смогу. Туда, а потом обратно.

— Странно,— на соседней койке поднимает голову Марк.— Мне с первого дня по другому казалось про тебя. Я смотрел на тебя и думал: вот это счастливый человек. Нашел наконец себя.

Колька не отвечает.

— Ладно,— начинает поудобнее укладываться Серега.— День прошел, дембель на день стал короче. Доживем.

Колька стоит в кабинете ротного. За столом сидят ротный, Чемодуров и старшина.

— Сестра к тебе приехала, Rogozin, во как,— говорит ротный.

— Сестра?

— Сеструха,— продолжает ротный,— но не верю, что она тебе сестра. Это такая девка, что не может быть сестрой. Ну. Так и надо, Rogozin! Наташей твою сестру зовут?

— Лен... А! Ну... это двоюродная,— говорит Колька.— Такая черноволосая, да?

— Да-да,— кивает ротный.— Если б не к тебе, Rogozin, не пустил бы другого, сам бы пошел. Такая девка! — Он поворачивается к Чемодурову: — Черноволосая!

— Так выпиши ему на сутки,— говорит Чемодуров.— Парень заслужил, по-моему. Пусть с сестрой подольше побудет.

Колька выходит за КПП. Накрапывает дождь. Под деревянным грибком сидит на скамейке Наташа. У ее ног большая сумка.

Колька подходит к ней. Стоит, молчит. Наташа встает.

— Скажи мне что-нибудь! — говорит она.

Колька не отвечает.

— Коля. Вот я приехала. Коля, я ведь к Диме ехала, я так еще на вокзале думала — к Диме. А потом вдруг оказалось, что билет сюда взяла. А потом сюда приехала, со станции вернуться хотела — не смогла. Тогда я поняла, что я к тебе.

— Откуда ты узнала? Про меня, адрес? Что случилось?

— Все знают про тебя, все наши друзья и знакомые. Что ты здесь. Что Альберт. Он ведь бросил ее через месяц. Твою сестру. А ты это не знал?

— Я?..

— Это должно было случиться. Он плохой, так все плохие люди поступают. А она... Она, Лена, ходит к нему, просит вернуться, а он смеется. А она все равно хочет, чтобы ты был здесь, чтобы на него смотреть, думать, что он вернется.

— Я должен идти обратно. А ты поезжай к Колю.

Колька поворачивается и идет к КПП.

— Коля, ты не имеешь права. Я к тебе приехала. Коля! Если ты не вернешься, я пойду к твоим начальникам и все расскажу, что ты за другого служишь!

Колька останавливается и оборачивается.

— Ну Коля. Не притворяйся, что ты не рад, обними меня, поцелуй меня. Ты мне стихи писал!

— Хорошо. Я пойду с тобой, если ты мне поклоннешься, что ничего никому не расскажешь.

— Я ни за что! Все, что тебе надо, я сделаю!

Колька и Наташа в очень маленькой комнате деревенского дома. Наташа вынимает из сумки разные вкусные вещи, бутылку коньяка, бутылку водки, несколько банок пива.

— Пир! — говорит она весело.

Колька с вниманием рассматривает привезенные Наташей продукты. А Наташа, незаметно для Кольки расстегнув две пуговицы на юбке, то и дело теперь мелькает перед ним красивыми ногами.

Потом она достает спортивный костюм, протягивает Кольке.

— Надень,— говорит она.— Отдохни от формы. Это Димин, но он его не надевал ни разу, так что ничего. Надень.

Колька отрицательно качает головой. И Наташа изо всех сил швыряет костюм на кровать, но тут же улыбается.

— Ну ты мужик, тебе и открывать все это,— она показывает на бутылки и консервы.

Они пьют и едят. Наташа медленно придвигает свой стул к Колькиному стулу. Он, стараясь это делать незаметно, отодвигает свой стул. Но в конце концов упирается в кровать — дальше стул двигать некуда. Наташа улыбается, видя это.

— Коля, накормлен ли ты, напоен ли ты?

— Да,— благодушно отвечает Колька.

Наташа смотрит на Кольку:

— Мне хочется приласкать тебя на этой большой кровати. Мне хочется раздеть тебя, тебя, погладить твои руки. Мне хочется погладить твою грудь, твой живот, твои ноги. Я хочу разгладить твои пальцы на ногах, я хочу причесать тебя, помыть тебя в большом тазу, в горячей мыльной воде кусачей молчалкой. Так тереть твою кожу, чтобы она покраснела, чтобы потом гладить ее мохнатым полотенцем. Ко всему твоему прикоснуться, все твое сделать моим. Так. Хочется.

Колька опускает голову, старается не смотреть на Наташу. А Наташа начинает смеяться:

— Коля! Ты ведь ничего такого не знаешь! Ты не знаешь, какие женщины мягкие и теплые, какие ласковые, сладкие! Ты оставил меня ждать тебя из армии три года назад десятиклассницей. Помнишь, как меня в пот бросало, когда ты меня обнимал в кино за плечи? Ты изображал из себя тогда такого опытного мужчину. А я поняла вдруг: у тебя никогда не было женщины. У тебя не было женщины! Коля, ты ведь такой настоящий мужик, ну из тех, которые раньше обожали совершать подвиги из-за своих дам. Коля, дай мне открыть тебе тайну!

Ночь. Колька сидит на крыльце, пробует курить, и хотя кашляет, но продолжает.

Из дома выходит Наташа, встает в дверях, говорит:

— Нет. Нет и нет. Коля, кого ты из себя изображаешь, что отказываешься от такой бабы, как я? Ты не знаешь, что это такое — любить настоящую женщину. Коля, что с того, что я тебя не дождалась, зато теперь дождусь. Вот возьмешь меня, и я тебя ждать стану. Ведь раньше я просто не знала, какой ты, какой ты. Ну!

— Я... — Колька кашляет. — Наташа, дело не в тебе, — он разводит руками. — Дело во мне. У меня ничего не получилось. Я думал, что я сделаю что-то большое, важное, а сделал дедовщину наоборот. Ты не поймешь, — он торопится, — но я скажу. Просто ведь: два года пройдут, все возвратится на место, когда я дембельнусь. Слава богу и слава богу, что так! Что мои ошибки сами собой исправятся здесь, в армии. Ну а я?! Я-то зачем все это сделал? У меня ничего не вышло, потому что я лучше всех в этом деле, и я все сделал не так, а думал, что переверну мир. Что я достаточно хорош, чтобы сделать дело, но я все сделал не так. Я. Я люблю ее, я понял это, сейчас я понял это до конца. Понимаешь, она не может нравиться или не нравиться. Да. Конечно, я пошел сюда второй раз, потому что с первого раза влюбился в нее, но не поверил в это, не узнал этого. Ее можно любить или ненавидеть. Я так все любил, что я сам все испортил, и свернуть теперь некуда. Это она во всем виновата. Она меня обманула. Я ее ненавижу, я хочу с ней расправиться. Легче всего мне было бы сделать это, переспав с тобой, — ты ведь жена моего друга, который в армии. Вот это было бы легче всего, чтобы нарушить такие неписанные романтические законы. Но я не могу. Прости, Наташа, никак не могу. Я ее ненавижу. Я ее так люблю.

— Ага, — говорит Наташа. — Я скажу короче. Больше у тебя не будет никогда такой возможности со мной переспать. Пусть у тебя слюни потекут, пусть у тебя зубы будут чесаться от желания со мной переспать..

Колька вскакивает и отбегает, а Наташа продолжает с большим удовольствием:

— Пусть все сердце у тебя переломает все ребра! Пусть у тебя язык распухнет и вылезет изо рта от желания со мной переспать! Вот эту грудь целовать, вот эти плечи кусать! — она указывает на части своего тела. — В этих бедрах познать жизнь. Вот эту попку укусить, поцеловать. Ты никогда не целовал женщинам попок! Я никогда не дам это сделать со мной! Я тебе не дам! Нет! Ты будешь просить, умолять, а я скажу: нет, нет и нет!

И Наташа уходит в дом.

День. Наташа провожает Кольку в часть. Она идет чуть позади него, размахивает большой пустой сумкой.

Она идет, напевая себе под нос. Колька несколько раз останавливается, оборачивается, смотрит на нее. Тогда и она останавливается. Он идет дальше, и она за ним.

Уже видны вдалеке ворота части. Она говорит:

— Может, все-таки решишься? Вот кусты подходящие. Пятнадцать минут, и ты мужчина. А?

Колька останавливается и смотрит на нее.

— Смотри, конечно, но я бы на твоём месте даже и не думала.

— Я не хочу туда идти, — говорит Колька и показывает за спину, туда, где расположена часть.

— Я тоже не хочу, чтобы ты туда шел. Уж как я не хочу, чтобы ты опять туда шел!

— Хочешь меня подождать?

— Не знаю. Любить тебя хочу. А ждать я боюсь. Я умру, я изменюсь, я не знаю. Это очень плохо, что мужчины заставляют себя ждать. Я ведь тобой не целована.

— Я пошел. — И Колька идет к части.

— Позвони как-нибудь, просто не знаю. Позвони, я у родителей теперь буду, наверно, жить. Как-нибудь позвони, может, я и передумаю и скажу тебе: да, да, да. А скорее всего я тебе все-таки скажу: нет, нет, нет.

Ночь. Дождь. Казарма. Все спят, даже дневальный на тумбочке. Резко звонит телефон прямой связи на стене.

Дневальный встряхивает головой и хватая трубку, слушает, потом говорит:

— Я не спал, товарищ майор. Никак нет! Есть!

Кладет трубку, пробует кричать:

— Рота!.. — но голос срывается. Он прокашливается и орет: — Рота, подъем, тревога!!! — не очень громко получается.

На кроватях шевеление, из сушилки медленно выходит дежурный по роте. С кровати поднимается старшина в нижнем белье, и оба смотрят на дневального.

— Какая тревога, ты что, взбесился? — хриплым со сна голосом спрашивает старшина. — Никакая тревога не назначалась.

— Дежурный по части звонил, — говорит дневальный.

Тут с верхнего этажа слышен крик: «Рота, подъем, тревога!» А затем грохот — солдаты вскакивают с кроватей.

— Кричи! — И старшина бросается одеваться.

— Рота, подъем, тревога!!! — со знанием дела кричит дежурный.

Солдаты выскакивают из кроватей, начинают одеваться, постепенно открывая глаза.

Рота построена в центральном проходе, старшина перед строем, посматривает на дежурного, который звонит в штаб.

В казарму вбегает ротный, кричит:

— Старшина, открывай оружейную. Автоматы, боекомплект, штык-ножи. Повзводно, поотделенно получить оружие!

Старшина бежит, на ходу вынимая связку ключей, крича:

— Первое отделение первого взвода, за мной!

Колонна грузовиков на большой скорости едет по шоссе. Последний тормозит, предпоследний тормозит через триста метров, и так все грузовики останавливаются, свернув к краю шоссе.

Из грузовиков начинают выпрыгивать солдаты. Льет проливной дождь. Офицеры в плащ-палатках руководят построением. Слышны неясные команды. Затем солдаты рассредотачиваются цепью, и слышится лязганье передергиваемых затворов.

Уже рассвело. Колька лежит под большой елью, подложив под себя автомат. Немного поодаль лежат в старом окопчике Марк и Серега. Вдалеке видна дорога, рядом брошенная деревня.

Чуть в стороне начинают взлетать птицы над деревьями. Колька смотрит в ту сторону, потом машет рукой Сереге и Марку, и они все трое идут в ту сторону, где взлетели птицы.

Они пробираются между деревьев, стараясь ступать бесшумно. Колька останавливается, Серега и Марк тоже.

Ложатся — Колька легко и привычно, а Серега и Марк немного неловко.

Из кустов выходит парень в солдатской форме без знаков различия, на груди у него висит автомат, на ремне подсумок.

Колька пропускает его мимо себя, и когда парень проходит до края поляны, встает и негромко говорит:

— Стоять. Не оборачиваться! Тихо положи автомат.

Парень, помедлив, делает, что ему приказано.

— Отойди на пять шагов в сторону, не оборачивайся!

Парень отходит.

— Можешь повернуться, — говорит Колька. — Привет, боец.

Парень не отвечает. Серега и Марк встают рядом с Колькой.

— Я никого не убил! — вдруг говорит парень. Говорит он с акцентом. — Не убивал.

— Но ты стрелял по машине, по офицеру.

— Он за мной погнался. Я ему кричал, чтобы он не делал этого! Я стрелял по колесам.

— Ну и что?

— Отпусти меня, сержант. Мне домой надо.

— Боец, ты стрелял по офицеру. Ты сбегал из части с оружием. Проехал пятьсот километров с автоматом. Ты хочешь, чтобы я тебя отпустил. Чтобы ты дальше ехал со своим автоматом. — Колька поворачивается к Сереге: — Возьми его автомат, а ты, Марк, сходи на пригорок, посмотри, как там чего.

— Тебе сколько до дембеля оставалось? — Колька подходит к парню.

— Я только три месяца служу.

— И уже побегал, уже не выдержал, а еще и не служил толком.

— Мне домой надо. А без автомата меня твои убьют, а с автоматом побоятся.

— Ты бы, парень, дослужил сначала, а потом воевал, а может, и не стал бы.

— Пусти меня, сержант. Не пустишь, меня убьют в тюрьме, сам знаешь. Пусти, мы ведь люди, не звери.

— А может, и не убьют, кому там тебя убивать. Ты из Вильнюса?

— Из Риги. Из-под Риги.

— Сними ремень, брось.

Латыш снимает ремень, с ремня соскальзывает подсумок.

Колька стоит, смотрит на него.

Латыш смотрит Кольке за спину, глаза его расширяются, он пригибается. Колька оборачивается — там из-за деревьев вышли старшина и еще двое солдат, и старшина уже поднял автомат.

— Не стреляй, не стреляй, идиот! — кричит Колька старшине.

Латыш откуда-то из-за спины выхватывает пистолет, отскакивает в сторону.

Колька поворачивается к нему, с недоумением смотрит на пистолет, кричит латышу:

— Ты где взял эту дрянь! Брось это, кретин, козел!!!

Колька бросается между латышом и старшиной. Латыш еще отскакивает, поднимает пистолет, целится в старшину, но выстрелить не успевает, Колька дулом автомата бьет его по руке. Но стреляет старшина.

Латыша отбрасывает метра на два, он поворачивается и падает. Колька стоит, держится за спину около поясицы и медленно опускается на землю. Из-под пальцев показывается кровь.

Старшина, солдаты, Серега бегут к Кольке.

Марк кричит:

— Сука! Сука! Сука! — и дергает затвор автомата, и вылетают патроны. — Сука! Сука! — бросает автомат, бежит к Кольке.

Старшина и Серега быстрым шагом несут Кольку на плащ-палатке к дороге, где стоят машины. Марк бежит рядом.

Колька открывает глаза, говорит Марку:  
— Ты, помнишь, говорил, что я как будто уже был здесь?

— Ты помолчи!

— Я уже здесь прежде был, но вы все равно можете...

— Заткнись. Хрен с ним, кто там где был! Ты напишешь мне. Потом... сейчас помолчи, тебе нельзя говорить.

Госпиталь в Ленинграде. Колька лежит в отдельной палате, лицо у него бледное, худое, глаза открыты.

В палату входит Колькина сестра Лена. Она стала какая-то понурая, в платочке, словно старушка. Она подходит к кровати, садится рядом с кроватью.

— Коля,— говорит она.

Колька медленно поворачивает к ней голову.

— Коля! Доктор сказал, что ты поправишься, он такой умный доктор, знающий, внимательный. Он сказал, что позвоночник не задет. Он раньше думал, что задет, а теперь внимательно все изучил и говорит, что ты поправишься, что ты будешь ходить.

— Это хорошо, что он тебя утешает.

— Он не утешает, Коля, он правду говорит.

— Доктора правды не говорят, им это запрещено,— улыбается Колька.

— Нет, Коля,— она собирается плакать.

— Хорошо, Лена, я буду ходить, прав доктор.

— И вот я тебе документы принесла. Тебя комиссовали.

— Это Альфонса твоего комиссовали.

— Коля! — она плачет.

Колька смотрит на нее, не делая попыток ее успокоить.

Ленка перестает плакать.

— Коля! — говорит она.

— Да,— послушно отвечает он.

— Я тебе обещала, что всю жизнь буду для тебя жить, когда ты уходил. Я не забыла. Ты подумал, что я забыла?

— Нет.

— Так и будет,— она кивает головой.— Так и будет. Мы будем вместе жить, я буду на тебя работать. Да. Мы будем вместе жить. А замуж я не пойду. Нет. Нет, я не выйду замуж, хватит. Мы с тобой вдвоем будем жить, телевизор смотреть. Да. Коля, а если ты не будешь ходить? Коля?!

— У меня нет ног. Я их не чувствую. Я не буду ходить.

— Ты не будешь ходить? Коля. Я. Я должна отдать тебе все. Все, что у меня есть, как ты мне отдал. Ведь это будет правильно, Коля? Послушай, мы должны все сделать правильно. Коля, у тебя были женщины?

— Что?

— Женщины, Коля. Ты спал с женщинами? Ответь мне честно.

— Нет, я не спал с женщинами.

— Вот, Коля, теперь ты понимаешь. Теперь все стало ясно. Ты вместо Алика пошел в армию, ты вместо Алика, вместо Алика. Коля, возьми меня как женщину. Ты должен это сделать. Я должна это сделать, потому что я тебе должна. У меня ничего нет, а это у меня есть. Я женщина, возьми меня,— она протягивает к нему руки.

— Дура ты! — он резко отодвигается и отворачивается.

Кто-то входит.

Ленка оборачивается, Колька поднимает глаза — в дверях стоит Наташа.

— Кто тебя пустил? — говорит Ленка, встает.

— Доктор, молодой и интересный, он сказал, что мое общество для этого больного очень полезно.

— Оно не полезно! Оно не полезно! — кричит Ленка.

— Очень полезно. А все возражения к доктору. Пожалуйста. Мы с ним обо всем договорились.

— Гадина красивая! — Ленка идет к двери.

— Правильно, доктор сейчас придет, будет ругаться, если увидит, что ты больного расстраиваешь.

— Сама бросила, а теперь сама прибежала!

— Шли бы вы обе куда-нибудь,— говорит Колька и отворачивается.

Ленка выходит, прижав руки к груди, сжав губы, чтобы не расплакаться. Наташа садится на край кровати.

— Видишь, я уже второй раз пришла,— говорит она.

Колька молчит.

— А, Коля? — Она ждет, но он не отвечает.— Коля. А у тебя одеяло тут надо поправить, вот и простыню подоткнуть, а то неаккуратно,— и она одной рукой поправляет простыню, а вторую запускает под одеяло по плечо.

Колька резко поворачивается.

— Ты что! Что делаешь!!! — кричит он.— С ума сошла!!!

Она деланно испуганно отстраняется, удивленно говорит:

— Просто посмотреть надо было — у тебя все ниже пояса отнялось или не все. Это очень важно знать женщине, разве ты не понимаешь?

Они молчат, смотрят друг на друга.

Потом Наташа медленно-медленно наклоняется к Кольке. Он видит ее грудь под тонкой футболкой, видит ее губы, которые раскрываются ему навстречу, ее глаза, кото-

рые закрываются. Колька поднимает к ней руки, привстает на кровати.

А Наташа вдруг отскакивает, смеется.

— Нет, нет, нет! — она разводит руками.— Нет, нет, нет! Нет,— она подходит к двери.— Мужик живой — это хорошо. Ты, Коль, позвони. Я, Коля, может быть, ждать буду. Но не обещаю,— Наташа очень быстро выходит из палаты, потом всовывает голову в дверь, подмигивает: — Позвони.

Поздний вечер. Кабинет врача.

Врач сидит за столом, в большой пепельнице перед ним куча окурков, везде разбросаны рентгеновские снимки. Врач небритый, курит, шурит на лампу.

Он гасит сигарету, собирает рентгеновские снимки, выбрасывает их в окно, аккуратно вытряхивает пепельницу в ведро под столом.

Гасит свет и выходит из кабинета, потирая висок.

Врач идет по коридору, входит в палату, где лежит Колька, тот спит. Врач зажигает свет, говорит:

— Подъем.

Колька открывает глаза, смотрит на врача.

— Я все про тебя знаю, мне рассказали, что ты за другого служил, что у тебя с армией особые отношения. Неважно, кто рассказывал, я знаю, что тебя зовут Коля. В общем, мне все известно.

— Ну и что?

— Ничего,— врач садится рядом с постелью.— Я тут подумал. Долго думал: чего это ты отказываешься ходить? Ну у тебя же все нормально. У тебя все должно действовать.

— А вот не действует,— гордо говорит Колька.

— Ну да. Это ты так говоришь. Вот чего... я тут подумал: ты просто боишься. Ты не знаешь, что тебе делать, потому что ты испугался. Запутался. Как тебя зовут, что ты делаешь, что с тобой происходит. Ты просто потерялся. Ты просто себе придумал вторую жизнь, а когда ничего не вышло, ты боишься возвращаться. Я думаю, что тебе надо встать и пойти. Снова встать и пойти еще раз. Ну хоть один-то раз чего-то должно выйти?

— Я не понимаю, что вы говорите,— равнодушно говорит Колька и отворачивается.

— Да. Я сам не до конца понимаю. Может быть, слова вообще не помогают никогда. Вот я тебе говорю, как один человек другому: встань и иди. Но не получается.

Колька не отвечает.

— Но я военный врач, понимаешь, парень, я не простой человек.

Врач подходит к двери, выглядывает в коридор — медсестра спит, положив голову на стол. Врач прикрывает дверь, подходит к кровати и сбрасывает Кольку на пол вместе с матрасом.

Колька вскакивает на ноги, стоит покачиваясь.

— Надо же,— удивляется врач.— Получилось. Вот это да.— И, забыв про Кольку, он выходит из палаты.

Колька стоит покачиваясь, хватается за спинку кровати, потом отпускает ее. Стоит.

Врач, он в форме с погонами капитана, и Колька идут по парку больницы. У ворот останавливаются.

— Ну. Чтобы у тебя все получилось,— и он пожимает Кольке руку.

— И вам. Счастливого дембеля,— улыбается Колька.

Колька идет вдоль забора по улице, врач выходит из ворот и смотрит ему вслед.

Вокзал. Перрон. Накрапывает дождь. Колька стоит на перроне, к которому медленно подходит поезд.

Колька смотрит в бумажку, видит, что немного ошибся с вагонами, бежит по перрону.

Поезд останавливается, из вагона, к которому подбегает Колька, выпрыгивает сначала Серега с «дипломатом», с погонами старшины, а за ним Марк, на погонах у него нет лычек, но «дипломат» пофорсистее, форма лучше подогнана.

Они все обнимаются, радуются.

Выходят пассажиры, медленно выбирается из вагона пьяный проводник с двумя стаканами в руках.

— Вот,— говорит проводник Сереге, протягивая стаканы.

Серега хочет взять оба стакана, но за один стакан проводник держится цепко, не отдает.

— Мужчина! — говорит Серега, открывая «дипломат». Достает бутылку коньяка, наливает проводнику, потом во второй стакан, протягивает Кольке.

— Будем здоровы,— говорит Колька и выпивает.

Серега пьет из бутылки, Колька передает стакан Марку. Серега наливает.

— Будь здоров, Коля,— говорит Марк, пьет.

Колька, Серега и Марк заходят во двор дома, подходят к подъезду. У подъезда табличка «Кооператив «Ласточка». Правление».



— Все, пойдем, Коля, надо уже доделать! — говорит Серега.

— Да пойдем, я что говорю? Хрен с ним, пойдем.

Они входят в подъезд, входят в дверь, где кооператив,— это одна большая комната, где сидят несколько мужиков, среди них Алик, Пахом.

— Кооператив, выходи строиться! — орет Серега, выпучив глаза.

Мужики обалдела смотрят на дембелей и Кольку. Пахом вскакивает, быстро идет на Серегу, который с удовольствием ждет его приближения.

— Пропусти этого! — просит Колька. Серега неохотно подчиняется.

Дойдя до Кольки, Пахом размахивается, но Колька быстро и очень сильно бьет его в подбородок. Пахом валится на столы, а Колька с болезненной grimасой хватается за спину:

— Твою мать, как потянуло, ох!

За спиной Марка в дверях появляется парень спортивного сложения. Марк, не поворачиваясь, бьет его «дипломатом» по колену, а когда тот сгибается от боли, впикивает в комнату к Сереге. А Серега уже набросал кучу мужиков на Пахома и оглядывается в поисках еще кого-нибудь.

Довольно сильный дождь. Колька и Марк сидят под навесом, а во дворе Серега заставляет кооперативщиков ходить строем и по-одному, с поворотами кругом, с отдаванием чести в строю и по-одному. Ужасно ругается и заставляет мужиков повторять снова и снова.

Марк говорит:

— Он хорошим старшиной был, это да. Да и вообще, я тебе неправильно сказал, нормально все было. Ну конечно, все вместе мы больше не были. Нас-то не трогали, меня, Серегу, Вальку — боялись. А другие наши... Вот когда мы дедами стали, кто-то испаскудился, стал на молодых давить, многие в общем так стали... У меня три сопля были, обещали старшого на дембель, а как-то в столовой смотрю, Колесо сидит с молодыми за столом, миску мяса берет, в нее свою кашу — фиgak и жрет. Ну все себе взял. Да еще в день, когда масло отдают. Ну я ему эту миску на голову натянул. К начпо вызвали. А Колесо мне потом говорит: «Что ж ты на дедов лезешь — на своих годков?» И ротный потом мне то же самое говорит: «Он ведь годок твой, ты что?» Я вот и думаю, чего, может, все неправильно было?

— Все правильно было, все правильно, Марк! — Колька поворачивается к Сереге: — Пошли, Серый, домой пора.

У тротуара стоит такси, на заднем сиденье лежат два «дипломата», около такси Серега, Марк и Колька.

— Ну все, годки, до встречи,— говорит Колька.

— До завтра,— говорит Серега.— В крайнем случае до послезавтра.

— Ты позвони или напиши или дай знать, Коля,— говорит Марк, когда они обнимаются.— Если что, я, конечно, второй раз армию не осилю, но помогу, изо всех сил помогу, если что.

— Да ладно, в одном городе жить будем! — говорит Серега.— В одной стране, но мне дай знать, если что.

— И вы! — говорит Колька.— Если что. Они все трое обнимаются.

Звездная ночь. Нахимовское училище, по коридору идет Колька в форме мичмана, на рукаве у него повязка дежурного.

Он подходит к тумбочке, где стоит маленький паренек в форме курсанта училища и почти спит, склонив голову.

Колька, не подойдя шагов десяти, кашляет, паренек вздрагивает, вытягивается, отдает честь. Колька тоже отдает честь с серьезным лицом. Но, пройдя дальше, улыбается.

Он входит в помещение, где спят двадцать курсантов, в постелях они совсем дети, только форма, сложенная на банках, говорит о том, что эти мальчики уже служат на флоте.

Колька, стараясь ступать как можно тише, проходит между кроватей, поправляет одеяла, открывает форточки, стоит возле окна, смотрит на спящих мальчиков. Он долго стоит.

Колька идет по коридорам, входит в помещение дежурного, где сидит капитан-лейтенант тоже с повязкой на рукаве. Капитан-лейтенант зевает, говорит, посмотрев на часы на стене:

— Через четыре часа поднимайте меня, мичман.

Колька кивает, садится к пульта дежурного. Снимает трубку телефона, начинает набирать номер. Перестает. Кладет трубку.

# ТОЧКА ЗРЕНИЯ

## Исторический аспект

Мария Бок (Столыпина)

## ВЗРЫВ В НАШЕМ ДОМЕ

(Из «Воспоминаний об отце»)

Кажется, один только раз за наше трехмесячное пребывание на Аптекарском Острове пришлось мне провести спокойно часа два с отцом. Было это на пароходе «Онега», на котором мой отец ехал с докладом к Государю в Петергоф, взяв меня с собой.

Так отрадно было, как в былые дни, поговорить с ним обо всем интересовавшем и волновавшем меня.

— Почему правительство не удовлетворит хотя бы часть требований левых партий? — спросила я.

Отец ответил, что таково было с самого начала и его желание, но все его усилия и старания найти общий язык хотя бы с кадетами, не говоря уже о более левых партиях, не привели ни к чему.

С почтением смотрела я, сидя с отцом, на лежавший перед ним портфель и думала: вот он, тот самый портфель, из-за обладания которым происходит столько интриг, рождается столько зависти и злобы. Впоследствии, после кончины отца, я получила на память о нем этот портфель. Одна сторона его была с металлической прокладкой, чтобы в случае покушения служить щитом.

В первый раз в жизни на пристани в Петергофе увидела я придворный экипаж, ожидавший отца: придворные ливреи лакея и кучера. Все это было чрезвычайно нарядно и красиво. Поразительно стройны и величественны были большой Петергофский дворец, парк, фонтаны... Не верилось, глядя на торжественную спокойную строгость всего окружающего, что где-то совсем близко бушуют страсти, что вековые устои трона уже дрожат под напором враждебных сил.

11 июля, в день именин матери, мы разыгрывали пьесу, текст которой, в стихах, был написан моей сестрой Наташей. Все четыре мои сестры изображали цветы и горе-

вали о том, что приросли к земле — «все о ногах мечтали». А через несколько недель Наташа лежала с раздробленными бомбой ногами и в бреду «все о ногах мечтала»...

Произошел этот взрыв, стоивший жизни десяткам невинных людей, 12 августа 1906 года.

Это была суббота — приемный день моего отца, когда каждый мог явиться к нему и лично передать свою просьбу. На эти приемы собиралось обыкновенно очень много народу. Приходили люди самых разнообразных сословий.

Две приемные, зала заседаний, кабинет, уборная отца, большая гостиная и столовая помещались внизу, а все наши спальные и маленькая гостиная матери — наверху.

В этот день в три часа я как раз кончила урок, который давала моей маленькой сестре Олечке в нижней гостиной. Мы с ней вместе пошли наверх. Олечка вошла в верхнюю гостиную, а я направилась к себе через коридор, как вдруг была ошеломлена страшным грохотом. В ужасе, осматрившись вокруг, я увидела в том месте, где только что была дверь, которую я собиралась открыть, огромное отверстие в стене.

Как я ни была потрясена происходящим, моей первой мыслью было: «Что с папá?» Не раздумывая, я побежала к окну, но увидела Казимира.

— Боже мой! Что же это? — закричала я ему.

— Ничего, Мария Петровна, это бомба, — успокоительно ответил этот невозмутимый человек.

Я подбежала к окну с намерением прыгнуть на крышу нижнего балкона и спуститься в кабинет отца.

Но тут Казимир, взяв меня за талию, силой втащил обратно в коридор. В это мгновение я увидела мать с белой от пыли и известки головой. Я кинулась к ней.

— Ты жива! — сказала она. — А где Наташа и Адя?

Мы вместе вошли в верхнюю гостиную, где лежала на кушетке поправляющаяся от тифа Елена и где были также Маруся Кропоткина и обе малышки. Вся мебель там была изломана, но стены и пол остались целы.

Почти сразу, как мы вошли в гостиную, услышали снизу голос отца: «Оля, где ты?» Мама вышла на балкон, под которым стоял отец. Никогда не забуду тех двух фраз, которыми они тогда обменялись:

— Все дети с тобой?

— Нет Наташи и Ади.

Надо было видеть все описанное, чтобы представить себе, как это было произнесено — сколько ужаса и тоски могут выразить несколько слов.

Княжна Кропоткина и я, желая сойти вниз, побежали к лестнице, но ее не было. Было ступенек десять, а дальше — пусто. Тогда мы обе, не долго думая, прыгнули вниз и побежали дальше. Я отделалась благополучно, а у Маруси оторвались почки. Остальных спустили на простынях подоспевшие на помощь пожарные.

Выйдя в сад, я сразу увидела идущего мне навстречу отца.

Какая радость была броситься ему на шею, какое, несмотря на ужас окружающего, счастье видеть его тут, рядом, живым и здоровым! Мы только успели обняться и крепко поцеловаться, и я пошла дальше в сад, откуда раздавались душераздирающие стоны и крики раненых. Отец с матерью побежали в другую сторону — отыскивать пропавших детей.

Сад являл зрелище ужасающее. Мы с Марусей решили, что надо как можно скорей найти и увести из этого ада детей с их гувернантками. Скоро нам удалось собрать их всех вместе, и мы, стараясь не слышать стонов и не глядеть на лежащих в неестественно скорченных позах раненых и убитых, повели трех девочек, м-ль Сандоз и совершенно растерявшуюся, рыдающую немку в самую глубь сада, к оранжереям.

Не помню, каким образом, но в моих руках оказалась бутылочка с валерьяновыми каплями. Я дала по хорошей дозе детям и гувернанткам. Приняли каплю и мы с Марусей. Мы не плакали и очень спокойно распоряжались, но дрожали обе с головы до ног, а внутри все стыло от какого-то мучительного, непонятного холода.

Помогая раненым, мы увидели отца и мать. Подойдя к ним, узнали, что Наташа и Адя найдены живыми на набережной под обломками дачи, но оба тяжело ранены.

В нашем саду был второй дом, где жили гостившие у нас друзья, гувернантки и часть прислуги. Дом этот от взрыва не пострадал, туда и перенесли Наташу, Адю и некоторых других раненых. Наташа была ранена очень серьезно. Когда ее переносили, странно было смотреть на это безжизненное тело с совершенно раздробленными ногами, на это спокойное, как будто даже довольное лицо. Она не издала ни одного звука, пока ее не переложили на кровать. Тогда она закричала и кричала уже все время, кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже пробегал от крика этой четырнадцатилетней девочки.

Доктора потом объясняли, что она в первое время не чувствовала боли, так всегда

бывает при сильных ранениях.

У Ади маленькие раны на голове и перелом руки. Бедный ребенок страдал больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать. Только задремлет, вскакивает, с ужасом озирается и кричит: «падаю, падаю!»

Между просителями был доктор, которого я раньше встречала в саду. Отыскав его, я привела его к Аде. Но помощи он мог оказать мало, так как совершенно потерял голову.

Слушая крики Наташи и глядя на Адю, он все время хватался за голову и со слезами в голосе повторял: «Бедные люди! Несчастные люди!..»

Я его спросила, грозит ли Наташе ампутация ног. В ответ он только поцеловал мою руку.

Очень скоро подоспели кареты скорой помощи, врачи, санитары, родные и друзья, а я, передав Адю в надежные руки, пошла к раненым в сад. Один из докторов дал нам с Мусей перевязочные средства и просил помогать ему.

Сначала мы оказали помощь Единой няне, которая лежала на полу в соседней комнате и безостановочно стонала, повторяя: «Ноги!.. ох!.. ноги!»

Мы ее подняли, переложили на диван, а я принялась расшнуровать туфлю и бережно снимать ее. Каков же был мой ужас, когда я почувствовала, что ступня остается в туфле, отделяясь от туловища! Уложив бедную девочку (ей было всего 17 лет) возмочно удобнее, мы пошли в сад.

Боже! Что за ад был в этом, за час до того мирном саду... Так же благоухали цветы, так же шелестели густой листвой липы, так же медленно ползали по лужайке черепахи, подаренные кем-то Наташе, а на дорожках, на газоне, повсюду лежали раненые, мертвые тела и части тел!.. Тут нога, там ухо!.. Лежит, хрипло дышит какой-то мужчина. Я побежала доставать ему воды, но когда наклонилась, чтобы влить ее в запекшиеся губы, увидела, что он, пока я бегала за водой, успел умереть.

Дальше, в глубине сада я нашла убитого мальчика лет двух-трех. К этому времени все место взрыва было уже оцеплено войсками, повсюду стояли часовые. Рядом с телом этого ребенка тоже стоял солдат.

Я спросила:

— Кто это?

Он мне четко, по-военному ответил: — Сын его высокопревосходительства, председателя Совета Министров.

Слава Богу, что я тогда уже знала, что брат мой жив.

Впоследствии оказалось, что один из просителей явился на прием, очевидно, с целью «разжалобить министра», с трехлетним сы-

ном, и оба погибли.

К вечеру увезли раненых. Наташу и Адю поместили в ближайшую больницу д-ра Кальмейера. Мама, конечно, отправилась с нами, и мы все поехали на катере на Фонтанку, в дом председателя Совета Министров, в который мы должны были осенью переехать и куда уже были переправлены наши вещи из дома министра внутренних дел на Мойке.

Взяли мы с собой и любимую Наташину кошечку Груню, о которой она часто потом в бреду вспоминала. Серенькая Груня, не в пример черепахам, с самого момента взрыва носилась как сумасшедшая по развалинам, между убитыми и ранеными, дико и жалобно мяуча. И только теперь, свернувшись клубочком на моих коленях, она успокоилась. Мы ехали молча, подавленные происшедшим, но, как бывает только в такие минуты, чувствовали себя как никогда близкими друг к другу.

К вечеру выяснились все обстоятельства катастрофы.

Наташа, маленький Адя и его няня, молоденькая воспитанница Красностоцкого монастыря, находились на верхнем балконе, прямо над подъездом.

Адя с интересом разглядывал подъезжающих. Таким образом, он единственный из оставшихся в живых видел, как подъехало к подъезду ландо с двумя мужчинами в жандармской форме. «Жандармы» эти неправильностью формы возбудили подозрение старика швейцара и состоявшего при моем отце генерала Замятина. Дело в том, что головной убор жандармских офицеров недели за две до этого был изменен, а приехавшие были в старых касках. Кроме того, они бережно держали в руках толстые портфели, чего не полагалось при представлении министру. Швейцар сделал несколько быстрых шагов вперед, чтобы преградить путь подозрительным «офицерам», а генерал Замятин, увидевший их из окна приемной, кинулся, чуя недоброе, в переднюю.

Самозванные «жандармы», видя, что на них обратили внимание, оттолкнули преградившего им дорогу швейцара и устремились к подъезду. В передней они натолкнулись на кинувшегося им навстречу генерала Замятина и бросили свои портфели на пол.

Раздался оглушительный взрыв... Большая часть дачи взлетела на воздух. Послышались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительное ржанье раненых лошадей, которые привезли преступников. Загорелись деревянные части здания, с грохотом посыпались камни.

Сами революционеры, генерал Замятин и швейцар были разорваны в клочья. Кроме них погибло более тридцати человек, не

считая умерших от ран в ближайшие дни. Взрыв был такой силы, что на фабрике по другую сторону Невки не осталось ни одного целого стекла.

Единственная комната во всем доме, которая совсем не пострадала, был кабинет моего отца, где несомненно произошел бы взрыв, если бы не спасли отца генерал Замятин и швейцар.

В момент взрыва отец сидел за письменным столом. Несмотря на то что кабинет от места взрыва отделяли закрытые двери, громадная тяжелая чернильница поднялась со стола на воздух и перелетела через голову отца, залив его чернилами. Но взрыв ничего в кабинете не повредил. Среди десятков убитых и раненых в комнатах рядом и наверху отец, волею Божией, остался цел и невредим.

Рядом с кабинетом, в гостиной, были разрушены стены и потолок, не уцелело буквально ни одной вещи, но на своем месте остался стоять маленький столик с нетронутой, даже не покрытой пылью фотографией в рамке. Таких непонятных явлений при взрыве было много. Один из спасенных рассказывал впоследствии мне: за минуту до взрыва он подошел к знакомому губернатору и только начал с ним говорить, как увидел своего собеседника без головы.

Наташа и Адя, найдяшиеся, как было сказано, в момент взрыва на балконе над подъездом, были выброшены на набережную. Наташа попала под ноги лошадей, еще запряженных в полуразрушенное ландо убийц. На нее упала какая-то доска, которую топтали бесновавшиеся от боли лошади. Тут ее и нашел солдат. Она была без сознания.

Когда солдат ее поднял, она открыла глаза и сказала:

— Это сон? — А потом, очнувшись и поняв все, спросила: — Папá жив?

Узнав, что отец жив и невредим, она прибавила: «Слава Богу, что я ранена, а не он». И потеряла сознание.

Адю нашли вблизи от Наташи под обломками разрушенного балкона. Сброшенные с того же балкона няня и горничная умерли от ран в тот же день.

Вот что мы узнали в первый вечер, а потом понемногу стали выясняться дальнейшие подробности этого кошмарного дня.

Приехав на Фонтанку, мы расположились в нашем новом красивом доме как на биваке, так как, конечно, в первую ночь ничего нельзя было как следует устроить. Очень трудно было как следует прислужить, особенно с девушками. Они рыдали, бились в истерике и умоляли их отпустить. Я растерялась. Ответила, что не могу ручаться за то, что не будет снова покушения, и разрешила им уйти. Тут же, повернувшись к находящемуся в той

же комнате Казимиру, сказала:

— Что же, Казимир, и вы, наверное, теперь захотите уйти от нас?

На что он с доброй улыбкой ответил:

— Нет, Мария Петровна, куда Петр Аркадьевич с Ольгой Борисовной поедут, туда и я...

С Фонтанки отец поехал сразу в лечебницу Кальмейера. Тут ему доктора объявили, что они не видят возможности спасти Наташу, но ампутировав ей обе ноги, и что необходимо сделать это в этот же вечер.

Приехал лейб-хирург Павлов и подтвердил мнение своих коллег.

Отец умолил докторов обождать с ампутацией до следующего дня, на что они с большим трудом согласились. А на следующий день сообщили, что попробуют все-таки спасти обе ноги, что им, с Божией помощью, и удалось.

Все последующее время Наташа находилась под непосредственным наблюдением профессора Грекова, проявившего при двухлетнем лечении ее столько же знания, сколько и сердечной доброты.

Страдала Наташа ужасно. В первые дни бедная девочка почти все время была без сознания и лежала с вертикально подвязанными к потолку ногами. Она то тихо бредила, быстро-быстро повторяя какие-то бессвязные фразы о Колнобереже, о цветах, о том, что у нее нет ног, то стонала и плакала... Ей остригли ее чудные, густые косы, обрезали волосы неаккуратно, и от этого ее бледное измученное лицо выглядело еще более жалким.

К ее страданиям от ран прибавились еще мучения с зубами, которые стали шататься после падения. Надо было их лечить, что было очень сложно.

Когда отец в первый день уехал к раненым, я пошла осматривать его кабинет. Помещался он в нижнем этаже, два огромных окна выходили на Фонтанку. После только что пережитого это показалось мне настолько страшным, что я взяла на себя смелость приказать перенести всю мебель кабинета в верхний этаж, в залу рядом с домовою церковью.

Когда отец вернулся, все было устроено. Я немного боялась, как отец отнесется к моему самоуправству. Несколько смущенная, вышла я встречать его на лестницу. Но отец сказал:

— Благодарю тебя, моя девочка.

И, обняв меня за плечи, как он это часто любил делать, вместе со мной пошел наверх.

Моя мать осталась жить в лечебнице, ухаживая за Наташей и Адей. Мы с Марусей Кропоткиной храбро взялись за устройство дома, а столом взялся заведовать старый друг нашей семьи Зетинька.

Трудно описать, что пережил за эти дни отец. Боязнь за жизнь дочери и страх, что она, в лучшем случае, останется без ног; единственный трехлетний сын весь перевязанный в своей кровати; по несколько раз в день известия из больницы, что умер то один, то другой из раненных во время взрыва. Отец косвенно приписывал себе вину за эту кровь и эти слезы, за мучения невинных, за искалеченные жизни. Он страдал невыносимо.

И все же не только нашел в себе силы для работы, но стал еще энергичнее заниматься делами. Многие из его сотрудников говорили, что после 12 августа престиж Петра Аркадьевича, не позволившего горю сломить себя, необычайно поднялся среди министров и при дворе, а для всех нас он стал примером моральной силы.

После поездок к своим раненым детям отец возвращался в очень тяжелом настроении. Адя лежал теперь довольно спокойно, но Наташа страдала все так же. Дней через десять доктора решили окончательно, что ноги удастся спасти, но каждая перевязка была пыткой для бедной девочки. Сначала перевязки происходили ежедневно, потом через каждые два-три дня. Прибегать к хлороформированию каждый раз было невозможно. Можно себе представить, что она переживала! У нее через год после ранения еще извлекали кусочки известки и обоев. Кричала она во время перевязок так жалобно и тоскливо, что доктора и сестры милосердия отворачивались от нее со слезами на глазах. Она до крови грызла себе кулаки, пока тетя А. Б. Сазонова, помогавшая в уходе за ней, не стала давать ей свою руку, которую она всю искусывала.

Адя лежал теперь тихо. Однажды он пресерьезно спросил отца:

— Что, этих злых дядей, которые нас скинули с балкона, поставили в угол?

Государь, когда отец рассказал ему об этом, заметил:

— Передайте вашему сыну, что «злые дяди» сами себя наказали.

При первом приеме после взрыва Государь предложил отцу большую денежную помощь для лечения детей. Отец отказался.

Стали нам на Фонтанку приносить с Аптекарского спасенные вещи: большие узлы с бельем, платьем и другими вещами. Маруся и я принялись их разбирать, но скоро с ужасом бросили это занятие — на вещах было много кровавых пятен и даже попался нам кусок человеческого тела!

Принесли и футляры от драгоценных вещей. Но только футляры: драгоценностей в них не было. Позже отец вспоминал, что когда он сразу после взрыва пробежал в переднюю, то увидел каких-то людей в синих блузах, копошащихся над его туалетным

столом. Кто они были и как попали сюда почти в момент покушения, осталось необъяснимым.

Мои золотые вещи лежали в шкатулке в шкафу моей комнаты. Шкаф нашли совсем разломанной на набережной, а мне вернули сломанную шкатулку со всеми футлярами, аккуратно уложенными и... пустыми.

Конечно, драгоценности почти все были детские, но между ними находились и очень ценные серьги с бриллиантами, доставшиеся мне от бабушки. Большую шкатулку с бриллиантами матери спас наш верный Казимир. Оттащив меня от окна в момент взрыва, Казимир по обломкам пробрался в спальню моих родителей. Спокойно и деловито разыскал он ящик, где, как он знал, хранились драгоценности матери, выбросил его через окно в кусты и, спустившись потом в сад, взял ящик и уже на Фонтанке сдал его хозяевам.

Публикация И. Хабарова

## Давние споры

В этом номере публикуются два документа. Первый — проповедь, произнесенная молодым студентом Московской Духовной Академии Павлом Александровичем Флоренским. Второй — ответ на нее, напечатанный в одной из газет анонимным автором, скрывшимся за буквенной обозначкой. Кто автор, установить не удалось, но, видно, доводы спрятать имя у него были, поскольку тон, стиль, прибежка к уличным выражениям, призывы к властям окоротить не только студента-отступника, но и начальника Академии, допустившего его к церковной кафедре, избличают в ответе характерные черты печатного доноса. Судя по всему, воздействия он не имел никакого, ибо Флоренский не только доучился, но и стал преподавать в Академии философские дисциплины, принял священство, напечатал знаменитый труд «Столп и утверждение Истины», сразу поставивший его в ряд самых глубоких и оригинальных умов России. Губительная пора доносов для Флоренского наступила много позже, когда в начале тридцатых большевистская печать обрушила на него шквал погромных статей, обвиняя, в отличие от анонима 1906 года, в совершенно противоположном — реакционном мракобесии. Следствия были уже другими: арест, Бамлаг, Соловки, смертная пуля 8 декабря 1937 года.

Так что же нам за дело до давних стычек, старого доноса, когда он ничуть не струнул судьбу Флоренского? Дело, оказывается, есть. Ответ анонима

выглядит не таким уж простым и очевидным, несмотря на чистоту доносительно-жанровых признаков и охранительный запал. В нем есть свои резоны, и эти резоны следует признать серьезными. Более того, увязка двух этих документов вызывает целый рой вопросов, среди которых важнейшие: взаимоотношений государства и христианства, христианской морали и жестких потребностей политической жизни, законоуложений данного исторического момента и нравственных законов вечности. Возможно ли когда-либо их примирение или невозможно никогда? Оппонентом Флоренского вопрос этот тотчас снимается, когда он приводит известный догмат Апостола Павла о Божьей природе всякой власти. Надо полагать, даже той, что носит явные признаки власти антихристовой. Сам этот спор, по всей вероятности, безуспешен, однако вопросы при этом оставляет, поскольку известно, при чем здесь Апостол Павел, верный гражданин Рима, обладатель в силу своего положения высоких прав и привилегий, испытывающий необходимость их защищать, равно как и все политические институты Империи, но неизвестно, при чем здесь Христос, сказавший: «Ныне царство мое не от мира сего — не от мира, не от Рима, не от государства». И нет ли большей правды в суждениях Мережковского, полагавшего, что «христианство, приняв свободу Христову в области личной, освятило рабство... в области общественной: "Господь терпел, и нам велел"»?»

Аноним, безусловно, прав, напоминая Флоренскому о безвинных жертвах революционного террора. Все это было. Но было и другое: убитые и раненые 9 января 1905 года (В. И. Невский насчитывает их: убитыми — от 150 до 200, ранеными — от 450 до 800), карательные экспедиции, разосланные Столыпиным в наиболее спокойные части страны после взрыва на Аптекарском, залившие целые губернии кровью бессудных расстрелов, закон об учреждении скорострельных военно-полевых судов, разгон 2-й Государственной думы по указу 3 июня 1907 года, принятого Столыпиным в нарушение Манифеста от 17 октября 1905 года и Основных государственных законов Империи, городовые, охранявшие манифестацию 9 января и расстрелянные солдатами-семеновцами. Флоренский не лгал. Хлесткая метафора «столыпинский галстух», выпаленная кадетом Родичевым на заседании Государственной думы, в реальной жестокой действительности оборачивалась пеньковой толстой веревкой, свитой в петлю. Столыпин вызвал Родичева на дуэль, он боялся остаться в истории с клич-

кой вешателя, он был глубоко потрясен и защищал свою честь. Однако словцо выпорхнуло и показалось удачным обиходному общественному сознанию — оно его тотчас подхватило и разнесло. Но Столыпин не был вешателем по природным своим созидательным задаткам и потребностям. Он требовал все новых суровых законов, чтобы расчистить поле для засева. В том, что он делал, была своя правда, но правда исторического мига, искаленного пароксизмами революционного остервенения, бесовщиной террора как с той, так и с другой стороны, самоубийственной борьбой думских политических фракций, столкновениями дикого эгоцентризма радикалистских партий с холодно-бессердечным эгоцентризмом абсолютной монархии (Милюков отмечал в психологии царя преобладание «личного и династического над общеполитическим»). Столыпин полагал, что усмирив большую революционную часть России, он начнет созидание, которое пойдет естественным путем на основе земельной реформы. Так бы оно вышло или не так, гадать трудно, ибо прогремел выстрел Богрова, а кроме того, продолжал свое воздействие на умы второй закон России, чье влияние нередко во много раз превосходило силу государственных правовых установлений, — закон общественных настроений, общественного мнения. (О трагической раздвоенности психологии между тем и другими напоминает хотя бы известный диалог Достоевского с Сувориним.) Как же ошибался Розанов, когда, прощаясь со Столыпиным, говорил, что «революция при нем стала одолеваться морально, и одолевается в мнении и сознании общества, массы его, вне партий!» Ничего подобного не происходило, ибо дело не только в том, что крайние партии стали на путь более расчетливой тактики, а в том естественном движении свободолобивых исканий, что не покидали общество со времен Радищева и не прекращались, как бы путанно, криво, с кровью, жертвенностью одних, подлостью других, лютостью третьих — они ни шли. Дело в крепнущем намерении не только передовых людей — водителей низов, но и самой массы сломать свою историческую судьбу.

«В основе социализма, — писал Бердяев, — лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого общества... та одинокость человеческая, которая является выражением индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей человеческой разобщенности. Ужас от своей покинутости и предостановленности своей судьбе без всякой помощи, без всякого соединения с другими людьми и побуждает

к принудительному устройению общественной жизни и человеческой судьбы». Это побуждение усиливалось видом все более истощающейся, поедающей самое себя государственной власти, убывающей на глазах ее силы и уверенности.

Анонимный критик Флоренского был прав, отмечая силу искусов расхожих общественных мнений, его догматов, его кличек, дележки на сословно-политические группы мещан-обывателей и прогрессистов-борцов. Не оттого ли и не было жаль погибающих при взрывах просветителей, городских, случайных прохожих, не потому ли в революционных хрониках они не упоминаются вовсе или отмечены сугубо статистическим образом — холодной и пустой цифрой?

Но аноним ошибся — Флоренский видел, по выражению Лосского, что «многое есть единое, а единое — многое». В «Слово» Флоренского вошли расстрелянные солдатами крестьяне и рабочие, истерзанные тела погибших от террористических бомб, застреленные губернаторы, повешенные революционеры-террористы и лейтенант Шмидт — единственный, может быть, Дон Кихот первой русской революции, человек вне партий, но не вне порывов к состраданию и чистой личной жертвенности во имя чужого дела. Флоренский пытался предупредить его казнь. Он понимал, что государственное убийство по закону, каким бы справедливым оно не казалось, есть удовлетворение позывов мести, низменного чувства толпы. Он предупреждал о разрушительном действии для самого народа эгоцентризма национального, для властей — политического, для революционеров — партийного.

Позже он напишет: «Тезис и антитезис неразлучны, — как предмет и тень его. Антиномичность догмата конечных судеб логически несомненна. Но — не только логически: и психологически она очевидна. Душа требует прощения для всех, душа жаждет вселенского спасения, душа томится по мире всего мира» («Столп и утверждение Истины»).

Станным образом, вероятно, по высокому личностному отсчету три эти исторические фигуры стоят вместе: Столыпин, Флоренский, Шмидт. Все — люди отдельные, разовые. К какой группе причислить Флоренского? К той, что была выслана в 1922 году? Не выходит. Он — один. И не только по разводу судеб.

Кто же из этих трех людей был прав? Все по-своему и никто. Правда — за Господом Богом? Но Флоренский к Нему ближе всех.

Владимир Машуков

## ВОПЛЬ КРОВИ. Слово на неделю Крестопоклонную. Сказано в храме Московской Духовной Академии за литургией 12 марта 1873 года от смерти Иисуса Христа

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!..» Но зачем живописец обманывает нас? Разве это тот Крест, на котором перед тысячами зевак позорилось тело Твое? Та виселица, позорная до соблазна, до безумия в глазах всего мира? Разве так спокойно и благолепно висел Ты там, окровавленный? Из благоговенья ли к Твоей казни, из жалости ли к нам живописец покрыл тихим примирением измученный Лик? И наша лукавая совесть готова принять лживое успокоение?! Вопль отчаяния готов расплыться в баюкающих «херувимских»?! Да не будет!

Грубыми руками злые люди схватили Тебя, бичевали, давали пощечины, били палкою, насыщая свое зверство. Пьяная полиция Иерусалима издевалась над Тобою, наглая челядь духовных и светских начальников пересмеивала Твои слова, тысячи злорадных глаз с безучастным любопытством впивались в Твои муки. На Тебя плевали, Тебя царапали, поносили у кого сколько хватало изобретательности, — ругались все, начиная от Архиеерея, кесарева ставленника, и кончая последним рабом; даже он, пощечинной Страдальцу, спешит выслужиться в хамском усердии пред своим владыкой. На конец всего руками, знающими убийство да развратные объятия, солдаты-полицейские, солдаты-палачи сорвали с безгрешных членов Твоих одежды, приставшие от крови.

Страшно было смотреть на истерзанное тело Твое с обнаружившимися мускулами и жилами. В ссадинах, кровоподтеках и синяках, с засохшею кровью обнажено было оно пред тысячами озверелых людей, еще вчера ревевших на весь город: «распни, распни Его!» В ушах стоял еще крик и гиканье кровавадной толпы, возбужденной патриотами-архиеереями и патриотами-священниками. И теперь, когда в руки и ноги Тебе вбиты были грубые гвозди, когда с ударами молота зловещие облака, как бы в ужасе, закрыли небо, ревнители отечества делались все безумнее в своем надругательстве. В невыразимой жажде, с раздрающим криком

испустил Ты дух, покинутый грешными людьми и оставленный за грехи их праведным Богом. Как черный занавес внезапный мрак скрыл от людских взоров последнюю картину самой тяжелой и самой очистительной из трагедий.

Безбожное дело, убийство Сына Божия как бунтовщика, развращающего народ, свершилось. И этот урок, казалось бы, ужасом пред насильственной смертью должен наполнять душу всякого царя, всякого правителя, всякого священника, всякого патриота, всякого потатчика убийству. Свою казнь Христос казнил всякую казнь. Своим осуждением Христос осудил всякого вершителя чужими жизнями. Вечным укором совести должен был бы вставать истерзанный Лик Спасителя при одной мысли о возможности убийства и насилия.

Теперь перенесемся чрез протяжение 19 веков в самый христианский центр считающего себя самым христианским из государств. Миллионами уст каждодневно твердится Имя Святое. Миллионами глаз читается на страницах Евангелия история человеческого позора, вечное напоминание совести о нашей вине пред Богом. В тысячах храмов возносится за нас искупительная жертва, которая — «суд миру сему» (Иоан. 12, 31), в которой — и оправдание и осуждение. Без устали работают для дела Христова, все отдать, все претерпеть и все-таки попеременно с радостью примирения краснеть и бледнеть от сознания непоправимого страшного дела, от воспоминания своего позора, бороться день и ночь до болезни, до смерти, до кровей мученических, — вот эта, а не иная должна быть участь народа, мнящего быть христоносным.

Но «гляжу на землю, и вот на ней разгром и пустота; на небеса, и нет от них света» (Иер. 4, 23). Волны крови затопляют родину. Тысячами гибнут сыны ее — вешаются, расстреливаются, тысячами переполняют тюрьмы. Вернулись времена безбожного царя Иоанна. Под видом «умирения» избиваются мирные крестьяне и рабочие. Людей, не имеющих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов. Женщин и детей и то не щадят, — насилуют, оскорбляют на каждом шагу. Издеваются в безумном озверении.

Казнили Христа, и люди молчали, не защищали Его. Терзают тело Его, — и мы опять, опять погружены в бесстыдное, себялюбивое потакательство убийцам и насильникам. О тех, кто, может быть, и сам тайне сочувствует им, даже подумать страшно на этом святом месте.

Или вы забыли, что это братья наши избиваются, что не любящий брата лжет, когда говорит о своей любви к Богу. Смотрите, и



безбожники лучше христиан православных: те-то хоть братьев любят, а христиане — ни Бога, ни братьев. Иль вы не понимаете, что это вновь и вновь Христа расстреливают и вешают, и бьют, и оскверняют? Не понимаете, что каждый выстрел направлен в тело Христово? Разве не знаете вы, что каждый из братьев и сестер наших — член тела Христова? Иль вы позабыли, что христианин питается св. причастием? Кто из вас был бы так подл, что позволил бы казачу выстрелить в Господа распятого? Кто бы не засланил Христа своего грудью? Но неужто от того только, что Христос не виден, стрелять в Него можно? Так сказать, нацелившись в упор, прямо в грудь, зажмурить глаза и спустить курок? Это все творится пред нашими глазами, пред глазами христианин! И мы молчим, все молчим, все умываем руки... не водой уже, как Пилат, а кровью, ибо нет теперь воды, не смешанной с кровью, нет воды, которая смыла бы кровь с Руси, кроме одной только Воды Живой. Кровь убитых вопиет к Богу, и заливается ею святая Жертва Евхаристии. Стоны замученных и убиваемых, убитых без покаяния, вопли заключенных и оскорбляемых несутся к алтарю Всевышнего и заглушают там все наши молитвы. Слезы и рыдания тысяч матерей и сестер мешают нашим песнопениям. Бог не может быть с нами: по горло поднялась кровь пролитая; вот скоро захлебнемся в океане собственных преступлений.

Людей убивают, христиан терзают. Жалко, невыносимо... Но другое, братья и сестры, другое ужаснее. Христиане убивают, христиане терзают, христиане — православные проливают кровь повсюду и даже среди золотых маковок Белокаменной. Одни не верят Богу и Спасителю, что убивать — великий грех, а другие не слушают апостола Его, велящего обличать и наставлять друг друга, забывают, что без этого они ответственны за грехи чужие. Иль вы не видите, что своим потакательством растите грехи? Или вы думаете, что повинующийся безбожнику, слушающий лицемерного христианина в его кровожадных замыслах чист от убийства? Так ли страдали мученики? Мните, что не убивающий своею рукою чист от крови? Господь спрашивает у вас, где братья ваши? Думаете ли отделаться каиновым ответом: «разве мы стражи братьям своим?» Нет, «душа убиваемых вопиет» (Иов. 24, 2) на вас. Вот уже не я говорю, а Господь Бог: «руки ваши осквернены кровью и персты ваши беззаконием; уста ваши говорят ложь; язык ваш произносит неправду. Никто не подымает голоса на неправду, и никто не судится по истине» (Ис. 56). И теперь, ступая по лужам крови, мы лицемерно постимся и лживо каемся! Приносим в церковную кружку сребренники с пятнами

крови! «Слышите слово Господне, начальники Содом! Когда вы приходите явиться пред лице мое, то кто требует от вас, чтобы вы попирали дворы мои? Не приносите больше лицемерных даров... Когда вы протираете руки, я удаляю от вас взор свой; даже когда вы много молитесь, я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очистите себя; научитесь делать добро»... (Ис. 1). «Не полагайтесь на обманчивые слова говорящих: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень... Если не станете обижать пришельца, сироты и вдовицы, не будете проливать невинную кровь на месте сем... Тогда я оставляю вас жить на месте сем... Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые для вас бесполезны». Вы творите тысячи преступлений. «Потом приходите вы и становитесь пред Лицем моим в этом доме, который называется Моим именем, и говорите: мы спасены, чтобы снова совершать все эти мерзости».

«Разве вертепом разбойников стал в глазах ваших этот дом, который называется Именем Моим? Вот Я Сам вижу это, говорит Господь» (Иер. 7, 4.6—8—11). Так говорит Господь Бог: «каждый день они ищут Меня и желают узнать мои пути, как бы народ поступающий справедливо и не оставляющий закона Бога Своего; они спрашивают Меня о судах правды и желают приблизиться к Богу: «почему, мол, мы постимся, а Ты не видишь, мучим самих себя, а Ты не знаешь?» Вот вы поститесь, чтобы спорить и ссориться и чтобы нечестивою рукою бить других; но не так поститесь, как ныне, чтоб услышан был ваш голос. Не это ли пост, который Мне угоден, чтоб ты расторг союз неправды, разрешил оковы рабства, дал свободу угнетенным и сокрушил всякое ярмо?» (Ис. 58, 1—7). О Русь святая, терпящая избияния сынов своих! О народ православный, даже в великом посту не прекращающий казней, пред страстною неделей издевающийся над муками Спасителя! Смотри, Русь святая, не оказаться бы тебе с Иудой и Каином! Смотри, народ православный, не быть бы тебе позорищем истории! «Хотя бы ты умыла себя щелоком и много употребила на себя мыла, нечестие твое все останется пятном перед Мною», — говорит Господь Бог (Иер. 2, 35). «На одежде твоей видна кровь бедных, невинных (2—34); Ты говоришь: я невинна, да минует меня гнев Его. Но вот я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь: я не согрешила» (Иер. 2, 35).

Кошунством будет св. Евхаристия, доколе по небрежности нашей будет литься в св. Чашу кровь человеческая. В суд, в осуждение, — в страшное осуждение будем принимать мы св. Тайны Господни, доколе не прекратятся в церкви злодеяния, доколе

члены ее, от царя и его помощников до последнего нищего, будут, по нашему попустительству, оставаться необличенными. Лицемерные молитвы наши, доколе не покаемся церковно в творящихся злодеяниях, доколе многими панихидами не вымолим себе прощения от избивенных нашим попустительством. Архипастыри наши молчат, будто не их дело обличать виновных детей церкви, раз только они сильны. Не осудим архипастырей за молчание: сами виноваты своим молчанием: мы забыли о теле Христовом; Христос наказал нас пастырями. Но будем все, непременно все неопустительно молить их и за них, да разгорятся сердца их мужеством. Или они не знают, что «пастырь добрый полагает душу за овец своих». Или они думают, что мы совсем отреклись от Христовых заветов, оставили их, не пойдём за ними на Божье дело, может быть, на страданье? Да, забыли, если они терпят общение с церковью со стороны убийц-начальников, не желающих знать ни Бога, ни справедливости, если не налагают епитимии на убийц-подчиненных, выслуживающихся пред теми. Да, пастыри забыли свое дело, если не призывают всех к покаянию, если не заставляют покаяться устраивающих бойни, если позволяют кровавым губам насильников касаться св. Причастия. Скажут: «но ведь иные из убивающих и в Бога не веруют». Может быть, они сами наказали себя, сами ушли из церкви. Тогда пусть не пользуются церковным освящением своей силы, пусть заявят себя антихристами. Но другие веруют? Дело пастырей наставлять и запрещать своим детям, заявляющим на каждом часе о своем православии. Одни сами отлучили себя от Церкви, но другие ведь считают себя детьми ее. Почему позволяют пастыри проливать кровь? Другие не веруют. Что тебе до того? Ты веруешь, ты и иди за Христом. Ты не убивай, ты не попускай, чтоб убийца прикрывался Церковью, освящая грех свой Именем Святыни.

Вот, когда я обдумывал все это, опять, в Крестопоклонную Неделю совершились медленно обдуманые, хладнокровные убийства, взлелеянные неделями. Люди вмешались в решения Божии, отняли жизнь. Заключенных в темницу можно выпустить, связанного развязать, лишенного прав награждать правами. Но никакими раскаяниями, никакими стараниями не вернуть жизни казненному. Сверхилось дело невозвратимое и бесповоротное,— человеческое предварение суда Божия,— дело безбожное. Оборвана возможность покаяния, и новый грех лег на наши головы. Сам Бог наложил знак на чело Каину, братоубийце, чтобы кто-нибудь не убил его, чтоб на убийце не отомстилось восьмеро. И вот, когда со всех концов России говорилось об отмене казни,

когда ученые и неученые, мужчины и женщины, девушки и подростки, кухарки и барыни, мужики и писатели, все слои общества, не исключая военных, давали отголосок на готовившееся страшное дело, Церковь православная опять не остановила кровопролития, опять,— и это на Крестопоклонной Неделе! — промолчала. Церковь,— самое дорогое, что есть для нас на земле,— мост к небу; и он оказался непроходимым. Зато голос крови брата кричит ко Господу.

Вот за литургией выносят св. Чашу, но в нее упала тяжелая капля крови. Смотрите же, не берите на душу еще новых грехов убитых. Церковь не отвергла их при жизни. Как же может она отвергнуть их ныне, как может она не молиться за убитых? Мы должны помолиться не раз и не два за душу убиенных, за душу казненных. Смотрите, чтоб не сбылись над нами слова Господа Иисуса: «да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Вархиина, которого убили между храмом и жертвенником». Да минует нас сие, Господи Иисусе! Не дай новым фарисеям вновь насмеяться над Твоею смертью, когда воспоминаются страдания Твои. С чистым сердцем дай нам «Кресту Твоему поклониться». Аминь.

Р. П.

## ХУЛИГАНСКОЕ ПОУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ, ИЛИ ИУДИНА МОРАЛЬ

После того как, при благосклонном участии некоторых профессоров наших «духовных» академий, появилось хулиганское богословие, естественно, остался один шаг до хулиганской проповеди с церковной кафедрой.

Героям «освободительного» движения, пока что освободившимся прежде всего от здравого разума и примитивной порядочности, ничего не стоит осквернить и храм, и слух богомольцев произнесением, вместо церковного слова, самой обычной прокламации, приправленной вкрявь и вкось перетолкованными текстами да надоевшими до смерти революционными завываниями.

Обычного типа революционеры и «освободители» пока еще щадили храмы: бурсак не постоит и пред этим. Напротив, именно в алтаре и на церковной кафедре проявят

он все свое хамство, во святом святых проявит все свое духовное уродство.

Ренаны и Комбы всегда выходили из расстриг; кровожадные палачи революции во Франции в XVIII веке тоже вышли из рядов снявших с себя сан патеров. Но там все-таки сан снимали и церковную кафедру не пользовались. У нас, у наших «распропагандированных» бурсаков, и этой-то порядочности нелепо искать.

Господин Павел Флоренский просто-напросто влезает с грязными ногами на церковную кафедру и, начавши словами церковной песни: «Кресту Твоему поклоняемся»... то есть начавши по-церковному,— предлагает верующим выходы революционного фиглярства.

Говорим: верующим. Ибо в церкви Московской Духовной Академии были не одни же свободомыслящие студенты; были там и порядочные юноши-студенты, покорные вере, покорные власти церковной и гражданской, были и городские обыватели. Из последних одна старушка 12 марта стала расспрашивать у соседей: «Да по ком панихида-то?» Когда ей сказали, что о Шмидте молятся гг. студенты, в рясах и во фраках, то она перекрестилась и сказала: «Я думала, что за убиенных слуг Царских молятся, а то за этого антихриста...»

И вышла из храма.

Но кто же сей Флоренский, по какому праву он поучал верующих, и почему он, вместо Слова Христова, предложил Иудину мораль?

Мы знаем, что с церковной кафедры поучают лица священныя. Флоренский — не из них.

В церкви Духовной Академии, для практики в проповедничестве, произносят поучения и студенты Академии,— но всегда с разрешения и благословения ректора, лица духовного, и после одобрения проповеди профессором церковного красноречия.

Итак, догадываемся, что г. Флоренский — студент Академии.

Кое-что объясняется все этим, но далеко не все. Остается непонятным, что же сморзнул ректор, епископ Евдоким? Кто позволил Флоренскому осквернить церковную кафедру?

Или в Московской Духовной Академии церковь обратилась в зал для политических митингов, где на кафедру всходит любой хулиган, а преосвященному ректору осталась роль сторожа — подметать грязь в церкви и запырять замки?

Тогда об этом следовало бы объявить и не вводить в заблуждение простецов веры, идущих в академический храм.

Но не всякую грязь уберешь. Нравствен-

ная грязь,— которую пропитана Академия,— теперь выплыла наружу. Хулиганская проповедь напечатана; нашлись издатели; за грязную брошюрку назначили 7 коп. Покупай, честной народ!

Но именно эти-то пятаки и запачканы кровью. Ибо «Слово» г. Флоренского есть откровенный призыв к бунту и пролитию крови,— хотя сам он всем своим фиглярничаньем и вымученным пафосом восстает якобы против пролития крови.

Здесь-то и кроется Иудина мораль. Помните,— Иуда жалел о деньгах, потраченных на миро, и прикрывался при этом заботой о нищих. Евангелист коротко и метко разоблачает низкую душу лжеапостола: «сказал он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор» (Иоанн. XII, 6).

Та же Иудина низость и у нашего лжепроповедника. Он злобно вопит против смертной казни, он с пеною у рта кричит о единицах казненных по приговору законной власти, он возмущается казнью Шмидта и приравнивает его... ко Христу, Сыну Божию. Которого де убили тоже «как бунтовщика, развращающего народ»... Он сравнивает кровь казненных со всею «кровью праведною, пролитую на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии». Он зовет слушателей «многими панихидами вымолить себе прощение от избиенных нашим попустительством». Он лжет, этот проповедник,— якобы церковный,— что Правительством «избиваются мирные крестьяне и рабочие». Он клеветает, этот провокатор на церковной кафедре, уверяя, будто «людей, не имущих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов», что «женщин и детей не щадят, насилуют, оскорбляют на каждом шагу».

Сколько бесстыдства и наглой лжи!

И все это под знаменем креста, под видом сожаления о казненных!

Но почему же, г. Флоренский, вы не вспомнили о «голосе крови» тех, которые расстреляны, убиты, взорваны революционерами?

Или у них не кровь, а вода?

Вы уверяете, что стрелять в преступника по приговору суда все равно, что стрелять в Христа, потому что каждый-де из братьев наших есть член Тела Христова и питается св. причастием.

А убитые губернаторы, чиновники, солдаты, казаки, городовые,— они не члены Тела Христова? Они не питались св. причастием? В них стрелять можно?

Почему же вы об этих мучениках долга и присяги не говорите ни звука, а о казненных вопите с пеною у рта? Или вы можете уверить, что их дело праведное? Или они, в самом деле, невинны, как Авель и Хри-

стос?

Как у вас может повернуться язык сравнивать Шмидта со Христом? Как вы не можете понять всей низости этого приема защиты преступников?

Вот за один только прошлый год (1905) число жертв революционеров: 473 раненых и 322 убитых. А сколько их за текущий год!

Читаем в газетах, что революционеры хотят пустить чуму в казачьи станицы. Слышим: разорвали в клочки Тверского губернатора, при этом ранены тяжело люди совсем посторонние, случайные прохожие. А чума будет, вероятно, поражать только казаков, усмирителей восставших,— а их жен и детей она оставит в покое? Слышим из показания изверга-убийцы Тверского губернатора, что он, по приговору революционного комитета, убил генерала Слепцова, в числе других осужденного на смерть.

Что же,— эта кровь не вопиет к небу? Их страдания не трогают вашей благородной души, г. Флоренский? Или им все можно?

О, это не модно осудить крамольников. Это не вызовет похвалы лакеям освободительного движения от иудиних газет, это не даст вам картинной и крикливой позы.

На церковной кафедре, прикрываясь заботой и жалостью о казненных, вызывая против пролития крови, вы сами призываете к крови, вы упрекаете, что мы все молчим и допускаем казни, вы только не договариваете:— что же надо делать...

В таком случае, распишите в братстве и сродстве и единомыслии с Иудой. Примите себе ваши же наставления: «Своею казнью Христос казнил всякую казнь». «Ты не убивай, ты не допускай, чтобы убийца прикрывался Церковью, освящая грех свой именем Святыни». «Мните ли, что не убивающий своею рукою чист от крови?»

Это о вас и о всех вам подобных фиглярах амвона сказано,— о вас, подстрекателях к кровавым бунтам и преступлениям.

«Вопль» Флоренского только и есть «вопл» — безумный, безбожный, безобразный и лживый. Ни единой мысли, ни одного доказательства, подтверждающего мнимое запрещение казнить преступника, действительно виновного. Тексты надерганы из Св. Писания — и все касаются невинно казненных, то есть к делу не относятся.

Когда толстовцы, ссылаясь на Писание, отвергают смертную казнь, там это хоть последовательно: Ветхий Завет они отвергают, и из Нового берут то, что им нравится. Но Флоренский признает «святое место» в храме, а тексты изобильно приводит из Ветхого Завета, и даже более, чем из

Нового (10 ссылок в его «слове» падают на Ветхий Завет и 1 ссылка, притом к делу не относящаяся, на Новый).

Но если так, то Флоренский лицемерно скрывает в своем слове весь дух Ветхого Завета. Так, именно Богом повелено наказывать убийц смертною казнью: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека; ибо человек создан по образу Божию» (Быт. XI, 6). Там, после заповеди: не убий,— относящейся к личным и частным отношениям людей между собою,— власти законной и даже всему народу Еврейскому Бог повелевает истреблять бунтовщиков мечом сынов Левиных, истреблять целые города и даже целые народы в Ханаане. Читай книгу Исход и другие книги Моисеевы.

В Новом же Завете Сам Христос, осуждаемый на казнь, не отрицает права казни у власти и говорит Пилату: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы тебе не было дано свыше (Иоанн. XIX, 11, ср. III, 27, 31).

Как Он относится к повелению Моисея камнем побивать женщину, обличенную в прелюбодеянии? К Нему привели ее не представители власти законной, которые судили бы ее во имя высшей правды, а частные лица, искусители, которые желают судить ее во имя правды личной. Что же Спаситель? Ни звуком Он не обмолвился против жестокости или незаконности постановления Моисея о побииении камнями, но судившим во имя личной правды указал на их личную неправду, то есть свел разрешение вопроса на нравственную почву.

Не из уст ли Спасителя мы слышим, хотя бы и в притче: врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избеите предомноу (Лук. XIX, 27).

Разбойник на кресте учит Флоренского и дает студенту Духовной Академии истинное понятие о значении наказаний, определяемых законами: мы, говорит он, осуждены справедливо, потому что по делам нашим приняли (Лук. XXI, 41).

И Спаситель не звал при виде казни разбойников к толпе с протестом против казни, не упрекал ее, что она молчит и попустительствует казни, не звал ее к вооруженному восстанию в защиту разбойников,— как делает это Флоренский в защиту современных разбойников, худших, чем распятые со Иисусом. С ними бы,— если бы Флоренский был бы честен, он и должен бы, по снисходительной оценке, сравнить Шмидта и ему подобных, а не со Христом и не с Авелем.

И напрасно Флоренский своими грязными и Иудиними речами, рассчитанными на

возбуждение толпы, своим пошло революционным жаргоном с церковной кафедры дополняет клеветой историю страданий Спасителя, желая восполнить Евангелие.

Он находит около Иисуса и «пьяную (неприменно пьяную) полицию Иерусалима» (где он о ней вычитал в Евангелии?), и солдат-полицейских и солдат-палачей, которые «знали убийство да развратные объятия», и «патриотов», «ревнителей отечества» (ну как не моргнуть и на них лаеку «освободительного» движения); все они, по изображению Флоренского, даже «царапали» Иисуса... Не помянул Флоренский разве только студентов Духовной Академии...

Полно, Флоренский! И без ваших грубо бурсацких подмалевок картина страданий Невинного, изображенная в Евангелии, полна священного ужаса. Есть там и вам подобные: они становились на колена пред Страдальцем, говорили Ему: радуйся, царь Иудейский, и, вставши, плевали на Него.

Это образ тех, которые, распинаясь за христианство и за любовь христианскую, сеют озлобление в сердцах и ведут толпу на убийства, подстрекая ее к жестокостям и пролитию крови. Среди них и г. Флоренский со своею лицемерною проповедью в защиту любви.

От Евангелий переходим к другим новозаветным писаниям; и там мы найдем указание на учителей, подобных Флоренскому.

Как вы смотрите, г. Флоренский, на предание святым апостолом смерти Анания и особенно Сапфиры? (Деян. V гл.) Как вы смотрите на повеление апостола: к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте (Иуд. I, 22—23)?

Как вы объясните слова другого Апостола: начальник есть Божий слуга, тебе на добро «Аще ли злое твориши, бойся, не бо без ума меч носит»; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое? (Римл. XIII, 4)

Что вы скажете при слове Апостола любви, Иоанна: кто мечом убивает, тому самому надлежи быть убиту мечом! (Откр. XIII, 10)

Какую,— по вашему мнению,— мысль выразил святой апостол Павел, когда римскому губернатору Фесту он заявил: «Если я не прав и делал что-либо достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего того нет, в чем обвиняют меня, то никто не может выдать меня. Требую суда кесарева?»

Ради важности вопроса и ввиду произведенного общественного соблазна считаем нужным сделать дальнейшие выписки из книг Свящ. Писания. Вот что пишет апостол в назидание гг. Флоренским и защищаемым ими преступникам:

Будьте покорны всякому человеческому

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро... Что за похвала, когда вы терпите, когда вас бьют за проступки... Если страдаете за правду, то вы блаженны. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, а если как христианин, то не стыдись (Чит. I Петр. II, 13—20; III, 13; IV, 14—16).

А относительно лжеучителей, отрицающих права законной человеческой власти (и при апостолах бывали проповедники вроде Флоренских), апостолы писали, предупреждая христиан от действия сих волков: «Это мечтатели, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти». «Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим прихотям (нечестиво и незаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепрятие для корысти» (Иуд. I, 8; 2 Петр. II, 10—19).

Как понимали учение апостолов о власти их ближайших преемники? А вот как Св. Ириней (II—III вв.) пишет:

«Поелику человек, отступив от Бога, дошел до такого неистовства... то Бог наложил на него человеческий страх, так как люди не знали страха Божия, чтобы подчиненные человеческой власти и связанные законом, взаимно сдерживали себя из страха носящегося в виду всех меча, как говорит апостол: "ибо не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое". Итак, для пользы народов установлено Богом земное правительство, чтобы, боясь человеческой власти, люди не поедали друг друга подобно рыбам, но посредством законодательства подавляли разнообразную неправду народов» (Ирин. кн. V, гл. 24).

Такие же поучения предлагали народу и другие святые отцы, как Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. У последнего обстоятельно изложены эти мысли в беседах на XIII главу послания к Римлянам.

Дух христианства, напротив, осуждает представителей власти за слабость их и в этом видит измену долгу. Пример — древний Илий первосвященник: и его Юог наказал смертью за попустительство беззаконию сыновей-священников.

Но довольно. Г. Флоренский в своей хулиганской проповеди возмущается тем, что — «когда он обдумывал все это» им сказанное, то есть всю написанную им ложь и чепуху, которую не постеснялся вынести на церковную кафедру,— совершилась все-таки казнь преступников. Ах, какая жестокость! Флоренский «обдумывает», а тут все-таки казнят.

Пусть г. Флоренский лучше обдумывает учебники, которых он еще не выразумел; пусть он сначала поучится сам, прежде чем поучать Церковь.

С претензией на оригинальность г. Флоренский датирует свое хулиганское «Слово»: «12 марта 1873 г. от смерти И. Хр.»

Что он хотел этим сказать?

Думается нам, что здесь мы можем подчеркнуть такую мысль: через 1873 года христианства находятся же студенты «духовной» академии, которые обращают храм в место политических митингов, верующим предлагают вместо истины крикливую модную ложь, вместо умирения — раздор, вместо того чтоб учиться, они лезут поучать и угощают читателей и слушателей хлесткими хулиганскими фразами.

Публикация И. Хабарова

## Философский аспект

Михаил Рыклин

# БЮРОКРАТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА

Беседу с философом Михаилом Рыклиным ведет старший научный сотрудник Института философии АН СССР Сергей Королев.

— В последние годы о бюрократии сказано и написано очень много, может быть, даже слишком много. Уже выработались некоторые, я бы сказал, общедоступные подходы к этой проблеме, даже определенные стереотипы. Каково ваше отношение к самой этой теме и, возможно, к современным, «перестроечным» методам критики бюрократии и бюрократизма? Нашей, отечественной, советской бюрократии?

М. Рыклин. Я считаю, что проблематика бюрократии не может рассматриваться как универсалия, которая применима ко всем социальным ситуациям. В этом смысле наше общество с его раздутым чиновничеством, которое оно породило и содержит, — это особая ситуация, отличная от известных ситуаций, связанных с классической бюрократией. Поэтому от того, насколько мы поймем специфику нашей

бюрократии, зависит, насколько мы сможем понять некоторые механизмы власти, которые работают именно в нашем обществе и резко отличают его от тех, которые наиболее изучены (это прежде всего развитые индустриальные общества).

Когда я стал заниматься проблематикой советского общественного сознания, тема бюрократии так или иначе маячила на периферии моего исследовательского интереса. Дело в том, что наша ситуация крайне специфична. Большевиком постоянно боролся с бюрократией. Вскоре после Октября, буквально через несколько месяцев после прихода большевиков к власти, проблема стремительно разбухающего аппарата выдвигается на первый план, обличные аппаратного бюрократизма становится общим местом. Но понять специфику этой борьбы, именно этой борьбы, а не любой борьбы с любой бюрократией — задача, как выяснилось, очень сложная. И к сожалению, в рамках идеологии, которая сложилась в нашей стране и доминировала многие десятилетия, этого сделать не удалось.

Попытаюсь объяснить, с чем это связано. Классические концепции бюрократии связаны с проблематикой легальности, с тем, что в работе закона существуют такие узловые точки, в которых чиновничество может манипулировать механизмом его применения. В силу того что разделение функций между законодательной и исполнительной властью составляет необходимый элемент демократических систем, бюрократия получает некоторые специфические привилегии, которые ускользают от влияния закона и связаны с работой инстанции, применяющей законы. Чиновничество, являясь интерпретатором в сфере легальности, извлекает из интерпретации преимущества для себя, поскольку те люди, для которых законы пишутся и исполняются, не понимают нюансов их применения.

Но советская ситуация принципиально иная. Власть, как она у нас сложилась, характеризуется тем, что в ней доминируют механизмы, не связанные с законом. Основные, господствующие группы в нашем обществе в принципе не связаны с законом и зарождаются вообще не в сфере закона. Это прежде всего партия и сопровождающие ее военные и полумоенные институты, скажем, армия, КГБ и т. д. Так как они, а не закон являются доминирующими инстанциями, то рождается специфический феномен чиновничества, по существу независимого от закона. То, что мы привыкли именовать бюрократией, по сути дела является чиновничеством, порожденным ситуацией иллегальности, т. е. вне легальности, и действующим в ее условиях.

В данном случае понятие «бюрократия» в каком-то смысле является метафорой... Борьба с такой бюрократией также весьма специфична. Это борьба не с извращениями закона, не с тем, что слой чиновничества приобретает за счет его интерпретации какие-то особые преимущества, а напротив, борьба с легальностью как таковой, попытка за счет уничтожения чиновничьей прослойки (пусть это миф, пусть это нереализуемо) достичь непосредственной связи с массой, абсолютно прямого народовластия и в результате сделать ситуацию иллегальности совершенно необратимой. Поэтому, как мне кажется, здесь борьба с бюрократией должна пониматься не в классическом виде и не в том смысле, который имел в виду Маркс в своих ранних работах, а именно в русле общей формулы власти, существующей вообще вне проблематики закона, власти скорее военного типа.

— Мне хотелось бы уточнить один момент. Вы говорите, что наша бюрократия не осуществляет интерпретации закона. И в то же время очевидно, что она остается интерпретатором, что эта ее функция сохраняется. Но интерпретирует она не закон и не механизмы функционирования закона, а нечто иное, некие суррогаты легальности, то, что в нашем обществе замещает закон... Социалистическая законность в противовес законности вообще, классовая мораль в противовес морали общечеловеческой или просто человеческой, священные идеологические тексты и идущие с самого верха директивы, приобретающие значение едва ли не религиозного догмата... И при этом бюрократия пытается выглядеть как некая опора законности и порядка...

**М. Рыклин.** Еще раз подчеркну: для нас классическая бюрократия — проблема третьестепенная. Здесь можно было бы привести немало примеров, которые поражали исследователей нашего общества. Скажем, когда Н. И. Бухарин составил (вместе с К. Радеком) Конституцию 1936 года, он пребывал в весьма эйфорическом состоянии. Как бы он ни был увлечен исторической новизной большевистской идеологии, это был все же человек, вскормленный старой культурой. Он не понимал логики новой ситуации до конца, хотя сам активно участвовал в ее создании. Бухарин считал, что принятие этой Конституции будет неким решающим пунктом, даже говорил меньшевику Николаевскому, что это поворотный пункт, что ему удалось добиться принятия исключительного важного закона, который ограничит власть террора.

Он при этом совершенно не учел, что в новой ситуации законы просто не рабо-

тают. Не работают благодаря, в частности, деятельности той машины, которую сам Бухарин представлял и где был даже одно время главным теоретиком. Это говорит о том, насколько люди, не пережившие еще новой огромной волны террора, которая наступила сразу после триумфального принятия Конституции, и не осмыслившие его, так сказать, своим телом, рассуждали все-таки в категориях достаточно традиционных. Считалось, что закон и в этих условиях может работать и что машина новой власти может быть переналажена с его помощью.

Бухарин, как мы знаем, заблуждался. Закон был принят, но многие свободы, которые были им предусмотрены, существовали только на бумаге. Причем я бы сказал, что для общества того времени характерна даже не агрессивность, направленная против закона, а безразличие к нему. В сталинской ситуации был необходим такой способ легитимации с помощью совершенно не работающих текстов, но эти тексты зачем-то были нужны. Ведь даже такие юридические монстры, как презумпция виновности, могли сосуществовать со вполне обычными юридическими понятиями и политическими свободами. Это одно из многих свидетельств того, что в нашем случае к критике бюрократии следует относиться с определенной осторожностью. Я думаю, не случайно в самые решающие точки террора, и в частности в начале коллективизации, проблема критики бюрократии ставилась чуть ли не во главу угла. Кстати, во время известной поездки Сталина в Сибирь, когда он начал очень жестко провозглашать лозунг экспроприации кулачества, одной из тем, которая все время присутствовала в его тогдашних выступлениях, была как раз критика бюрократии, чиновничества и т. д.

— Чуть раньше это происходило в несколько иной форме — вспомним кампанию по активизации критики и самокритики в партии, достигшую апогея весной 1928 года, в ходе борьбы с так называемыми правыми, Бухариним и его сторонниками, то есть еще до коллективизации. Как вы полагаете, это было просто способ борьбы с оппозицией в партии или нечто большее?

**М. Рыклин.** Если говорить о Сталине, то животная ненависть к закону и ко всем его проявлениям вообще характерна для стилистики этого лидера и для его окружения. Ему удалось достичь ситуации, когда в принципе какая-либо сфера компетентности, связанная с законом, превращалась в фикцию. В этом была, естественно, не его личная заслуга, поскольку феномен такого превращения был связан с глубочайшими изменениями, которые произошли тогда на

уровне первичном, на уровне массовых движений. Я заметил, что в начале перестройки специфическую тему критики бюрократии пытались сделать доминирующей; выходило, что все проблемы заключаются в том, что существует чиновничество, существует бюрократия. И в какой-то момент под ударом оказалась прежде всего несущественная для нашего общества сфера легальности. Любое индустриальное общество — а наше общество по основным признакам является индустриальным — обладает некоторой сферой легальности, официальным экономическим механизмом, пусть даже не определяющим экономическую политику. Вначале все беды нашего общества пытались возложить на этот механизм. В частности, такова была концепция С. Андреева, которая мне чужда именно тем, что откровенно возлагает на стрелочника ответственность за создавшееся положение дел.

— Помнится, С. Андреев писал, что у нас министерство, экономическая бюрократия, управленческо-хозяйственные кадры диктуют политикам, партии. Проще говоря, партия выполняет то, что требуют от нее министерства...

**М. Рыклин.** Он даже возлагает ответственность за катастрофическое состояние советской экономики на инженерный корпус страны, совершенно бесправный в ситуации того типа производства, который существует в нашем обществе. Но характерно, что все-таки бессознательно общество чувствует свою травму, и в ходе дальнейшего развития политических событий мы волей-неволей — с большой кровью, с болью, скрепя сердце — выходим все-таки на реальные механизмы осуществления власти в нашем обществе. Чем дальше, тем больше начинают понимать состав ключевых структур. Уже сейчас стало ясно, что в течение более 70 лет основной экономической силой этого общества была собственно идеологическая сила, которая окружала себя институтами более или менее прямого насилия. Первоначально это было прямое насилие в огромных масштабах, потом это было насилие над несогласными людьми и т. д. Другими словами, производство делалось в сфере идеологии; в результате в том специфическом обществе, в котором мы живем, политический ритуал является главным экономическим фактором. Стало быть, те, кто создавал этот ритуал, делали и экономику, определяли работу министерств и т. д. Сейчас система все более вырисовывается для нас во всем объеме. Выясняется, что, бесспорно, неэффективность министерств имеет место, неэффективность бюрократии на разных

уровнях имеет место. Бюрократический эффект в нашем обществе — достаточно автономная сфера, но в то же время мы должны понимать, что он погружен в особую атмосферу иллегальности, которая создается идеологическим контролем над производством и в том числе над производством идей. Отношения интеллигенции с такого типа властью драматичны, потому что власть ориентирована не на понятийное оформление, для чего использовалась интеллигенция предшествующими обществами.

В хорошо знакомых структурах Академии наук мы имели множество примеров того, как такой способ легитимации оборачивается драматическими последствиями. Это тоже одно из проявлений особенности той формы власти, которая здесь существует.

— Сейчас у вас прозвучало «бюрократия и реальные механизмы власти». Как вы полагаете, насколько известная идея Макса Вебера о взаимодействии и противоречиях политиков, политического руководства обществом и бюрократии актуальна для нашей нынешней ситуации? Для нашего общества в широкой исторической ретроспективе?

**М. Рыклин.** Веберовская концепция, собственно, и побудила меня попытаться осознать специфику положения бюрократии в нашем обществе. Бюрократ, по Веберу, в принципе не знает соблазнов харизматической власти, в рамках его концепции бюрократический и харизматический стиль правления противопоставляются, исключают друг друга как идеальные типы. Мы живем в обществе, имеющем ярко выраженную харизматическую направленность, власть опирается непосредственно на массы, она постоянно апеллирует к массам и, более того, некоторую неразвитость политической культуры масс мгновенно превращает в средство давления на все те слои общества, которые ориентируются на выработку понятий, среди которых одно из первых мест занимает закон.

Начиная с конца 20-х годов это вело к уничтожению целых слоев общества. Практически была уничтожена вся городская культура старой России. Здесь прослеживается определенная логика, которая сводилась к тому, что у власти был какой-то как бы харизматический мандат, ощущавшийся ею как принципиально не нуждавшийся в рационализации. И попытки части интеллигенции уже тогда добиваться некоторой рационализации этого мандата вели к озлоблению против нее, позднее перешедшему в террор.

— Сейчас этот механизм давления на ин-



теллигенцию посредством апелляции к народу или от имени народа сохраняется, также как сохраняется и антиинтеллектуализм власти...

**М. Рыклин.** Согласен. Он лишь принял иную, существенно более вербальную форму. Сейчас он носит скорее характер призывов понять «логику ситуации». Например, когда И. Клямкин высказал ряд идей, связанных с авторитарной спецификой поведения самой массы, когда он попытался в анализе коллективизации опереться на собственно массовые механизмы этого движения, это вызвало болезненную, почти истерическую реакцию неприятия...

— Вы имеете в виду его первую статью в «Новом мире» — «Какая улица ведет к храму?», где он пишет об уродливом бунте массы (или индивидов, составляющих массу) против порядка и закона, выплесках озлобленности, несущих бессмысленность и беспорядок?

**М. Рыклин.** Было несколько публикаций, и они натолкнулись на сильное сопротивление, интеллигенции в том числе. Это связано с тем, что народопоклонство продолжает оставаться краеугольным камнем властных отношений. Причем надо понять специфику именно этого типа народопоклонства. Это не народопоклонство в смысле теорий естественного права, когда народ объявлялся сувереном. Фактически философией Просвещения народ вводился в юридическое действие через естественное состояние и другие интеллектуальные конструкции, которые в конечном счете контролировались теоретиками, идеологами. У нас же народ вводился в политический лексикон непосредственно как масса, а не как юридический субъект, и в этом заключена огромная разница. Излишне говорить, что эта форма народопоклонства не имеет ничего общего с заботой о благе реального народа...

Когда у нас говорят о народе, имеются в виду некие традиционные понятия — вроде покаяния перед народом, который мыслится при этом огромным резервуаром нерационального, спонтанного знания, при этом каким-то непостижимым образом он знает намного больше, чем знают профессионалы. Когда нужно, с помощью народа одергивают профессионалов, правозащитников, юристов, таких, как Собчак, например. Это является очень существенной системой давления на носителей профессионального значения, огромным фактором депрофессионализации знаний в нашем обществе. Равным образом относятся и к бюрократии, поскольку бюрократ — это тоже профессионал, профессионал применения закона...

— «Народный здравый смысл», «народ

поймет», «народ не поймет», «посоветуемся с народом» и прочие рудименты народопоклонства... Очевидно, вся эта политическая риторика (риторика — это мягко говоря) кому-то адресована?

**М. Рыклин.** Бесспорно, она является одним из очень важных факторов архаизации ситуации в нашем обществе. Дело в том, что в результате сталинской политики в течение многих десятилетий возникла масса людей, которая согласна довольствоваться малым, но в то же время для нее исключительно важно сохранить существующие формы связности, она живет ими и фактически является их порождением. Как сейчас стало очевидно, этот момент снижает эффективность производства. Но наше производство не является в первую голову производством конечного продукта, оно является прежде всего производством форм общения, неким полочным эрзацем жизни массы. Отсюда такой ужас перед рыночными изменениями, потому что эти изменения разрушают сложившиеся связи. Во-первых, они совершенно меняют положение инженерного корпуса и тех людей, которые будут организовывать производство. Дело в том, что эти люди в любой рыночной ситуации доминируют над непосредственными производителями. Поэтому некоторые из них предвидят драматический поворот событий, когда появится фигура предпринимателя на производстве и сопровождающие его фигуры различных носителей профессионального знания, организаторов производства, экономистов, технологов и т. д. Сейчас производители практически не подчиняются профессионалам. Если, скажем, рабочий, собирая поточную линию, совершает какую-то ошибку по отношению к проекту, то вносится рационализаторское предложение. По мере накопления такого рода ошибок, которые в нормальной ситуации нужно просто исправлять, появляется огромное число рацпредложений, которые в результате делают продукцию, производимую на этой линии, совершенно специфической, после чего фирма, например ФИАТ, продавшая проект, отказывается считать завод своим, отказывается признавать машины, производимые на линии, смонтированной с такими отклонениями от изначального проекта, машинами своей марки, и нет никакого механизма, способного заставить рабочего возвратиться к той точке, в которой он допустил ошибку. Накапливается клубок импровизаций. Этот клубок импровизаций, совершенно специфические формы артельной организации производства являются важным фактором, усложняющим переход к рынку. Отсюда же такой невроз перед безработицей, при

том что речь может идти о пособиях, которые не будут уступать минимуму заработной платы.

Боязнь безработицы имеет скорее символический характер, фактически это — боязнь атомизации, индивидуализации и т. д. Носители профессионального знания едва ли будут считаться со спецификой артельного коллективистского существования непосредственных производителей. Они видят в производстве только производство, они не понимают, что эти люди живут на производстве, что производство составляет, может быть, даже более существенную часть их жизни, чем семья и т. д. Этот фактор едва ли может быть учтен при организации производства на собственно экономических основаниях. Но он в большой мере учитывался при партийном контроле над производством. Отсюда огромная роль различного рода общественных организаций, существующих внутри производства. Ведь оно устраивалось как полноценный кусок жизни, а вовсе не как производство конечного продукта, который был часто крайне низкого качества, а иногда и просто не существовал.

— Вы упомянули об архаизации нашей ситуации. Мне кажется, очень интересно эта архаизация проявляется в языке, в частности, в попытках интегрировать в наш традиционный политический лексикон какие-то структуры, которые были свойственны, скажем, крестьянскому или духовному языку, а может быть, специфическим псевдонародным стилизациям этих языков, появившимся в образованных слоях российского общества задолго до 1917 года...

**М. Рыклин.** На Западе политик является во многом эталоном правильной речи. Например, во Франции сделать политическую карьеру, говоря на диалекте или имея в своей речи много признаков необщезнакомого языка, практически невозможно. Невозможно, потому что этот признак является очень важным критерием отбора на самых ранних уровнях, уже во время отбора претендентов на такого рода посты.

— Причем, что любопытно и курьезно, может быть, в развивающихся странах, странах третьего мира, этот критерий еще более жестко действует, поэтому пробиться где-нибудь в Камеруне в политическую верхушку, не владея французским языком и не обучаясь во Франции, практически невозможно. Еще более невозможно, чем во Франции.

**М. Рыклин.** Да, это связано с тем, что экономики третьего мира часто являются колониальными придатками мировой экономики, поэтому там работают примерно те же критерии, что и в метрополии.

Наша же система является автохтонной, она не контролируется никем извне и не контролировалась в течение многих десятилетий. Она породила свои критерии негативного отбора. Негативного с точки зрения развитых, а тем более индустриальных обществ. С этой стороны осуществляемый у нас отбор не может быть признан нормальной практикой. Принятые языковые критерии не только не сбываются, но даже наоборот: чем правильнее речь, чем больше в ней выражено стремление к некоторым рационализациям и идеализациям, тем меньше шансов у соответствующего лица победить в борьбе за власть. А наибольшие шансы часто именно у носителя неправильной речи, какими были и Хрущев, и Брежнев. Никто из них не говорил на достаточно правильном языке и при своем уровне лингвистического развития не мог рассчитывать на крупную карьеру в иных условиях.

Однако возвратимся к теме нашего разговора. Мы, бесспорно, имеем бюрократию. Эта бюрократия придает форму идеальности тому, что отнюдь не является в своем естественном существовании идеальным, и даже более того, противостоит идеализации, то есть рациональным построениям, и ориентируется на другие формы выражения. Правда, сейчас интеллигенция используется более разумно и эффективно. Достаточно вспомнить о людях, занятых в сфере международных отношений. Они работают значительно успешнее, чем раньше, когда они были просто передатчиками команд вождей.

Бесспорно, все большее и большее количество такого рода квалифицированного труда в последнее время впитывается властью, что приводит к некоторым мутациям. В некоторых зонах мутация довольно существенна. Достаточно вспомнить нервные обсуждения деятельности Э. А. Шеварднадзе, когда он докладывал о работе своего, едва ли не самого эффективно действующего советского ведомства. Но тем не менее его в грубой форме упрекали в том, что он разбазаривал завоеванную армию, проводил политику ничем не оправданных уступок и т. д. Упреки понятны, если учесть, что в процессе создания системы насилие было основным фактором, а переговоры часто носили фиктивный характер. Что значил дипломат, этот бюрократ международного права, в сталинскую эпоху? Его значение заключалось в том, чтобы просто придать форму приличия действиям, откровенно нарушавшим международное право. Ни один настоящий профессионал не мог бы внутренне оправдывать такого рода нарушения международного права. За этими нару-

шениями часто скрывались совершенно нелегальные сделки, которые потом десятилетиями держались в глубокой тайне. Я имею в виду секретные протоколы 1939 года, обнародованные лишь недавно. При этом о их существовании известно было многие десятилетия. Естественно, этот секрет знали и дипломаты. Но они оказались, что совершенно естественно, орудием сил иллегальности, практически опиравшихся на прямое насилие. Их депрофессионализация была в те годы огромной.

— Вы занимаетесь в числе прочего исследованием авторитарного сознания. Что представляет собой бюрократия как авторитарный субъект: специфика, функции? Возможно, что ей присуща какая-либо фундаментальная онтология? Можем ли мы более или менее четко разграничить авторитарное сознание Сталина и его окружения и постсталинской бюрократии, в частности ее верхушки («коллективного руководства»)? По всей видимости, бюрократия как бы наследует определенные функции тоталитарных лидеров и механизмы тоталитарной политической культуры (исповедальные, например). Если говорить о нашем обществе, нашей политической культуре, то традиции «критики и самокритики», традиции очищения и отпущения, обусловленного самим фактом покаяния (или самобичевания?), покаяния перед Родиной, перед Партией, перед Коллективом и т. д., определенным образом наследуются. Очевидно, то же относится к функции создания и трансляции сакральных текстов вроде теории «развитого социализма», концепции советского народа как новой исторической общности... Кто знает, может быть, через несколько лет в этот же ряд станет и «новое политическое мышление»?..

**М. Рыклин.** Все дело в той классической форме, которая связывает бюрократию с законом. Так как у нас не сложился механизм закона, то не сложился, естественно, и механизм применения закона. Какая-то часть интеллигенции, бесспорно, занимается и делает свою карьеру на применении чего-то, но это что-то являлось в течение многих десятилетий не законом, а каким-то последним веянием, часто капризом людей, которые не считались с самой формой закона. Они просто полагали, что они выше закона, что они получили свою власть каким-то харизматическим путем. Еще несколько лет назад таково было поведение обычного секретаря райкома партии. Поэтому попытка опереться на закон и связанную с ним идеализацию была, как правило, неэффективной. Ролан Барт сказал о буржуазии: это класс, который не хочет быть названным. Он имел в виду универсальные

претензии буржуазии, претензии на то, чтобы стать классом *par excellence*, классом по преимуществу, классом с большой буквы. Барт в 50-е годы изучал мифы французской прессы и пришел к выводу, что механизм работы этих мифов связан с допущением некоего вечного человека. Вечный человек — нормативная фигура, через которую осуществляется механизм потребления продуктов, ценностей и т. д. У нас такого рода система мотиваций не сложилась. Претензии на универсализм, скажем, сталинской системы откровенно держались не на механизме рационализации, а на более простых, может быть, где-то даже архаичных основах, таких как насилие. Поэтому люди, которые занимались теоретическим оформлением террора, например Вышинский с его презумпцией виновности, выглядели бы в интеллектуальном сообществе монстрами. Естественно, ни один правоведа не мог согласиться с тем, что несовершенно преступление должно изначально считаться совершенным, а следствие необходимо вести таким образом, чтобы основой обвинения сделать признания истязаемого, затерроризированного человека.

Если говорить об исходных механизмах террора, то это прежде всего необычайной силы массовые процессы, которые потрясли нашу страну в конце 20-х — начале 30-х годов. Они, между тем, никакого отношения не имеют к классовой модели общества. Наоборот, история нашего общества неклассифицируема с точки зрения того, что мы знаем о мировой истории. Но именно эти вулканические процессы лежали в основе риторики классового подхода. Это было удобно в силу полной абсурдности его применения именно к нашему обществу, потому что оно действительно стало в каком-то смысле внеисторическим и бесклассовым. Не в том смысле, в каком предсказывали теоретики, а в том, что с исчезновением буржуазии естественно исчезает и пролетариат в том виде, в каком он производится рыночными отношениями.

Какие-то слои рабочего класса складывались в старой России. Они формировались, рекрутировались непосредственно из крестьян. Но рабочие, сформировавшиеся в старой России, точно так же стали объектом террора, когда класс предпринимателей сошел со сцены окончательно и был фактически уничтожен. Они с их старыми производственными навыками были как бы затоплены, вытеснены новой формацией рабочего сословия, представлявшего собой сословие пролетаризированного крестьянства. Сталинская система помимо всего прочего создала специфический механизм

урбанистической социализации такого нового рабочего. Шок от переселения в города был огромным. Он составил первичный фон, на котором развивались репрессии. В городах появились десятки миллионов людей, которые не были приспособлены для жизни в городах. Нужно было любой ценой подключить их к какой-либо форме производства...

Этот процесс можно сравнить с огораживанием в Англии, происшедшим на много веков раньше, при Генрихе VIII, сравнить прежде всего по масштабам процесса. Когда лордам стало выгоднее заниматься овцеводством, они просто согнали крестьян с земли, и появилась огромная масса, бродящая по Англии, масса, которую нельзя было использовать непосредственно в промышленном производстве, потому что это были вчерашние крестьяне. Не бывает так, чтобы крестьянин пришел в город и сразу стал образцовым рабочим. В особенности в нашем случае, когда устоявшаяся городская структура рухнула.

Поэтому мне кажется, что классовая риторика исходит от общества, которое фактически находится уже вне истории (а сталинское общество — это типичный пример общества, которое неклассифицируемо в исторических терминах, известных тому же Марксу). В каком-то смысле оно не является антагонистическим, что не мешает ему во внутренних движениях быть крайне агрессивным, террористическим.

Первоначально этот террор был настолько силен, что не мог принять форму идеализации, потому что идеализация — это уже форма ограничения власти законом. И в этом смысле мы не имеем антагонистических классов, мы не имеем слоев, которые господствуют по праву, как, например, буржуазия считает себя господствующей по праву (по праву, допустим, идеального выполнения какого-то социального ритуала, по праву более правильной речи, определенных познаний и т. д.). Форма господства, которая утвердилась в нашем обществе, — это господство по праву силы. И в этом отношении мы оказываемся намного ближе к природе и к более архаическим стадиям развития общества. Я не придаю большого значения риторике, при помощи которой это общество камуфлировало свои действия. Эти действия нужно изучать независимо от их обоснования, которое во многом можно считать фикцией. Не случайно носители классических марксистских подходов, в том числе старая ленинская генерация с ее классовым подходом, оказались столь неподготовлены к новой ситуации, и теоретиками нового классового подхода стали

люди, которые не имели совершенно никакой марксистской подготовки, часто были людьми полуграмотными.

— Нужно начать, наверное, с самого Сталина, который был теоретиком номер один сталинского режима...

**М. Рыклин.** Естественно. Это, как выясняется, был достаточно дикий человек. Сейчас я читаю мемуары Хрущева, и меня поражают многие чисто этнографические детали, которые Хрущев приводит о Сталине.

— Михаил Кузьмич, даже учитывая подчиненное положение бюрократии, все-таки какой-то тип сознания наличествует здесь. Не является ли она носителем какого-то специфического типа сознания — авторитарного сознания, бюрократического?

**М. Рыклин.** Бесспорно. Бюрократия в нашем обществе проводит в жизнь политику тех господствующих сил, о которых я уже здесь говорил, и авторитаризм этих господствующих сил, естественно, отражается на специфике работы чиновничества, на специфике работы всего теоретического аппарата, который, с точки зрения профессиональной, часто является совершенно неконвертируемым, откровенно ориентированным на последние инструкции, несамостоятельным, готовым проводить любую политику. В этом смысле мы можем говорить, что авторитаризм оформителей такого рода необычной политики, если сравнить со средними показателями в других обществах, существенно выше. Закон дает уверенность в перманентности функций по его интерпретации. Скажем, американская конституция, из которой выводится очень много последствий, существует уже больше 200 лет, люди живут в ситуации стабильных законов, и если возникают травматические обстоятельства, связанные с интерпретацией новых социальных явлений, то они тоже решаются в рамках конституции.

Наш же бюрократ, во-первых, совершенно несамостоятелен. Во-вторых, сами «заказчики» очень непредсказуемы. Они, например, могут повести какую-то политику, и казалось бы, они на нее «поставили», как это, например, было в 1964 году, когда вырабатывалась косыгинская реформа, а потом вдруг, через незначительное время, ситуация резко меняется. Поэтому нельзя становиться последователем той или иной конкретной политики, ведь политика в наших условиях — это всегда подвижное стратегическое образование, подверженное полувоенным маневрам, компромиссам, иногда откату от самых, казалось бы, базисных из провозглашенных положений.

Бюрократия стремится гибко приспособ-

биться к «последним указаниям», зная, что указания, исходящие от конкретного «правлящего» тела, важнее закона... Еще не так давно было популярно такое словосочетание: «есть мнение». Если, допустим, американскому судье сказать: «Есть мнение, что вы должны решить так-то и так-то» — он даже не поймет, о чем речь. А у нас словосочетание «есть мнение» все прекрасно понимали. Это значило: выполнять, а не умствовать. И оформлять готовый, предрешенный результат. А так как эти результаты часто совершенно разные, сегодня можно получить одно указание, а завтра — другое, противоположное, эта бюрократия, естественно, депрофессионализируется.

— Но все-таки, наверное, было бы упрощением утверждать, что сознание нашей бюрократии — это просто проекция сознания того, кого вы так удачно назвали заказчиком? Есть, видимо, и какая-то специфика собственно бюрократического сознания?

**М. Рыклин.** Специфика, безусловно, есть. Чем дальше мы от реальных очагов власти в нашем обществе (до недавнего времени это были партийная власть, военная инфраструктура и система надзора), тем больше мы удаляемся от них, тем больше власть приобретает репрезентативный характер. Бесспорно, степень подчинения господствующим инстанциям, скажем, Верховного Совета и других во многом ритуальных органов меньше, ибо они не принимали принципиальных решений и потому производят впечатление большей законосообразности, в большей мере стремятся руководствоваться какими-то постоянными принципами, вести более последовательную политику.

— Предположим на минуту, что вы — исследователь, ну скажем, конца XXI века, изучающий облик и язык современной нам отечественной бюрократии по дошедшим до вас и собранным в некоей хрестоматии текстам, как-то: призывы ЦК к 1 Мая, скажем, лет десять назад, обращения и открытые письма различных высоких инстанций к трудящимся, письма, опять-таки призывающие давать отпор демагогам, раскольникам, сепаратистам и сторонникам митинговой демократии, политическим мошенникам и политическим авантюристам и требующие от каждого, чтобы этот каждый работал с полной (или все более полной) отдачей на своем рабочем месте; схема заполнения зала Дворца съездов во время Съезда народных депутатов, где предусмотрено размещение рядом двух Карповых и трех Яковлевых; памятка работникам Аэрофлота по перевозке делегатов партийной конференции; выдержки

из некоего полусекретного документа, всесторонне обосновывающего необходимость и неизбежность повышения зарплаты работникам партийного и государственного аппарата; наконец, прилагаемая к зубной щетке инструкция, где сказано, что зубная щетка предназначена для очищения зубов при посредстве зубного порошка или зубной пасты и что в комплект входят: зубная щетка — одна штука, инструкция — одна штука... Добавим сюда лозунги: «да здравствует то-се, пятое-десятое, «слава» — тому же пятому-десятому или, еще похлеще, что-нибудь вроде «Пойдет вода Кубань-реки, куда велят большевики!».

Очевидно, все эти документы, все эти лозунги и тексты укладываются в какой-то специфический тип мышлений и чувствования, который помимо авторитарности имеет, может быть, и какие-то иные, социально-психологические измерения?

**М. Рыклин.** На самом деле явления, которые здесь перечисляются, не представляются мне простыми проявлениями социальной психологии. Они имеют глубочайшее отношение к самому процессу функционирования власти в нашем обществе. Это очень существенные и важные явления, которые имеют куда большее значение, чем их оформление. В понимании нашего общества я исхожу из того, что низовые механизмы и реальный культурный уровень общества определяет то, какие именно тексты являются доминирующими. Тексты, которые многим обществу показались бы абсурдными и которые, весьма вероятно, могут показаться абсурдными будущим поколениям, в нашем обществе существуют и доминируют, потому что они приспособлены к требованиям массы, находящейся на совершенно определенном уровне развития, массы, с которой говорят на языке, неконвертируемом в язык интеллектуалов.

Почему я считаю, что в принципе между большевизмом ленинского типа и сталинским вариантом большевизма лежит пропасть? Дело здесь не в идеологии, а в культурных сдвигах. Сталинский режим открыто ориентировался на массу, которая возникла в результате коллективизации, и на этот культурный уровень, носителем которого она была. Документы того времени кажутся очень странными с точки зрения горожанина. Скажем, зачем парижанину лозунг, утверждающий или провозглашающий, что «Париж к 2000 году будет самым красивым городом в мире»? Или — «Политику Ширика поддерживаем и одобряем»? Это абсурдно с точки зрения людей, которые давно живут и хорошо ориентируются в пространстве, которые

воспринимают город как свою естественную среду обитания. Но для колоссальной массы, которая живет в городе как в открытом пространстве, эти лозунги — вроде правил дорожного движения. Сталинская революция есть прежде всего деурбанизация России. Наши города во многом являются урбанистическими фикциями, потому что множество требований к этим пространствам, которые сложились исторически, по отношению к нашим городам не срабатывают.

В результате тексты, циркулирующие в городах, например тексты лозунгов, оказываются на своем месте, если иметь в виду того, на кого они рассчитаны. Они выполняют свою функцию, функцию контроля. Они служат фактическим указанием на то, что в случае неотожествления с коллективными формами жизни и коллективными формами чувствования те, кто не способен с этим отождествиться, должны понимать — их ждет, мягко говоря, непростая судьба. Все это типы документов, формирующие специфический тип мышления и чувствования, вызывающие к нему, и он, этот тип ментальности, конечно, предполагает авторитарное послушание, своего рода отношения ребенка и отца, он как бы не рассчитан на взрослого человека, ориентирующегося на рациональные способы поведения, на идеализации и т. д. Почему эти лозунги сейчас в основном исчезли? Потому что носитель этой ментальности тоже имеет свою историю, он рационализируется и уже не нуждается в таких первобытных способах контроля, неизбежных на первом этапе того гигантского катаклизма в русской истории, который произошел на грани 20-х — 30-х годов.

— У Федора Сологуба в романе «Мелкий бес» один из героев, учитель гимназии по профессии и доноситель по склонностям души и притом в порывах своей полубезумной фантазии считающий себя порой едва ли не либералом, так формулирует свое политическое кредо: «чтобы была конституция, но только без парламента». Своего рода афоризм, который и сегодня вполне может быть начертан на знаменах некоторых из наших современных политических течений... Как вам кажется, в подобном сознании проступают какие-то черты бюрократического менталитета?

**М. Рыклин.** Во-первых, о герое романа — Передонове, который сказал: «конституция, но без парламента». Я читал этот роман не так давно, и меня поразило то, что Передонов по всем своим ухваткам — типичный крестьянин в городе. Вы помните явления ему чертей, «недотыкомки» и совершенно магическое видение реаль-

ности?

— А разве городскому мещанству это не свойственно?

**М. Рыклин.** Думаю, что городскому мещанству как таковому могут быть свойственны какие угодно черты. Но строить тип бюрократа с оглядкой на такого литературного персонажа мне представляется не совсем корректным. Ведь он вообще не ориентирован на закон. Ему может явиться черт, или сквородка заговорит, или он может вдруг заподозрить, что под этим стулом скрывается сионистский заговор... Это устойчиво воспроизводящийся тип антиурбанистического сознания, которому страшно, травматично жить в более рациональной действительности, она вызывает у него глубокое раздражение. Он чувствует себя в этой системе неукорененным, неуверенным, стремясь компенсировать это раболопством, подхалимством, доносом... Носителям такого сознания все время кажется, что они не приспособлены, что они не выживут, что отовсюду исходят угрозы и т. д. Это какое-то затерроризированное или, что, может быть, точнее, терроризирующее себя сознание, с бюрократией в веберовском понимании не имеющее ничего общего.

Если мы рассматриваем бюрократию как часть интеллигенции, то положение ее в нашем обществе, как и положение вообще любого интеллигента, очень специфично. Можно в виде общего правила сказать, что чем больше интеллигент приближается к принятым в мировом сообществе методам работы и чем больше его продукция становится «конвертируемой», тем более сложной становится его ситуация. Раньше это было просто катастрофично. Парадоксальность моей позиции в том, что я переношу эту общую логику ситуации и на бюрократию, находящуюся под сильным прессом иллегализма...

## Теория

**Вячеслав Шмыров**

## ПРОЩАНИЕ С ПАРТИЙНЫМ ЭПОСОМ

Фильм Виталия Мельникова «Две строчки мелким шрифтом», поставленный в 1982 го-

ду, кажется, прошел мимо большинства зрителей. «Негромкий», сосредоточенный как будто бы на частной проблеме профессиональной этики в исторической науке, чем он мог захватить ищущее острых впечатлений воображение? Вот и коллеги главного героя картины, расследующего в наше время причины провала одной из первых марксистских групп, действовавших в России в самом начале века, дружно недоумевают: стоит ли копаться в прошлом, рискуя защитой диссертации и хорошим отношением начальства, если все истины в отечественной истории раз и навсегда определены, а научный итог предпринятых историком изысканий в лучшем случае сведется к нескольким строкам петиции где-нибудь в сноске?

Вопрос, поставленный фильмом, имел тем не менее расширительное значение. И не только для историков партии. И не только для кинематографистов, ставящих картины о революции и гражданской войне. Десятилетие 80-х, разделенное, как линией фронта, сигнальными событиями перестройки, распалось на две эпохи. Точнее — на конец одной и на начало другой. И здесь, на стыке вчерашней и завтрашней, уже все исполненной и еще только обещающей, пространство настоящего, лишенное, как водится в момент исторического перелома, какой-либо стабильности, необычайно сжалось. И обнаружился резкий контраст между тем, о чем писали и снимали вчера, и тем, что появится — уже появляется — завтра.

Только не будем лукавить, что все эти сдвиги означают движение в нашем историческом сознании. Процесс прозрения и покаяния потому, может быть, и обнаруживает сегодня то и дело свою трагикомическую сторону, что видимая скачкообразность современной советской истории скорее отражает ее официальное признание, возвращение к реальности из мира фантомов, чем подлинное течение времени. И подтверждения этому найти нетрудно. Они — и в пустых залах на премьере «Красных колоколов», которой по иронии судьбы «затыкались» репертуарные «дыры» в работе кинотеатров в дни похорон Брежнева; и в полуподпольном создании Тенгизом Абуладзе фильма «Покаяние» в год, когда Черненко возвращал Молотову партийный билет; и в возвращении из небытия на телеэкран в 1985-м одной из лучших картин 60-х годов «Председатель», чей антисталинский пафос, по всей видимости, должен был противостоять оголтелой кампании возвеличивания Сталина в канун очередного юбилея Победы.

Но и эти факты — только подводные камни истории, вынесенные силой случая на

поверхность. Что же на глубине нашего самопознания? И способен ли ответить на этот вопрос историко-революционный фильм, столь обязательный в советском кинорепертуаре до недавнего времени, если именно история революции и гражданской войны всегда оставалась сферой мифотворчества, серьезно ограничивающего, а то и вовсе воспрепятствующего какое-либо свободное осмысление прошлого?

Для начала не обойтись без признания того, что картины о революции на всем протяжении развития советского кино редко возникали по инициативе его создателей, а если все-таки историко-революционный фильм оказывался достаточно благополучным ребенком, «зачатым» художником в добровольном союзе с властями, как это случалось, например, в 20-е годы, то и в этом случае все было заранее предопределено. Тематическое планирование с соответствующей графой — «фильмы о Ленине», «фильмы об Октябре», «фильмы о Красной Армии» — под контролем идеологических подразделений ЦК осуществлялось даже в период нэпа, который принято считать эпохой кинематографической «вольницы». Так что если бы речь и вовсе не шла об откровенном насилии над художником, как это было, например, с Михаилом Роммом, которому вместо «Пиковой дамы», по его словам, пришлось ставить в 1938-м фильм «Ленин в 1918 году», то нельзя было бы сбросить со счетов то обстоятельство, что система кинопроизводства, принадлежащая до недавних пор в нашей стране государству и только ему, ориентировалась, как правило, не на внутренние потребности искусства, а на лозунги и установки. И сколько бы официально ни опровергался партийный тезис 20-х годов о том, что история есть политика, перевёрнутая в прошлое, именно картины о революции любой из советских эпох с блеском подтверждают живучесть на практике этой идеологии.

Так было в 30—50-е годы, когда, иллюстрируя общепринятое положение «Сталин — это Ленин сегодня», киноэкран демонстрировал нежную дружбу вождей и, не ограничиваясь этим, актуализировал призывы Ленина времен военного коммунизма усилить классовую борьбу, а вместе с ней — и пролетарский террор. Так было и в 60-е годы, когда, следуя прогрессивным на тот момент решениям XX съезда КПСС, кинематограф вел непримиримую борьбу за восстановление «ленинских норм жизни», подразумевая под этим чудовищный симбиоз христианских заповедей и сенсационных положений «Письма к съезду», главное содержание которого, как правило, сводилось к личной характеристике Стали-

на. И как будто бы никто не замечал при этом (или замечал, да делал вид), что ленинское понимание демократии не идет дальше предложения увеличить состав ЦК до ста рабочих.

Конечно, сталинская редакция истории и редакция «шестидесятничская» воплощали во многом противоположные общественные тенденции, и вряд ли было бы справедливым и исторически корректным уравнивать их. Но речь как раз и не идет о политическом уподоблении одного другому. Речь — о взаимоотношениях государственной идеологии и культуры, ставшей в системе партийного государства неотъемлемой частью этой идеологии. И в этом смысле период «оттепели» немногим отличался от всех прочих исторических периодов. Да, такие разные картины, как «Ленин в Октябре» Михаила Ромма и «Шестое июля» Юлия Карасика, отделяет друг от друга не только временная разница в тридцать лет, но и, разумеется, значительное переосмысление исторического прошлого. И здесь, пожалуй, уместно вспомнить, что это переосмысление истории проходило для создателей «шестидесятничской» ленинианы отнюдь не безболезненно и драматично. И все-таки сегодня, возможно, как никогда очевидна относительность вчерашних достижений. Конечно, Михаил Шатров — главный вдохновитель и соавтор фильмов, спектаклей и телесериалов о Ленине 60—70-х годов — попытался устами своего героя и его наиболее приемлемых соратников многому научить современное ему общество, пользуясь высоким и авторитетным для значительной части людей именем, объяснить необходимость либерализации политической системы. Но только значит ли это, что либеральная мифология, возникнув в противовес и в противоборстве с мифологией официальной, должна раз и навсегда занять положение исторической истины или, во всяком случае, мешать продвижению к этой истине в уже новое, не отягощенное вчерашними предрассудками и ограничениями время? Да и, честно признаемся, только ли в состоянии противоборства хотя бы уже в самый последний период пребывали эти общественные тенденции, или все-таки и им, как и многому другому, в застойные времена не удалось избежать диффузии?

Качественная неоднородность многих из историко-революционных фильмов недавних лет как раз, может быть, и обуславливалась тем, что эти разные тенденции нередко сочетались в рамках одной картины. Даже такой одиозной, как «Красные колокола» (1984) Сергея Бондарчука.

Человеку со стороны, наверное, трудно понять, почему этот фильм, сделанный

с подлинно мастерским размахом и красиво снятый оператором Вадимом Юсовым, стал в «перестроечном» лексиконе кинематографистов притчей во языцех. Поставленный во второй — кульминационной — части по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», он опирался на документальный источник, запрещенный во времена Сталина и разрешенный во времена Хрущева. И препарировал книгу прежде всего в той мере, которая требовалась, чтобы дневник газетчика, основательно снабженный документами и статистическими данными, превратился в масштабную эпопею. И, кроме всего прочего, впервые за всю советскую историю показал участие Льва Троцкого. Это, если верить автору фильма, явилось предметом его особой гордости\*. И вовсе при этом фигуру первого красного полководца не окарикатурил. И не «уравновесил» фигурой будущего генсека, также наличествующей в картине как без шаржированного налета, так и без особого пиетета. Другой вопрос, что Троцкий в картине не показан, затертый в числе «членов коллективного руководства», как того требовал брежневский стандарт, вторым человеком в октябрьских событиях после Ленина. И в этом можно углядеть определенную дискриминацию значимой исторической фигуры, а вместе с ней и самой истории. Но вряд ли это очень большой грех, потому что в конце концов скромная роль отведена и Сталину, как и другим ленинским соратникам, о которых мы можем главным образом догадываться по их внешности.

Возможно, на портретной галерее фильма не следовало бы останавливаться, если бы традиция советской исторической хроники не допускала более чем вольного обращения с реальными персонажами истории. В том, с какой легкостью до недавнего времени выпускались фильмы и спектакли о революции без иных ее вдохновителей и участников, сказывалось не просто влияние «Краткого курса истории ВКП(б)» или его более поздних модификаций, но нечто большее — своего рода сакральная установка: октябрьский переворот в системе мифа обретал величественные очертания решающего события в истории человечества, а раз так, то в нем, этом событии, не могло быть места ничему случайному или не оправдавшему себя впоследствии.

Лев Троцкий, собственно, и явился первой жертвой цензурного произвола, если

\* Истину ради заметим, что за двадцать с лишним лет до «Красных колоколов» Лев Давыдович появлялся в фильме Сергея Васильева «В дни Октября» (в исполнении Ефима Копеляна). Правда, по имени авторы картины его не назвали.



иметь в виду, что уже с 1924 года — начиная с первого советского «полочного» фильма «Око за око, глаз за глаз» — документальные кадры с участием Троцкого предписывалось из кинопродукции вырезать. Впоследствии эта же участь досталась и другим деятелям Октября — Антонову-Овсеенко, Крыленко, Бубнову... Исключением из правила, правда, стали Григорий Зиновьев и Лев Каменев, но и то только потому, что партийная мифология уготовила им роли кремлевских Добчинского и Бобчинского. Не согласные в октябре 1917 года с решением большевистского руководства о немедленном вооруженном восстании Зиновьев и Каменев, как известно, выступили с заявлением в газете «Новая жизнь». И эта тактическая размолвка с Лениным, раздутая в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре» (1937) до масштабов предательства интересов мирового пролетариата, и стала поводом для окончательной дискредитации видных деятелей партии, расстрелянных годом раньше с ярлыком врагов народа.

Миф требовал если не изгнания провинившихся и неугодных из рая, то, по крайней мере, их осмеяния, а посредством него и объяснения широким массам трудящихся, каким же образом ближайшие ленинские соратники оказались вдруг шпионами и вредителями. И если в картине Ромма, выпущенной к двадцатилетию Октября, образы Зиновьева и Каменева еще отличала какая-то зловещая, мобилизующая бдительность зрителей, то уже через год Михаил Чиаурели в картине «Великое зарево» с октябрьскими штрейкбрехерами не церемонился: неназванные, в одном из эпизодов фильма являлись они на конспиративную квартиру к Ильичу, чтобы, проведав о его дальнейших планах, выдать доверчивого вождя агентам Временного правительства, что, разумеется, с блистательной пронципальностью пресекал не склонный к сантиментам Сталин.

Из сказанного нетрудно заключить, что возрождение для общественного сознания в 60-е годы заклеянных когда-то исторических деятелей означало не что иное, как начало широкого и разнопланового процесса демифологизации прошлого, под знаком которой, собственно, «шестидесятники» это прошлое и осваивали. В «Синей тетради» (1966) Льва Кулиджанова, например, появлялся отнюдь не карикатурный Зиновьев, с которым Ленин, как это и было в действительности, вел в Разливе неспешные и трудные диалоги. Этот факт тем более весом, что партийная реабилитация Зиновьева состоялась только в наше время. В «Шестом июля» (1968) Юлия Карасика Ленин обретал волевого и умного оппонен-

та уже из чужого политического лагеря — эсерку Марию Спиридонову. И тут уместно вспомнить, что выдвижение этой картины на соискание Ленинской премии было сорвано софроновским «Огоньком», избравшим основной своей мишенью именно недужинный политический темперамент эсеровского лидера, на который, по-видимому, Спиридонова, в отличие от Ленина, не имела права.

Так или иначе в последние два с лишним десятилетия кинематограф собрал довольно значительную коллекцию политических деятелей, о которых раньше просто не вспоминали. Если по отработанному десятилетиями сталинскому канону в ленинском окружении помимо самого Сталина могли быть только Свердлов и Дзержинский, по счастью, умершие своей собственной смертью к середине 20-х годов, а также жена и заботливый товарищ Крупская, то теперь на экране стали появляться и Пятаков, и Красин, и Карахан, и Луначарский, и Семашко, и Коллонтай, и даже Блюмкин с Александровичем. До любовного треугольника Ленин — Арманд — Крупская, как в фильме итальянского режиссера Дамиано Дамиани «Ленин... Поезд...», у нас, правда, так и не дошло: из Политбюро, по свидетельству сценариста «Ленина в Париже» Евгения Габриловича, на его письмо с просьбой о ратификации этого факта ленинской биографии так и не ответили. Но... не без мстительного сладострастия, надо полагать, в этом фильме прозвучало напоминание некоего оппозиционера Ильичу, что они-де когда-то «одной парашей пользовались». Шутка шуткой, но даже наиболее официозные из историко-революционных картин застойных лет, похоже, стремились расширить пространство дозволенного.

Разумеется, мимо этого — пусть во многом и формального — опыта уже нельзя было пройти. И «Красные колокола» при тех или иных издержках строго следуют за фактологией апреля — октября 1917 года, обнаруживая нередко педантичное стремление постановщика быть историчным до мелочей. Так, например, Ленин накануне октябрьских событий появляется в Смольном без привычной аккуратной бородки, которую в действительности предусмотрительно сбрил после июльского бегства из Петрограда в Разлив под видом некоего Иванова. Только гарантирует ли фильм историчностью фактов историчность их осмысления, если Зиновьев и Каменев (и у Бондарчука выведенные парой «нечистых») привычно предают в картине интересы рабочего класса, а Троцкий только и говорит о теории «перманентной революции»? Как будто и у него в момент

Октябрьского переворота разногласия с Лениным носили не тактический, а принципиально-стратегический характер.

Короче говоря, образ исторической действительности в киноэпопее «Красные колокола» оказался под стать половинчатой и невнятной брежневской идеологии: вроде бы и надо что-то подновить, но лучше, право, ничего не менять! Но самое, пожалуй, удивительное, что сама по себе эта действительность режиссера вообще занимает очень мало. Фильм почти не отразил личную одиссею Джона Рида, хотя от его лица, собственно, и ведется повествование, однако при этом нам не дано проникнуться человеческими мотивациями (пусть даже мифологическими!) деятельности большевиков. Не случайно, что Ленин, которого впервые в фильме мы видим выступающим на броневике у Финляндского вокзала, как правило, возникает в картине на общих или средних планах. Как и его соратники, союзники и противники, за исключением разве что самого Рида. Нет у Ленина и столь привычных после картин Ромма, Юткевича, Чаурели, Васильева, Эрмлера «утепляющих» его образ бытовых сцен. И это в системе фильма тоже как будто бы естественно: у трибуна революции не может быть ничего личного, как у пролетариата, по известному определению, не может быть родины.

Начинается фильм с воистину эпической мощью — камера погружает нас в святая святых громадного часового механизма, движение которого знаменует не просто ход курантов, а поступь самой истории. Этот масштаб обобщения подтверждается и в финальных кадрах картины, когда движение народных масс в революционном Петрограде фиксируется с вертолетной высоты. Любопытна и такая деталь: несмотря на достоверность фильма в мелочах, штурм Зимнего дворца происходит у Бондарчука по привычному за времен первых театрализованных постановок на Дворцовой площади сценарию: штурмующие врываются во дворец не через боковой, как это было на самом деле, а через главный вход.

Но дело не только в верности мифологическому канону, который — сколько бы ни брали на экране Зимний — всегда оставался неизменным. В «Красных колоколах» за этим, похоже, стоит нечто большее, а именно буквально декларируемая целым рядом откровенных заимствований приверженность к эпической традиции Эйзенштейновского «Октября». Она легко обнаруживается и в комической преувеличенной «демонической» пластике Керенского, которому, надо полагать, так никогда в советском кино и не удастся вытащить руку из полувоенного френча. И в снисходи-

тельно-ироничном эпизоде с женским батальоном, защищающим Зимний дворец (это при том, что среди женщин в военной форме, по свидетельству самого Джона Рида, были после штурма и изнасилованные и самоубийца). И в подчеркивании мелочной роскоши покоев императрицы. И наконец, в элементах «параллельного монтажа» с конкретным пропагандистским эффектом, когда Джон Рид, по Бондарчуку, постигает необходимость социалистической революции в России через нехитрое сопоставление вымороченной эстетики императорского балета с «кричащими» сценами народной жизни, перемешанным с обильным цитированием полотна Кустодиева, Нестерова, Серова, Репина, Головина под мощный голос Шалапина.

Здесь пора вспомнить, что за год до выхода в советский прокат бондарчуковского фильма в США появилась картина «Красные» Уоррена Битти, снятая, как и «Красные колокола», по мотивам книги «Десять дней, которые потрясли мир». Возможно, две эти картины не стоило бы и сравнивать — настолько они разнятся, если бы опыт этого сопоставления не стал своеобразным комментарием к размышлениям на тему, всегда ли для определения подлинных масштабов осмысления истории справедлив принцип чем глобальнее, тем вернее.

Безусловно, в своем фильме Уоррен Битти, сам сыгравший главную роль (в «Красных колоколах» Джона Рида играет итальянский актер Франко Неро), реконструировал частную историю человека, заброшенного волей романтической судьбы в далекую чужую страну. Сцены октябрьского переворота демонстративно совмещены в двойной экспозиции с целующимися на крупном плане Джоном и его возлюбленной Луизой. Стало быть, это только эпизод их любовных взаимоотношений. Безусловно, реальный Джон Рид, основатель Коммунистической партии США и активный деятель Коминтерна, не слишком, надо полагать, соотносится со своим экранным двойником. Но в том-то и парадокс, что интересующие нас события в американской картине показаны ровно в том объеме, какой, вероятно, и мог быть доступным конкретному человеку, который в своих впечатлениях, быть может, был не слишком строг и последователен, но все-таки свободен от всего того, что в лучшем случае он смог узнать из газет или тем более из модификаций «Краткого курса».

Россия в фильме «Красные» показана сурово, но тактично, без сусальной балаганщины и умильности, отличающей советскую картину и призванной, видимо, про-

демонстрировать обильное народолюбие Сергея Бондарчука. Американскому двойнику Джона Рида, кажется, не дано проникнуть в тайны времени и взметнуться в момент революционного триумфа в небесную высь, но вместе с этим герой Уоррена Битти замечает, например, атмосферу политических интриг, царящую у Зиновьева в Коминтерне, а когда отправляется с агитационными целями в Баку, то становится свидетелем неприглядной подмены, характеризующей деятельность большевиков: переводя речь Джона Рида собравшимся на митинг тюркам, переводчик вместо слов «классовая борьба» и «интернационал» то и дело произносит слово «джахат» (священная война). Зиновьев потом поясняет изумленному американцу, что так народам Востока социалистическая идея будет понятнее.

Любопытно, что «Красные колокола» композиционно оформляются как предсмертное видение героя, заразившегося в Баку тифом. Но реальный Джон Рид, как следует из книги «Десять дней, которые потрясли мир», приехал в Петроград в сентябре 1917-го и, следовательно, не мог быть свидетелем ленинского возвращения из эмиграции в апреле или июльского разгона демонстрации рабочих Временным правительством, нашедших отражение в сюжетной канве фильма. Конечно, и на такой — хронологический — допуск режиссер, задавшийся целью панорамного охвата событий, имеет право. Но вопрос о качестве впечатлений главного повествователя интересен ровно в той мере, в какой эти впечатления «работают» на бондарчуковскую концепцию Октябрьской революции.

В «Красных колоколах» нет роскошного, тем более повторяемого не единожды поцелуя Джона Рида и Луизы Брайант на фоне штурма Зимнего, зато есть вполне романтическая игра в снежки на фоне Исаакиевского собора. И эта сцена поначалу озадачивает: ведь, как уже было сказано, личная биография Рида в картине сводится к нескольким формальным эпизодам, чаще всего связывающим политическую биографию времени. Или сцена с игрой в снежки, которая забавляет иностранцев, склонных более, чем мы, обращать внимание на русскую экзотику, нужна Бондарчуку не потому, что она, эта сцена, каким-то образом характеризует взаимоотношения героев, а потому что в глазах иностранцев она выражает... национальную специфику происходящих в картине событий?

После этого уже не кажутся выморочно-избыточными или случайными эпизоды фильма, в которых Джон Рид в момент

интеллектуального напряжения ведет внутренний диалог с полотнами выдающихся художников в Русском музее или откровенно любит солдатами, которые с детской сосредоточенностью повторяют марксистскую грамоту. И становится понятным, почему в минуту нечаянного затишья перед решающим штурмом старого мира на лицах рабочих и солдат, греющихся у октябрьских костров, появляются отблески языческого пламени и все действие сопровождается гулкая, словно бы идущая из толщи российской истории музыка Георгия Свиридова. И если эмблематичным для эйзенштейновского «Октября» мог бы стать кадр, в котором революционно настроенный народ стаскивает с пьедестала канатами помпезную фигуру Александра III, сидящего на троне в полном монаршем облачении, то «Красные колокола» совершенно закономерно венчает иной символ — крест на шпиле Петропавловской крепости, на котором отныне ангел-хранитель будет соседствовать с красным революционным стягом.

Разумеется, есть своя логика в том, что событие, воплощающее для режиссера 20-х годов акт великого исторического отречения от тысячелетней русской истории, для нашего современника означает нечто противоположное, а именно акт великой исторической преемственности. То, что для одного становится наивысшим выражением классовой стихии, для другого воплощает кульминационный пункт в развитии стихии национальной. И дело тут не только в личных особенностях режиссеров, разделенных полувековой чертой. Скорее эти особенности понадобились времени, которое сменило свою парадигму задолго до того, как Сергей Бондарчук затеял свой фильм. А если иметь в виду, что и классик из 20-х, и режиссер из 80-х при всей несхожести их дарований и места в культуре воплотили поставленными картинами определенный партийный заказ, то нетрудно сделать вывод и о том, что произошедшая в обществе за несколько десятилетий ценностная переориентация нашла в противоположных экранизациях Джона Рида еще и свое официальное утверждение. В чем же теперь, когда революция в «Красных колоколах» реконструируется прежде всего как событие национальной истории, постановщику видится ее всемирно-историческое значение, от которого он, судя по планетарному замаху фильма, отказываться не собирается?

Речь Ленина на II съезде Советов, имеющая для мифологии октябрьских событий не менее обязательное значение, чем залп «Авроры» или арест Временного правительства, в эпопею Сергея Бондарчука звучит

несколько неожиданно. Мы привыкли, что со времен «Ленина в Октябре» и до самого последнего времени (как, например, в фильме «Ленин в Париже») Ильич под громовые аплодисменты зала провозглашает с трибуны социалистическую революцию, о необходимости которой, как известно, давно говорили большевики. В редакции «Красных колоколов», хотя речь и идет о строительстве социалистического порядка, все-таки основной упор делается на «Обращения к народам и правительствам всех воюющих стран» с призывом сесть за стол переговоров. И такое смещение акцента, слишком уж отвечающее декларативному брежневскому миротворчеству, поначалу воспринимается не иначе как грубая подделка. Но в том-то и парадокс истории, что Бондарчук идет от текста, запечатленного в книге Джона Рида, и тем самым оказывается ближе к истине, чем Михаил Ромм со своими последователями, как и Сергей Эйзенштейн, в фильме которого Ильич без всяких обиняков призывает к свершению мировой революции. Значит, хотя бы в этом отношении у автора «Красных колоколов» нет принципиальных расхождений с документальным источником собственного фильма?

Для большевиков, как известно, принятие Декрета о мире, пути к которому дипломатическими средствами не слишком успешно искало Временное правительство, было единственной возможностью стянуть под свои знамена отчаявшиеся массы. Другой вопрос, что мир без аннексий и контрибуций, о котором говорил Ленин, в создавшемся положении был уже невозможен, да и сама по себе идея мира не слишком соответствовала марксистской теории социалистического преобразования, согласно которой война народов должна была перерасти в войну против собственных правительств. Но выполнение стратегических задач требовало власти, которую в свою очередь можно было завоевать только точным тактическим расчетом, каковым, собственно, и явились большевистские декреты.

В системе фильма Бондарчука тактическому лозунгу приписывается стратегическое значение. Миф Октября тем самым отсекается не только от исторического прошлого, но и от исторического будущего. Зрителю, якобы охваченному миротворческим экстазом, словно бы предлагается забыть и о том, что подлинной ценой Декрета о мире сначала стал роспуск Учредительного собрания, которое, по ленинскому обещанию, должно было выработать условия договора с Германией, а потом и недолгосрочный, позорный Брестский мир — с чудовищной аннексией западных территорий, о том, что гражданская война, раз-

вязанная большевиками, явилась для народа еще большей трагедией, чем война империалистическая. И о том, что идея мировой революции толкнула уже в 1920 году Красную Армию на антипольский поход. И о том, что главными миротворческими акциями советского руководства впоследствии явились тайные протоколы пакта Молотова — Риббентропа о разделе мира (при Сталине), карибский кризис (при Хрущеве) и, наконец, бессмысленное афганское кровопролитие (при Брежнев и К°). Только что нам конкретная история, если есть замечательная возможность главной заслугой Октябрьской революции провозгласить стремление к миру во всем мире? И что нам проблемы многотрудного и запутанного собственного прошлого, если на смену исторически не оправдавшему себя революционному пришел иной мессианизм, скромное обаяние которого, по всей видимости, должно было убедить поредевшие ряды «прогрессивного человечества» в природной миролюбии страны социализма?

Разумеется, и этот — миротворческий — мессианизм не был персональным изобретением Сергея Бондарчука, а только лишь нашел в его фильме свое, быть может, идеальное воплощение. Кинематографически же, хотя в несравненно более скромных формах, новое качество фильмов о революции проявлялось и раньше. Вспомним, например, картину «Доверие» (1976), поставленную Виктором Трегубовичем по сценарию Владлена Логинова и Михаила Шатрова, в которой локальный сюжет установления советско-финляндских дипломатических отношений в самом конце 1917 года позволил авторам вести глубокомысленный разговор о советской дипломатии как о дипломатии нового типа. А заодно путем недвусмысленного сопоставления игровых кадров — с Лениным и документальных — с Брежневым поставить знак равенства в их международной деятельности, попутно показав, во-первых, что большевики свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию исключительно ради того, чтобы в условиях расколовшегося надвое мира, не переводя дыхания, тут же начать неустанную борьбу за мирное существование стран с различным общественным строем. А заодно намекнуть, что Брежнев — это Ленин (на тот момент) сегодня.

Следующий фильм — «Чичерин» (1984), снятый по сценарию В. Логинова, — на этот раз в соавторстве с постановщиком Александром Зархи, уверенно продолжает начатую «Доверием» тему. К счастью, в этой картине обходится без нескромных параллелей, зато атмосфера, любования, в ко-

тору авторы фильма погружают своего заглавного героя, хватило бы сразу на многих. Трижды срывает Чичерин своими миротворческими речами на официальных церемониях громовые овации, причем если первые два раза ему аплодируют журналисты, которым в фильме отведена роль демократических представителей, то в третий раз, уже под занавес картины, советскому нарком по иностранным делам хлопает сам итальянский король. Что же подкупало его в чичеринских речах?

Один из центральных эпизодов фильма — Генуэзская конференция, на которой бывшие союзники по первой мировой войне пытаются предьявить Советской России большой неоплаченный счет, открытый когда-то для военных нужд царскому правительству. Большевики, как известно, этого долга не признавали, потому что отрицали саму связь с былой российской государственностью. В столь сложной политической и психологической обстановке Чичерину и удастся извлечь максимум выгод для советской стороны, когда, пользуясь противоречивым отношением Англии и Франции к поверженной в войне Германии, советский дипломат подписывает с германским дипломатом первый в советской истории мирный договор.

Такова канва происшедших в Генуе событий. Можно, наверное, анализируя ее, отдать должное уму и таланту народного комиссара, что в фильме и делает английский премьер-министр Ллойд-Джордж. Но авторы, явно не довольствуясь этим своего рода детективным уровнем повествования, постоянно переводят его в высокопарно-романтический регистр. И вот уже в ответ английскому премьеру Чичерин, имея в виду отнюдь не конкретный ход конференции, а некую собственную, не виданную доселе историческую миссию, с которой он в Геную прибыл, переадресовывает полученный комплимент Владимиру Ильичу Ленину. Выходит, и в этом фильме вождь большевиков претендует на роль отца нового политического мышления.

Итак, советский нарком предлагает, забыв старые обиды, перейти к политике разоружения в Европе, и это предложение, разумеется, встречается в штыки правительствами буржуазных государств. Тем самым, по логике фильма, подтверждается марксистский постулат об агрессивной природе империализма, заинтересованного в развязывании войн. Но какой, собственно, еще может быть реакция у европейских держав на предложение наркома, если новая советская государственность, как это было в действительности, строилась на признании и даже поддержании революционных войн? И многого ли стоит слово

правительства, которое не связывает себя никакими обязательствами перед прошлым, а значит, может при случае не связывать себя и обязательствами перед настоящим?..

Через всю картину проходит в «Чичерине» некая мисс Адамс, платонически влюбленная в советского комиссара. Она пожирает его обожающими глазами, сидя на журналистской галерке на Генуэзской конференции, первой восторженно аплодирует чичеринским речам накануне подписания Брестского мира. Пробирается даже до промозглого и Богом забытого пограничного городишки — и только лишь для того, чтобы лишний раз встретиться с целиком ушедшим в служение новой власти возлюбленным. Почему бы, кажется, Чичерину и Адамс в конце концов не соединиться? Что этому мешает — географические расстояния, политические убеждения, боязнь нового быта?... Оказывается — судьба. Момент политического триумфа советского дипломата словно бы специально омрачается личной драмой: Адамс сообщает Чичерину, что она вышла замуж, и объясняет свой поступок тем, что ее душе хочется покоя и благополучия, которые самому Георгию Васильевичу, надо полагать, органически противопоказаны. Если взаимоотношения героев фильма — это своего рода метафора, почему же авторы «Чичерина» не допускают той простой мысли, что благополучия и покоя давно уже хочется и стране, которую Чичерин в Генуе представляет? Или нам на руду написано удивлять мир нескончаемым социальным экспериментом?

Подобные вопросы перед фильмом не возникают. Романтический настрой картины, исключаящий какой-либо анализ в отношении к исторической действительности, автоматически переводит реальность первых лет революции в некое заповедно-легендарное состояние советской праистории, на которую законы человеческой цивилизации еще не распространяются. Зато порожденное «неответченными» вопросами мифологическое прошлое дает лишний повод для сеанса мессианского самовнушения: потому-то нас на Западе и не понимают, что не способны разделить с нами первопроходческую судьбу.

И все-таки в отличие от «Красных колоколов» пространство «Чичерина» не герметично. В нем действует, например, своего рода система подстраховки, обеспечивающая фильму беспроигрышную альтернативу: либо коммунисты, либо фашисты. Так возникает эпизод посещения советским дипломатом итальянского поэта Д'Аннунцио, в роскошном доме которого собираются местные наци. К тому же в приват-

ном диалоге с Ллойд-Джорджем Чичерин заранее возлагает ответственность за будущий подъем фашизма в Германии на эгоистическую политику Франции и Англии, порождающую у немцев комплекс неполноценности. Конечно, в этих словах есть большой резон, хотя, разумеется, далеко не исчерпывающий тему. Но только в том случае, если реальный Георгий Васильевич и впрямь во время конференции в Генуе был обеспокоен отсутствием в Европе надежного противовеса нацистам и искренне при этом полагал, что коммунисты и образуют этот противовес. Но следовало ли авторам из 80-х разделять заблуждения — встав не Чичерина, а многих западных интеллектуалов 30-х годов, сознательно сужая спектр возможных политических оттенков до двух соприкасающихся крайностей? Тем более что (в отличие от фильма Бондарчука) фильм Зархи хотя бы косвенно пытается объяснить противоречивую судьбу ленинского наследия, понимаемого, как бы то ни было, опять же с большой долей идеализации.

«Чичерин» начинается с похорон Ленина. Мы видим смятение на лицах его соратников, видим убитого горем наркома по иностранным делам. Только не дано ему расслабиться в этот траурный час! Враги ленинского курса на мирное сосуществование стран с различным общественным строем не дремлют и уже дают интервью иностранным корреспондентам, желая поехать в души их читателей обеспокоенность завтрашним днем... В отличие от верных ленинцев Красина, Литвинова, Воровского, Карахана оппоненты Георгия Васильевича носят в фильме вымышленные имена, а тот, чей курс они пытаются провоздвигать, и вовсе не назван. И все-таки нетрудно догадаться, почему именно смерть Ленина становится рубежом в судьбе Чичерина. Как нетрудно догадаться и о том, почему авторы картины не нашли в реальной истории никого, кто бы мог в поворотный, по фильму, исторический момент полноценно обозначить альтернативу Чичерину.

«Шестидесятническая» концепция противопоставления двух вождей, порожденная XX съездом партии, снимает вопрос о какой-либо преемственности в деятельности Ленина и Сталина. Ленин вел страну верным курсом — Сталин допустил отклонения и деформации. Ленин все понимал правильно: и национальную политику, и нормы жизни — после Сталина все пришлось восстанавливать... По той же нехитрой логике в «Чичерине» говорится и о внешней политике нашей страны. Если некто Казаков настаивает на жестоком, агрессивном, узкоклассовом подходе, то противо-

стоящий ему Чичерин, разумеется, твердит об общечеловеческих ценностях в политике, и именно этот подход считается в фильме ленинским. Подобная контрастная драматургия неизбежно приводит к одномерному пониманию истории, которая в нашем конкретном случае сводится не к изживанию определенной идеологии, представителями которой в разной степени были и Ленин, и Сталин, и все последующие руководители страны, а к механической смене вождей, каждый из которых в силу своих личных особенностей роковым образом мешал осуществлению ленинской мечты. Разумеется, подобное объяснение причин, в силу которых грядущий золотой век советской дипломатии, как и золотой век социализма в целом, ни во время Чичерина, ни позже не настал, не выходит за мифологические рамки.

И все-таки та настоящность и то простодушие, с которыми кинематограф номенклатурных мифов пытается обновить старые понятия не свойственным им, как правило, содержанием, заслуживает отдельного разговора. Это ведь только кажется, что семь с лишним десятков лет коммунистической идеологии мы жили в мире незыблемых догматов, которые никак не взаимодействовали с меняющимся миром. К счастью, это не так. И процесс переоценки, начатый в 60-е годы, был продолжен и в последующее время, несмотря на явные и скрытые заслоны на своем пути. И даже то обстоятельство, что на рубеже 60—70-х годов на «полке» оказались нередко лучшие советские фильмы, в которых узкая классовая мораль была принесена в жертву свободному от всяких идеологических оков человеку, не могло остановить большую внутренней работы кинематографа. В сфере перемен в конце концов втянулась даже, казалось бы, неподвижная в своей косности мифология историко-революционных фильмов, которая, в свою очередь, как могла, приспособилась к обновленной системе ценностей.

Принципиально, что и в картине Зархи, и в картине Бондарчука коммунистические понятия интерпретируются как общечеловеческие, а классовый мессианизм трансформируется в мессианизм национальный — пускай с разной степенью нажима на букву «р» в слове «русский». Принципиально, потому что и тот и другой фильм (вместе с ними — и весь официозный историко-революционный эпос) пытаются ответить на вопрос, которым в былые времена ни художники, ни идеологии попросту — в силу никчемности этого вопроса — не задавались. А именно — о легитимности новой власти, которая, остепенившись и одряхлев, уже не могла — не имела права —

с матросской бесшабашностью бравировать своим «незаконнорожденным» происхождением.

Времена изменились. И казалось бы, естественнее всего было бы, отказавшись от обязательных идеологических ритуалов (тем более пользуясь пространством эпоса), показать революцию как стихию, в которой не могло быть ни правых, ни виноватых — именно потому что стихия есть стихия. И значит, драматизм истории объяснить не происками белых или красных, коммунистов или фашистов, ленинцев или сталинцев, а прежде всего самой историей, которая, увы, допускает варианты лишь в теории, а на практике их не терпит. Но для этого надо было бы, чтобы изнутри менялось не только общество — задавленное и лишенное права голоса, но и довлеющие над ним государственно-партийные структуры. А раз этого не было, то и кинематограф остался заложником мистификаций, пускай предельно модернизированных и даже эстетизированных, примером чего может служить фильм «Ленин в Париже» (1981) Сергея Юткевича.

Эта картина до сих пор поражает своей экстравагантностью. Какое смешение стилей, приемов! Какая прихотливая кинематографическая игра — тут и репортажные «куски», словно бы взятые из программы «Время», и тонкая стилизация под немую комическую, и картинные композиции, и откровенная театрализация, и строгий закадровый голос повествователя, и фантастические — в болезненном бреде — видения героя! Кажется, что легендарный музей восковых фигур возникает в картине не только потому, что в него захаживал Ильич вместе с рабочим Трофимовым (он прибыл из России, чтобы учиться в партийной школе в Лонжюмо), но еще и оттого, что сам фильм явился как бы продолжением этого музея. Среди героев помимо Ленина, Крупской, Инессы Арманд еще и Лафарги, и парижские коммунары, и бунтующие студенты-нигилисты из 1968 года!..

«Культурный слой» фильма столь обширен именно поэтому. С его помощью Юткевич стремится всем следующим после 1911 года (время действия фильма) событиям придать характер научной закономерности, а вместе с ней и легитимности социалистической государственности, которая при этом «выводится» не из истории конкретной страны, а из истории всего человечества сразу, к тому же — с прямыми библейскими аналогиями. Здесь все характерно: и то, что в фильме нет России, и то, что реальная история однозначно рассматривается как объект социального творчества, и то, что исходной точкой готворящегося в Париже революционного экс-

перимента становится все та же праистория. С той только разницей, что в «Чичерине» она, эта праистория, всего лишь предполагается, а в фильме Сергея Юткевича выражается всем художественным строем, в «Красных колоколах» это «внецивилизационное» состояние всего лишь находит изобразительный эквивалент (блики костров на лицах рабочих перед взятием Зимнего), а в картине «Ленин в Париже» — еще и интеллектуально-мифологическое обоснование: Ленин, подобно Христу, восседает в окружении своих учеников. И они, еще вчера раздраженные тем, что их, вырвав из рядов революционеров-подпольщиков, посадили за парты и заставили ходить по музеям и библиотекам, сегодня с просветленными лицами в торжественной тишине приобщаются к Единственно Верному Учению, по которому завтра будет твориться сама История. В тот исторический час, когда напряжение сменится революционным порывом и натиском.

Только (еще Ленин любил это выражение) всякое сравнение хромает. «Хромает» и библейская реминисценция Юткевича. Учеником, предавшим учителя, в фильме оказывается некто, вобравший в себя широкий спектр политических оттенков — от анархизма (в вульгарном советском понимании) до троцкизма (слава Богу, не в сталинском, а в современном западном понимании). Этот предельно мифологизированный персонаж, оказывается, и на охранку работает, и осуществляет «экспроприацию экспроприруемого» в банках, и — уже в видениях рабочего Трофимова — поднимает кронштадтский мятеж, и вместе с террористами из «красных бригад» ревизует ленинское наследие. Короче, оказывается универсальным воплощением всякого зла, nastyрного и иродствующего, которое то и дело возникает на пути у Единственно Верного Учения.

Не будем останавливаться на том, например, что среди любителей пополнять партийную кассу путем ограбления банков случались и прямые ленинские соратники и Ильич не осуждал их за это. Или на том, что реальный мятеж в Кронштадте поднимали как раз не анархисты, обеспокоенные чистотой «левой» идеи, а обыкновенные матросы, когда поняли, что в результате большевистской авантюры советская власть оказалась целиком подмятой властью партийной. Или на том, что попытки всерьез доказывать, что диктатура пролетариата — это и есть наивысшее выражение демократии, даже в годы застоя выглядели комично. Интересно другое — в системе фильма «Ленин в Париже» оппозиция коммунист — троцкист несет ту же самую «подстраховочную» функцию, что

оппозиция коммунист — фашист в «Чичерине».

Совсем, видимо, не случайно, что образ современной западной цивилизации — хотя в картине достаточно съемок Парижа и Лонжюмо — решен предельно условно, чуть ли не в манере студенческого агиттеатра. Иначе фильм попросту рисковал: а как же еще заставить поверить в то, что современная буржуазная цивилизация вот-вот скатится в пропасть тотального терроризма и экстремизма, если не прислушается к разумному и спокойному, как всегда, голосу Страны Советов? К тому же страх перед всяким радикализмом, включая радикализм реформаторский, был в большей степени советским, а совсем не западным страхом. «Устойчивость не значит застой» — написал в эти годы один из теоретиков социалистического реализма. И более удачных слов, выражающих вымученный пафос последнего творения Сергея Юткевича, кажется, не найти: «колос на глиняных ногах» оказался точным слепком со своей эпохи.

И все-таки осознание новой для нашего общества политической и этической ситуации началось. Именно тогда — в конце 50-х, в 60-е, 70-е...

За минувшие несколько лет истории культуры возвращены и роман Пастернака, и фильмы Аскольдова, Климова, Шепитько, Смирнова, а мотивы булгаковской «Белой гвардии» в картинах о гражданской войне оказались столь растиражированными еще в годы застоя, что давно уже стали общим местом и ностальгические романы под гитару, и пиетет авторов перед канувшей в Лету «белой костью» русского дворянства. В картине Юлия Карасика «Берега в тумане» (1985) дошло до того, что судьбы дворянской интеллигенции и потомственных офицеров, выброшенных эмиграцией на чужой болгарский берег, устраивает ностальгически настроенная ВЧК — с самыми что ни на есть благородными целями: если человек был и остается честным патриотом, как же ему не вернуться в лоно социалистической родины?!

Этот курьез, разумеется, неслучаен. Как неслучайны и горделивое подчеркивание аристократического происхождения Инессы Арманд в фильме Сергея Юткевича или Чичерина в фильме Александра Зархи. Как неслучайно и то, что идеал большевистской аскезы, обычно отличавший партийную среду в историко-революционных картинах 20—50-х годов, в 70—80-е годы оказался заметно отнесенным стремлением авторов «Доверия» или «Ленина в Париже» показать вождя мирового пролетариата непривычно импозант-

ным, чуть ли не наделенным манерами светского щеголя или уж во всяком случае, несомненно, имеющим вкус к радостям жизни (чего стоят хотя бы восторженные аплодисменты Ильича веселенькой кокетке из варьете в фильме С. Юткевича!).

Все это лишний раз свидетельствует о том, что даже на «переднем крае идеологической борьбы», каким всегда были фильмы о революции и гражданской войне, то и дело предательски заявляли о себе истинные желания и устремления закомплексованного всевозможными табу советского общественного сознания, которое, как и само общество, привыкло существовать по двойному счету. И чего же удивляться после этого, что у нас за какие-то считанные месяцы — уже во времена перестройки — «не осталось ничего святого» и рухнули даже те авторитеты и репутации, которые, казалось бы, за семь десятилетий советской власти были надежно укреплены и застрахованы от всяких напастей? Так что, может быть, процесс разрушения начался значительно раньше? Да и о «святом» ли речь, если картине Александра Аскольдова «Комиссар» не смогли помешать ни десятилетия насильственной безвестности, ни годы недавнего триумфа, а партийно-государственный эпос — про революцию ли или Отечественную войну, «возрождение» ли или «целину» — всегда нес в себе привкус самопародии и самоотрицания?

Любопытен в таком повороте собственно кинематографический аспект. Тенгиз Абуладзе в «Покаянии» — среди прочего — умело обыгрывает образную систему «Падения Берлина». У Валерия Огородникова в «Бумажных глазах...» карикатурные матросы с «Броненосца „Потемкин“», дожив до наших дней, спорт — словами лагерников из «Одного дня Ивана Денисовича» — об Эйзенштейне, а сам Сергей Михайлович явлен возмущившей эйзенштейноведов пародией на самого себя. Картина Максима Пежемского про Валерия Чкалова, исполненная в соц-артовском духе, — прямой вызов известному довоенному фильму Михаила Калатозова. Сергей Овчаров в фильме «Оно» предпринимает попытку ернической стилизации под официальную советскую хронику. У Виктора Титова в «Анекдотах» карикатурные маски Ленина и Чапаева, Горького и Маркса — еще и пародийная дань классическим экранным образцам историко-революционного эпоса эпохи социалистического реализма. Значит, весело, как и положено в момент крутого исторического перелома, сегодня со своим прошлым прощается не только общество, но и кинематограф?



# НАШИ АВТОРЫ

**АХВЛЕДИАНИ ЭРЛОМ СЕРГЕЕВИЧ** (род. в 1933 г.). Закончил исторический факультет Тбилисского государственного университета в 1957 г. и Высшие курсы сценаристов в 1964 г. Автор сценариев фильмов «Пиросмани» (1969 г., соавтор сцен. и реж. Г. Шенгелая), «Общая стена» (1972 г., реж. Н. Манагадзе). В соавторстве с Д. Джавахишвили написаны сценарии фильмов «Три дня знойного лета» (1981 г., соавтор сцен. и реж. М. Кокочашвили), «Ной» (1991 г., соавтор сцен. и реж. Н. Манагадзе). Далее, «Несколько интервью по личным вопросам» (1979 г., соавтор сцен. и реж. Л. Гогоберидзе), «Путь домой» (1982 г., соавтор сцен. и реж. А. Рехвиашвили), «Путешествие молодого композитора» (1984 г., соавтор сцен. и реж. Г. Шенгелая).

**ДЖАВАХИШВИЛИ ДАВИД ГЕОРГИЕВИЧ** (род. в 1935 г.). Закончил геологический факультет Тбилисского государственного университета в 1957 г. В соавторстве с Э. Ахвледiani им написаны сценарии к фильмам: «Три дня знойного лета» (1981 г., соавтор сцен. и реж. М. Кокочашвили), «Ной» (1991 г., соавтор сцен. и реж. Н. Манагадзе).

**ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ** (род. в 1939 г.). Закончил Азербайджанский индустриальный институт в 1962 г., Высшие курсы сценаристов в 1967 г. (мастерская С. Герасимова и Л. Беловой), Высшие курсы режиссеров в 1973 г. (мастерская Л. Трауберга). Автор ряда сборников прозы и пьес. Автор сценариев фильмов «В этом южном городе» (1969 г., реж. Э. Кулиев), «Белое солнце пустыни» (1970 г., в соавт. с В. Ежовым, реж. В. Мотыль), «И тогда я сказал — нет» (1974 г., реж. П. Арсенов), «День рождения», «Допрос», «Перед закрытой дверью», «Семь дней после убийства» (1975 г., 1978 г., 1981 г., 1991 г., реж. Р. Оджагов), «Храни меня, мой талисман», «Филер» (1986 г., 1987 г., реж. Р. Балаян), «Свободное падение» (1987 г., реж. М. Туманишвили. Сценарий опубликован в журнале «Киносценарии» № 2, 1987 г.), «Автостоп», «Урга» (первый в соавт. с Н. Михалковым, 1990 г., 1991 г., реж. Н. Михалков) и др.

**МАНАГАДЗЕ НОДАР ШОТАЕВИЧ** (род. в 1943 г.). Закончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института им. Шота Руставели в 1965 г. (мастерская Д. Алексидзе). Сопостановщик реж. Ш. Манагадзе в фильме «Тепло твоих рук» (1971 г.); дебют — короткометражная лента «Общая стена» (1972 г.); «Как доброго молодца женили» (1974 г.), «Весна проходит» (1983 г.). Как режиссер (одновременно автор сценариев с Д. Джавахишвили и Э. Ахвледiani) сделал фильмы: «Как доброго молодца женили» (1974 г.), «Ожившие легенды» (1977 г.), «Эй, maestro!» (1987 г.), «Ной» (1991 г.)

**ПОЛТОРАК ЕГОР ВАДИМОВИЧ** (род. в 1963 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1991 г. (мастерская В. И. Соловьева, В. К. Черныха, Л. А. Кожиновой, Ю. И. Рогозина).

**ПОПОГРЕБСКИЙ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ** (род. в 1937 г.). Закончил Московский энергетический институт в 1961 г., Высшие курсы сценаристов в 1972 г. (мастерская Л. Аграновича). Автор сцена-

риев фильмов «День приема по личным вопросам» (1974 г., реж. С. Шустер), «За пять секунд до катастрофы» (1978 г., реж. А. Иванов), «Комиссия по расследованию» (1979 г., реж. В. Бортко), «Особо важное задание» (1981 г., в соавт. с Б. Добродеевым, реж. Е. Матвеев), «Ночь на 4-м круге» (1982 г., реж. И. Усов). Сценарий «Главный специалист» опубликован в журнале «Киносценарии» № 5, 1989 г. Им написаны сценарии «Запах золота», «Страшный человек» (1991 г.).

**РАЙСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА**. Окончила сценарный факультет ВГИКа (мастерская Л. Кожиновой и В. Соловьева). Автор сценариев фильмов «Ангел мой» (1978 г., реж. Б. Токарев), «Рядовой Прохоров» (1983 г., реж. Л. Аранышева), «Манька» (1984 г., реж. А. Никитин), «Все нормально» (1986 г., реж. О. Розенбергс), «Прямая трансляция» (1989 г., реж. О. Сафаралиев), «Потерпевший» (1990 г., реж. В. Рябцев). В журнале «Киносценарии» опубликованы сценарии «Ангел мой», «Мон генераль», «Рядовой Прохоров», «Прогноз на ближайшие сутки», «От первого лица».

**РЫКЛИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ** (род. в 1948 г.). Закончил философский факультет МГУ в 1971 г. Старший научный сотрудник Института философии АН СССР, кандидат философских наук. Автор статей по проблемам философии и искусства.

**УСОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ** (род. в 1940 г.). Закончил исторический факультет Горьковского государственного университета в 1964 г., Высшие сценарные курсы Госкино в 1971 г., По сценариям А. Усова поставлены художественные фильмы «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (1973 г., реж. М. Пташук), «Додумался, поздравляю!» (1975 г., реж. Э. Гаврилов), «Примите телеграмму в долг» (1979 г., реж. Л. Нечаев), «Счастливая, Женька!» (1984 г., реж. А. Панкратов), «Ночной экипаж» (1988 г., реж. Б. Токарев; опубликован в альманахе «Киносценарии» № 4, 1987 г.), «Мисс миллионерша» (1988 г., реж. А. Рогожкин), «Счастливчик» (1988 г., реж. В. Мишаткин), «Киномеханик» (1991 г., реж. А. Михалков-Кончаловский). Автор сценариев «Водитель-заготовитель» (1982 г.), «Жаль мне себя немного» (1982 г.), «И тогда им здорово повезло» (1983 г.), «Последняя роль Кенди Джонсон» (1984 г.). Сценарий «Комдив Жуков. Халхин-Гол. 1939 год» (1986—1987 гг.) опубликован в альманахе «Киносценарии» № 4, 1988 г.).

**ХУСНУТДИНОВА РОЗА УСМАНОВНА**. Закончила Высшие сценарные курсы в 1969 г. (мастерская В. Соловьева). Автор сценариев фильмов «Алпамыс идет в школу» (1976 г., реж. А. Корсабаев), «Триптих» (1977 г., реж. А. Хамраев), «Возвращение чувств», «Припад — внук Зифы» (1977, 1981 гг., оба — реж. М. Осепьян), «Невеста для брата» (1980 г., реж. Б. Шманов) и др. Автор книги рассказов «Как прекрасно светит сегодня луна».

**ШМЫРОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ** (род. в 1960 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1987 г. Научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор статей по истории и теории советского кинематографа.

2р.00к.  
70434

**6**

# **КИНОСЦЕНАРИИ**

**1991**